

Меир  
Шалев  
ЭСАВ



проза еврейской жизни

## Annotation

Роман «Эсав» ведущего израильского прозаика Меира Шалева — это семейная сага, охватывающая период от конца Первой мировой войны и почти до наших времен. В центре событий — драматическая судьба двух братьев-близнецов, чья история во многом напоминает библейскую историю Якова и Эсава (в русском переводе Библии — Иакова и Исава). Роман увлекает поразительным сплавом серьезности и насмешливой игры, фантастики и реальности. Широкое эпическое дыхание и магическая атмосфера роднят его с книгами Маркеса, а ироничный интеллектуализм и изощренная сюжетная игра вызывают в памяти набоковский «Дар».

---

- [Амос Оз](#)
  - [КНЯЗЬ АНТОН И СЛУЖАНКА ЗОГА](#)
  - [ГЛАВА 1](#)
  - [ГЛАВА 2](#)
  - [ГЛАВА 3](#)
  - [ГЛАВА 4](#)
  - [ГЛАВА 5](#)
  - [ГЛАВА 6](#)
  - [ГЛАВА 7](#)
  - [ГЛАВА 8](#)
  - [ГЛАВА 9](#)
  - [ГЛАВА 10](#)
  - [ГЛАВА 11](#)
  - [ГЛАВА 12](#)
  - [ГЛАВА 13](#)
  - [ГЛАВА 14](#)
  - [ГЛАВА 15](#)
  - [ГЛАВА 16](#)
  - [ГЛАВА 17](#)
  - [ГЛАВА 18](#)
  - [ГЛАВА 19](#)
  - [ГЛАВА 20](#)
  - [ГЛАВА 21](#)
  - [ГЛАВА 22](#)
  - [ГЛАВА 23](#)

- [ГЛАВА 24](#)
- [ГЛАВА 25](#)
- [ГЛАВА 26](#)
- [ГЛАВА 27](#)
- [ГЛАВА 28](#)
- [ГЛАВА 29](#)
- [ГЛАВА 30](#)
- [ГЛАВА 31](#)
- [ГЛАВА 32](#)
- [ГЛАВА 33](#)
- [ГЛАВА 34](#)
- [ГЛАВА 35](#)
- [ГЛАВА 36](#)
- [ГЛАВА 37](#)
- [ГЛАВА 38](#)
- [ГЛАВА 39](#)
- [ГЛАВА 40](#)
- [ГЛАВА 41](#)
- [ЭЛИЯГУ САЛОМО И МИРИАМ АШКЕНАЗИ](#)
- [ГЛАВА 42](#)
- [ГЛАВА 43](#)
- [ГЛАВА 44](#)
- [ГЛАВА 45](#)
- [ГЛАВА 46](#)
- [ГЛАВА 47](#)
- [ГЛАВА 48](#)
- [ГЛАВА 49](#)
- [ГЛАВА 50](#)
- [ГЛАВА 51](#)
- [ГЛАВА 52](#)
- [ГЛАВА 53](#)
- [ГЛАВА 54](#)
- [ГЛАВА 55](#)
- [ГЛАВА 56](#)
- [ГЛАВА 57](#)
- [ГЛАВА 58](#)
- [ГЛАВА 59](#)
- [ГЛАВА 60](#)
- [ГЛАВА 61](#)

- [ГЛАВА 62](#)
- [ГЛАВА 63](#)
- [ГЛАВА 64](#)
- [ГЛАВА 65](#)
- [ГЛАВА 66](#)
- [ГЛАВА 67](#)
- [ГЛАВА 68](#)
- [ГЛАВА 69](#)
- [ГЛАВА 70](#)
- [ШИМОН НАТАН И ДЕВОЧКИ ИДЕЛЬМАН](#)
- [ГЛАВА 71](#)
- [ГЛАВА 72](#)
- [ГЛАВА 73](#)
- [ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКОВ](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)

- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)

- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)

- [103](#)
  - [104](#)
  - [105](#)
  - [106](#)
  - [107](#)
  - [108](#)
  - [109](#)
-

**Амос Оз**  
**ЭСАВ**

*Маме*

# **КНЯЗЬ АНТОН И СЛУЖАНКА ЗОГА**

## **(вымышленный рассказ о людях, которых не было)**

Княжича Вильгельма из дома Гесслеров по несчастной случайности подстрелили на охоте, когда жизни его было всего пять лет. Гусь взлетел, захлопав крылами, ружье грянуло в чаще, ребенок упал на землю, задергался и закричал. Крик пронесся над лугом, ударился о стволы тополей и запутался в камышах, но собаки, которые были натасканы на лис да уток, прибежали к маленькому тельцу княжича, лишь когда оно уже затихло. Стрелявший — грубый волопас, прокравшийся в охотничьи угодья в надежде разжиться фазаном, — тем же вечером, в приступе глубокой скорби, свел счеты с жизнью, оставив по себе молодую вдову, бессвязное покаянное письмо и неразрешимую загадку—как может человек покончить самоубийством, дважды выстрелив себе самому из револьвера в затылок?

Вильгельм был одним из двух братьев-близнецов. Рыженький мужичок-с-ноготок, он уже в четырехлетнем возрасте наловчился попадать в спугнутого с гнезда вальдшнепа и посылать в поле сокола или борзую. За несколько дней до смерти он получил в подарок свое первое охотничье ружье, настоящий «манлихер», даром что миниатюрных размеров, сработанный лучшим оружейником Европы Элиягу Натаном из города Монастир.

С того дня мертвый отрок стал повелевать живыми родителями. Осиротевшая мать за огромные деньги приобрела «Пьету» кисти Джанини и повесила ее в комнате погибшего сына. Скорчившись в три погибели в его маленькой кроватке, она теперь часами лежала там, глядя на сияющее тело распятого и черпая силы в могучей фигуре его матери, что известна среди искусствоведов под названием «Мадонны Робусты», или «Крепчайшей», ибо Джанини изобразил Деву крупной широкоплечей женщиной с острыми и маленькими, как у мальчика, сосками и длинными мускулистыми руками. Что же до князя-отца, то он запер свой фамильный охотничий павильон на все засовы, запечатал его двери сургучом и стал искать утешение в двух других занятиях, издавна известных своим целительным влиянием на душу мужчины, а именно — в коллекционировании и в научных изысканиях. Он копил крылатые фразы, собирал миниатюры и микрографические надписи и изучал феномен

стигматов у верующих католичек. Сегодня он известен как первый, кто описал знаменитый случай Луизы Лато — бельгийской белошвейки, ладони которой каждую пятницу сочились кровью.

Княжич Антон, близнец покойного Вильгельма, не раз поднимался к матери, умолял ее встать с постели мертвого братца и пачками таскал ей ее любимые любекские марципаны, но увы — княгиня не поддавалась ни на его мольбы, ни на соблазны. Она поднималась лишь в полночь, брела в дворцовую пекарню и там, со всхлипами и рыданиями, уминала одну за другой свежеспекавшиеся булочки, а если шел дождь, то обычно выходила наружу, чтобы волосы ее намокли под ливнем. Смерть сына в считанные месяцы превратила ее в распухшую толстуху с вечно хлюпающим носом и побагровевшими от слез глазами. Она наняла известного детского портретиста Эрнста Вебера и из недели в неделю описывала ему черты лица покойного сына. Вебер нарисовал сотни детей, которые выглядели подлинными мертвецами, но она ни одного из них не признала за своего. В конце концов решение, однако, нашлось: был вызван французский фотограф Марсель де Вин, который сфотографировал лицо самой княгини во время ее рассказов о сыне, и после некоторой ретуши портрет покойного Вильгельма был признан поразительно достоверным.

Миновали годы. Отец и мать укрылись — каждый за стенами своей личной скорби, а князь Антон из милого ребенка превратился в избалованного и капризного юнца. С рождения преследуемый чувством, будто братец держит его за пятку, он не увлекался охотничьими радостями и предпочитал делить свой досуг между женщинами, забавами и модными колясками. Равенство и братство, эти «французские болезни», как называл их князь-отец, в те дни уже утратили свое бывшее очарование, но князь Антон, трактуя эти идеи на свой лад, продолжал одарять равной любовью женщин различных сословий, не пренебрегая ни высокородными дамами, ни девицами из простонародья, — в его постели все они выглядели совершенно одинаково. Как правило, князь предлагал себя дамам на банальный французский манер: «Не хотите ли разделить со мной ложе, сударыня?» — но произносил эти слова с неким наивным бесстыдством и даже как бы слегка задыхаясь от страсти, одновременно прижимая свои тощие ляжки к телу собеседницы достаточно плотно, чтобы та не могла усомниться в твердости его намерений.

Князь был изысканным и занятым кавалером; он утверждал — и даже демонстрировал на личном примере, — что самыми замечательными любовниками являются эгоисты, и снискал себе репутацию незаурядного знатока — в основном в области чувственных удовольствий, изощренного

сладогострастия и утонченной безнравственности. По ночам он спал в постели, наполненной маленькими куколками из соболиного меха, с тончайшей ласковостью которого не могла бы соперничать даже нежность самого опытного прикосновения, а каждое утро, после того как старая нянька, припудрив ему кожу в самых чувствительных местах, кончала его одевать, в спальню вступали двое молодых слуг с зеркалами в руках и начинали медленно обходить стоящего князя, дабы он мог удостовериться, что его отражение великолепно во всех без исключения ракурсах. Завтрак ему подавался «точно через два с половиною часа после восхода солнца», и в целях исправного ведения кухонных дел придворный астроном составил специальную таблицу с временами солнечных восходов — таблицу, которую способны были понять даже его швабские повара. Ел князь с тарелок, по ободку которых золотыми буквами было выведено: «Noni soit qui mal u pense», то есть «Стыд маловерам», а строгость его требований к свежести пищи была столь велика, что для него построили специальный павильон — с бассейном для угрей, который заполнялся проточной водой, с небольшим, до блеска вычищенным загончиком, где проводили свою последнюю ночь маленькие телята и поросята, и с печью из ютландского кирпича, которую топили торфом и которая выпекала восхитительные булочки.

Однако свое самое прославленное (и широко засвидетельствованное) проявление изысканности князя Антона нашла даже не в делах, связанных с пищей, а в том, как застенчиво и томно он приспускал веки, когда освобождался от вод, — словно его благородное лицо не желало принимать решительно никакого участия в делах более низменных частей тела. В силу этой привычки несколько капель неминуемо оставались на мраморных плитах его маленькой комнаты, и, когда он был ребенком, нянька получила приказ придерживать пальцами крохотный признак его мужественности, нацеливая таковой в нужную сторону во время отправления малых природных потребностей. Когда же князь настоял на том, чтобы такая практика продолжалась и в зрелом возрасте, эта его причуда приобрела широкую известность и со временем стала одной из самых забавных и самых сладостных услуг, предлагавшихся в избранных публичных домах Европы. В Польше она получила название «Есть у нас маленькая лейка», в Испании ее прозвали «Слепой бык», во Франции — «Выстрел во тьму», а в венских заведениях именовали просто «Князь и его нянька». Все эти факты зафиксированы и подтверждены документами, и сомневающиеся могут проверить это, обратившись к известной книге Колдуэлла и Мартена «Образ жизни в европейских дворцах XIX столетия», хотя, конечно, на

свидетельства всех исторических хроникеров, и, в частности, указанной пары сочинителей, было бы неразумно полагаться вслепую.

Во втором томе своего сочинения Колдуэлл и Мартен утверждают, что в потворстве своим прихотям князь Антон уступал лишь одному человеку на свете — кардиналу Бодуэну из Авиньона. Князь Антон действительно видел в этом кардинале образец для подражания, заучивал наизусть его сочинения и старался следовать ему во всем. Между прочим, сей Бодуэн из Авиньона был также известным путешественником и исследователем. Он оставил несколько томов иллюстрированных «Эллинистических мозаик в землях Леванта», где утверждал, что известное свойство мозаичных изображений, словно бы следящих взглядом за зрителем, куда тот ни идет, порождается обыкновенным и легко устранимым косоглазием. В возрасте пятидесяти лет кардинал присоединился к наполеоновским армиям в их походе на Восток и весьма удачно отыскал на Святой земле безмерно вожаделенную реликвию — крайнюю плоть новорожденного Иисуса. Несколько лет спустя он отправился во второе путешествие, на поиски молочных зубов Иисуса-младенца, но на сей раз исчез без следа.

Стоит ли напоминать, что вследствие Иисусова вознесения на небеса его крайняя плоть и молочные зубы являются единственными останками его телесной ипостаси? Даже величайшие из скептиков, включая еретиков, которые отрицали самое Святую Троицу, и те признавали, что крайняя плоть Спасителя не поддается тлену, а сияние его молочных зубов не тускнеет со временем. Многие искали эти божественные реликты, и многим, подобно упомянутому Бодуэну, довелось пожалеть о своем намерении. Самый известный пример представляет собой Болдуин Четвертый, этот нечувствительный к боли король крестоносцев, который покрылся проказой, едва лишь увидел Иисусову крайнюю плоть. Этот случай описан в знаменитых мемуарах его наставника, Уильяма из Тира, и нет нужды пересказывать его здесь вновь. Менее известные жертвы, к примеру немецкий путешественник Клаус из Кельна и датская ясновидица Пия Шуцман, добравшиеся в поисках этих реликвий до Иерусалима, были тотчас охвачены неодолимым стремлением к одиночеству и уединились от мира, один — в пещере под Терапионом, а другая — в монастыре Плача Господня.

Но были и другие благочестивые люди, которые не только не пострадали, но и ухитрились, счастливы, найти совершенно неисчислимое множество Иисусовых крайних плотей, так что протестантский священник Август Гримгольц в своей книге

«Францисканские мошенничества» даже заметил, что, если сшить все эти ложные обрезки кожи Спасителя воедино, из них стало бы сделать громадный шатер и разом уложить в нем на ночлег всех тупоголовых крестоносцев, взошедших в Иерусалим. Этот Гримгольц, однако, известен как скептик и пьяница — достаточно упомянуть, что он разделял гипотезу Гордона о местоположении Голгофы и даже позволил себе высказать сомнение в подлинности «Подвязки Пресвятой Богородицы» — той самой, что привез из Святой земли Микеле ди Прато, — хотя она источала отчетливый запах девственницы.

Но такова уж ирония судьбы, что ныне все это кануло в бездну забвения, и сегодня имя кардинала Бодуэна известно лишь благодаря нескольким примитивным экспериментам, поставленным во времена его юношеских дурачеств в католической школе в Тулоне, в ходе которых он установил, что задницу удобнее и приятнее всего подтирать молодым гусенком. «Сначала клювиком, а потом пухом», — объяснял молодой воспитанник семинарии своим ликующим друзьям, и эта фраза: «Premièrement, le bec. Ensuite, la plume» — стала девизом всех тех, кто мог позволить себе такое удовольствие. Князь Антон, родившийся спустя годы после исчезновения кардинала, также внес ее в список своих принципов и заповедей и повелел своему домоправителю закупить для выращивания и размножения небольшую стайку гусей, которая постоянно поставляла бы гусят для его серьезных естественных отправок.

Князь не был лишен и научных замашек. В дополнение к модным экспериментам по созданию летательных аппаратов тяжелее воздуха, которыми в ту пору увлекались все поголовно, а также к попыткам усовершенствования парового велосипеда — этого огнедышащего и медлительного устройства, извергавшего дым и трубные звуки, — князь посвятил несколько лет своей юности исследованиям в области генетики и астрономии. Он пытался вывести чистый гомозиготный вид белых ворон, а также наблюдал звезды из особой спальни, стеклянный потолок которой был отполирован и обрел форму гигантской линзы. По ночам эта линза увеличивала звезды, а днем ее занавешивали черной тканью, ибо она невыносимо раскаляла помещение и однажды даже изрядно поджарила двух молодых итальянок, распавшихся там до позднего утра.

Здесь уместно заметить, что как раз в тот год князь Антон заключил священный союз обручения и его невестой стала австрийская принцесса Рудольфина — коровистая блондинка, обладательница выдающегося бюста итакого же состояния, навязанная ему отцовскими советниками. Масштабы ее интеллекта и тела находились в обратном отношении друг к другу, и

известна она была, главным образом, благодаря устрашающему запаху изо рта, того рода запаху, которого не может заглушить даже пепел сожженных корней миртового дерева. Кружевные воротнички и широкие шелковые склоны груди принцессы были постоянно усеяны трупиками насекомых и бабочек, что случайно попали — несчастные крохи — в зловонную струю ее дыхания.

За несколько месяцев до назначенной свадьбы князь Антон объявил родителям, что хочет отправиться на Восток. Князя не затронуло — упаси Боже — поветрием, что захватило многих аристократов, по преимуществу английских, с тугими кошельками и уймой свободного времени, одурманенных чарами Востока и его жителей. Ничего подобного! Он всего лишь хотел загодя собрать небольшую копилку впечатлений и воспоминаний, которые скрасили бы страдания и скуку, ожидавшие его по ту сторону бракосочетания.

«Ибо что есть супружеская жизнь, — цитировал он своему отцу высказывание каталонского поэта Хуана Хименеса, — как не скучная и пыльная дорога, ведущая нас напрямиком к смерти». Княгиня-мать, которая к этому времени от избытка скорби, дождя и хлеба уже напоминала гигантскую губку, в очередной раз разразилась слезами, но князь-отец, этот собиратель афоризмов, не смог скрыть улыбки и даровал сыну разрешение и деньги, необходимые для путешествия.

Он лишь поставил ему одно условие — войдя в Иерусалим, обратиться к его стенам со знаменитыми последними словами Генриха Пятого: «Если Всевышний дарует мне Мафусаилов век, я вас завоюю», — а затем, в соответствии с традицией рыцарей-храмовников, к ордену которых принадлежал и гесслеровский род, пройти с закрытыми глазами по Виа Долороза, мысленно представляя себе каждый предсмертный шаг Иисуса.

Князь Антон вызубрил на память самоновейшие путеводители Клеменса и Мелвилла, а также книги их старинных предшественников, Странника из Бордо и Ганноверского Пилигрима, и собрал себе свиту из советников, дипломатов, гусят, телохранителей и ученых мужей. Он даже распорядился подготовить свою легкую двуколку и белого коня знаменитой липицианской породы. Своего еврейского врача, доктора Реувена Якира Пресьядучу, он тоже взял с собой, равно как и свою преданную рабыню Зогу — огромную албанку, которой янычары в детстве перерезали голосовые связки. Немая, она тем не менее была достаточно сильна, чтобы на руках относить князя в постель в те ночи, когда он превышал меру возлияний и распутств, а после смерти няньки взяла на себя также обязанность направлять его струю в унитаз. Красивая и светловолосая, с

густыми, широкими бровями, Зога отличалась тем, что язычок у нее в гортани был раздвоен. Когда на князя находило дурное настроение, он просил ее широко открыть рот, и стоило ему увидеть ее раздвоенный язычок, как он уже заливался детским смехом. Но самым главным ее достоинством оказалась группа крови — такая же, как у князя. Кровяное давление у Антона было низкое, и сексуальные эскапады, отвлекая кровь к чреслам, вызывали у князя мигрени, слабость и даже глубокие обмороки, и тогда доктор Реувен Якир Пресьядучу тотчас переливал в его сосуды сильную Зогинову кровь и тем возвращал его к жизни.

К экспедиции присоединились также хроникер и фотограф, чтобы вести дневник путешествия, и они каждый второй день отправляли кипы бумаги и фотопластинок родителям князя, которые не переставали удивляться различиям между изображением и словом. И впрямь, если не считать согласия этой пары в том, что путешествие началось на железнодорожном вокзале в Вене и завершилось несчастьем в Иерусалиме, можно было подумать, что речь идет о двух совершенно различных экспедициях.

В Стамбуле князя принял султан Абд эль-Азиз, который вручил ему сопроводительные письма к своим пашам и правителям милетов<sup>[1]</sup> и подарил гигантский дорожный шатер. К шатру прилагались шелковые перегородки и ковры, медные блюда и дамасские сундуки, а также внутренний альков для уединений, вмещавший в себя тройное зеркало для отражения процесса любви в его всевозможных ракурсах, алебастровый таз для умывания и наложницу-черкешенку, обученную на европейский лад. Князь передал султану приветствия от своего отца и его подарок — передвижной эшафот, плод изобретательности немецких инженеров, не имевший себе равных в облегчении и упрощении действий власти в отдаленных провинциях. Эшафот, имевший вид безобидного шкафа на колесах, вмещал в себя несколько складных орудий для пыток и казней, приводился в действие обслугой из двух техников и осла и мог перемещаться по горным тропам и узким деревенским проулкам, достигая любого очага неповиновения. В тот же день султан отправился в ближайшие казармы, чтобы опробовать новый подарок на содержащихся там арестантах, а князь со свитой взойшли на палубу «Мирамара» и отплыли напрямиком в землю Египетскую.

В коллекции крылатых фраз князя-отца Александрия описывалась как «подстилка древняя народов и мужчин». И действительно, она встретила князя Антона теплыми, липкими прикосновениями своих ветерков и

почетным караулом потных лошадей и барабанщиков. Он посетил обугленные останки великой библиотеки, оплакал ее погибшую мудрость и обозрел скаковые конюшни, знаменитые своими великолепными арабскими лошадьми и жокеями из потомков легендарных всадников Сиены. Вечером, в присутствии двух наставников, прусского и швейцарского, он имел беседу с двумя юношами-близнецами, которые специализировались на гомосексуальных услугах и любовных играх с мелким домашним скотом. Близнецы с удовольствием вспоминали свои непристойные похождения, зазывно подмигивали князю и предложили показать ему «представление», которое, по их словам, уже высоко оценили принц Уэльский и австрийский наследный кронпринц Рудольф.

Тем же вечером князь был доставлен в губернаторский дворец и смотрел там выступление исполнительницы танца живота, пупок которой источал горький и влекущий запах ивовой коры. Затем гостя доверху накачали крепчайшим кофе и напичкали липкими сладостями — тяжелыми, как свинец, и по вкусу напоминавшими блевотину козла, смешанную с медом. В попытке освежиться он отправился с телохранителями на набережную и прошелся среди тамошних лотошников — все, как один, в белых костюмах и красных фесках и все, как один, с мухобойками из слоновой кости в руках, — одаряя их кивками и слабыми улыбками.

Ночью люди губернатора доставили его в прославленное заведение мадам Антониус. «Единственный в мире публичный дом, где можно подписаться на год вперед», — шепнул ему ученый советник. Здесь князь досконально проверил все сплетни и слухи касательно анатомических достоинств, которыми будто бы наделены девушки Абиссинии, а затем ему предложили приложить ухо к влагалищу одной из них, и по его лицу расплзлась невольная улыбка, ибо шум далеких морей донесся до него из раковины ее плоти, и дивный шелест волн, и даже, ему почудилось, зазывные песни утопленников и плач сирен, и Зога, несчастная албанская служанка, едва не умерла в ту ночь от зависти и потери крови.

«В упоении и блаженстве князь поднялся на палубу «Мирамара» и отплыл из земли фараонов в Святую землю» — так сообщал хроникер экспедиции родителям князя, описывая им мелкие волны у берегов дельты и ее болот, огромных, мягкотелых дюгоней, кувыркающихся в теплой воде, желтизну песков Палестины и мрачность яффских скал. Но на фотографиях виден был только распростертый на постели бледный, изможденный юноша. Александрийские деликатесы все еще ворочались в желудке князя, и десятки гусят были выброшены с «Мирамара» и нашли свою смерть в

соленой воде, ибо даже чайки, эти самые вонючие и прожорливые из птиц, брезговали ими.

В яффском порту князь ожидал очередной губернатор, и на сей раз его борода пахла рыбой и пороховой пылью. Князь пожелал увидеть ступени, по которым спускался пророк Иона, и гребцы подвезли его как можно ближе к скале Андромеды. Обед был сервирован в католической церкви, и там же ему показали хрустальный сосуд с содержавшейся в нем мутной белесоватой жидкостью, объяснив, что это «молоко Марии». В этот момент тело князя пронзила тончайшая боль, похожая на ту, которую ощущают персиянки, когда им изменяют мужья, но доктору Реувену Якиру Пресьядучу князь описал эту боль как «раскаленные песочные часы в желудке», а потом сказал: «Нет! Как кривая игла» — но тут же застонал и уточнил: «Как любовь, только в печени», — и, хотя в каждой боли содержится предостережение и пророчество, он не понял этих намеков, сел в свою легкую двуколку и устремился навстречу Иерусалиму.

Четыре могучих пса бежали рядом с коляской, обнюхивая все вокруг и раскачивая на бегу денежные мешки, привязанные к их толстым шеям. Впереди и сзади ехали шесть колясок с советниками и сундуками. Вокруг стояли шум и пыль, вздымаемые патрулями и военными оркестрами турецкой армии, а также толпами ребятишек, мух, просителей, ослиц и нищих. Перед вечером они обогнали огромную процессию русских паломников, и князь был потрясен, увидев, что в голове и хвосте шествия шагают мужчины, а в его центре движется огромная деревянная телега с водруженным на ней гигантским колоколом весом не менее семи тонн, которую волокут на канатах сотни женщин. Женщины сгибались и стонали от страшного напряжения, а мужчины окропляли их водой и слезами и выкрикивали возгласы поощрения и поддержки. Во главе процессии шагал высокий, крепкий крестьянин с окладистой бородой, лицом поэта и мощными руками. Князь велел своим советникам спросить его, что означают этот колокол и женщины, но паломник лишь скользнул по ним своими устрашающими православными глазами и отказался говорить, и князь продолжал свой путь, как олень, гонимый навстречу убийцам и не знающий своей судьбы.

Вечером путники остановились в маленьком и пыльном городке, что, подобно всей этой стране, мог похвалиться лишь останками старины. Вокруг городка серебрились под полной луной древние масличные рощи с их «деревьями, посаженными еще во времена Веспасиана», как написал в своем ежедневном отчете хроникер; в грязных проулках проступали

очертания мраморных капителей и тесаных камней — скелеты некогда величественных, но давно уже умерших зданий, и фотограф говорил, смеясь, что не может их сфотографировать, потому что они не стоят на месте. Здесь тоже был устроен прием, после которого очередной турецкий губернатор пригласил князя посмотреть любимое зрелище своих солдат — борьбу по-анатолийски. Бритоголовые здоровяки в кожаных штанах смазали тела оливковым маслом и принялись обхватывать и заваливать друг друга. Запахло кровью, грязью и спермой. Князя вывернуло, и его повезли смотреть городские подземные водохранилища, откуда он был поспешно доставлен к церкви, чтобы из последних сил взобраться на ее колокольню. Отсюда, как сказал ему губернатор, Наполеон некогда стрелял в незадачливого муэдзина, который ни свет ни заря поднялся на близлежащий минарет и нарушил императорский сон своими завываниями. Губернатор намекнул князю, что можно — и это даже принято — подняться на минарет какого-нибудь случайного прохожего, чтобы высокие гости могли посоревноваться в меткости с великим полководцем. Но к глубокому прискорбию хозяина князь ограничился лишь тем, что переспал в той же постели, что некогда Наполеон, в обществе клопов, у которых с той исторической ночи не было во рту и маковой росинки. Поутру Зога помогла ему попасть в ту дыру, куда отливал и сам император, и на этот раз князь почувствовал внизу живота режущую боль, как от толченого стекла. Он застонал, откинулся назад и оперся затылком на широкое плечо служанки. Потом он пришел в себя и отправился подкрепиться в англиканскую школу для девушек, понаблюдал там за их вышиваньем, отметил в своей записной книжке: «Все воспитанницы похожи друг на друга, как будто сосали грудь одной кормилицы, и у всех сросшиеся брови — и, несмотря на непрекращающуюся боль в животе, продолжил свой путь.

На горизонте, проступая сквозь вечно висящую в воздухе пыль, начала наливаться голубизной выцветшая стена Самарийских и Иудейских гор. Князь Антон обогнул холм, где некогда стоял город Гезер, спустился в «Долину Разбойников, где Иошуа бин-Нун остановил луну», и бросил, как велит обычай, ветвь крушины в «колодец, что наполнен ядовитой слюной сатаны, и ничего в нем не может плавать». Князь и его свита миновали вонючий турецкий караван-сарай, поднялись по узкому ущелью, стиснутому обнаженными мрачными стенами гор, снова спустились, поднялись, спустились опять и остановились на отдых. Здесь, в излучине ручья, возле маленькой деревушки Колония, князь отведал крупного желтого винограда, чья поздняя летняя сладость обожгла его рот, бросил

несколько монет ребятишкам и выпил холодной родниковой воды, пахнувшей шалфеем. Затем он с большой поспешностью уединился за бархатной занавеской, захватив с собой двух гусят, а когда кончил, караван стал взбираться по вымощенному камнями крутому и петляющему подъему. Именно здесь, поведал ему ученый советник, проходили легионы Тита, и по этому же склону спускался некогда Вечный жид, начиная свой нескончаемый путь. Антон миновал еще две невысокие холмистые гряды, и вот уже перед ним открылся притаившийся в засаде за горой Иерусалим.

Защищенный турецкой стеной, вызвавшей насмешливую улыбку княжеского артиллерийского советника, подмигивающий тысячами бойниц и освещенный закатным солнцем, старый город примерился к своей новой жертве. Для начала он бросил против нее свой испытанный арсенал — стрелы позолоченных башен, сети небес и тот обманчивый свет сумерек, который, кажется, можно жевать. Ноги князя сделались ватными. Разом, словно по команде, винный воздух был вспорот ножами ласточкиных крыльев, ударами сторожевых труб и потным запахом молящихся. Об этой зловонной и душистой смеси «иерусалимских вечерних ветров, пахнущих фимиамом и экскрементами» князь уже читал у Мелвилла, но, несмотря на это, сердце его затрепетало. «Если Господь дарует мне мафусаилов век, я еще тебя завоюю!» — мысленно произнес он, но тут же почувствовал, что уже и сам начинает в этом сомневаться.

Теперь город разостлал перед ним свои обычные вечерние приправы: удлиняющиеся тени башен, пустеющие площади базаров, тонущие в сумерках золотые купола и другие поэтические виды, хорошо знакомые всем его поклонникам. Князь ощутил озноб, обещанный Священным Писанием и туристскими путеводителями и отозвавшийся в его копчике шепотком тончайшей и сладостной дрожи. В своем путевом журнале он записал, что Иерусалим — это «единственный в мире город, издающий запах человеческого тела». Кстати, это замечание отчасти напоминает путевую запись туриста-антисемита Виктора Бурке, написавшего тридцать лет спустя, что от камней Западной стены «пахнет, как изо рта».

Мутасарэф<sup>[2]</sup> Иерусалима, присоединившийся к князю возле Садов Антимоса и перебиривший рядом с ним своими маленькими ножками, остановил его на углу стены, сообщил, что именно здесь Давид поразил Голиафа, и возвестил, что в честь прибытия князя он разрешил христианским церквям и монастырям звонить в колокола — а это находилось под запретом вот уже триста последних лет. Он попросил князя поднять руку, и в ту же минуту все колокола грянули разом, и их эхо разнеслось по высотам. Древние колокольные языки, которые по большей

части никогда не знавали звона и за долгие годы налились настоявшимся желанием и накопившейся яростью, ударили в томящуюся медную плоть, и могучее облако ржавой пыли и веры поднялось и заволокло городское око. Это событие ускользнуло от внимания летописцев, однако оно упоминается у нескольких музыкальных исследователей, в том числе у музыковеда Густава Штернера, который, рассказав о нем в своей «Большой книге колоколов», заключил: «Колокол, а не барабан — вот истинный инструмент катарсиса».

Душа князя наполнилась религиозным пылом, и это превратило его в легкую добычу. Сильный толчок подсек его колени, и в его внутренностях повернулся тупой и горячий меч. Он залился слезами, потерял сознание, был тотчас напоен живительной кровью Зоги и возвращен к жизни. Слуги развернули его великолепный шелковый шатер среди айвовых деревьев Керем-а-Шейха — того сада, что ныне исчез, а в те дни простирался между Башней Аистов и знаменитой старой сосной, семена которой были привезены в Иерусалим еще крестоносцами.

В ту ночь в лагере князя никто не спал. Хроникер покрывал десятки страниц описаниями великолепия и величия древней столицы, фотограф вопил, что сияние ее огней засвечивает ему пластинки, астроном вычерчивал таблицы ее восходов, а генерал запятнал свои простыни, увидев во сне, как она покорно отдается ему. Город, что превращал мозги царей в крошево лжи и безрассудства, вызывал пену бешенства на губах священников и смущал своими вымыслами умы пророков, раздавил несчастного князя в считанные часы. Он просидел всю ночь у сосны, и ему и в голову не пришло, что даже этот могучий исполин, древнейший из всех обитателей Иерусалима, все еще не свыкся с коварством этого города и, будь ему дарованы ноги, давно бежал бы отсюда прочь.

На следующий день князь отправился на Виа Долороза и по завету своих предков-храмовников прошел с закрытыми глазами от Преториума до церкви Гроба Господня, окруженный телохранителями и видениями, которые оберегали его от столкновений с каменными стенами. На Четвертой станции он возложил ладони на следы ног Богоматери, увековеченные в «Мозаике Сандалий», и тело его пронзили обещанные конвульсии. На Шестой станции и он разразился рыданиями; а на станции Святой Вероники по настоянию священников был извлечен белый шелковый платок и с его лица тоже были вытерты слезы, пот и кровь. Все это время князь ни разу не открывал глаз, и поэтому никому не известно, что он видел; но по возвращении в свой шатер он велел фотографу пойти и

сфотографировать только что пройденный им путь. «Шаг — снимок, шаг — снимок», — приказал князь. Сам же он отправился к «Могиле четырех принцесс», что на склоне Сторожевой горы, где ему была показана куча позвонков и ребер, зубов и бедренных костей, напоминавших детали какого-то жуткого детского конструктора. И опять нельзя было сказать, кто здесь дочь фараона, кто Наама-аммонитянка, кто Яэль — принцесса Пальмиры и кто Луиза — святая крестonosцев. «Мертвецы — это самая могучая гильдия в Иерусалиме», — шепнул ему на ухо политический советник на выходе из пещеры.

Тем временем фотограф вышел на крестный путь. Сгибаясь под тяжестью огромной камеры, деревянные ноги которой растопыривались по обе стороны его туловища, сопровождаемый двумя турецкими солдатами и семью ослами, тащившими в своих седельных мешках тяжелые фотопластины, он шел «шаг-снимок» за «шагом-снимком». Поначалу все шло гладко, но, когда он достиг последних станций, тех, что внутри церкви Гроба Господня, греческий патриарх выслал ему навстречу своих монахов с туго завитыми волосами, и те надавали ему таких тумачков, что он едва унес ноги. Наутро, узнав, кем был избитый по его приказу человек, патриарх пришел в сильное смущение. Он поспешил в лагерь, долго кланялся и шелестел рясой, а потом пригласил князя в свою летнюю усадьбу. Они сели в двуколку и поднялись на вершину холма, возвышавшегося к западу от города. Там располагался небольшой монастырь, названный в честь святого Симеона. Они уселись подле маленькой зеленой колоколенки, окруженной кипарисами и соснами; женщина, закутанная в черное, подала угощение из нарезанных кусков дыни с лимоном, сахаром и мятой, и вид, открывавшийся с холма, был отчетлив и живописен.

На обратном пути патриарх ликовал, как малое дитя, рассказывал, что под церковью Гроба Господня спрятана мозаика с изображением Афродиты, остаток ее храма адриановских времен, «и поэтому полы там теплые даже зимой», — подмигнул он внезапно, затем отпустил шутку насчет ежегодного жульнического нисхождения святого огня и спросил, не будет ли ему позволено взять вожжи и поуправлять коляской. «Мужчины не перестают играть в свои игры, даже когда становятся во главе церквей», — оправдывался он.

Спустился вечер. Новые боли плясали в теле Антона. В лагере поджидал его докучливый хор мудрецов, старейшин и раввинов различных еврейских общин, которые выстроились перед княжеским шатром и, не зная толком, из какой страны прибыл высокий гость, на всякий случай пели

гимны всех европейских стран поочередно. Потом вперед вытолкнули молодого еврея, и он преподнес князю перламутровую шкатулку с пятнадцатью семенами пшеницы в ней. Князь, усталый и больной, к тому же ничего не понимавший в тонкостях восточного гостеприимства, не мог и предположить, что эти пятнадцать семян представляли собой микрографические сокровища, на которых уместились все пятнадцать еврейских утренних благословений, начертанных кисточкой, сделанной из одного-единственного волоса. В его воспаленных опухших глазах скользнула улыбка, он пробормотал слова благодарности и разом проглотил драгоценные семена, на изготовление которых ушло полгода кропотливейшего труда. Содрогание прошло волной по лицу еврея, и в ответ ей сходная волна потрясла внутренности князя. Выпроводив гостей и увидев, что его фамильный переносный туалет обступили советники и телохранители, он стал искать укромное местечко, где можно было бы поскорей облегчиться.

Проскользнув между ашкеназийским и сефардским раввинами, все еще препиравшимися, кто пойдет справа, а кто слева от него, он, пригнувшись, пересек пыльную тропу, которая спускалась в долину Кедрона, торопливо присел и опорожнился в тени гигантских валунов, составлявших основание городской стены. Теперь, когда срочность миновала, он сообразил, что забыл взять с собой гусенка на подтирку, быстро выковырял из пыли камень и вытер им зад, как это делают презренные погонщики ослов, а затем с чувством облегчения поднялся и побрел куда глаза глядят, пока не оказался в проеме Баб а-Загары, и молниеносно, будто город всосал его в свою утробу, был втянут в его каменные внутренности, нырнул в них и сгинул.

Люди князя вскоре обнаружили его исчезновение, и их охватил сильнейший страх. Срочно разбуженный мутасареф тотчас впал в истерику и в испуге и огорчении принялся рвать волосы на голове юноши, лежавшего рядом с ним на надушенных простынях. Все вспомнили ужасный случай исчезновения двадцатилетней сестры русского консула, что по прошествии недели была найдена мертвой в раскопках Палестинского исследовательского фонда, — золоченые одежды сорваны, а обнаженное тело запеленато так, как заиорданские бедуины пеленают своих младенцев. Тем временем князь, понятия не имея обо всем этом, шел себе в одиночестве по темным переулкам, дышал полной грудью и с удовольствием тыкал металлическим наконечником трости в щели между булыжниками мостовой. Пройдя под Аркой Лазаря, он миновал двойной вход в Монастырь Белых Сирот, зажал ноздри от смрада крови, который

подымался из бойни шейха Абу Рабаха, и вышел на небольшую площадь, хорошо известную туристам благодаря красноватым камням, которыми она вымощена в память о святой Пелагее. Здесь сельджукские всадники отсекали волосы святой, и кровь, брызнувшая из ее отрубленных локонов, впиталась в каменные поры.

Молчание и темнота царили вокруг. Лишь сверху время от времени доносился похотливый смех. Городские камни источали жар даже после захода солнца, и люди подкрепляли свои силы на плоских крышах. Оттуда то и дело летели вниз остатки недоеденных арбузов и с треском раскалывались о камни. Князь Антон нащупал и поднял одну из арбузных корок и вдохнул ее благоуханный аромат. Повинуясь безотчетному желанию, он впился зубами в остатки того красного и слюны, что липли к огрызку, и стал с наслаждением жевать. Два францисканских монаха материализовались вдруг из темноты, и один из них бросил ему монету, потому что городская пыль уже покрыла одежды князя и приглушила их блеск и в своей низменной жадности он показался монахам обычным нищим. Потом где-то распахнулась дверь, и послышались вопли истязаемой девочки. Князь задрожал, едва не упал, но пришел в себя и побрел дальше.

Внезапно он ощутил, что какие-то тени обступают его сзади. Грабители! — подумал он поначалу и крепче сжал свою трость, подарок отца Рудольфины, его невесты, — трость, у которой набалдашник и острие были из стали, а внутри скрывалась баскская рапира. Три фигуры, с ног до головы закутанные в длинные одеяния, казалось, беззвучно скользили над землей, не касаясь ее ногами. Они поравнялись с ним, две слева и одна справа, прикоснулись к нему мягкими руками, пытаясь то ли погладить, то ли схватить, и забормотали, повторяя: «Хадиду... хадиду...» Их лица и очертания тел были скрыты от глаза, и только певучесть голосов позволила князю понять, что перед ним молодые женщины.

«Хадиду... хадиду...» — твердили они, и князь, не понимавший, чего от него хотят, только улыбался, не зная, что ответить. Он испытывал некое смущение — не того ли рода смущение, которое испытывает западный человек, оказавшийся среди бедняков Востока, брезгующий ими и душой, и телом, но опасющийся задеть их честь, единственное их достояние? Он уже собрался было отделаться от них и перейти на другую сторону улицы, но тут все три девушки разом распахнули объятия, и не успел он понять, что происходит, как они окружили его и заточили в кольцо своих сплетенных рук.

— Хадиду, хадиду, — смеялись они.

— Хадиду, — с трудом выговорил князь, ощутив, как расслабляются его мышцы, боль словно отслаивается от тела и чудесное напряжение пробуждается в его члене, который уже поднял любопытствующую головку, словно почуяв свой шанс еще прежде хозяина. Теперь девушки принялись танцевать вокруг него, и князь, все больше слабея и все шире улыбаясь, начал помимо воли кружиться вместе с ними. Их движения ускорились, их и шали соскользнули, зеленые и коричневые монеты на шеях звенели, как колокольчики. Он спотыкался, его втягивало в этот водоворот, и сладостные пузырьки лопались в его плоти. Он хотел было шагнуть вперед и разорвать кольцо рук, окружавших его, но тут одна из девушек неуловимым движением сбросила с себя длинный плащ, оставшись в одной чадре да в широких и легких грязных шароварах, обнажила покрытые татуировкой точеные груди и принялась танцевать перед ним, бренча крошечными колокольчиками у плеч и отступая назад в непрерывных изгибах, умелых и печальных одновременно. То было не зазывное бречание соблазна, устоять пред которым вполне достанет жизненного опыта да закрытых глаз, а скорее женский жест, вызывающий отклик в любом мужчине, — жест мольбы о помощи. Князь пошел вслед за нею, а две ее подруги, словно охрана, сопровождали его. Внезапно князя охватил страх, и он остановился. Но девушка, шедшая рядом, не промедлила и мгновения. Она быстро заслонила ему дорогу, улыбнулась и, закинув назад распрямленные руки, приблизилась к нему вплотную, пока ее груди не ужалили его в грудь и так мягко толкнули, что он совершенно потерял равновесие. Девушки захихикали, склонились над ним, подняли и отряхнули от пыли, все это время не прекращая щебетать на своем странном языке, и в потоке речи, не разделенной знаками препинания, звучали и поощрение, и извинение сразу, а с их уст не сходило сладкое и раздражающее слово «Хадиду... хадиду...» Они вновь заключили князя в круг своих рук, а когда он обрел равновесие, позволили ему идти самому, не размыкая, однако, все то же непрерывно вращающееся кольцо колокольчиков.

И вдруг вращение резко остановилось, и все три девушки разом прижались к нему так невыносимо близко, что он вынужден был опереться на них, ибо силы уже окончательно покинули его. И с ним — лишь высокие смешливые голоса, пряное дыхание, непонятные слова, маленькие сласти с запахом увядших роз и гниющего миндаля, вкладываемые грязными пальцами в его широко раскрытый рот, молящий о спасении и воздухе.

— *Voulez-vous mourir avec moi?* — прошептал он, словно и слова эти тоже вложили ему в рот. — Не хотите ли вы умереть со мной?

Они достигли конца переулка, как вдруг послышался ужасный рев, который способны издавать лишь немые женщины с Балкан, и меж стен возникла гигантская тень служанки Зоги, что бурей неслась спасать своего господина. Но одна из девушек проворно и ловко подставила ей ногу, и огромная служанка, споткнувшись, ударилась головой о каменную стену, а тем временем две другие уже сдвинули одну из плит мостовой. Достаточно было легкого дуновения в ямку у основания шеи, и князь свалился в древний подземный проход, тянувшийся под улицей, прямо в ожидавшие его в глубине умелые руки, которые медленно, неторопливо обхватили его, уложили на землю и закрыли над ним отверстие в мостовой.

Когда князь Антон наутро вернулся в свой шатер, слуги едва признали его. Рубиновое кольцо исчезло, волосы стояли дыбом, по лицу расплылось плебейски самодовольное выражение. На его носу сверкала татуировка, а на лбу торчал странный гребешок из цветов жасмина, что вызвало понимающие и уважительные улыбки турецких солдат, охранявших лагерь. Они тотчас сообразили, что дочери племени навар подстерегли князя в одном из переулков, завели в древнюю каменоломню, что под церковью Рыб, где скрывались их гашишные притоны, опустошили его кошелек, опоили марианским вином и забавлялись с ним всю ночь напролет. Жасминовым венком, объяснили они княжеским наставникам, наварские танцовщицы награждали тех, кто сумел удивить их тела каким-нибудь доселе неизвестным им трюком, и до князя его удостоились лишь четверо мужчин: двое янычар, бедный пастух из Судана да некий французский кардинал. Вся свита столпилась вокруг одурманенного князя, а несчастная Яога, с огромным синяком на лбу, рыдая, рухнула перед ним на колени и стала целовать его израненные грязные ступни и вытаскивать из кожи и волос на ногах колючки и осколки камней. Потом она внесла его в шатер, раздела донага, и доктор Реувен Якир Пресьядучу, осмоьрев его и обнаружив еще две татуировки, одну на крайней плоти, другую — на ягодицах князя, приказал немедленно оправить его в Европу.

В тот же день шелковые полотнища шатра были свернуты и упакованы в огромные сундуки из кедрового дерева, талеры и франки отправились обратно в денежные мешки на собачьих шеях, золотые вилки и ложки были упрятаны в железные ящики, серебряные и хрустальные кубки проложили шерстью, а оставшихся гусят выпустили на свободу под городской стеной. Князь был усажен в больничную карету с занавешенными окошками, доставлен галопом в яффский порт и оттуда переправлен на канонерку, которая патрулировала берега Святой земли с того самого момента, как он

отправился в свое путешествие. Почти всю дорогу он спал, а просыпаясь, ел с огромным аппетитом, расточал во все стороны бессмысленные улыбки и не произносил ни единого слова. Даже не поинтересовался, где его любимый липицанский скакун и легкая коляска.

Хроникер описывал князя во время обратного пути как «погруженного в раздумья», но на снимке, посланном фотографом, Антон казался, скорее, дремлющим с открытыми глазами и застывшей на лице блудливой ухмылкой. Переодетый в одежду монахини, он был тайком переправлен в знаменитый госпиталь в Льеже. Две недели над ним трудились самые лучшие специалисты: хирурги слущивали с его зада и носа позор той ночи, поэты и священники вылавливали тоску по Иерусалиму из каждой щелочки его души, а терапевты прочищали его запакощенный кишечник клизмами из пепла и лавра.

Что касается его татуированной крайней плоти, то тут возникли серьезные опасения. Никто из врачей не решался взять на себя столь тяжкую ответственность за счастье его будущей жены и продолжение династии. В конце концов решено было пригласить старого еврейского мозля,<sup>[3]</sup> специалиста по обрезанию, из Эльзаса, и тот, невзирая на бурные протесты, антисемитские проклятья и страдальческие вопли Зоги, благополучно совершил операцию и вдобавок сообразил вовремя улизнуть с княжеской крайней плотью в кармане. Три дня спустя появился хранитель дворцовой сокровищницы, представил кожу с княжеского носа и показал любопытствующим придворным, что крохотные завитки, казавшиеся тончайшими линиями татуировки, на самом деле представляют собой не что иное, как поразительную микрограмму, содержащую написанные на иврите двенадцать стихов из двадцать пятой главы Книги Бытия, повествующих о Якове и его близнеце Эсаве. Тотчас кинулись искать и крайнюю плоть, но к тому времени мозль уже продал ее анонимному коллекционеру диковинок, а сам благополучно бежал в Америку.

Миновал месяц. С подживающим носом, облупленным задом и поникшим членом князь Антон взял себе в жены мерзость души своей, австрийскую принцессу Рудольфину. Все удивлялись, видя, что жених не смотрит ни на одну из женщин, присутствовавших на церемонии. Это объясняли тем, что он еще не оправился после путешествия и операций. Никто не понимал, что Иерусалим, который зараженные им переносят в своей крови, куда бы они ни шли, не оставил в покое и эту свою добычу. Лишь три месяца спустя, когда рана его обрезания полностью зарубцевалась, князь Антон снова начал поглядывать на женщин. Но теперь

его вкусы изменились. Он больше не прижимался бедрами к собеседнице и не говорил ей: «Не хотите ли разделить со мной ложе, сударыня?» Понизив голос, с интонацией какого-то жгучего нетерпения он спрашивал: «Не хотите ли вы умереть со мной?» — и взгляд его при этом был таким нездешним и жутким, что женщины понимали — он смотрит не на них, а на собственные воспоминания, и не смели раскрыть рот от ужаса.

В конце концов на его призыв откликнулась некая семнадцатилетняя девушка, приходившаяся ему двоюродной племянницей со стороны матери. То была молодая шведская баронесса Хедвиг Фребом, владелица знаменитых медных рудников в городе Фалун, рано повзрослевшая и не сознававшая своей красоты высокая девушка, которая с младенчества провозгласила своим принципом ничего не повторять дважды. Эта манера, как легко понять, дорого обходилась ее родителям и доводила до отчаяния воспитателей, потому что она никогда не соглашалась дважды отведать одну и ту же еду, повторно надеть один и тот же наряд и снова посетить место, где когда-то уже бывала. «Жизнь вправе оставаться однонаправленной цепью неповторимых событий», — говаривала она. Князь впервые увидел ее, когда ей было три года, а теперь вновь повстречался с ней на банкете во дворце своего тестя. Под конец банкета, когда главный дворецкий поднес мужчинам коньяк, а женщинам миндальный ликер, молодая баронесса оттолкнула свой бокал и сказала:

— Это я уже пила однажды.

Князь предложил ей выйти с ним на балкон и там задал ей все тот же свой вопрос и в тех же словах, которые никому из специалистов так и не удалось извлечь из его плоти. Сердце князя колотилось, как колокол, потому что он знал, что она согласится.

— Да, дядя, — ответила одноразовая баронесса. — Я готова умереть с вами — но только один раз.

Потом она взглянула в сумеречный сад и весьма деловито заметила, что до сих пор еще ни разу не лежала с мужчиной.

Ни следующий день князь отправился с ней в охотничий павильон Гесслеров. Зога ехала с ними и всю дорогу плакала так горько, как плачут пророчицы, видя, как сбываются их предсказания. Когда они прибыли на место, она взломала своим мощным плечом запечатанные двери, проветрила комнаты от тишины и траура, разостлала постель и молча вышла из дома. Антон возлег с возлюбленной один-единственный раз, а затем они подняли четырьмя руками пропитанную кровью простыню, вместе развернули ее против света и вместе прочли и расшифровали будущее, начертанное в ее рисунке.

Князь вынул привезенные им пистолеты.

— Будем стрелять друг в друга или каждый сам в себя? — спросил он.

— Каждый сам в себя, дядя, — сказала баронесса. — Я вам доверяю. — А потом засмеялась и сказала: — Но только один раз.

Князь взвел оба курка и подал пистолет баронессе. Они скрестили руки, как делают шведские солдаты, поднимая тост, и каждый выстрелил себе в висок. Пистолеты грянули одновременно, и судорога надежды мелькнула на лице Зоги, которой послышался только один выстрел. Взревев, она бросилась своим могучим телом на дверь и ворвалась внутрь. Но там она увидела два трупа.

Хотя никто из историографов не присутствовал при самоубийстве, все они единодушны в том, что слова: «Я вам доверяю, но только один раз», а также смех, который их сопровождал, были последними в жизни баронессы Хедвиг Фребом. Касательно последних слов князя Антона существуют две версии, и обе, по-видимому, ложные, ибо обе одинаково правдоподобны. «Книга смерти» Джозефа Энрайта, изданная в Оксфорде, утверждает, что это было: «Да, дорогая, только один раз», однако Фридрих Альтенберг в своих «Знаменитых последних словах» настаивает на варианте: «Надеюсь, вам не будет больно, дорогая».

Третья версия утверждает, что князь не сказал ни слова, ибо, открыв ящик с пистолетами и увидев зеленый цвет войлочной обивки, он понял, что всю жизнь любил только Зогу, раздвоенный язычок в ее гортани, ее кровь, текущую в его жилах, и ее руки, которые могли носить и направлять его. Он никогда не лежал с нею и теперь впервые ее захотел. Но зарядка пистолета и взведение курка относятся к движениям, которые ни одному человеку на свете не дано прервать, и уж наверняка не тому, кто их совершает, а потому князь как бы со стороны наблюдал за тем, как он заряжает, взводит, и скрещивает свою руку с рукой баронессы, и улыбается, и нажимает, зная при этом, что брызнувший мозг — это его мозг, а его кровь — это кровь его возлюбленной.

# ГЛАВА 1

Двенадцатого июля 1927 года около трех часов ночи из Яффских ворот внезапно вырвался «Так» — шикарная легкая коляска, принадлежавшая греческой патриархии. Ей недоставало, однако, привычной группы — самого патриарха, его арабского кучера да белого липицианского коня. Вместо седока и кучера на козлах, сжимая в руках поводья, восседали двое детишек, а вместо коня в деревянные оглобли была впряжена высокая, светловолосая, широкоплечая и красивая молодая женщина.

Несколькими часами ранее, когда ночь только спустилась на холмы Иерусалима, никто и представить себе не мог, какие неожиданности кроются под ее крылами. Подобно всем прочим ночам и эта началась обычным для здешних мест исполненным невообразимой прелестью закатом. Потом город поспешил укутаться в свою прославленную тьму, устраиваясь поудобней, чтоб погрузиться в сон. Из меловых морщин его тела повеяли запахи мочи и пыли, гниющего винограда «дабуки» и зацветшей колодезной воды. Вслед за ними гурьбой заявили и прочие ночные знамения: пророчества, вырвавшиеся из глубин сна, безумные стоны, пытающиеся отдалить приближение конца, голодные вопли кошек и сирот, надежды и ожидания.

Все ждали.

Британский солдат вышагивал взад-вперед у ворот тюрьмы, завершая свою вахту. Карлик-пекарь из Армянского квартала молился, чтобы взошло его тесто. Записки в Стене Плача ждали ангела с шелковой сумой, пересохшие колодцы — дождевых брызг, кружки для подаяний — капанья монет.

Время, этот Великий Учитель, двигалось не спеша.

Продавцы древностей ожидали простаков. Серые скалы — зубил каменщиков. Агунот,<sup>[4]</sup> жены пропавших без вести в мировую войну, — возвращения и освобождения. У Мечети-на-Скале слонялись мавританские стражники, злобно рычали, тренируясь в удушеньях, и поджидали еретика, который осмелится подняться на гору и осквернить ее испарениями своего собачьего дыхания.

Ждали и мертвецы, «самые многочисленные из обитателей святого города». Протягивали кости рук за обещанной милостыней кожи и плоти. Поворачивали пустые глазницы к концу времен, к тому вымышленному горизонту, где земля встречается с вечностью.

В потаенной пещере потягивался на своем ложе царь, скрипел и брэнчал ребрами. Легкий смрадный ветер дул в пыльных подземных коридорах, перебирал струны арфы, висящей в его изголовье, разведал остатки рыжих волос, приклеившиеся к черепу, испытывал остроту царского меча и гладкость щита. Но мальчик, которому заповедано поднести к его челюстям кувшин с живой водой, простодушный, трепетный отрок, который вложит свою маленькую ладонь в его сгнившую руку и выведет из пещеры к истосковавшемуся народу, — тот замешкался и не появлялся.

А на востоке, за Масличной горой и Столбами Азазеля, ждал своего рождения новый день. Двенадцатое июля 1927 года наводило на себя блеск и лоск в честь своего вступления в высокую историю города. Иерусалим, чьи суставы и люди уже утратили свою гибкость, чьи внутренности изъедены каменными опухолями метазами, чьи ночи терзаются воспоминаниями о славе и муках, ждал могучего рывка, освобождающего взлета, парящего шелеста с небес.

## ГЛАВА 2

И вдруг из Яффских ворот нетерпеливо и непочтительно вырвалась эта легкая коляска, с ее сверкающими серебряными крестами на боках, туго натянутой на остов черной тканью, двумя бесшумными, хорошо смазанными колесами и могучей красивой женщиной, запряженной меж полированных оглобель. Двое ее малентких сыновей, один рыжий и рослый, как мать, другой — темноволосый и хрупкий, сидели на кучерском месте, играя поводьями в четыре руки. Оба они отличались тем распахнутым и слегка удивленным взглядом, что свойствен близоруким людям, и, несмотря на их внешнее различие, видно было, что они — близнецы.

Внутри коляски, связанный веревками, с заткнутым ртом, лежал их отец, ученик пекаря Авраам Леви, и бессильно исходил болью и злостью. Он еще никогда в жизни не опаздывал в пекарню. С тех пор как ему исполнилось десять лет и его отправили зарабатывать на пропитание для матери-вдовы, он всегда приходил раньше времени и еще до появления хозяина смешивал дрожжи, разводил огонь в печи и просеивал муку. Сейчас, раздраженно размышлял он, там все ждут в нетерпении — разгневанный балабай,<sup>[5]</sup> приготовленные дрожжи, холодная встревоженная печь, — а его, Авраама Леви, везут, как агнца на заклание, в пропахшей духами коляске христианских священников.

Покрытый пустыми мешками из-под муки и пеной бессильной ярости, маленький щуплый Авраам проклинал тот день, когда он привез свою жену из Галилеи в Иерусалим. У него уже не осталось ни сил, ни терпения выносить ее манеры — эти повадки влюбленной кобылы, как говорили соседки, — из-за которых он стал посмешищем во дворах Еврейского квартала, да и всего Иерусалима тоже. Сефардские соплеменники бойкотировали его за женитьбу на этой чапачуле,<sup>[6]</sup> недотепе, ашкеназы поносили его за то, что он породнился с герами, этими новообращенными из гоев, и даже среди легкомысленных мусульманских юнцов, которые распивали запрещенный арак<sup>[7]</sup> в кофейнях Мустафы Раббия и Абуны Марко, его имя стало предметом пересудов и притчей во языцех.

«Альта альта эз ла луна», — распевали насмешники при виде идущего по улице Авраама Леви, издеваясь над ним на его родном ладино, и крутили при этом красную феску на вытянутом пальце. «Высока-высоконька в небе луна», — намекали они на его низкий рост и на белизну

кожи его жены, которая своей красотой дразнила покой их плоти, являясь им в снах и заставляя пятнать простыни блеклыми пятнами позора.

Булиса<sup>[8]</sup> Леви, госпожа Леви, сварливая мать Аврама, тоже не могла сомкнуть глаз. «Невесточка у меня — коли сыра у нее не купишь, так непременно тумачи получишь, — вздыхала она. — Говорю тебе, Авраам, эта женщина, которую ты привел в дом, — раньше я увижу белых ворон, чем мне будет покой от нее». Правда, предки самой булисы Леви были всего лишь нищими красильщиками тканей, но зато их переселили в город еще во времена халифа аль-Валида. «Валеро? Эльяшар? Кто они вообще такие? — Она надувала свои толстые щеки. Мы уже пятнадцатое поколение в Иерусалиме, а они тут появились каких-нибудь сто лет назад».

«Мы из Абарбанелей!» — насмехались над ней за спиной, но булиса Леви игнорировала насмешки и уходила, покачивая мощными ягодицами. Многие годы она берегла и пестовала переданную ей на сохранение семейную честь, пока не явилась эта кавалья, эта наглая кобыла, и разнесла ее вдребезги. И словно мало ей было того, что невестка у нее нескладная дуреха, так эта дылда еще отказалась набивать и зажигать для своей свекрови наргилу,<sup>[9]</sup> как это в обычае у всех хороших невесток, избива соседского сына, ешиботника и знатока Торы, который всего только потерялся об нее в воротах при входе во двор, выbleвала на пол, когда ее попросили приготовить для семьи мясо, а сама при этом ела один только сыр «рикота», сырые овощи да сладкие рисовые каши с молоком и корицей.

«Подумаешь, принцесса де Сутлач, весь год у нее праздник, — возмущались родственницы и дворовые дамы, собравшись у колодца. — Целыми днями пьет одно только молоко, даже если не больна».

Проходя по каменным переулкам в сопровождении верного и злобного гуся, привезенного ею из Галилеи, она прокладывала путь через хитросплетения обычаев и чащобу приличий, ощущая на себе испытующие взгляды, которыми мерили ее с ног до головы и буравили кожу. Взгляды удивленные, похотливые, любопытствующие, враждебные. Прохожие расступались перед ней, прижимаясь к стенам. Кто с гаденькой мокрой улыбкой, кто с затаенным вздохом вожделения, а кто — брызжа проклятьями. Она с растерянной гримасой, дрожащей в уголках губ, горбилась и вбирала свои широкие плечи, будто пыталась уменьшиться в размерах.

Женщин раздражало, что ее серые глаза очень широко отстояли друг от друга, — признак завидной упорядоченности месячных и здоровья легких и зубов. Мужчин тревожили ее густые золотистые брови. Все знали,

что при таких бровях лобок должен быть покрыт пышными светлыми волосами, каких город не видал со времен крестоносцев, но доказательством этого поверья располагал только Пагур Дадурьян, фотограф из Армянского квартала.

Дадурьян был учеником первого из армянских фотографов, известного монаха Эсава, который оставил по себе знаменитую серию дагеротипов, запечатлевших гору Сион. В отличие от своего прославленного учителя-первопроходца, Дадурьян понял, что фотография имеет и коммерческую ценность. Он основал возле Англиканской арки свою «Студию Дадурьяна» и начал снимать там молодоженов в день бракосочетания, ретушировать бородавки на лицах кади<sup>[10]</sup> и раввинов и продавать открытки этнографического толка ошалевшим от набожности православным паломникам и одуревшим от Востока английским туристам. С этой последней целью он нанял группу бедуинских натурщиков, которые позировали ему для серии портретов, получившей известность под названием «Иерусалимские типы», Types de J'rusalem. Порой он наряжал их как мусульманских мудрецов, порой как еврейских моэлей, что взошли в Святую землю из Хадрамаута, а то как предсказателей будущего из кочевого племени навар. С помощью подходящего грима им удавалось изобразить даже святого Иакова и его девственных сестер, а также Моисея с дочерьми Итро.

Но однажды Дадурьян съездил в Будапешт и привез оттуда огромную усовершенствованную фотокамеру и набор открыток с проститутками, который доказывал, что новый аппарат «способен заглянуть даже под одежды». Слух об этом распространился так широко, что, когда Дадурьян появлялся на улице со своей развратной камерой, женщины с криком разбегались по домам и закрывали железные ставни в наивной уверенности, что это защитит их от могущества ее линз.

«Ты только скажи — да или нет!»—умоляли мужчины, собиравшиеся в «Студии Дадурьяна», и были даже такие, что предлагали ему деньги. Но Дадурьян напускал на себя таинственный вид, предоставляя измученным вопрошателям томиться в сумятице догадок, и говорил, что снимки «желтоволосой еврейки» он никому не покажет.

## ГЛАВА 3

Было три часа утра. Молодая женщина остановила коляску у городской стены и с опаской осмотрелась вокруг. Ее взгляд задержался на нескольких феллах, которые засветло пришли в город и теперь ждали открытия рынков. Они уже сгрузили свои корзины с товаром, сахарот,<sup>[11]</sup> наполненные помидорами и виноградом, стреножили ослы и прикрепили им под морды и под хвосты мешки для еды и помета. Сейчас они сидели на коленях в канаве у Яффских ворот, завернувшись в свои халаты, курили и варили кофе на маленьком костерке из хвороста.

Тремя часами раньше эта женщина прокралась во двор патриархии. Сквозь окна она видела все восемнадцать членов Святейшего Синода. Сняв клобуки и распустив широкие пояса, они сидели вокруг стола своих полных собраний, отхлебывали маленькими глотками коньяк и сплетничали по поводу постыдных обычаев совокупления у коптских монахов. Под прикрытием взрывов их хохота она уволокла оттуда коляску, а теперь терзалась страхом и нетерпением. Ей было ясно, что поутру греческий патриарх тотчас бросится к Верховному комиссару, подымет капризный крик, будет шелестеть своей рясой и тот, конечно же, пошлет по ее следам всю британскую полицию.

Внезапно ослы взревели, замотали шеями и запрыгали на месте в непонятном страхе. Феллахи, бросившиеся их успокоить, увидели коляску и молодую светловолосую женщину, застывшую между ее оглоблями. Их охватил ужас. Зловредные полночные духи кишмя кишели в те дни в кварталах Иерусалима и в воображении его жителей. В летние ночи они выходили из Овечьего бассейна, из пещер Квартала Ущелья и из подвалов Красной башни, чтобы глотнуть свежего воздуха и покуражиться над людьми. Они подставляли раввинам и монахиням ножку на скользких ступеньках, воровали продукты из сетчатых ящиков, вывешенных за окна домов, проникали в иссохшие матки бесплодных женщин и буянили в сновидениях спящих детей.

Молодая женщина опустила оглобли коляски на землю и, пытаясь расчистить себе дорогу, яростно топнула ногой, высоко запрокинула голову и издала жуткий волчий вой. В ответ ей тотчас раздалось страшное гроыхание из самых глубин земли. С вершины городской стены вдруг покатались могучие камни, со всех сторон послышались испуганные вопли людей, крик петухов и собачий вой, стаи голубей и летучих мышей

поднялись из городских щелей, из трещин в башнях, из потрясенных подземелий.

— Эль-амора эль-беда! — заорали феллахи. — Белая ведьма!

И, побросав свои жестяные кружки, мигом разлетелись врассыпную, точно испуганные щеглы.

— Лезьте внутрь, — крикнула женщина маленьким близнецам. Она и сама на миг ужаснулась, подумав было, что ее вопль разомкнул оковы земли, но тут же пришла в себя — глаза застыли гневно и упрямо, и между бровями пролегла глубокая складка. Рыжий мальчик испугался, торопливо заполз внутрь коляски и спрятался за матерчатым пологом возле связанного отца. Но его брат лишь пошире раскрыл темные глаза и остался на кучерском сиденье.

Молодая мать поплотнее приладила упряжь к плечам, снова подхватила оглобли и стиснула их с удвоенной силой. Потом сделала глубокий вдох и пустилась бегом. Несясь мимо рушащихся стен, под дождем камней и воплей, она глотала дорогу длинными легкими шагами, упруго перепрыгивала через раскрывавшиеся под ее ногами расщелины и разрывала телом саван запахов, окутавших город, испарений, что поднялись над горящими пекарнями, над лопнувшими банками пряностей, над смрадными нечистотами, вырвавшимися из канализационных стоков, над лужами растекшегося кофе, оставшегося от тех, кто загодя пришел на утреннюю молитву. Она, которая всю жизнь пила лишь молоко, ненавидела иерусалимский обычай начинать день с чашки кофе и сейчас радовалась несчастью всех своих ненавистников. «Пей, пей кофеек, чапачула, — говорила ей каждое утро булиса Леви, перемалывая своими костлявыми деснами размоченные в чашке бисквиты. — Пей, алокада, пей, тронутая, может, твои мозги придут, с Божьей помощью, в порядок».

Иерусалим трясло каких-нибудь десять секунд. Потом глухой грохот прекратился, но камни все еще продолжали катиться во все стороны, будто в них пробудилась собственная жизнь. История города перетасовалась, как карты. Камни алтаря смешались с камнями городской стены, ядра баллист — с осколками мозаик и банных скамеек. ЗамкОвый камень стал краеугольным, колонны превратились в щебень, потолок — в пол. На Масличной горе памятники прыгали, как игральные кубики, обмениваясь мертвецами под звуки труб и разрушений.

Тем временем похищенная у патриарха коляска, взбираясь все выше на запад, уже пересекла Русское подворье, где паломники, рухнув на колени, возносили Господу благодарность за Его явление, проложила себе дорогу сквозь толпы жителей Нахлат Шива и Эвен Исраэль, в ужасе высыпавших

на улицы, миновала солнечные часы около рынка Махане Иегуда, оставила позади низкие домики квартала Абу Басаль и на короткое мгновение приостановилась между двумя зданиями-«привратниками», располагавшимися в те времена на западном входе в Иерусалим, — сумасшедшим домом слева и богадельней справа. Отсюда город уже начинал редеть и сходить на нет, и его последние дома таяли и сливались с серыми скалами далеко тянувшейся пустоши.

Женщина повернула голову к городу и плюнула со злостью. Потом довольно улыбнулась, завернула кверху подол платья, затолкала его за пояс и снова пустилась в свой легкий бег. Ее босые ноги двигались в темноте с бесшумной уверенностью, точно сильные белые крылья той совы, что жила на кладбище караимов, де лос караим,<sup>[12]</sup> и которой нас, бывало, пугали в детстве. Сквозь маленькие прорехи в матерчатом пологе до меня доносились завистливые и поощрительные крики душевно-больных — завидев нас, они прижались к решеткам своих окон и сопровождали наше бегство тоскливыми и жадными взглядами. Я видел пятно удаляющегося Иерусалима, лицо своего брата-близнеца Якова, со смехом вцепившегося в материнские поводья, видел длинные, без усталости движущиеся крылья ее бедер, вдыхал ее обильный пот, слышал гул ее розовых легких, стук могучего сердца, вгоняющего кровь в ее неукротимое тело. Я представлял себе в мыслях сильные сухожилия ее колен, упругие подушечки пяток, бицепсы, дышавшие под кожей ее бедер, всю ее — мою мать, обращенную Сару Леви, «белую ведьму», «желтоволосую еврейку», Сару Леви из рода Назаровых.

## ГЛАВА 4

Я родился в 1923 году в Иерусалиме, первым из двух близнецов. Отец мой, Авраам Леви, работал подмастерьем у пекаря и со временем стал хозяином собственной пекарни. Человек небольшого роста, с мягким голосом, благодаря своему ремеслу имевший возможность не общаться с людьми. Моя мать любила его беззаветной и бестолковой любовью, которая началась с их первой встречи и закончилась, льщу себя надеждой, раньше ее последних дней.

О том периоде жизни моего отца, периоде до нашего рождения, мне известны лишь немногие детали. Я вообще зачастую не отдаю себе отчета, что у людей была какая-то жизнь и биография и до того, как они пересеклись или соприкоснулись с моей жизнью. Почему бы это? Может, потому, что я рос с братом-близнецом? А может, из-за безудержного чтения? Не стоило бы, наверно, говорить это именно тебе, но что поделать — в основном я не осознаю этого по отношению к своим возлюбленным. Подобно кометам, они приходят из пустоты и, подобно кометам, исчезают в ней.

В доказательство того, что он существовал и до нашего появления на свет, отец обычно показывал два старых фотоснимка, присовокупляя к ним множество историй. Фотографиям я не верил, потому что «Студия Дадурьян» успешно наделяла своих клиентов одеждами любых народов, видами любых стран, а при надобности — также и лицами любых людей. Рассказам я тоже не вполне доверяю, потому что они имеют обыкновение от разу до разу меняться, но поскольку я и сам не из таких уж правдивых рассказчиков, то умею очищать злаки от плевел. Я полагаю, что и ты способна поступить таким же образом с этими моими письмами к тебе.

Как бы то ни было, в ночь нашего бегства отец покинул Иерусалим в третий и последний раз. Первый раз он сделал это из-за военной службы, а второй — чтобы взять в жены нашу мать Сару. «Раз для войны, раз для любви», — говаривал он. Третий раз он отказывался определить.

О своем отце, «хахане Леви», или «Леви-мудреце», он рассказывал чудеса. «Ашкеназские раввины просили у него совета, из сарайи,<sup>[13]</sup> от турецких властей, ему присылали к праздникам подарки, а из Вакфа,<sup>[14]</sup> который заправляет мусульманской недвижимостью в Иерусалиме, к нему приходили, чтобы он их рассудил. Но сквозь эти слова проступал образ едва сводившего концы с концами гладильщика фесок, в доме которого

царили нужда и болезни и пятеро из восьми детей умерли, не дожив и до шести лет. В десять лет отца нашего Авраама послали в пекарню Ицхака Эрогаса зарабатывать на пропитание семьи. «Хозяин у него хороший, — говорила булиса Леви, — хороший, но несчастный». И правда, пекарь Эрогас обращался с ним милостливо и не издевался, как другие хозяева. «Мягкий и добрый, как тесто у армян», — рассказывал Авраам о своем хозяине. Сорока одного года был тогда пекарь — лысый, целомудренный и тощий, и уже числился среди тех, кто так никогда и не женится. В детстве он был жестоко бит палкой рубли, <sup>[15]</sup> учителя малышей, и с тех пор заикался. Старые булисы квартала рассказывали, что не только его глаза, но и все прочие органы источают слезы в тесто и они-то придают его франзулеткам и питам ту особую, воздушную соленость, которая принесла им славу.

«У него дрожжи замешаны на боли», — объясняли они.

И действительно, черные пучки волос страдальчески выпирали из ушей пекаря Эрогаса, унылыми папоротниками свисая на мочки и доказывая всем и каждому, что его плоть подвергается мучительному давлению изнутри. Рабочие в пекарне шептались, что он лепит себе из теста женские фигурки, накладывает черную горку маковых зерен внизу их живота, кладет хевронские изюминки им на груди и наблюдает, как всходят, поднимаются и набухают их белые тела. В одну из пятниц Авраам и сам стал свидетелем большого скандала. В пекарню пришли женщины с накрытыми кастрюлями чолнта в руках. Пекарь Эрогас забрасывал кастрюли одну за другой в глубины печи, пока не приподнял длинной рукояткой своей лопаты подол одной из юбок. На вопли прибежали братья оскорбленной и стали бить Эрогаса плющильными молотками и сапожными колодками до тех пор, пока он не потерял сознание от великой боли и изумления, и только примочки из цветов багрянки и миртовых листьев вернули его к жизни. Он лежал на своей постели, бормотал: «Нечаянно... нечаянно...» — и пачкал простыни кровью и слезами.

Сразу же по исходу субботы собрались мудрецы квартала и приказали свату Сапорте прервать все текущие дела по сватовству и спешно найти женщину, которая успокоила бы тело пекаря Эрогаса и дух всей общины.

Сапорта блаженно улыбнулся. Пекарь Эрогас не был соблазнительным женихом, но сват видел в нем профессиональный вызов, а заодно и возможность решить проблему какой-нибудь из лас йагас <sup>[16]</sup> — женщин, обиженных судьбою и еще не нашедших себе мужей.

«Тенжере и тапон, — утверждал он всегда. — Каждому горшку в

конце концов найдется своя крышка».

Сват Сапорта подал знак, и устрашающая процессия кандидаток — горбуний, безумиц, нерожалок, которых мужья вернули их отцам, несчастных, по случайности потерявших девичество, женщин тугоухих и тугоумных, с гноящейся маткой, с ляжками, пораженными лишаем, с мокнущими подмышками — внезапно появилась из подвалов Иерусалима и поползла к пекарне, как многоножка несчастий. И хотя Ицхак Эрогас в глубине сердца понимал, что не может быть переборчивым, он тем не менее скрылся в недрах своей печи и потел там, пока рабочие не пришли разжигать огонь.

В конце концов для него нашли сироту — «корову с изъязном», хромоножку с дивными черными глазами, раздвоенной заячьей губой и кожей, как нежное яблоко, такой гладкой и душистой, что она стяжала ей прозвище «Мансаньика».<sup>[17]</sup>

— Она будет тебе хорошей женой, — убеждал его сват Сапорта.

— А ноги... — попытался возразить Эрогас.

— Ноги? А что с ногами? — спросил сват.

— Хромает... — прошептал пекарь.

— А ты что? Танцуешь? — спросил сват. — Ноги не имеют значения! — Он наклонился к уху пекаря и сложил ладони лодочкой. — Как раковины в море, сеньор Эрогас. — И он медленно раскрыл ладони. — Ракушка не имеет значения, но стоит ее открыть... вот так... и внутри тебя ждет жемчужина.

Эрогас смутился, и сват положил ему руку на плечо:

— Ну, скажи сам, что главное для мужчины? Самое-самое главное!

— Любовь, — стыдливо пробормотал Эрогас.

— Амор эз соло уна палабра! — фыркнул сват с презрением знатока. — Любовь — это пустое слово. Суета сует. Ни обманчивость обаяния, ни преходящесть красоты, ни даже, упаси Боже, страх Господень не стоят прославления. Самое главное для мужчины — это благодарность. Женщина, которая благодарна своему мужу, сделает для него все. Она и сварит, и постирает, и малышей будет растить, да приумножится их число. Она даст тебе отведать от фигового дерева прародителя Адама, и обогреет тебя зимой, как сунамитянка Авишаг, и охладит тебя летом, как Авигайль с Кармеля, и подкрепит тебя фруктами, как Шуламит подкрепляла Соломона, и доставит тебе такие удовольствия, которых даже Батшева не доставляла Давиду, — такие наслаждения, что мужчина даже в глубине своего сердца боится о них попросить.

Пекарь Эрогас представил себе вкус созревшего Евиного первоцвета и

все те сунамитянские и кармельские радости, которых не удостоился даже лучший псалмопевец Израиля, и все его тело затрепетало.

— Благодарная женщина и бесстрастный мужчина. — Сапорта мечтательно прикрыл глаза. — Это наилучшее сочетание.

— Бесстрастный, — впитывая всем сердцем, повторил впечатленный мудростью свата Эрогас.

— Потому что у женщины, — процитировал Сапорта, — ее орудие всегда наготове. И запомни еще одно. Когда дело идет о том, что «между ним и ею», женщина может притвориться, но мужчина никогда. Не забывай этого.

Но когда дело дошло до того, что «между ним и ею», и пекарь Эрогас взошел на полную благодарности Мансаньику, любовно поцеловал ее веки и погладил ее яблочную кожу, все его бесстрастие улетучилось, словно его и не бывало. Он впервые познал то подлинное блаженство, что подобно боли, времени и любви: все говорят о них, но никто не способен описать их словами.

Тут отец обычно прерывал свой рассказ, экономя детали, и напрямую переходил к печальному концу. Но, несмотря на это, было ясно, что на вершине того, что «между ним и ею», когда пекарь Эрогас попытался войти и целиком спрятаться в фиговом первоцвете Мансаньики и подняться по райским ручьям ее матки, он внезапно почувствовал, будто маленькая и теплая ладонь высовывается из ее тайника, хватает венчик его детородного члена, пожимает его и трясет со странной сердечностью, как будто приветствуя его в своих владениях.

Сердце пекаря сжалось в комок от жуткого страха. Такие неожиданности никогда не входили в скромный репертуар его фантазий. Он тотчас опознал прикосновение руки Броша де лос Новьос, ведьмы-губительницы новичков—тех, что по первому разу. Потрясенный глубиной своего страха и наслаждения, он с горестным воплем выскочил из постели и выбежал из комнаты в переулок. Ужас вселил в него такие силы, что потребовались семь мясников и грузчиков, чтобы скрутить его и приволочь обратно в дом.

С той ночи у пекаря никогда не прекращалась эрекция, и его лицо навсегда осталось бледным, как мел, потому что вся его кровь собиралась в этом постоянном, болезненном и оскорбительном затвердении. Все годы, до самой смерти во время погрома 1929 года, он страдал от телесных мук и душевных терзаний, от любопытствующих и сочувственных взглядов и от насмешливо указующих пальцев. «Женщина страшнее смерти», — предупреждал он Авраама. Он никогда больше не приблизился к

Мансаньике, и все знали, что он ни разу не притрагивался к ней даже кончиком своего мизинца.

## ГЛАВА 5

Был у Авраама близкий друг по имени Лиягу Натан, сын великого микрографиста Бхора Натана, известного своим умением уместить Благословения Иакова на ногте большого пальца, а всю Книгу Рут — на одном голубином яйце.

Когда началась Первая мировая война, Авраам Леви и Лиягу Натан пытались улизнуть от воинской службы. Каждые несколько дней в Еврейский квартал заявлялись охотники за дезертирами, которых приводил штатный осведомитель мутасарефа, некий Аарон Тедеско, — человек, который способен был учуять пот перепуганных людей, даже если они погрузились по горло в колодец или укрылись за каменной стеной. Авраам и Лиягу спрятались в подвале Кортижо де дос Пуэртас, но Аарон Тедеско только повел кончиком носа в сторону мраморной плиты, указав ее приподнять, и обоих тотчас схватили. Уже на следующий день Авраама отправили в Дамаск, а оттуда в Арам Нагараим, в Двуречье, — эти слова поразили мое детское воображение, но в действительности были для отца попросту названием того, что сегодня называется Ираком.

В Арам Нагараим Авраам служил хузмачи, денщиком у офицеров. Он чистил им сапоги, стелил постели, смазывал маслом седла, стирал и гладил их мундиры. Лиягу Натан остался в Иерусалиме. Его семья вышла из города Монастир, что в Македонии, и, как все прочие монастирцы, он был светловолос и светлоглаз и с молодости горел желанием изучать языки, математику и астрономию и размышлять о тайнах бесконечности — том предмете, которым занимались все монастирцы, поскольку в своих горах им доводилось еженочно созерцать небесные тела и глубины мироздания. Теперь Лиягу поразил турецкого офицера своей научной образованностью и знанием языков и поэтому был оставлен в Иерусалиме и провел все дни войны в Бейт-Колараси, что напротив Шхемских ворот, в качестве переводчика и шифровальщика при штабе генерала Кресса фон Крессенштайна.

Через несколько лет после войны Лиягу женился на Дудуч, сестре нашего отца. Женитьба сделала его ревнивым до безумия и косвенным образом способствовала его преждевременной смерти, но отец не переставал скучать по нему, преклоняться перед ним и рассказывать о нем. Он свято верил, что монастирцы «не родились на Земле, а спустились на нее со звезд», и по той же логике утверждал, что их тяга к

астрономическим наблюдениям — не что иное, как тоска по отчему дому. Немного зная тебя, я полагаю, что ты бы назвала это их созерцание звезд «ретроспективным».

Когда война закончилась, Авраам поднялся, взял флягу с водой, немного сушеных фиников, небольшой кусок кишка и пошел обратно в Землю Израиля. Он боялся драк с возвращавшимися с войны солдатами, которые утратили всякий человеческий облик, и этот страх побудил его идти на родину пешком. Кстати, кишек — это твердый и сухой арабский сыр, который, как камень, сохраняется долгие годы, и тут легко соблазниться, превратив его в метафору, ибо стоит его намочить, и он возрождается к жизни, распространяя вокруг свой аппетитный запах и заново обретая приятный вкус.

Мой брат Яков не верил, что отец прошел пустыню пешком. «Да ты посмотри на него, — говорил он мне, когда мы повзрослели. — Он и в сортир-то дорогу с трудом находит. Говорю тебе, таких калек даже в турецкую армию не брали».

Но словечки, подхваченные в турецкой армии, то и дело слетали с отцовских губ. Когда мы слишком быстро смешивали дрожжи, он кричал: «Яваш, яваш»,<sup>[18]</sup> а созывая нас к обеденному столу — «Караванайа».<sup>[19]</sup> Если мы забывали закрыть дверцы гарэ,<sup>[20]</sup> в котором всходило тесто, и оно твердело, он называл его «галата»,<sup>[21]</sup> а порой просил мать приготовить ему «солдатское блюдо» — отвратительное варево из бобов, чечевицы, фасоли и изюма, приготовление которого наполняло дом чудовищной вонью, а его сердце — непонятной ностальгией.

«От страха человек может стать храбрым, как орел Царя Соломона», — настаивал отец на правдивости своего перехода через пустыню. То была единственная героическая история во всем его прошлом, и он никому и ни за что не позволил бы ее отнять. «Днем я прятался, а ночью шел. Шел и пел», — объяснял он моему брату-скептику, мне и себе самому. В турецкой армии он встретился с призывниками из гимназии «Герцлия» и научился у них песням, которых не знали в старых иерусалимских дворах. Его голос звучит громко и приятно, глаза широко открыты, морщины на шее натянуты — он поет:

Там, где нивы Бейт-Лехема,  
По дороге к Эфрату,  
Там надгробье высокое,  
Где древний курган.

Когда полночь приходит  
Из мрака заката,  
Из могилы красавица  
Появляется там.  
И шагает к востоку,  
Где река Иордан.

Камни пустыни рвали его ботинки, рот был полон пыли, а ноги то и дело застревали в норах тушканчиков. Он видел следы дроф, этих пустынных птиц, бег которых так стремителен, что их уже невозможно различить, — одни только столбики пыли, поднятые невидимыми ногами. Он видел глаза рогатой гадюки, выглядывающие из песка, и каменные катышки, оставленные онагром, этим диким ослом пустыни, который не пьет и не мочится, «а дышит через задницу, — объяснял отец, — чтобы слюна во рту не пересыхала».

Но однажды утром, когда отец улегся передневать в тени валуна, он увидел над собой огромную, медленно трепетавшую волну мягкой меди. То были бабочки-нимфалиды, совершавшие свой великий перелет назапад. Они летели со скоростью человеческого шага, и это зрелище настолько возбудило Авраама, что он вскочил и пошел вместе с ними, и темное золото их крыльев освещало его лицо. Под вечер, устав от ходьбы, он лег было на высохшую землю, но не смог вынести холода, вскочил и стал танцевать, размахивая руками. Со всех сторон слышался звук лопающихся скал. Весь день они впитывали солнечный жар, а теперь трескались от жгучего ночного холода.

По ночам пустынные волки проходили чуть не рядом с ним своим быстрым бесшумным шагом, тощие, жилистые, не знающие усталости. Они ели и спали, играли и рожали на бегу, и даже эти волки не замечали его, потому что его запах уже не отличался от запаха пыли, и когда он ложился на землю передохнуть, то совсем исчезал из виду. Закутавшись в маскировочный плащ и вжавшись в песок, наподобие окружающих камней, он лежал на спине и смотрел в небо. Небо в те дни было усеяно великим множеством звезд, и они казались ему крохотными дырочками в сплошной скорлупе, за которой пылает холодное скрытое сияние. Он следил за ними, проводил линии от звезды к звезде, создавал рисунки и созвездия, неизвестные даже вавилонским астрономам, которые смотрели на это же небо и эти же звезды за тысячи лет до него.

Порой он слышал плач пустынных шакалов вдали и позвякиванье

проходящих где-то невидимых караванов, и эти звуки казались ему близкими и пугающими, потому что тогда он еще не знал, что пустыня — как море, она тоже переносит голоса на огромные расстояния. Только по возвращении в Иерусалим, когда он рассказал Лиягу Натану о звуках, которые слышал в пустыне, друг объяснил ему, что благодаря медленности звуковых волн до него донеслись через века плач изгнанников на реках вавилонских, тяжелая поступь армий Пальмиры и Персии и дребезжанье щитов фаланг Александра Македонского, шагавших навстречу своей смерти на Востоке. «Это звуковая фата-моргана, слуховой мираж, — взволнованно объяснял ему Лиягу, — обманчивое эхо, услышать которое удаются лишь немногие избранники».

Затем нимфалиды приустиали, и Авраам продолжил свой путь один. Как-то раз его испугали резкие и пронзительные крики неподалеку — «будто тысяча болгарских девственниц визжала разом», — и когда он вскарабкался на гребень холма, то увидел по другую его сторону бедуинов, которые теснили в загон стадо пустынных оленей. С помощью факелов, криков и барабанного боя они гнали этих великолепных животных к проходу между двумя стенами из земли и камня, тянувшимися на несколько километров вдаль. Поначалу эти стены представляли собой попросту две низкие насыпи, далеко отстоящие друг от друга, и не вызывали никаких подозрений, но постепенно они все более росли и сближались, и к тому времени, когда гонимые животные различали ловушку, им уже не было спасения, потому что стены смыкались к огромной яме. Авраам видел, как они пытались перескочить через стены, падали в яму, ломали тонкие ноги и умирали в ужасе, с лопнувшими венами, отплевывая кровь своими нежными ртами. Бедуины набрасывались на них, оттягивали назад их шеи, зажимали головы меж колен и убивали одним резким взмахом кривого ножа, еще до того, как их душа отлетит от тела и оно станет непригодным для еды.

Спустя десять недель Авраам достиг большого ручья, текущего среди цитрусовых деревьев, и шел вдоль него четыре дня, питаясь рыбой, которую вылавливал из теплых осенних луж, и червивыми сливами, которыми изобиловала долина. По этому ручью он дошел до Ярмука, а оттуда направился к Иордану — тот в это время года обмелел и оскудел. Он перешел реку вброд и тотчас пал на землю. Вот так, в несколько десятков слов, думаю я про себя, отец пересек огромную пустыню. Благодаря отцу я понял, что слово — это самое быстрое средство перемещения, что ему нет никакой преграды и что оно обгоняет не только ветер и свет, но и самую правду.

Оттуда он пошел в Тверию. «Добрые люди из семейства Абулафии» взяли его к себе домой, накормили и напоили, смазали раны на ногах, сожгли рваную одежду, дав взамен другую, и отправили дальше. Он поднялся на вершину хребта и увидел перед собой широкую долину, постепенно понижавшуюся к западу и югу, а за ней — стену крутых гор, прорезанных на юге ущельями. Мелководный ручей струился по дну долины, черные точки коров паслись на сжатых полях, там и сям росла колючая слива, и желтое жнивье позднего лета окружало островки темного базальта. Вороны прыгали по уже вспаханному полю, весело летали трясогузки, кувыркаясь в воздухе, стаи аистов скользили на юг.

В благословенный час спустился Авраам на равнину — тот час, когда солнечные лучи проникают сквозь разрывы в облаках и подрисовывают отдельные кусочки мира, словно хотят обратить человеческое сердце к истинно важным предметам. В одной из таких освещенных клеточек он увидел дома небольшого поселка, мошавы, и направил к нему свои стопы, в надежде, что там для него найдутся еда и ночлег. Он все быстрее шагал по пологому склону, и сердце его ликовало. После долгих дней, проведенных в пустыне, плодородная земля долины и приближавшиеся дома поселка казались ему добрым предзнаменованием. Перепрыгивая через комья, он большим опасливым полукругом обогнул бедуинский лагерь, спустился к ручью, пересек его и стал прокладывать себе путь в прибрежных тростниках.

Внезапно по коже его пошли мурашки. Он огляделся и увидел лежащую на земле молодую женщину в грубом, замызганном платье, которая спала в редкой тени сливового дерева. Он тихонько приблизился к ней, взглянул — и душа его наполнилась восторгом и томлением. Она была высокой, светловолосой и широкоплечей, и грудь ее поднималась в глубоком и мерном дыхании. Волна золотистых волос затеняла лоб, ложась на широкие светлые брови, подобные которым он раньше видел только над усталыми, покрасневшими глазами русских паломниц в Иерусалиме. Женщина спала, свободно раскинув руки и ноги, что было знаком безопасности и детства, но Авраам не умел читать знаки женского тела. Он привык к тусклому и покорному присутствию маленьких иерусалимских женщин и теперь был весь охвачен волнением от ее непривычного цвета, здорового чистого тела и длинных бедер, что вырисовывались под платьем. Он еще не предвидел, что произойдет в будущем, и в тот сладкий и необходимый миг, без которого не обходится никакая любовь, «миг, когда рассудок умирает, как бабочка зимой», подошел еще ближе, так что его тень упала на ее лицо, и сказал: «Шалом алейхем» — мягко и чуть

хрипловато, потому что его горло и нёбо пересохли от сильного желания и удивления.

Лежащая женщина вскинулась, точно лань, из зарослей своего сна и в мгновение ока исчезла. Пораженный Авраам начал оглядываться по сторонам и наконец увидел соломенную голову, выглядывающую из-за базальтового валуна, и широко открытые глаза, голубизна которых потемнела и стала чужой — испуганной и угрожающей одновременно.

— Я друг. Я еврей! — смущенно воскликнул он. — Не бойся.

Она выпрямилась и разгладила свое поношенное платье. Авраам смотрел на нее и улыбался.

— Шалом, — повторил он, но женщина не ответила и не приблизилась к нему. Какое-то время они стояли так, испытывая друг друга, но начал накрапывать дождь, и на ее лице появилось напряженное выражение.

— Ди качес, ди качес!<sup>[22]</sup> — испуганно вскрикнула она. — Отец с мамой меня поубивают!

Голос, вырвавшийся из этого большого тела, ошеломил Авраама. Это был голос девочки, а не молодой женщины. Но девочки из племени исполинов. Он снова огляделся и только теперь заметил пасшихся в поле гусей — словно белые пятна сквозь завесы дождя. Бросившись за ними, он увидел, что девочка бежит перед ним босиком, и шаги ее легки и широки, как у пустынного волка, и дыхание глубоко и бесшумно, как у дикого осла, и все ее тело такое складное, красивое и сильное, что у него потемнело в глазах от страха и страсти. Совместными усилиями они окружили гусей, согнали их и под сплошным дождем повели к поселку.

Авраам смотрел на ее опущенное лицо, на плотно сжатые губы.

— Как тебя зовут, девочка? — спросил он.

— Сара.

— Сколько тебе лет?

— Двенадцать.

— Дами ла мано, Сарика, — сказал он с неожиданной смелостью, потому что теперь уже знал, что она не поймет его слов. — Дай мне руку.

Девочка взглянула на него и его протянутую руку. Никто еще никогда не называл ее «Сарика» или другим ласковым именем. Имя «Сара» было закреплено за ней, когда вся ее семья приняла еврейство, еще до того, как она была зачата и рождена, и родители относились к нему с большой серьезностью и не решались заменять его ласковым прозвищем. Сейчас она стыдливо улыбалась Аврааму, и ее рука дрожала в его руке. Многие годы спустя мы часто слышали, брат Яков и я, ту девочку, говорившую из тела нашей матери звучным, неторопливым и усыпляющим голосом и все

дивившуюся, в перерывах между глубокими страдальческими вздохами и размешиванием теста, когда и почему она влюбилась в этого худого, чужого человека, что тогда так неожиданно появился в поле, протянул ей свою тонкую руку, взял ее в жены, сделал ей детей и искалечил жизнь.

Оглушительный грохот вспорол тучи, и дождь перешел в чудовищный ливень. Платье облепило тело Сары, ее волосы намокли и отяжелели, стали горячими и блестящими, как послед. Серые базальтовые скалы почернели и засверкали. Пар и шипенье поднимались над ними, когда капли первого осеннего дождя касались жара затвердевшей в их теле лавы. Годы спустя, описывая нам ту минуту, она сравнивала этот шепот камней с шипеньем жарких караваев, когда их вынимают из печи и поливают бойей — глазурной смесью — для придания блеска.

Ее семья жила на краю поселка, в бедном доме из черного базальта. Она отодвинула деревянные ворота двора, загнала гусей в загородку, вошла в дом и не пригласила Авраама следовать за ней. Он не знал, уходить ему или ждать, и пока он раздумывал, из дома вышел крупный бородатый человек и жестом пригласил его зайти.

Большая и голодная сирийская овчарка с подозрением обнюхала его, почуяла запахи пустыни, которые собрались в порах его кожи, и с почтительным страхом отошла. Низенькая женщина накрывала на стол. В глубине комнаты трое могучих парней играли речными голышами, ловко перебрасывая их из руки в руку. Сара стояла у стены, распуская намокшие пряди волос. Она выжимала их, как прачки выкручивают простыни, и вода стекала с них ручьем.

С тех пор как я вернулся домой ухаживать за ним и снять это бремя с Якова, отец уже не раз возвращался к описанию той картины, к той девочке, которая врезалась в его сердце и которой предстояло выйти за него замуж, стать его женой и нашей матерью: милая склоненная головка, капли на бровях, носу и ресницах, сильные руки, выжимающие из прядей ручьи и струи. Он говорил с насмешкой, но дождь все испарялся из ее теплых полос, и сильный сырой запах поднимался над ее головой, как густой туман.

Много лет спустя, возле закрытой двери своей жены Леи, мой брат Яков (бледное лицо в морщинах, правая рука с культей мизинца спрятана в кармане) сказал мне, что каждый мужчина хранит в сердце единственный образ своей жены — «портрет перед закрытыми глазами», назвал он его, — образ, выжженный в памяти, как товарное клеймо. «Всю последующую жизнь он накладывает ее на этот портрет, накладывает и сравнивает, накладывает и проклинаяет, накладывает и плачет».

Но отец, который, несмотря на все свои старания, так и не сумел сравняться с Яковом в страданиях и несчастьях, и сегодня говорит нам, как говорил всегда: «Вот так я попался», — доводя нас до бешенства приторностью своего жестокого красноречия.

— Ты там у себя в Америке уже забыл, каково жить с ним под одной крышей, — говорит Яков. — Так сейчас ты вспомнишь.

## ГЛАВА 6

Дед мой, «дедушка Михаэль», был в свое время богатым православным крестьянином. У него были два колодца с черпаками для поливки, укрепленными на деревянных колесах, яблоневые сады, ухоженный тополиный лесок, десять пар быков и сотни гусей. Ты наверняка читала о таких хозяйствах в книгах.

В Астрахани, близ Каспийского моря, в тех местах, где он родился, Михаил Назаров был известен как «Колокольный батька», потому что он регулярно жертвовал деньги на отливку церковных колоколов. Затем, в 1898 году, произошли три события, между которыми нельзя было бы усмотреть никакой связи, когда б не твои расспросы. Князь Антон из дома Гесслеров отплыл в Александрию, в Иерусалиме родился мой отец Авраам, а Михаил Назаров пришел в Святую землю во главе четырехсот пятидесяти паломников, которые тащили с собой гигантский медный колокол для иерусалимской церкви Марии Магдалины.

Колокол отлили в Одессе и поставили на огромную телегу, специально построенную для этой цели. Мужчины дотащили ее до пристани. Оттуда они отплыли в Яффо на корабле «Святая Анна», а там в повозку впряглись женщины. С той минуты никто не говорил, потому что все поклялись хранить обет молчания до тех самых пор, пока колокол не окажется на месте. Еще долгое время спустя можно было опознать участников того паломничества по их походке — они ступали с усилием, согнувшись, как будто выгребали против сильного встречного ветра. Таким же шагом возвращался домой, в свою деревню, и дедушка Михаэль. Он принес с собой небольшую, но увесистую коллекцию камней — с Голгофы, с Тивериадского озера, с горы Фавор и из Вифлеемской пещеры — и добыл даже осколок скалы, которая подпирала собою Крест. Потом он извлек подарки домашним: иерусалимские цветы, засушенные между двумя дощечками из оливкового дерева, жестяную лампу, зажженную от святого огня храма Гроба Господня, расшитые восточные ткани, двух брошенных гусей, которых он подобрал возле Баба-Загары, и белые накидки, которые были смочены в Иордане и уже высохли, но стоило их намочить, как они тотчас издавали прежний запах.

Затем он поспешил к своим деревенским колоколам, и там с ним приключилось нечто ужасное. Как только он потянул за канаты и языки начали греметь, его вдруг поразила страшная боль в суставах. Поначалу он

решил, что надорвал сухожилия, когда тащил огромный колокол, или же подхватил какую-то восточную болезнь, а то и одно из тех гнетущих и зловредных недомоганий, которыми Иерусалим обычно поражает паломников. Но когда наутро боли вернулись с удвоенной, а на следующий день — с утроенной силой и начали звенеть и отдаваться во всем теле, пока не свалили его, орущего и плачущего, на землю, он рассудил, что знак этот —свыше, и понял, что ему надлежит сделать. Он лег на свою лежанку (мать всегда говорила «лежанка» вместо «кровать»), закрыл глаза и увидел в своих мечтах, как он переходит в иудаизм.

Целый месяц деревенский дьякон спорил с Михаилом Назаровым, но так и не смог удержать его от принятого решения. Наш дед остался при своем. Он запряг в повозку трех лошадей, отправился в город и привез оттуда моэля и рабина, чтобы приобщить всех членов семьи к завету праотца Авраама. Перед обрезанием мужчин привязали веревками к большому амбарному столу и влили им в горло по кувшину водки, чтобы заглушить боль, но их страшные и мучительные вопли все равно вырывались из амбара, отражались от заборов и катились в поля. Голуби и пастушьи собаки с перепугу удрали со двора. Только дедушка Михаэль отказался от веревок и потребовал, чтобы его обрезали стоя и обязательно кремневым ножом. Он сдвинул бедра, оперся спиной на балку амбара, зажал в зубах деревянную щепку и, пока моэль отрезал ему крайнюю плоть, истер эту щепку в крошево.

Мать тогда еще не родилась, но она столько раз слышала этот рассказ, что сама ощущала ту отцовскую боль. Рассказывая об этом, она прикрывала глаза, заглядывала в тот амбар и видела его побелевшие пальцы и лицо, сморщенное, как у новорожденного. А после того, как он пришел в себя и улыбнулся своей первой еврейской улыбкой, в его лице уже не было прежних, знакомых черт.

Через год после этого гиюра<sup>[23]</sup> продал новообращенный еврей, гер<sup>[24]</sup> Михаэль Назаров, свой дом и поля, погрузил на три телеги беременную жену, двух сыновей, плуги, домашнюю мебель и мешки с семенами, поцокал языком на огромных волов и на стаю гусей, народившихся от привезенной из Иерусалима пары, и взошел со всем своим имуществом в Страну. Мать родилась на пути в Эрец Исраэль.

Дедушка Михаэль купил себе участок земли в долине, очистил его от камней, выжег проклятие сорняков и злобное своеволие диких колючих слив, и стал пахать, и сеять, и каждое утро благословлять Создателя за то, что Он сделал его евреем и привел в землю «Абрама, Исака и Якова», чтобы обрабатывать и беречь ее. «Все хорошо, Все хорошо», — повторял

он и улыбался чиновникам, которые расспрашивали о его положении, так что те вечно ставили его в пример еврейским поселенцам, которые вечно предъявляли претензии и требования и злились на новых соседей, потому что те не умоляли о помощи и ни о чем не просили.

Иврит геров был беден и тяжеловесен, и молитвенник деда был написан наполовину по-русски, наполовину на иврите. «Я читаю по-русски, — сердито отвечал он насмешникам, — но Всевышний, благословенно Имя Его, заглядывает через мое плечо и читает на иврите». Сара стыдилась ходить в деревенскую школу, а ее родители и братья по той же причине почти не говорили даже друг с другом и превратились в больших молчаливков. Мой брат Яков (который работал у них в дни своей юности, стал их любимцем, привязался к ним и понимал их лучше меня, хотя я больше на них похож) рассказывал, что эту молчаливость переняли и их дети. Мать тоже не умела ни читать, ни писать до самой смерти, а говорила плохо и с ошибками, и это вызывало у отца злорадство и стыд одновременно.

Старый гер медленно произнес благословение пищи, тяжело выговаривая ивритские слова и искоса проверяя, какое впечатление молитва производит на Авраама, а затем объяснил ему, что у них в семье не едят мясо, а лишь овощи, бобовые, яйца, а главное — молочные продукты. «Молоко, молоко», — несколько раз повторил он по-русски, и Авраам, который не понимал смысл слова, слушал и качал головой. Теперь, когда над его головой снова была надежная крыша и печь согревала его кости, волки не крутились вокруг него на мягких лапах и стоны забиваемых оленей не стояли в его ушах, уверенность вернулась к нему, и он поглядывал на хозяев с легкой и скрытой насмешкой. «Ваша мать-гойка, и гой-отец ее, и гой-братья,<sup>[25]</sup> все эти православные, их так пугали правила забоя животных, что они решили вообще отказаться от мяса», — важничал отец перед нами многие годы спустя, и даже день нашей бар-мицвы<sup>[26]</sup> превратил из-за этого в день попреков и ссор.

Он рассказал Михаэлю Назарову, что направляется домой в Иерусалим, и старый гер разволновался. Сам он опасался возвращения в святой град, поскольку Иерусалим знал его по тому давнему паломничеству, которое он совершил в дни своей слепоты, и вдобавок там был тот колокол — звучащее напоминание о грехе и заблуждении. Он смотрел на Авраама, как будто вокруг его головы сияет нимб, и тот, преисполнившись гордости, надкусил обвалянное в горячем пепле яйцо со странным и чудным привкусом дыма и с наслаждением поел овощей, что

геры выращивали у себя во дворе. Сара подала на стол пылающий жаром горшок молочной каши, приправленной кисловатыми зелеными листьями, и он отважился украдкой бросить на нее недолгий взгляд, который, однако, оказался достаточно продолжительным, чтобы вогнать ее в краску и смутить до такой степени, что она опустила лицо в тарелку и сразу по окончании трапезы встала и вышла. Авраам остался с сыновьями и родителями, которые молча сидели за столом, охотясь длинными медленными пальцами за хлебными крошками, оставшимися на скатерти, и устало глядели на него в пять пар восхищенных голубых глаз. В конце концов старик намекнул, что им пора спать, и провел его в маленький амбар во дворе.

Амбар, как и дом, был сложен из теплых черных базальтовых плит. Сбоку были привалены несколько мешков сорго, к стене прислонен арабский плуг, на балках висели рваные хомуты. Рядом с ним кряхтел и сетовал лысеющий конь, словно жалуясь сам себе на утомительную традицию предков, обязывающую его спать стоя. Две тощие арабские коровы смотрели на гостя, а от гусей несло такой вонью и недоверчивостью, что он едва не задохнулся. Авраам, который был очень брезглив и даже в самые трудные времена хранил в кармане флакончик с одеколоном, ридома де колония, слегка покропил из него по-священнически вокруг, как делает это иногда по сию пору. Этот флакончик, кстати, мы с братом не раз имели честь созерцать, потому что отец хранил его, как зеницу ока, и с годами, по мере того, как его брезгливость все возрастала, даже начал кропить из него смущенных собеседников, предварительно коротко и демонстративно их обнюхав, — старея, он становился все более нетерпимым и заносчивым.

Авраам разделся, оставшись в длинном турецком нижнем белье, свернул и положил на камень шинель, чтобы она служила ему изголовьем, улегся на краю полученного от хозяев старого одеяла и накрылся его свободной полкой. Он долго смотрел на протекающий потолок, воображая, будто не может уснуть. У него было странное свойство. С самого дня рождения он спал с открытыми глазами. «Ему снятся дурные сны», — озабоченно, с оттенком сочувствия и уважения, объясняла мать. Когда он возвращался из пекарни после ночных трудов, мы с Яковом обычно прокрадывались в их комнату, чтобы убедиться, спит отец на самом деле или просто притворяется мертвецом. Мы забирались к нему в кровать, строили ему гримасы, высовывали язык перед его открытыми глазами и даже пытались пальцами закрыть ему веки, так что в конце концов будили его и получали по оплеухе: «Я еще живой, поганцы! Чертово семя!» Но мы

не оставляли эту нашу игру, потому что в светлые часы отец, как все ночные люди и птицы, был вечно усталым и замкнутым и играл с нами редко.

Когда он был маленький, этот сон с открытыми глазами перепугал его родителей. Они надели ему на голову детский чепчик, увенчанный амулетами и веточкой душистой руты, и повели к глазной целительнице, булисе Зимбуль. Та сразу определила, что «ребенок крадет сны у самаритян», и наложила ему на глаза две кучки сочащейся зловонной грязи, взятой со дна колодца Элиягу — самого глубокого из колодцев на Храмовой горе. Эта омерзительная примочка немедленно вызвала жестокое воспаление роговицы, так что отец едва не лишился зрения совсем. Маловерные уже поговаривали о том, что нужно срочно вызвать английского доктора Бартона, но булиса Зимбуль в последнем спасительном усилии смазала его изъеденные веки голубым ляписовым камнем. Это сделало его похожим на малолетнюю проститутку, но избавило от воспаления.

Когда стало известно, что булиса Зимбуль сумела вылечить даже такую болезнь, которую сама же и вызвала, ее репутация вознеслась к новым вершинам, но Авраам по-прежнему продолжал спать с открытыми глазами. Охваченная ужасом булиса Леви отказалась от посещения женской миквы<sup>[27]</sup> в Хамам-эль-Эйн и тем самым начисто отторгла себя от мужа. «Ребенок видит», — говорила она и поворачивалась к нему спиной, смыкая испуганные бедра. «Когда я увижу белую ворону или когда он закроет глаза», — провозгласила она в ответ на требование мужа объяснить, когда она соизволит вернуться к выполнению своих супружеских обязанностей. Тогда из Хеврона срочно вызвали слепого мудреца Бхора Бажайо, чтобы он восстановил мир в доме. Бажайо прибыл, восседа на своем ослеповодыре, и вытащил из седельных мешков портняжный метр, сверкающий набор циркулей и загодя зажженные свечи. Он просидел всю ночь рядом с ребенком, каждый час ощупывая своими легкими, как перья, пальцами его открытые глаза, и установил, что они не реагируют на происходящее. Под конец он успокоил родителей и вынес решение, что Авраам ничего не видит, а спит сном праведников, дормир де цадиким, ожидающих прихода Мессии. Страсти улеглись, и девять месяцев спустя родилась его сестра Дудуч.

Когда гуси успокоились, свыкшись с острым запахом одеколона, и Авраам уснул, большая светловолосая девочка вошла в амбар, чтобы набрать щепы на растопку, и на мгновение остановилась над спящим — крылатый гусь в ее объятиях, длинные ноги возвышаются по обе стороны

его плеч, ее юбка над его лицом, как небесный свод, мокрая голова высоко в небе.

Авраам еще долго лежал, замерзший, обессиленный и дрожащий. Ранним утром он проснулся, потому что дивный, томительный и забытый запах ударил ему в нос — запах пшеничного хлеба, который пекли где-то совсем рядом. Он встал, закутался в одеяло и выглянул наружу. Дождь прекратился, небо было ясным и глубоким, запах доносился из маленького сарая на задах двора. Нерешительно ступая босыми ногами, он подошел и глянул через забор. Сара и ее мать пекли там хлеб в глиняной печи. Они шептались друг с другом, и Авраам понял, что они извлекли в его честь пшеничную муку, которую хранили для особых случаев.

Авраам, который за все годы войны ни разу не видел свежей пшеничной корочки, одни только жесткие сорговые галеты, которые крушили его зубы и ранили сердце, втянул в ноздри запах хлеба и понял, что война кончилась, он вернулся домой и на горизонте его жизни возшла любовь. Он отошел к стойлу, упал на земляной пол разразился громкими рыданиями.

## ГЛАВА 7

Зная отца, я могу с уверенностью сказать, что бóльшую часть пути из долины в Иерусалим он посвятил разучиванию своих страданий на войне и в пустыне, чтобы дома произвести впечатление на всех, кто его знал. Но, придя в Иерусалим, он тотчас понял, что на этом поприще здесь славы не стяжать. Тут он встретился со страданиями потяжелее его собственных. Следы голода, болезней и смерти еще не изгладились с лица города. Еще не умолкли рассказы о пережитых ужасах и мучениях. В дни войны в Иерусалиме царил страшный голод. Из домов выбрасывали трупы раздувшихся от недоедания младенцев. Мусульманские женщины подстерегали экипаж мутасарефа, пытаясь сдернуть мешок с овсом с шеи его лошади, а когда он замахивался на них кнутом, срывали с себя чадру, обнажая изможденные лица, на которых скулы заострились так, что грозили проткнуть кожу.

Отец его умер поистине голодной смертью, а старший брат, Ихезкель, которому чудом удалось вырваться из рук солдат, что вылавливали молодых еврейских парней для турецкой армии, был ранен при побеге, и никто не знал, что с ним случилось. Ихезкель, расторопный и дюжий грузчик, таскал бочки с вином и мешки с пшеницей. «Кроткий, как голубка, живущая в Храмовой стене, и могучий, как тот слон, что привез в Иерусалим царицу Савскую». Даже сегодня, после стольких лет, эти наивные отцовские сравнения забавляют меня и бесят Якова. Когда Тедеско пришел за ним с нарядом турецких солдат, Ихезкель сломал доносчику нос, разбросал схвативших его турок и исчез с быстротой молнии. Пуля настигла его вблизи Хамам-эль-Эйна, и он «бежал от тех, кто пришел по его душу, с куском металла, застрявшим в ноге», оставляя за собой следы крови и отпечатки ног, которые тянулись от самых Сионских ворот и терялись среди ракушек на морском берегу возле Яффы. Булиса Леви и Дудуч, младшая сестра отца, остались одни и впали в жестокую нищету.

«Чтобы мы пошли к "этим"?» — не поверила своим ушам булиса Леви, когда ей рассказали, что кому-то из семьи Эльясар удалось раздобыть несколько мешков пшеницы на том берегу Иордана. Но когда голод укротил ее гордыню и она все-таки пошла, у «этих» уже не осталось ни зернышка. Они с дочерью питались полевой травой и сражались с шакалами, с другими людьми и собаками за право рыться в мусорных кучах. Они воровали из козьих кормушек горькие выжимки сумсума и крошили

ослиный и конский помет в поисках полупереваренных ячменных зерен. У них не было ни обуви, ни лекарств, ни крошки угля для обогрева, ничего вообще, и, когда б не помощь шведских и американских миссионеров, что жили у цветочных ворот, они наверняка бы погибли от голода или болезней. Многие девушки торговали собой, и «весь город их слышал. Потому что они были такими тощими, бедняжки, — их кости стучали в постелях, как пуриимские молоточки, тойакас де Пуриим».<sup>[28]</sup>

Наутро после возвращения, когда все слезы радости уже высохли и все соседи повидали пришедшего, Авраам отправился искать своего друга Лиягу Натана и обнаружил, что тот сидит за своим всегдашним столиком в библиотеке «Бейт-Нееман» и совершенствуется в тонкостях глагольных времен в английском языке. Они обнялись и разразились слезами. Отец рассказал ему о своих приключениях в армии и в пустыне, и Лиягу, мягко улыбнувшись, сказал: «Брось, Авраам, забудь. Главное, что все это позади». Сам он, как уже говорилось, отслужил войну в Иерусалиме и внес свою лепту в союз между кайзером и султаном посредством перевода артиллерийских инструкций с немецкого языка на турецкий и рецептов баклажанных блюд — с турецкого языка на немецкий. Отец даже запомнил, что «Баклажаны а-ля Имам Байялдей» были переведены на немецкий как «Der Imam ist in Ohnmacht gefallen», то бишь «Имам, утративший мужскую силу», и со смехом рассказывал нам об этом.

Каждое утро Лиягу выглядывал из окна своей комнаты, дабы убедиться, что другие перспективы были еще хуже. Во дворе Колараси лежали закованные в кандалы рекруты и дезертиры, ожидая отправки на поле боя. Их жены и дети рыдали за оградой, а он, Лиягу Натан, счастливчик, оставался в Иерусалиме.

Только восход солнца нарушал его спокойствие. Монастирцы, народ мыслителей и созерцателей, имели обычай поручать своим юношам научные исследования, и Лиягу, со времени своей бар-мицвы, каждое утро, проснувшись на рассвете, взбирался на Сторожевую гору отметить точное время восхода солнца. Им словно безумие овладело — составить полную таблицу восходов на сорок девять лет подряд, а затем посвятить дни своей старости расшифровке их секретов и взаимозависимостей. Даже сейчас, невзирая на армейские правила, он исчезал с зарей, чтобы забраться на гору и, сделав свои записи, поскорее вернуться.

Однажды утром, когда Лиягу украдкой пробирался обратно в здание комендатуры, ему не повезло и он встретил в коридоре немецкого генерала Фалькенхайна, которому две из дочерей навары взбаламутили в ту ночь все пять чувств. На голове генерала торчал причудливый букетик из цветов

жасмина, а сам он пребывал в похоронном настроении по причине полной выдоенности кошелька и мошонки. Он размахнулся, отвесил Лягу тяжеленную оплеуху и немедленно отправил его в военно-полевой суд как дезертира. Турецкий командир, очень симпатизировавший юноше, доложил генералу, что обвиняемый казнен, и, никому ничего не говоря, запер моего дядю в одном из подземных складов огромного здания вместе с кипой материалов для перевода. Назавтра этот офицер был отправлен в сражение под Газой, где и погиб, и мой дядя Лягу остался в подвалах комендатуры в полном одиночестве, если не считать десятков ящиков с консервами, многих тысяч документов и полуразвалившегося деревянного макета Храма с авторской подписью миссионера Конрада Шика. Позади макета высился большой загадочный деревянный шкаф на колесах с приделанными к нему оглоблями. Поначалу Лягу предположил, что Конрад Шик изготовил заодно и копию Ковчега Завета, но вскоре обнаружил, что внутрь шкафа вмонтированы какие-то складные рычаги, а продолжив обследование, нашел там вдобавок три петли для повешения, устрашающий деревянный кол и сильно заржавевшую малогабаритную гильотину для отрубания пальцев. То был передвижной турецкий эшафот Иерусалимского вилайета.<sup>[29]</sup> Лягу охватил ужас, но затем, по мере того как он по привычке к соседству чудовищного сооружения, а скука и холода стали усиливаться, он тщательно изучил приложенные к устройству инструкции и в качестве развлечения перевел их на все известные ему языки. Затем он взломал дверь в соседнюю комнату, где обнаружил сотни великолепных чучел всевозможных водоплавающих птиц, застывших в прыжке камышовых котов, стеклянноглазых стервятников, наполовину облысевшего гепарда и многих прочих животных, а также банки с заспиртованными пресмыкающимися. То была коллекция некоего Эрнста Гримгольца, лютеранского пастора, видимо питавшего, как и большинство натуралистов того времени, неумемную страсть к убийству и потрошению животных, которая так и проглядывала сквозь все их научные изыскания. Теперь Лягу, этот бесполезный специалист по приготовлению баклажанов, полевым казням и формулам навесной стрельбы, стал еще и бесполезным специалистом по фауне Земли Израиля.

Зима в тысяча девятьсот семнадцатом году наступила рано, и последние месяцы войны мой будущий дядя провел в холоде и одиночестве. От темноты он не страдал, потому что обладал поистине совиным ночным зрением — длительные наблюдения за звездами наделили этим свойством всех до единого монастирцев. Холод же он пытался победить с помощью энергичных подпрыгиваний на месте, беглого

перевода с языка на язык и бесплодных ударов в толстую дверь, а свое душевное равновесие поддерживал тем, что отмечал каждый прошедший день черточкой на стене. Но его отчаяние нарастало. Случались дни, когда жизнь становилась ему постылой. Время от времени он раздражался страшными воплями в надежде, что кто-нибудь их услышит. Но подвальные стены были очень толстые, да к тому же он и сам понимал, что если кто и услышит его призывы, то наверняка примет их за отголоски давних воплей какого-нибудь из тех несчастных узников, что некогда погибли от истязаний в этом подземелье — ведь и самому Лиягу уже порой слышались такие голоса.

В праздник Хануки исполнился ровно год его заточения. В Иерусалиме шел снег, и, когда Лиягу зажег фитили, плавающие в кунжутном масле, и тонким, одиноким голосом пропел песни победы и доблести, он никак не мог себе представить, что в эти самые мгновенья город объявляет о своей капитуляции и англичане входят в его ворота. Месяц спустя, в один из чудовищно холодных дней месяца тевет, он открыл дверь передвижного эшафота, намылил одну из его петель, смазал маслом и проверил рычаг люка и уже встал было на подставку для казнимых, как вдруг со стороны двери послышался громкий стук, а затем — треск дерева, сокрушаемого ударами лома. Лиягу затрясся и закричал по-турецки, что у него нет ключа, но тут дверь рухнула, и в подвал вошли два офицера в незнакомых мундирах. Тот, что помоложе, был в кавалерийских сапогах и в очках с такими толстыми линзами, что они напоминали прозрачные речные камешки. Его звали Артур Спины, и я еще расскажу тебе о нем и о его свершениях. Второй — здоровяк в генеральской форме, с сильным и выпуклым лбом и неожиданно дружелюбным взглядом — телом походил на быка, ладони у него были широкие, как лопаты, а багровый подбородок будто высечен из камня. Лиягу сразу понял, что это британские офицеры, потому что их коротко подстриженные усы не были ни нафабрены, ни навощены. Следующее усилие мысли разъяснило ему, что перед ним наверняка тот самый генерал Эдмунд Генри Хайнман Алленби, чье имя он многократно встречал в материалах немецкой разведки, которые ему доводилось переводить.

Двое англичан были потрясены, обнаружив перед собой странного турецкого солдата с веревкой на шее, в окружении консервных банок, чучел животных и военных документов. Лиягу трясся от холода и страха, хорошо понимая, что, если дойдет до объяснений, он может навлечь на себя большие неприятности. К счастью, он заметил, что взгляд прославленного генерала то и дело обращается к птичьим чучелам, и тотчас сообразил, в

чем его спасение. Расслабив петлю на шее, он поспешил представить ему всех птиц до единой соответственно их английским, арабским, немецким, ивритским, а также латинским названиям.

Алленби, большой любитель пернатых, пришел в совершенный восторг. «Обрати внимание на этого парня, Артур, — сказал он близорукому кавалеристу перед тем, как отправить Лягу домой. — Похоже, что от него еще будет польза».

## ГЛАВА 8

Авраам вернулся в пекарню Эрогаса. Обрадованный пекарь купил ему ботинки и одежду и стал учить всем премудростям своего ремесла—тайне правильной дозировки соли и сахара, что позволяет «управлять дрожжами, комо кавайликос»,<sup>[30]</sup> секрету точных движений лопаты при посадке буханок в печь и при их извлечении на белый свет и ашкеназийскому способу плетения пятничных хал. В порыве доверия Эрогас открыл ему и величайший из своих секретов — умение плевать «армянским плевком» на пылающие кирпичи и расшифровывать шипенье испаряющейся слюны.

Авраам приходил в пекарню около часу пополудни, пробуждал дрожжи к жизни и разжигал дрова в печи. Два часа спустя появлялся и сам Эрогас, пряча побагровевшие от слез и бессонницы глаза. Стоя у печи, пекарь долгими ночами изливал перед Авраамом свое горе-злосчастье. Вот уже десять лет прошло с его первой брачной ночи, а он так ни разу и не притронулся к жене. Злые языки твердили, что в тот час, когда из пекарни начинает подниматься кислый дух, жена Эрогаса, узнав по этому запаху, что тесто уже начало всходить и теперь его нельзя оставить без присмотра, приглашает на свое ложе мужчин «не из наших», — но правда состояла в том, что постель Мансаньики увлажняли только ее собственные слезы.

Первая брачная ночь продолжала жить в памяти несчастного пекаря, и он с откровенностью, даруемой лишь долгим страданием, посвящал Авраама во все ее, самые постыдные детали. «У нее там, внутри, был вроде рот задыхающейся рыбы», — говорил он, с отчаянием выискивая сравнение, которое объяснило бы загадку зубастой пасти, прятавшейся в теле его жены. Одной рукой он насекал канавки в приготовленных для выпечки буханках, «чтоб не лопались, где им вздумается», а другой помогал себе рассказывать, как старухи выжигали на его простынях заклинание «Бог Всемогущий» и разбрасывали под кроватью наживки из молочного варенья.

Видимо, пристрелка этих могучих старушечьих средств не была особенно точной, потому что они поражали не те цели. Лысина Эрогаса покрылась побегами курчавых волос, его профессиональный кашель пекаря как рукой сняло, а боли переместились из спины в большие пальцы ног. Но его вечный страх, постоянная эрекция и непреходящая бледность по-прежнему оставались при нем. В последней отчаянной попытке старухи поставили на его член двух белых голубок, специализированных на

успокоении и размягчении плоти, но те устроились там в идеальном равновесии и уютно ворковали до тех пор, пока пекарь не преисполнился отвращением и отчаянием. Он отмыл плоть от едкого птичьего помета и купил себе длинную широкую ленту египетского полотна — перевязать чресла и прижать строптивый член к животу, дабы он перестал постоянно толкаться и выпирать из штанов, — и с тех пор арабы прозвали его Абуэль-Хизам, или Отец Пояса.

Хромоножка Мансаньика иногда заходила в пекарню и улыбалась Аврааму своей заячьей улыбкой, которую расщелина в ее верхней губе делила точно поровну между смущением и соблазном. Ее кожа источала приятные запахи, напоминавшие о лакомствах с новогоднего стола. Он стеснительно поворачивался к ней спиной, и еще долгое время после этого ее глаза и руки томили его воображение. Но он заставлял себя оторваться от этих видений и возвращался к собственным страданиям, пусть мучительным и докучным, но, по крайней мере, знакомым в мельчайших деталях. С первого дня возвращения в Иерусалим его преследовал навязчивый сон: черные скалы, белые пятна гусей, проливной дождь и большая девочка. Ее мокрая голова вздернута к небу, груди подпрыгивают на бегу, и каждую ночь ее белые, стесняющие дыхание бедра возносятся над его открытыми глазами. Проходя каменными переулками города, он неотступно видел впереди себя те широкие плечи, те ноги, то бегущие, то скачущие по ступеням переулка, те широко расставленные, испуганные глаза, вдыхал запах влажной земли, поднимающийся от ее волос, слышал грубоватый детский голос, произносящий: «Сара», «Двенадцать лет» — и выкрикивающий: «Ди качкес!» В конце концов он отправился к Лиягу Натану и исповедался ему, кровоточа своими тайнами и слезами, словно очищая плоть от яда.

Лиягу усмехнулся. В то время он помешался на кино, и немые актрисы двадцатых годов укрепили его убеждение, что в любви нет ничего, кроме притворства. «Амор эз соло уна палабра», — цитировал он знаменитое изречение свата Сапорты и пророчил, что в один прекрасный день явится «новый Луи Пастер», который откроет тайну слизи, от которой в теле возникают муки любви, и найдет вакцину против этой слизи. Он прочитал Аврааму, что пишут просветительские брошюры о телесных и душевных опасностях, связанных с истощением силы яичек, рассказал ему об общеизвестной посткоитальной депрессии, которой подвержены все до единого мужчины, хотя только йеменцы признают ее существование, а затем пошел еще дальше и провозгласил, что дети наследуют свои свойства как через семя отца, так и через молоко матери.

— Нада де нада ке дишо Кохелет,<sup>[31]</sup> — покончил Лиягу с любовной суетой сует, и Авраам вышел из комнаты своего друга и отправился в пекарню.

— Какой стыд! — цедил он про себя. — Какой стыд!

Несмотря на бедность булисы Леви, Аврааму сватали невест, потому что он был хорошим и надежным работником с репутацией потомка пятнадцати поколений иерусалимских евреев. Но Авраам не обращал внимания на предлагаемых ему девушек точно так же, как игнорировал томные взгляды и вздохи Мансаньики, нравоучения матери и сплетни соседок.

Тогда Лиягу пригласил его в автомобильную поездку. Артур Спини, тот британский кавалерийский офицер, который освободил его из подземелий Колараси, в те дни закончил военную службу, решил остаться в Палестине и, открыв универсальный магазин близ Яффских ворот, нанял Лиягу на работу. Напротив магазина, среди пролетов, что стояли у ворот, был припаркован маленький дребезжащий «форд» — то ли для товаров, то ли для пассажиров, и Лиягу заявил, что «прогулка в автомобиле внутреннего сгорания — самый проверенный способ покончить с воспоминаниями», а затем, уплатив водителю, воскликнул: «Вдохни запах бензина, Авраам, — это запах большого мира!» Но запах большого мира вызвал у отца головокружение, так что возле Сада Антимоса он выпрыгнул из машины, и его вырвало прямо на землю.

Лиягу не отчаялся. Он привел его в рабочую комнатку своего отца, знаменитого микрографиста Бхора Натана. Втедни отец Лиягу пытался уместить Десять Заповедей на булавочной головке и тем самым создать ту абсолютную, «меньшую всякой малости» точку, которую некогда воспевал Лукреций, боготворил Диоген и называл неделимой Демокрит.

Впрочем, микрографист Бхор Натан презирал «греческую мудрость» и говорил, что Лукреций ошибался и точка — понятие не геометрическое, а словесное.

«Только слово не имеет физического существования, и только оно неделимо», — усмехался он.

Авраам огляделся по сторонам и пришел в полный восторг. Крохотные слова порхали перед его глазами, и этот танец черных точек на мгновение заслонил собой дочь геров из Галилеи. Но стоило ему выйти оттуда, и он снова затосковал. Он злился на себя за то, что позволил какой-то нескладной девчонке проникнуть в свои сны, и досадовал на родителей, которые через свое семя и молоко наделили его свойством спать с открытыми глазами. Ночью, когда он пришел в пекарню и стал разжигать

щепки и дрова в печи, ему снова привиделись соломенные волосы, которые горели перед его глазами в языках пламени, точно образ, врезавшийся в сердце и не принимающий утешений. Впав в обычное для влюбленных плачевное состояние духа и весь сжавшись по бхор-натановскому методу микроточечного уменьшения, он так глубоко ушел в себя и в свинцовую тяжесть своей бесконечной тоски, что даже Лиягу не мог вытащить его оттуда.

Так он мучился три года, а потом поднялся и объявил матери, хозяину и другу, что «идет взять себе жену». Булиса Леви издала скорбный вопль, его сестра Дудуч улыбнулась, Мансаньика не промолвила ни слова, Лиягу засмеялся и насмешливо сказал: «Так пали герои!» — а пекарь Эрогас с грустью посмотрел на него, поправил ненавистный пояс, прижимавший к животу его позорище, и сказал, что лучше бы он женился на «женщине из наших» и остался в пекарне. Но Авраам, с той же неожиданной и нестигаемой силой, что вела его через пустыню, собрал припасы в дорогу, взял палку, чтоб отгонять змей и собак, вышел через Шхемские ворота и направился на север, через Самарийские горы.

Он миновал монастырь Святого Стефана, трижды сплюнул на месте стоянки Тита, «как причитается этому разбойнику», прошел вдоль стены огромного сада, примыкавшего к храму Гроба Господня, подле которого разъяренные католики и греческие православные швыряли камни друг в друга, и спустя три часа, добравшись до скалистой горки с могилами Сима, Хама и Яфета, собрался с духом и присел отдохнуть у могил. Дурное это было место. Здесь всадники-крестоносцы из Сиены некогда убили рабби Якова Аарона, который доверился силе своей молитвы и защите первосвященнического нагрудника, вышел из-за стен города и стал проклинать их стоянку. Здесь Рицпа, дочь Айя, некогда оплакивала своих повешенных сыновей, и по утрам на окрестных скалах еще можно было увидеть блеск ее слез, ибо слезы матери, потерявшей своих детей, не просыхают никогда.

«Но никто не сделал мне ничего плохого, — продолжал отец удивляться своему везению еще и в те дни, когда рассказывал эту историю нам. — Ни человек, ни зверь, ни ядовитая гадюка, ни скорпион».

Гиена и гадюка следили за его шагами, принюхивались к его поту, сладкому, как у всех влюбленных, и уходили с дороги, давая ему пройти. Кассия, кактус и каперс втягивали колючки, чтобы, упаси Бог, не коснуться его кожи. Феллахи, трудившиеся в полях, смотрели ему в глаза, поили водой, кормили маслом и сыром, оливками и луком, плодами и хлебом и провожали взглядом, когда он поднимался, благодарил их и шел дальше к

горизонту своей любви. Всю дорогу он видел пятно соломенных волос, которое шло перед ним, подрагивая, как хвост газели, длинные, широко шагающие ноги, которые пинали мешавшие ему камни, отбрасывая их с его пути.

В Вади-эль-Харамин из-за скал выскочили конные разбойники, сорвали с него вещевой мешок, сломали палку и раздели донага.

— Куда ты идешь, смертник? — спросил главарь разбойников, невысокий худой человек с глазами разного цвета — один карий, другой голубой.

— Взять себе жену. — И Авраам прикрыл руками свой срам.

Разбойники расхохотались, подняли лошадей на дыбы и, развеселившись, принялись палить из ружей в воздух, но в разгар этого веселья его простые слова проникли сквозь грубость их костей и порочность их плоти, а его печаль и тоска сокрушили их сердца, и они посерьезнели, умолкли и вернули ему одежды.

— Открой рот, — приказал главарь.

Авраам зажмурился и разинул рот в ожидании стального ствола, который раздробит ему зубы, и кусочка металла, который пронзит его мозг. Но вместо этого он ощутил только, как два шершавых теплых пальца, пахнущие саманом и шалфеем, пеплом костров и ружейным маслом, касаются его губ, раздвигают челюсти и лезут ему в рот. Разбойник положил ему под язык тяжелую круглую золотую монету и поцеловал в обе щеки. Потом он дал ему большую связку сушеных фиг, новую палку, полосатый халат, посадил на лошадь, и вся банда скакала за ним в течение двух долгих дней, пока не вышли они из гор в долину, где Авраам попросил оставить его одного, потому что он не хотел являться к возлюбленной в окружении «разбойников и необрезанных».

Придя в селение, он первым делом направился в дом мухтара,<sup>[32]</sup> болгарского еврея по имени Якир Альхадеф, язвительного толстого человека с заложеными за пояс большими пальцами рук.

— Зачем пожаловал? — спросил Альхадеф.

— Сосватай мне девушку Сару Назарову, — сказал Авраам.

Альхадеф чуть не задохнулся от смеха и изумления.

— Тебе не нужен сват, — сказал он отцу. — Несчастные геры отдадут свою дочь даже обезьяне, если она будет еврей из семени праотца нашего Авраама. Она даже в школу ходить не хочет, эта кобылка. — Затем он посерьезнел. — Слушай, ты же из наших. Зачем они тебе? Мало тебе девушек в Иерусалиме?

Но Авраам напустил на себя отрешенный вид по уши влюбленного

человека, и Альхадеф, поняв, что его гость не видит и не слышит ничего, кроме отражений собственной фантазии, поднялся и отвел его в дом Назаровых.

Старый гер, его жена и старший сын сидели у стола. Сара подала воду, хлеб, овощи и сыр, обдавая Авраама потупленными взглядами и запахами дождливой сырости, которой никогда не суждено просохнуть. Плоть его таяла. Ей шел уже шестнадцатый год, но она совсем не изменилась с тех пор, как он видел ее, тремя годами раньше, потому что в его снах она тоже продолжала взрослеть. Он сдержал дрожь в коленях и ограничился, так я себе это представляю, тонкой улыбкой, исполненной сдержанного достоинства. Михаил Назаров осведомился о его здоровье и стал расспрашивать о работе и семье, и Авраам отвечал на каждый его вопрос подробно и уважительно, хотя понимал, что старый гер уже все решил и готов отдать ему свою дочь в жены. Однако, прежде чем они с Альхадефом покинули дом, к ним подошел вдруг старший брат, приблизил свое могучее тело почти вплотную, наклонился, тихо сказал прямо в испуганное ухо Авраама: «Ты води себя хорошо с нашей Сарой, иначе берегись, мы татар!» — и вышел.

На следующий день Авраам отправился в Тверию к семье Абулафия, тем «добрым людям», что приютили его по возвращении с войны, передал им приветствия от иерусалимских родственников и провел у них около десяти дней. Еще неделю он просидел в доме Альхадефа, пока заканчивались все необходимые приготовления, а потом рав Иосеф Абулафия прибыл из Тверии, привязал своего осла у конюшни геров и поженил своих родителей во дворе поселковой школы.

После хупы молодые удалились в приготовленную для них комнату в доме Назаровых. Целый час они лежали рядом и дрожали от любви и тоски, которых не утолила даже их встреча, а потом наша мать встала с кровати и повела отца в поле. Испуганный и босой, шел он за нею, поджимая ступни, чтобы уберечься от комков и колючек. Ее белая рубашка указывала ему дорогу, пятно ее волос светилось в темноте, и, когда они уже лежали, обнявшись, на земле, и ее тело приняло его в себя из трясины страданий, отец вдруг начал плакать. Не плачем радости или любви, а теми слезами, которыми плачут мужчины, когда у них рождается первый ребенок. «Плач, который выдавливает слезы из костей», — как говорила мать каждый раз, когда вспоминала об этом многие годы спустя. В ту ночь отец касался ее своими глазами, слышал своей грудью и видел своими ладонями, а на рассвете, когда его разбудили пение рыжих славок и роса холодной земли, он обнаружил ее лежащей за собой — его тело сложено во

впадине между ее грудью и бедрами, ее дыхание греет ему затылок, одна ее рука поддерживает его шею, а другая укрывает его грудь и сердце.

## ГЛАВА 9

Кто я?

«Я родился в Бландерстоне, в графстве Саффолк. Я был сиротой — мой отец умер еще до моего появления на свет».

«Я родился в 1910 году в Париже. Мой отец, человек мягкий и деликатный, был владельцем гостиницы».

«Меня зовут Томи Стаббинс, сын Якова Стаббинса, сапожника из Грязева, что на Греческом болоте».

«Мой бедный отец был владельцем фирмы «Энгельберт Круль», выпускавшей шипучее вино».

«Между мною и отцом никогда не было настоящего мира. Казалось, он тяготился мной с самого моего рождения».

Близорукость толкнула меня в объятия памяти и книг. Там, на их страницах, я открыл отчетливые очертания людей, объяснимые переплетения судеб, никогда не расплывающийся горизонт — тот, что простирается за глазами, а не перед ними.

Даже сегодня я произвожу сильное впечатление на собеседников цитатами из Диккенса и Мелвилла, Черниховского и Гофмана, Вазари и Сарояна, Набокова и Филдинга. Но друзей я в их книгах не нашел. «Ибо что мы ищем на страницах книг, если не отражение нашего собственного лица?» — вопрошал Роберт Луис Стивенсон. Забавно, что именно Жюль Верн, который много чего мог порассказать и мало чего сказать, познакомил меня с Мартой и Надей, изобразив в них облик материнства и черты лица любви. Но и тогда на глаза мои не навернулись слезы. Как сказал Гораций начинающему поэту: «Если ты хочешь, чтобы я заплакал, ты должен заплакать первым». Я сильно подозреваю, что все эти пишущие сами не плачут никогда.

Большая светлая девушка заполнила пространство маленькой комнатки приятным запахом молока и поля. Воцарилась тишина. Между жирными коленями булисы Леви росла на тряпке влажная куча шелухи от арбузных семечек.

— Тьфу, хамса-мезуза!<sup>[33]</sup> — сорвалось наконец с ее губ. — Тьфу, прости Господи! И это та самая женщина, Авраам? Та невеста твоих снов, что ты нам привел? Да нее каждое платье будет стоить вдвое! Из тряпок, что на нее пойдут, хватило бы пошить на целую семью.

«Первое ее слово было «тьфу»! — не переставала мать ворчать в

последующие годы, пятная свои воспоминания обидой и гневом. — Не хотели меня там. Только Дудуч, эта меня любила».

Тии<sup>[34]</sup> Дудуч было тогда лет пятнадцать. Она глянула на свою новую невестку, и у нее захватило дух от восторга. Запах матери, ее сила, спокойное движение мускулов под белой кожей рук — все возбуждало в ней любовь и томление. Сара, которая была старше Дудуч всего на год, смущенно улыбнулась ей и в изумлении оглядела комнату. Она была простая девушка, которая пасла гусей и не умела ни читать, ни писать, и теперь ее зрачки расширились, желая вобрать еще и еще. В доме ее отца властвовали плесневатые оттенки коричневого, серого и черного, а здесь на полу был расстелен многоцветный ковер, кушетки были украшены расшитыми тканями, и повсюду лежали блестящие подушечки. У стены стояли два больших, окованных сундука, а посреди комнаты багровела жаровня с углями. Ее восхищенные глаза не заметили ни разводов сырости на стенах, ни пустых банок из-под керосина, которые подпирали кушетки, ни заплат на обивке мебели.

На стене висело большое зеркало с двумя боковушками, которые отражали человека с обеих сторон. Сара вплоть до этого дня видела черты своего лица только в маленьком ручном зеркальце директрисы поселковой школы, госпожи Иоффе, а все свое тело — лишь в спокойствии больших дождевых луж. Она с любопытством подошла к зеркалу, увидела, что ее руки все еще сжимают большого гуся, и тотчас, смутившись, выпустила его. Испуганный гусь захлопал мощными крыльями, и зеркало разлетелось на тысячи осколков. Вопль вырвался из уст булисы Леви. Сара пришла в ужас, опустилась на колени и стала собирать острые стеклянные обломки своего отражения. Дудуч нагнулась ей помочь, и вскоре их окровавленные пальцы стали соприкасаться. Когда они кончили, Дудуч улыбнулась и предложила матери жареные каштаны, миндаль и горячее, сладкое вино.

Затем Авраам вышел во двор, и булиса Леви поспешила вслед за ним.

— Есть вещи, которые никогда не смешиваются друг с другом, Авраам, — сказала она ему из-за деревянной перегородки общей уборной. — Собака не смешивается с кошкой. Яблоко не смешивается со шпинатом. И мы с этими тоже не смешиваемся.

В ее устах слово «они» означало заносчивых старейшин ее собственной общины, а «эти» — всех чужих. Авраама, присевшего над дырой отхожего места, жестоко несло, и он ничего не ответил, но его мать знала, что на смущенном лице сына обозначились складки огорчения и страха. Она возвысила голос, чтобы все соседки смогли услышать и запомнить то, что она сказала.

— Раньше я увижу белых ворон, чем ты увидишь хорошее с этой женщиной. Она не из твоего ребра, Авраам, она принесет нам одни несчастья.

Ночью они с Дудуч легли в одной кровати, Авраам и Сара в другой. «И что она принесла в дом, эта кобыла? Одного гуся, и тот сумасшедший! — жаловалась булиса Леви на приданое своей невестки. Она знала, что все лежат на своих простынях и никто не спит. Ее голос пилил темноту комнаты. — Большая, как лошадь, белая, как больная, и ломает все, до чего дотронется».

На следующее утро соседкам по двору были доложены прочие необходимые факты, к вечеру о них уже знал весь Еврейский квартал, и потребовались еще два дня, чтобы Иерусалим додумал все остальное. Цвет, глаза и привычки этой огромной девушки будоражили сплетниц и распирали их рты. Она то и дело крестится за столом, шептали родственницы. Во время месячных она прячется в закрытой комнате, покашливали соседки, а еду ей передают в окно, словно караимке. В банный день, сразу по возвращении из миквы, заходились старухи: она толкает Авраама на пол и скачет на нем тем наглым и мерзким галопом, от которого приходят на свет недоноски и бесовская нечисть.

Сплетни заполнили двор и вылились наружу, поползли вместе с грязью водосточных канав и предшествовали своей жертве, куда бы она ни шла. По их следам пришла зима и с ней тонкий и режущий иерусалимский дождь, ветер, рвущийся из городских подземелий, и холод, отрыгаемый расщелинами городских стен. Все лето камни плевали пылью, и теперь дождь смывал ее мутными, ледяными ручьями, стекавшими по переулкам. Ящерицы уползли в пустыню, маленькие певчие птицы перекочевали в Иерихон, и только большие вороны, жившие на соснах Армянского квартала, остались в городе, то и дело пролетая над ним и хрипло выкрикивая древние ругательства на всех языках, которым их предки научились от солдат и паломников.

Через год после прихода в Иерусалим Сара родила дочь, большую и красивую девочку. Повитуха сунула роженице в зубы щепку, и все время родов влажное пятно на потолке роняло на ее лоб капли воды. Большой тополь стонал во дворе, яма для дождевой воды заполнилась до краев, а в жаровне шипели угли. У девочки были прелестные голубые глаза, длинные и крепкие ножки, в которых не было ни одной складки детского жира, и все ее тело покрывала тонкая и рыжеватая шерстка, как у бесенят. Этот рыжий пух испугал весь Еврейский квартал, а пуще всего Авраама, которого не могли успокоить ни генетические объяснения Лиягу, ни заверения

вернувшегося в тот год из медицинской школы в Париже доктора Коркиди: «Эти волосы выпадут». Он слышал шепотки о «твари», которая у него родилась, и уверовал в правоту своей матери. «Тогда я понял, что все было ошибкой. Что моя мать, светлая ей память, была права. Белые вороны никогда не появляются, масло и вода никогда не смешиваются, бык с ослом вместе не пашут.

Но Сара любила свою маленькую дочь всей душой, потому что, не считая рыжего пуха, она очень походила на нее во всем и была в ее глазах не только дочерью, но и сестрой, и союзницей. Она привязала ребенка простыней к спине, носила ее, как носят арабские женщины, и не расставалась с ней ни на минуту. Когда она ее кормила, то выплакивала ей все свои обиды, а когда ребенку исполнилось четыре месяца и он умер в колыбели, весь Иерусалим дрожал от ее страшного поминального плача, в котором слышалась жуть завываний горных волков, и страховерть зимних ветров в бойницах городских стен, и изумленность того мычания, что поднимается над бойней.

«Она издавала звуки, как животное». Отец извлекал из памяти скудное воспоминание. Обычно, когда я в детстве спрашивал его о нашей старшей сестре, он вообще отрицал ее существование, строил диковинные гримасы недоумения, притворялся глухим, а в конце концов, когда я очень уж надоедал, предлагал, вместо ответа, показать мне теневые силуэты на стене. Лишь много лет спустя, в одном из писем ко мне в Штаты, он написал, что «твоя мать» целую неделю лежала с маленьким трупиком в кровати и кричала: «Не под маслинами... Не под маслинами...» — а гусь не давал никому приблизиться к ней, «и хорошо, что стояла зима и ее малая не завонялась».

В конце концов доктор Коркиди оттолкнул гуся, вошел в комнату, стал гладить Сару по волосам и говорить с ней от сердца к сердцу, положив свои маленькие теплые ладони на ее влажные виски. Она ухватилась за его запястья, поднялась с постели и позволила могильщику Якову Парнасу войти и забрать ее дочь для погребения. Мать Парнаса помыла ребенка и завернула его в саван, привязала маленький, уже затвердевший, как камень, труп к деревянной доске, на которой носили мертвых младенцев, и Яков Парнас отнес его на своих широких плечах на детский участок на Масличной горе. Так они хоронили детей в те дни, самым ужасным из погребений, потому что из-за страха и чувства вины никто не провожал умершего ребенка в последний путь и даже имени его не высекали на надгробном камне.

Смерть девочки, словно некий общественный приговор, узаконила

правоту тех подозрений и неприязни, которые наша мать Сара вызывала у всех окружающих, и теперь эти чувства начали проникать и в душу Авраама. «Любовь не убивают мечом, — сказала много лет спустя Шену Апари, женщина, о которой я еще расскажу тебе в свое время. — О, по! Любовь мучают булавочными уколами. И она никогда не умирает. Никакая любовь не умирает. Jamais! Она только кричит, любовь, она только крошится, она только тает, но она никогда-никогда не исчезает насовсем».

## ГЛАВА 10

В те дни, когда страдания захлестывали ее душу, Сара исчезала из дома в поисках открытых мест, где можно вдохнуть полной грудью, и трав, в которых можно было раскинуться и поваляться. «Понюхать цветы, — говорила она. — Понюхать цветы и повидать деревья».

Город окружали бесконечные голые поля, усеянные рытвинами и камнями, и редкие кварталы за его стенами выглядели маленькими, испуганными островками, что словно плыли, покачиваясь, в диком безбрежье пустошей и скал. Иногда она выходила через Шхемские ворота и шла в сторону квартала Меа Шаарим. К северо-востоку от него каждую зиму собиралось большое озеро, где по краям росли камыши, в воде царствовали жабы, а на берег порой садились заблудившиеся аисты. В другой раз она шла по Яффской дороге к Саду Антимуса, чтобы поглазеть через каменный забор на фруктовые сады и виллы, и я полагаю, что именно там она впервые увидела коляску греческого патриарха. Оттуда она быстро сворачивала в сторону Ганджирии, где в те дни начали вырастать первые дома, за которыми она открыла долину, ставшую ее укрытием и убежищем. Бывало, она звала своего гуся, выходила из Яффских ворот, проходила рядом с универмагом «Спини», заглядывала внутрь и здоровалась с Лиягу Натаном, потому что знала, что Дудуч вздыхает о нем, а затем продолжала свой путь по краю мусульманского кладбища, над которым постоянно висело зловоние стоячей воды, и боязливо пробегала по тропинке мимо входа в древнюю пещеру, потому что в ее глубинах жил старый лев — он охранял там скелеты праведников, настолько рассыпавшиеся, что уже невозможно было понять, как они сумеют собраться вновь, чтобы облечься плотью. Запыхавшись, она достигала склона высотки. Здесь францисканцы строили свой новый колледж. Сбоку уже стояла, склонив голову, мраморная Дева, прислоненная к стене в ожидании канатов, которые поднимут ее на крышу здания.

Напротив высилась ветряная мельница, и рядом с ней каменотесы-московиты строили первые дома квартала Рехавия. Строители были уверены, что Сара — обычная русская паломница, купившая себе местную одежду, и судачили о ней на своем ломаном иврите. Заметив, что она краснеет и, стало быть, понимает их слова, один из них поднялся и пригласил ее разделить с ними трапезу. Сара, однако, испугалась и убежала. Временами я думаю, что лучше было бы ей откликнуться на приглашение

этого парня, который способен был полюбить ее той любовью, какой она — по преданности сердца, по силе тела, по прямоте характера — заслуживала. Но мать, словно не обращая внимания на эти мои раздумья, продолжала бежать все дальше на запад, спускаясь по пологому склону в долину, к расположенному в ней монастырю.

Здесь, на склоне, росли старые оливковые деревья с искривленными стволами, изъеденные и ислеканные, как трупы, из могил которых смыло землю. Ее всегда дивили эти мертвые на вид стволы, кроны которых ликовали такой свежей серебристой зеленью. Узкая колея железной дороги тоже петляла тогда извивами по долине, и порой на ней появлялся маленький, до блеска начищенный армейский локомотив и энергично тархтел к северу. Отсюда долина спускалась на юг и таяла среди округлых, обнаженных гор. В послеполуденные часы по ней гулял приятный ветерок, шелестел кронами олив, взметал желтые, высохшие семена и раздувал прозрачные юбки марева, розовевшие в свете заходящего солнца. Вдали виднелись два могучих дуба, и однажды, добравшись до них, она увидела феллашек из Малхи, которые танцевали между стволами, поднимая вверх больших кукол из тряпок и соломы и молясь о дожде, и, хотя они звали ее к себе, она не отважилась приблизиться и потанцевать с ними и только улыбнулась им издалека.

И центре долины высилось огромное здание — Муцлаби самый старый и самый большой монастырь в Стране. Его стену поддерживали покрытые лишайником и мхом могучие каменные подпоры, которые напоминали какое-то первобытное животное, что в паническом бегстве рухнуло на колени да так и окаменело. В стене виднелась маленькая дверь, прикрытая, словно глаз, нависшей бровью ползучих растений. Над стеной поднималась темная и острая верхушка кипариса, который казался матери узником, потягивающимся в своей тюрьме. В стене было также несколько смотровых щелей, и временами монастырь подмигивал сквозь них: маленькое окошко открывалось и тут же закрывалось снова.

Время от времени это место заполнялось семинаристами и священниками, приезжавшими из Греции, но большую часть года там жил лишь один монах, родом из Кандии, что на Крите, со своей сестрой и матерью, одна — старая дева, другая — вдова. Они варили ему еду, чинили и гладили его одежду, подогревали и приправляли благовониями воду в его ванне, скребли и вытирали его тело. Несколько раз Сара видела эту пару низеньких женщин в черных одеяниях, ползущих со своими корзинами по тропе в монастырь, точно два трудолюбивых жука. Однажды она увидела и самого монаха, небольшого энергичного человечка, который вышел из

маленькой калитки в стене. Человечек потянулся, попыхтел, притопнул ногой и припустил бегом. Похожий на резиновый мячик, он галопом обогнул стены своей тюрьмы, разбрасывая на бегу части одежды и громко вопя, пока не остался в короткой белой юбочке и сандалиях из красных ремешков, и все продолжал подпрыгивать и выкрикивать непонятные стихи, особый ритм которых позволял легко угадать их древность.

По весне почва долины выталкивала из себя густую сочную траву, и арабы из Малхи и Шейх-Бадера пасли на ней своих овец. Кусты шиповника-сиры становились красными от десятков тысяч маленьких плодов, напоминавших те глиняные горшочки, сиры,<sup>[35]</sup> которые дали ему его название. Ветки боярышника исчезали под белеющим покровом цветов, источавших приятный мыльный запах, и дикие пчелы кружились над ними. Пчелы здесь тоже уже усвоили угрожающее иерусалимское зуденье — одновременно хозяйское, злобное и завистливое.

Евреи редко заглядывали в эти места, но матери никто здесь не причинял вреда. Обитатели монастыря видели в ней чудаковатую паломницу, пастухи боялись ее роста, набалдашника ее палки и гуся, который прыгал вокруг нее. Ей нравилось ощущать большими пальцами сок раздавленных стебельков асфodelий, осыпать шаловливыми ударами палки фиолетовые головки чертополоха, ловить ящериц и стрекоз и выпускать их на волю. А то она собирала высыхающие плоды «аистовых клювиков» и часами смотрела, как они медленно свертываются, ввинчиваясь в землю или в ткань ее платья.

Дома, по возвращении, ее встречали хмурые лица. Здесь не было принято, чтобы женщина разгуливала одна и осмеливалась выходить за городские стены. Только Дудуч радовалась ей и встречала приветливо. Они были хорошими подругами и находили утешение в обществе друг друга. Она рассказывала Саре, что говорят о ней во дворе, а Сара отдала ей присланный родителями подарок, крашеную деревянную куклу, внутри которой была другая кукла, а внутри той — еще одна и еще: четыре деревянные куклы с одинаковой улыбкой, одинаковыми глазами, одинаковыми красными щеками и одним и тем же чужим и сладким именем «матрешка».

Дудуч уже тогда имела репутацию «никожиры» — хорошей и чистоплотной хозяйки. У нее были жесткие черные волосы, и я не могу описать их синеватый отблеск, не припомнив Лауру — Лауру Люти, девушку Томаса Трейси и Уильяма Сарояна. К этому времени она вышла замуж за Лягу, которого любила всей душой, и обнаружила, что женитьба совершенно преобразила ее возлюбленного — он стал болезненно ревнив,

забросил свои звезды и расчеты и не позволял ей даже стоять у окна, не то что ходить одной в дворовую уборную. Они с Сарой часто играли друг с дружкой, точно малолетние девчонки, и плакались друг дружке, жалуясь на смерть мужниной любви: у одного — под шелковой туфлей условностей и приличий, у другого — под тяжелым сапогом ревности и безумия.

## ГЛАВА 11

По совету доктора Коркиди Сара вновь забеременела, и на этот раз в ее чреве стали толкаться близнецы. А произведя нас с Яковом на свет, она приобрела себе несколько бурдюков и тазов и открыла в нашем доме маленькую сыроварню. Молоко она покупала у пастухов из Лифты и Абу-Гоша, а специализировалась в основном на свежем йогурте, сыре «рикота» и кефире. Запах кипящего в котле молока привлекал покупателей, кошек, а также озлобленных конкурентов и перевозченным кисловатым пластом осел на дне моей памяти. Сами по себе запахи меня не привлекают, но я наделен способностью воскрешать их в памяти. «Меня больше чаруют наслаждения звука, нежели наслаждения запаха, — сказал Святой Августин и добавил: — Сладость аромата мне приятна, но я могу обойтись без нее, когда ее нет». Я поклялся себе не злоупотреблять цитатами, но иногда я просто не в силах обуздать свою страсть. В общем, как бы там ни было, но по причине сверхчувствительного носа, да впитывающего, как губка, мозга, да слабого зрения большинство моих воспоминаний о Иерусалиме составляют запахи и голоса и лишь небольшую часть — картины.

Уже в младенчестве мать обнаружила, что мы с Яковом не узнаем ее с расстояния больше десяти шагов. Но когда она сказала об этом отцу, тот отмахнулся от нее своим излюбленным пренебрежительным словечком «пунтикос», то бишь мелочи, ерунда, объявил, что те или иные глазные болячки — удел большинства иерусалимцев, и закончил одной из своих непостижимых сентенций насчет острого зрения, которое в Иерусалиме во все времена было недостатком.

Мать не успокоилась. Ее длинные руки, испуганные оклики и каменные стены дворов и переулков не позволяли нам чересчур удаляться от дома. Вдобавок она поставила над нами своего белого гуся и по местному обычаю прикрепила к нашим рубашкам записочки с нашими именами и фамилией отца. Многие дети в Иерусалиме ходили с такими записочками, и сейчас, вспоминая об этом, я усмехаюсь про себя, потому что все вместе мы выглядели как участники самого большого из еврейских конгрессов — сборища трясущихся от страха матерей и их детей, которым непрестанно грозит вот-вот потеряться.

Как и большинство жителей Иерусалима, мы тоже развили в себе способность ориентироваться вне всякой связи со зрением. Глаза поставляли нам лишь самую общую и смутную картину, тогда как нос и

уши, догадки и память привязывали ее к месту и позволяли опознать. Иерусалим воздвигал перед нашими слабыми зрачками непроницаемые каменные заслоны, оглушал наши уши колоколами и воплями, укладывал нас вповалку на запрудах своих запахов. Несмотря на мою способность, о которой я упоминал, не по столь уж многим запахам я тоскую, и уж чего мне особенно не хочется, так это восстанавливать отвратительные запахи моего родного города, но в Америке, этой, помнишь, «огромной, сонной, наивной и прекрасной стране», в которой я живу и в которой многие женщины имеют один и тот же запах на всех, иногда случается, что скудость раздражителей вдруг понуждает меня припомнить ту иерусалимскую отчаянную, неистовую и безнадежную смесь кухонь, отхожих мест и потных ног богомольцев. Один за другим, все эти запахи поднимаются и встают передо мной — от зловония гнили и крови в лавках мясников и до сладчайшего аромата, исходящего маленькой нишей, где жарят гашиш; а порой — как правило, когда я вхожу в один из этих американских кондиционированных магазинов, — в моих ноздрях вдруг пробуждается воспоминание о теплом и добром запахе несчастных иерусалимских ослов, нагруженных до изнеможения, с израненными крестцами и лодыжками, с кровоточащими пролысинами на шеях и спине от плетей и сбруи и с запашком пыли, сбившейся в углублениях маленьких, черных, как смоль, копыт.

Горький зеленый запах поднимался от стены, на которую мочились погонщики скота, приводившие стада братьев Стиль с плоскогорий Судана. Уже за неделю до их прихода можно было видеть поднятую стадами мглу, которая надвигалась на восточный край земли багровой пылью и нарастающим грохотом бесчисленных копыт. Черные погонщики подбадривали животных криками, барабанным боем и пучками пальмовых колочек, пока те не врывались в город всей своей ревущей массой мощных грудастых и бугристых тел, царапая рогами стены проулков. Как и все, кто появлялся у ворот Иерусалима, эти могучие животные тоже не знали, что гонимы к горькому концу, пока вокруг них не выросли стены судьбы, которые смыкались над ними и вели их к бойне. Загнав скот за ограду, погонщики по традиции отправлялись помочиться на стену Аистовой башни. Их моча была такой обильной, темной и острой, что выжигала карстовые пустоты в меловом камне, и христиане в насмешку говорили, что эти черные мусульмане нарочно воздерживаются в течение всего своего многомесячного пути, чтобы наилучшим образом выполнить повеление Пророка оросить водой святые камни Иерусалима.

Жаркие разноцветные запахи влекли нас к рынку Эль-Атарин,

сумрачной крытой западне, где плохо видели все, кроме тамошних старожилков — тех, кто готовил на продажу смеси муската, гвоздики и кофе или торговал там специями и благовониями. Эти сидели в мрачной утробе рынка так давно, что некоторые из них уже совсем ослепли, а у других зрачки стали величиной с монету, и теперь они видели в темноте, как совы. В одном из самых первых моих воспоминаний появляется смутный образ высокого плотного английского солдата, который входит на рынок уверенным шагом, а потом выходит, шатаясь, с другой стороны, падает лицом вниз в открытую сточную канаву, и берет его покачивается в ней, как маленькая лодочка. Даже после того, как был обнаружен маленький кинжал, торчавший меж его ребер, иерусалимцы продолжали утверждать, что он не был подколот, потому что они привыкли к виду чужестранцев, которые выходят с рынка благовоний с подгибающимися коленями, бессмысленной улыбкой на лице и глазами, ошалевшими от пышного букета запахов и кромешной темноты.

Были в городе и другие запахи, потому что воду отпускали по норме и только богатые могли позволить себе ежедневно мыться с головы до ног. Со смесью отвращения, злобы и ностальгии — кстати, самым подходящим фильтром для фотографирования Иерусалима — я восстанавливаю эти запахи сегодня. Дым навозных костров поднимался от халатов овечьих пастухов, острым потом пахли иссеченные морщинами затылки каменотесов, материнский запах сыра кишек, лимонных бутонов и овечьих курдюков шел от ладоней феллашек. Помню еще запах ладана, клубившийся вокруг христианских священников и липнувший к нашим телам, как темная скрытая угроза, запах хлеба, тянувшийся за стариками армянами, и кислый пар, шедший от меховых шапок хасидов, — они носили их даже летом, и отец называл их «гатос муэртос», дохлые кошки, соответственно их виду и запаху. Приятный дух шел от молодой невестки нашего соседа, когда мы все отправились посмотреть, как она возвращается из баньо де бетулим,<sup>[36]</sup> и аромат ее утраченной невинности вставал и возносился над ней, смешиваясь с запахом дождевой воды из женской миквы.

Семьи Маман и Тейтельбаум, тоже промышлявшие молочными продуктами, начали войну с матерью, и она не уклонилась от вызова. То и дело происходили боевые стычки, которые заканчивались битой посудой и выбитыми зубами, пролитием молока и крови да раздиранием бурдюков и мешков с сыром. Но затем они облыжно обвинили нашу мать в том, что она будто бы прикасается к молоку во время месячных, подмешивает к йогурту верблюжий кумыс и при выделке сыра пользуется некошерной частью

желудка телки, и тогда раввины наложили запрет на ее продукты, и ей пришлось продавать их в гостиницах для христианских туристов и паломников. Когда нам с Яковом исполнилось два года, она завела обычай каждое утро подниматься на Масличную гору, чтобы продать там свою продукцию монашкам монастыря Марии Магдалины. Оттуда она сворачивала к северу, на вершину Сторожевой горы, где предлагала кефир рабочим, которые в то время закладывали там фундамент Еврейского университета. Иногда она брала нас с собой и на обратном пути усаживала обоих в пустые корзины на перемете, переброшенном через широкие плечи, и несла подышать ароматами цветов Рейны де Гирон.

На своей залитой солнцем веранде над улицей Караимов Рейна де Гирон расставила деревянные, глиняные и жестяные горшки и выращивала в них растения, которые пестрыми водопадами ниспадали с перил ее веранды и заливали переулок холодным пламенем запаха и цвета. Днем и ночью из двора Рейны разносились ароматы ночных канн, пестрых соцветий таджури, багряных «дочерей султана», белых бабочек жасмина, фиолетового базилика и белоснежных лилий — жены крестоносцев некогда привезли их с собой и оставили здесь, чтобы их сыновья смогли со временем найти по запаху этих лилий обратный путь и вернуться в Святую землю.

В самом дворе всегда толпились люди, надеявшиеся найти в ее цветах бальзам для своих страданий и утешение для душевных горестей. Они уже были доведены до отчаяния этим городом с его пустыми, обманчивыми обещаниями, уныло причитающими пророками, вечно запаздывающими мессиями и раздувшимися от богатства и чванства благодетелями. Некоторые из них, теряя власть над собой, пытались взобраться по приставным лестницам наверх, чтобы зарыться с головой в лепестки или нарвать букеты, и тогда Рейна де Гирон, подобно бесчисленным поколениям осажденных иерусалимцев до нее, выкрикивала мольбы и проклятия, отталкивала их лестницы прочь от стены и выливала на них грязное содержимое своего помойного ведра и басинико,<sup>[37]</sup> что под кроватью.

Мать, Яков и я стояли в переулке, задрав головы. Нашим слабым глазам цветы Рейны де Гирон представлялись не то далекими облаками, не то разноцветными туманными клубами овечьей шерсти, но запахи всех этих лилий и нарциссов, роз и гвоздик были остры и отчетливы, и малейший поворот головы менял их оттенки и умножал их богатство.

Много лет спустя, уже живя в Соединенных Штатах, я как-то плывал в теплом озере, внутри которого змеиными языками шевелились резко

очерченные холодные потоки. Я вспомнил тогда те цветочные запахи во дворе Рейны, которые тоже струились вплотную друг к другу, но не смешивались. Воспоминание улыбкой родилось в моем сердце и разлилось оттуда по лицу. Мои руки обвились вокруг талии женщины, что плыла рядом со мною. То была молодая рыжая красивая и высокая женщина, которая не переставала сожалеть, что не родилась мужчиной. Я обнял ее, рассмеялся полным пузырей ртом и потянул нас обоих в глубину, чтобы возлюбленная не увидела моих слез.

## ГЛАВА 12

Еще одно лето близилось к концу. По вечерам предвестником облегчения уже гулял по переулкам чудный ветерок, ласкал взмокшие шеи, пробивался сквозь зловоние арабских бурнусов, хасидских халатов, кожаных седел и грязных плащей, успокаивал людей и животных. Грозные Дни Покаяния стояли у ворот, и с приближением Судного дня каждый спешил помириться с ближним.

«Создатель, да прославится Он, говорит человеку: почему ты пришел ко Мне? Иди сначала к ближним своим», — объясняли Саре соседки, когда пришли просить у нее прощения за нанесенные оскорбления и причиненные обиды. Но Сару приближение праздников наполняло одной лишь тоской, и посещение синагоги было для нее мучением. Она знала, что на женской половине на нее снова будут таращиться, как на прокравшегося тайком мужчину, и даже вид Авраамовой спины за деревянной решеткой не принесет ей успокоения. Она не знала распева молитв и не понимала их странных слов.

«Да возобновится нам год щедрый и добрый», — улыбнулся ей Авраам, когда она подала на стол тарелку с финиками, мисочку с гранатовыми зернами, яблоки с медом, прасу-порей, тыкву и свеклу. Тыква, объяснил он ей, символизирует истыкание ненавистников наших, свекла — ту кровь, что потечет из вражеских ран, а порей — для того, чтобы Господь порвал Свой дурной приговор против нас.

Когда дочери моего брата, Роми, исполнилось двенадцать лет и один день, возраст зрелости для девочек, и она стала «дщерью заповеди», или бат-мицва, наш отец вздумал было повторить ей в точности те же рассказы, но Роми, очень похожая на свою бабушку, только много умнее и злее, предложила ему наливать на Пурим только до половины бокала, в память об Ахашвероше, который обещал Эстер «до половины своего царства».

— Сатаника!<sup>[38]</sup> — рявкнул он на нее.

— И манную кашу на Песах, дед, — не уступала она. — Сказано ведь: «Манну ели они, доколе не пришли к пределам земли Ханаанской».

Сара обычно любила эти незатейливые истории и вкус праздничных блюд. Но в тот год, после того как уже были попробованы и благословлены фрукты, булиса Леви, расплывшись в широкой улыбке, направилась в угол кухни и, вернувшись под звуки голоса Авраама, произносящего: «Да будем мы головой, а не хвостом» и «В память о жертвоприношении Исаака, в

память об Акеде»,<sup>[39]</sup> водрузила на стол голову ягненка. Все застонали от восторга. Голова между тем уставилась на Сару сонным от долгого запекания взглядом, растягивая зажатые губы в жуткой улыбке. Комок тошноты подступил к ее горлу, глаза закатились, и она сползла на пол среди раздавленных фруктов и разбитого стекла, липких нитей меда и рвоты. Наступило страшное замешательство. Булиса Леви вопила: «Стыд, стыд!» — Авраам трясся всем телом, а Сара выбежала со двора.

В ту ночь она впервые сказала Аврааму, что хотела бы уехать куда-нибудь в другое место и открыть там собственную пекарню. Но Авраам, который считал главным своим достоянием пятнадцать поколений иерусалимских предков, а от страха перед новыми местами и перед женщинами, знающими, чего они хотят, терял последние остатки мужества, заявил ей, что в стране царит экономический спад и сейчас не время покидать насиженное место.

— Что ни царит, людям всегда нужен хлеб, — умоляла она, но тщетно.

Весной, когда все были заняты уборкой, стиркой и побелкой, а двери и окна были открыты настежь, во дворах начали появляться гадалки из кочевого племени навар, что родом из Индии, наводившие страх на всех матерей Иерусалима. О наваритах говорили, что они мошенничают и воруют, разносят болезни и похищают детей, и мать уже не удовлетворялась записочками, пришитыми к нашим рубашкам, — теперь, когда мы спускались поиграть во дворе, она привязывала к нашим запястьям длинные нитки из красной шерсти. Эти нитки тянулись через весь двор к ее запястью, перепутывались и часто заставляли всех нас троих спотыкаться. Тем не менее именно шерстяная нитка оказалась причиной того, что мы в конце концов покинули город.

Закутанные в лохмотья сыны навара, с их двусмысленными речами, черные и липкие, как бока закопченных горшков, обитали в заброшенных камерах старинной тюрьмы Хабс-эль-Абид и среди надгробных плит у Ворот Милосердия. Они знали все подземные туннели, проходившие под городом, и, когда однажды английские археологи в ходе раскопок вскрыли древний иевуситский водовод, они обнаружили там, к своему удивлению, двух наваритских стариков, играющих в карты.

Оснащенные пустыми мешками и быстрыми, ловкими пальцами, они появлялись во дворах в сопровождении пляшущих медведей, извлекали кашлявших голубей из складок навороченных на головы тюрбанов, надушенные шелковые платочки — из задниц изумленных ослов и еще теплые, влажные куриные яйца — из-под ряс краснеющих монахов.

Своих медведей они дрессировали с малолетства, и притом с

величайшей жестокостью. Медвежонок ставили на раскаленную добела жестянку, музыканты играли перед ним на скрипках и маленьких визгливых волынках, а четверо танцовщиц плясали вокруг него, взявшись за руки. Несчастный медвежонок прыгал и танцевал на раскаленной жести, ревя от неопишуемой боли и изумления. Все думали, что он пытается подражать движениям танцовщиц, но правда состояла в том, что их круг попросту не давал ему убежать. Под конец одна из танцовщиц наклонялась и брала его на руки, гладила вздыбившуюся шерсть и окунала обожженные лапы в жестянку с холодной водой. Так медведи выучивали свой урок, и, подобно всем, пораженным любовью, достаточно было одного вида скрипки или запаха танцовщиц, чтобы оживить в них мелодию страданий и заставить танцевать под нее.

Едва лишь в переулке слышался звон серег и вздохи медведей, белая кожа матери краснела, а потом темнеда от гнева.

«Пляши, пляши, йа-табан»,<sup>[40]</sup> — пел вожак, и медведь, гримасничая, пускался в неуклюжий танец, так поразительно похожий на свадебные танцы ашкеназских хасидов, что вся толпа раздражалась радостным смехом и аплодисментами. Убедившись, что внимание людей приковано к его питомцу, вожак посылал своих жен, братьев, детей и племянников воровать еду и посуду из кухонь, младенцев — из покинутых взрослыми домой и белье — с веревки, на которой оно сохло.

«У нас в Астрахани, — говорила мать, — они учат детишков картам и на железной проволоке ходить. Здесь они ребенчков убивают».

И действительно, ребенок, попавший в наваритскую западную, не возвращался больше в мир живых, в дом своих отца и матери, и даже сыщики английской полиции со всеми их ищейками не могли его найти. Похитители уволакивали жертву в одну из своих тайных нор и там душили мягкой шелковой подушкой, набитой пухом и такой приятной на ощупь, что на лице задушенного младенца застывало выражение блаженства. Они вспарывали ножом животик маленького тельца, наполняли его дурманящими наркотиками и на скорую руку прихватывали разрез нитками для вышивания, которые пряли, по словам иерусалимцев, из выделений светлячков. Одна из женщин брала этого мертвого, казавшегося сладко спящим, ребенка на руки, и так они переправляли наркотики из страны в страну.

Город все больше давил на плечи матери. Ненависть к нему росла и набухала в ней, а когда нам исполнилось четыре года, произошла та история с красной ниткой, из-за которой она украла коляску патриарха, похитила свою семью и бежала из Иерусалима.

Это случилось в первый день нашей учебы, когда нас привели в талмуд-тора<sup>[41]</sup> к тамошнему руби, маленькому, жестокому и мерзкому человечку, имя которого я не сумел забыть, но не хочу упоминать. Мать была очень взволнована. Хотя сама она была безграмотной, но, в отличие от прочих безграмотных соседок по двору, не примирилась с утверждением, будто невежество написано человеку на роду. «Без ученья нельзя, — твердила она нам. — Надо выучиться азбуке».

Классная комната представляла собой не то подвал, не то яму, и ее крошащийся пол был покрыт рваными камышовыми циновками. Целыми днями мальчики стояли на этих циновках, пока у них не затекали ноги, и зубрили Талмуд. Мы с Яковом были еще связаны тогда той красной шерстяной ниткой и, придя в хедер, отказались развязать ее узлы и отделиться друг от друга. Когда же руби вытащил ножницы и вознамерился сам нас разделить, мы подняли страшный крик, запутались в нитке и вместе упали на пол.

Поднялся переполох. Руби сорвал со стены плетку из коровьего хвоста и с криком: «Вот вам разон,<sup>[42]</sup> вот вам справедливость!» — изо всей силы хлестнул Якова по спине и по голове, а мне глубоко поцарапал ухо.

В полдень мать вернулась со Сторожевой горы и поспешила в школу побаловать нас кантонико — горбушкой хлеба, посыпанной солью и обмакнутой в оливковое масло. Яков отказался есть, расплакался, и мать сразу же заподозрила неладное. Она допрашивала его до тех пор, пока он не подошел к стене и не показал пальцем на плетку. Мать сняла с него рубашку и увидела красные полосы ударов.

Я помню медленный поворот ее широких плеч, ее распростертые в воздухе руки, глубокую багровость, поднимающуюся от груди к шее и заливающую лицо. В воздухе послышалось громкое шипенье. То был материнский белый гусь, внезапно появившийся в тяжелом полете над стеной двора и опустившийся в его центре. Глаза матери блеснули незнакомым и жгучим холодком. Учитель тотчас сообразил, что пришла беда, и уже собрался было, спасая душу, рвануть со своей банкиты.<sup>[43]</sup> Но гусь не преминул немедленно вцепиться ему в ноги, и мать в два длинных, как у львицы, шага настигла его и швырнула на пол. Она схватила его за голову и принялась хлестать коровьим «разоном» с такой страстью, что сама не могла остановиться.

От страха и боли руби так вопил, что сбежались все обитатели переулка. Люди боялись приблизиться к матери, такой страшной и грозной она была в своем гневе, да и гусь не давал никому к ней подойти. Вот он:

искривленная шея между приподнятыми лопатками, огромные крылья наполовину распахнуты и согнуты, как ятаганы. Ты видишь его? Он похаживает вокруг матери, его оранжевый клюв широко раскрыт. Мне так и слышится его голос. Он ищет свары. Шипя и пыхтя, он охраняет свою госпожу.

Мать была как безумная. Молли Сиграм и жена ребе Алтера в одном лице. Она прыгнула на бесчувственного учителя, как была, в деревянных башмаках, выкрикивая: «Я татар, я татар!» — и другие никому не понятные слова. Она извергала весь накопившийся в ней гнев. Она подняла его, поставила на ватные ноги и стала бить головой о стену. Звук ударов был глухой и приятный. Куски окрасившейся кровью штукатурки падали на пол.

Если бы не поспешили срочно позвать отца, руби был бы уже, наверно, на том свете. Отец подошел к матери, и все увидели, что даже он боится ее. Но она, едва завидев его, тотчас успокоилась, уселась на пол, как ребенок, расставив ноги, покачала соломенной головой из стороны в сторону и начала плакать и бить себя кулаками в грудь, точно арабская плакальщица, — от стыда и еще не остывшего гнева. Тем временем появился доктор Коркиди, который занялся учителем. В конце концов отец, бледный и дрожащий от стыда, убедил мать подняться. Она посадила Якова на плечи, взяла меня на руку, другой рукой обхватила узкие плечи отца, и в таком виде мы вернулись домой.

Вечером пришел доктор Коркиди, отчитал мать за вспыльчивость, обработал следы побоев на теле Якова и сказал отцу что-то такое, что мы не сумели расслышать.

Тогда-то, как рассказала нам мать много позднее, когда мы уже были юношами, она окончательно решила бежать из Иерусалима. «Это сломало ей верблюда», — сказала Роми и прыснула со смеху. Роми любит передразнивать неграмотную речь своей бабки и повторять некоторые из ее выражений. Только вчера она спросила меня: «Приготовить тебе лежанку?» Иногда меня пугает их сходство, и тогда я напоминаю себе, что сказал Генри Филдинг одному из литературных критиков: «Я должен предостеречь тебя, любезное пресмыкающееся, чтобы ты не искал слишком близкого сходства между некоторыми выведенными здесь действующими лицами». Я повторяю себе эти слова, улыбаюсь, утешаюсь и успокаиваюсь.

## ГЛАВА 13

Мы бежали из города в ночь большого землетрясения, 12 июля 1927 года. Все были уверены, что отец, мать, Яков и я погребены под развалинами. Только через две недели, когда наконец разобрали груды камней и соединили одно с другим — воспоминания со сплетнями и ту мелочь с этой, — все поняли, что произошло. Но к тому времени мы уже были далеко от Иерусалима, от нашей сыроварни, от тии Дудуч и от булисы Леви, которую, ты права, я действительно должен был бы называть бабкой, но не имею на то ни малейшего желания.

В багажнике коляски мать спрятала залог нашего будущего: красно-серый огнеупорный шамотный кирпич, который она тайком вытащила из глубин печи пекаря Эрогаса, чтобы заложить его, как амулет, на дно той новой печи, которую она сама построит. Маленький бурдючок с молоком, закисленным — о, какая маленькая, но упоительная месь! — с помощью некошерного куска желудка телки. Кусок левадуры, душистой опары, запеленатой в тряпку и дышавшей, как младенец. Много лет спустя Яков сказал мне, что потомки той опары, что мать унесла с собой тогда из Иерусалима, по сей день продолжают свою хлебную работу в его пекарне, подобно тем бессмертным белковым молекулам, которые впрыскиваются со спермой из поколения в поколение. Но к тому времени я уже знал, что дядя Лиягу был прав: человеческим свойствам недостаточно тех рутинных путей, которые вымощивает для них наследственность. Они передаются также с молоком, со сказками, с прикосновениями кончиков пальцев и с оброненной слюной поцелуя.

Ночь была жаркой, но мать не разрешила нам поднять полог коляски. Как только мы выбрались из города, она сошла с главной дороги, свернула налево по проложенному ослими пути в Дир-Ясин, в километре от деревни повернула направо и, плавно спланировав на дно узкого крутого оврага, стала спускаться по петлявшей в нем мощенной камнями дороге. Мы миновали гладкие скалы оврага, оставили позади далекий лай, и в мои ноздри ударил резкий незнакомый запах. Несколько недель назад я побывал в тех местах в сопровождении Роми, мысленно соскоблил с земли все выросшие за это время дома, улицы, автострады и памятники, отыскал ту нашу давнюю дорогу и снова спустился по ней. Старик, собиравший там алые, на серых стеблях, цветы, прозванные в народе «кровью Маккавеев», поведал мне, что эта дорога была проложена Титом, когда он поднимался к

Иерусалиму, чтобы разрушить его, и что в трамбовке дорог никто не может сравниться с римлянами. Там находится заброшенная каменоломня, из которой доносятся звуки выстрелов, и — о чудо! — тот же самый запах виноградных выжимок, бродивших в близкой винодельне, вновь позвал меня, как опьяняющее доказательство добротности моих воспоминаний.

Мы с Яковом приникли к дырочкам в пологе коляски, расширяя ноздри, чтобы принюхать к влажным запахам диких растений, подставляя уши скрипу колес, тяжелому дыханию нашей матери Сары и шагу ее окрыленных сандалий. Под лай собак, доносившийся из Колони и, она пересекла прохладную долину ручья Шорек и поднялась по семи крутым каменным поворотам на Кастель. Мы не удивлялись ее бегу и выносливости. Все знали, что тело матери выковано из тайн и силы иной земли и иного народа.

На вершине холма располагалась тогда маленькая деревенька, миновав которую мать начала натужно кряхтеть и притормаживать, сиюсья замедлить свой слишком быстрый спуск. Снизу, оттуда, где росла группа гигантских платанов и белели развалины монастыря, до нас донеслись испуганный ослиный рев, храп верблюдов и крики людей. Сильный и неожиданный рыбный запах шел здесь над горами. Тут обычно останавливались перед последним подъемом в Иерусалим торговцы арбузами и рыбой из Газы, и теперь все они бросились врассыпную, напуганные землетрясением, ударившим по их стоянке. Повсюду валялись куски расколовшихся арбузов, осколки льда, задохнувшиеся рыбы с широко разинутыми ртами, и в этой суматохе никто не обратил внимания на женщину, запряженную в коляску.

С этого момента мнения разделяются. Яков утверждает, что мы спрятались в виноградниках Абу-Гоша, у семьи, которая поставляла молоко для нашей сыроварни, я же, напротив, стою на том, что мать еще той же ночью продолжила свой стремительный путь, промчалась, как ветер, мимо деревни Сарис и вихрем понеслась по спуску глубокого вади,<sup>[44]</sup> по обе стороны которого поднимались обнаженные мрачные стены гор, а в конце стоял вонючий турецкий караван-сарай.

— Я ясно помню, что мы добрались до какого-то большого виноградника, — говорит мне Яков.

Я тоже помню эти прореженные виноградники с их тяжелыми гроздьями, но, по-моему, это были виноградники Латрунского монастыря и полей Дир-Аюба.

Солнце уже собиралось взойти, когда мать свалилась меж оглоблей, словно невидимая коса подкосила ее щиколотки. Сильный запах пыли и

лопухов шел от ее порванной одежды и израненных ног.

— Теперь кричи, — прошептала она забитым пылью ртом. — Теперь можешь кричать, бить. В Русалем я не вернуся.

Но отец, запуганный темнотой и соседством гуся, да к тому же с тряпкой во рту, ничего ей не ответил.

Неделю мы были в пути. Двигались ночью, прятались днем. Краски земли изменились, ее запах стал более глубоким, и теперь она отвечала тяжелой поступи материнских ног мягким шорохом своего тела, а не стуком камней. Звезды сдвинулись с привычных мест. На обочинах то и дело появлялись наполовину развалившиеся дорожные укрепления, уже обросшие кактусами. Бедрa матери не прерывали полета. Гора и долина, поле и пустошь, ручей, болото, олеандр, сикомор. Равнина встретила нас открытыми, лысеющими летними полями месяца таммуз, тепловатыми, мягкими запахами и перекопанной немой землей, в которой не таились ни камни, ни обещания и не истлевали ничьи воспоминания или могилы. Я помню скрежет жестких листьев, трущихся о стенки коляски, белеющие вдали очертания арабского городка, вокруг которого серебрились древние оливковые рощи и над которым пел муэдзин и вздымались минареты и пальмы. Я помню наш приход в какой-то поселок, мать, спорящую там с ошеломленными мужчинами, среди которых не было ни одного с бородой и в черной шляпе. Мать сердилась, топала ногой, кричала, а отец сидел в стороне, похожий на тряпичный сверток, и не говорил ни слова. К этому времени мать уже освободила его от уз, потому что понимала, что он не убежит — стыд и гонор были самыми надежными оковами в его мире, и они не позволят ему вернуться в Иерусалим, где он станет мишенью для насмешек.

Мало-помалу споры и крики утихли. Одна из женщин пригласила нас поесть и переночевать в ее бараке, а на следующий день к вечеру в поселке появилась доверху набитая деревянная колымага, запряженная огромным быком, а с нею — отец и братья матери в сопровождении осла и привязанной позади, мычащей с перепугу первотелки. Мать бросилась им на шею, разрыдалась от счастья, обняла быка за шею. «Он был маленький, он был совсем маленький», — повторяла она, нежно постукивая могучее животное кулаком по лбу.

Я был удивлен, обнаружив, что мать — не единственное в своем роде существо. Ее братья оказались такими же большими, и запястья их рук были такими же широкими и крепкими, как у нее. Но мое внимание было приковано к деду, геру Михаэлю Назарову, которого я видел тогда в первый и последний раз в жизни. Он был даже выше матери и ее братьев, и его

облик — «это высокое творение силы и печали» — тотчас тронул мое детское сердце и врезался в него, как ожог.

Его лицо розовеет, как у юноши, полного силы жизни,  
И борода, седая и длинная, отликает серебром волосков,  
Она вьется кольцами по плечам и крутой, широкой груди,  
И такие же серебристые и густые сросшиеся брови,  
Стягиваясь дугами, образуют границу его изящного лба.

Когда мне шел двадцать первый год, Яков забрал у меня Лею, и я бежал в Соединенные Штаты. Там я предпринял несколько литературных паломничеств. До Крымского полуострова мне не удалось добраться, но я побывал в Ганнибале, Фресно, Уолдене и Нантакете. В библиотеке Кемдена, напротив портрета Уолта Уитмена, меня посетили две мысли. Одна была о том, что лицо моего деда удивительно похоже на лицо Уитмена, хотя, будучи поэтом, Уолт Уитмен должен был бы вроде выглядеть более утонченно, чем Михаэль Назаров. И сразу же затем, словно держась за пятку этого первого воспоминания, ко мне пришло осознание того факта, что я уже видел портрет Уитмена в дни моего детства, на стене поселковой библиотеки, и в моей памяти всплыла строка, которую библиотекарь Ихиель Абрамсон решил поместить под этим портретом: «Я не даю уроков и не подаю милостыни — давая, я отдаю себя». Но тогда, перед портретом Уитмена в библиотеке, я почему-то не вспомнил дедушку Михаэля.

На деде были серый картуз и рубаха, перепоясанная веревкой, его штаны были украшены большими голубыми заплатами, а ладони рук казались громадными, как лопаты. Мне было тогда лет пять, и я не мог постичь выражения его лица и потому не понял того, что понимаю сейчас, — что дедушка Михаэль хотел бы вернуться вспять и вновь ощутить боль своего обрезания в еврейство. Два года спустя он умер страшной смертью: идя босиком по полю, порезал большой палец ноги острым кремнистым осколком и скончался от заражения крови, в ужасных мучениях. «Его уже нету с нами, — оплакивала мать своего отца, а потом шепнула нам: — Ему приключилась страшная смерть».

Вытянув губы трубочкой и прижмурив глаза, дед выпил одну за другой три кружки кипящего чая, после каждого глотка вздыхая и приговаривая: «Ух, хорошо!.. Ух, хорошо!» — а когда увидел, что мы с Яковом пялимся на него, улыбнулся, поднял нас на руки, и уже тогда я ухитрился

почувствовать, что его, как и мать, больше тянет к моему брату, потому что Яков пошел в отца и телосложением, и цветом волос. «Маленький еврей», — с гордостью сказал дед, засмеялся, и слезы счастья сверкнули в его глазах. Меня он тоже погладил и обнял, но, скорее, просто из родственного чувства: долговязые рыжие дети не были новостью в его роду. Покончив с чаем, он подошел к отцу и сказал ему: «Все будет хорошо, Авраам, все будет хорошо». Но отец, сидевший в стороне с опущенной головой, не протянул ему руку, и старый гер, ничего больше не сказав, повернулся к сыновьям и начал объяснять, что именно им предстоит сейчас сделать.

Над землю царило лето, властвуя в своих владениях, и братья матери первым делом соорудили для нас большую сукку<sup>[45]</sup> — прямоугольный шатер на шестах, с полотняными стенами и крышей из веток. Потом они сгрузили с колымаги мешки с цементом и щебнем, строительные инструменты, деревянные балки и формы для выделки кирпичей. В этих герах была крестьянская смекалка. Сначала они воздвигли печь, потому что печь для семьи — так они объяснили — все равно что якорь для корабля и корень для дерева. «Когда-то, — рассказал нам дед историю, — у деревьев не было корней, и они умели ходить». Но тогда они не могли приносить плодов, потому что все их время было занято путешествиями, войнами и погоней за женщинами. Поэтому они собрались и по собственной воле пустили корни в земле.

Каждое утро мужчины Назаровы с гордостью закутывались в молитвенные талиты,<sup>[46]</sup> слишком узкие для размаха их плеч, и наматывали на себя ремешки с коробочками тфилин,<sup>[47]</sup> затягивая их с такой силой, на которую способны лишь суровые аскеты, погонщики быков и плотогоны. Голубые толстые вены взбухали на их руках. Они молились нерешительно, медленными, тяжелыми словами, которые запутывались в их бородах и вызывали презрительную усмешку на лице отца. Потом, шумно поплевав на ладони, они принимались за работу. Построенная ими печь походила на гигантское брюхо, из которого росла труба. Дядья приделали к ней тяжелую черную железную дверь, которая поднималась и опускалась с помощью системы зубчатых колес и цепей. Сбоку от нее они сделали новинку — смотровое окошко, затянутое толстым стеклом, через которое можно было освещать внутренность печи и следить за хлебом в ходе выпечки. Они установили у входа в печь горелку на солярке, которая в те дни считалась вершиной технического прогресса и совершенства и встречалась только у пекарей в немецких поселениях, — она была

закреплена на длинном рычаге, который вращался на оси и позволял направить ее сопло в любой закоулок печного чрева. Паровые меха, которые нагнетали пламя вовнутрь, обслуживались чугунным паровым котлом и шведским примусом с тремя головками. Перед входным отверстием они выкопали яму для пекаря, вынимающего буханки, и выложили ее дно каменными плитками.

Покончив с печью, они построили вокруг нее саму пекарню с толстыми каменными стенами, где были рабочая комната и складское помещение, и только под самый конец соорудили для нас небольшой жилой дом из двух комнат и кухни.

— Какие хорошие руки у моих братьев, — гордо приговаривала мать. Она работала вместе с ними, таскала, копала, поднимала, делала отливки и вдобавок еще готовила нам всем еду в горшке, подвешенном над костром во дворе, сажала деревья и возводила забор. Она любила ограды, а еще больше—огражденную ими землю.

Наш новый сосед принес полную кринку молока.

— Уплатите мне позже, фрау Леви, хлебом, — шутливо сказал он с незнакомым акцентом. Его звали Ицхак Бринкер, и я еще расскажу тебе о нем. Мать приготовила всем кисловатый кефир и предложила немного Бринкеру, и все эти дни отец сидел с унылым видом, точно пленник среди своих тюремщиков, не снимая белой повязки страданий, обмотанной вокруг лба, — но в этом новом месте никто не понимал ее значения.

По завершении трудов все собрались у печи, и даже отец соизволил подняться, чтобы присутствовать при первом поджигании. Дедушка Михаэль обнял его за плечи и сказал: «Пожалуйста, Авраам».

Губы отца были обиженно надуты, в точности как у ребенка, которому не удалось погасить свечи на своем именинном торте. Он зажег большой шведский примус и, дождавшись, когда в котле уплотнится пар, открыл кран солярки и приблизил к соплу горелки горящую тряпку. Я хорошо помню тот миг, когда огонь засмеялся и вырвавшийся на свободу пар выстрелил вовнутрь языком пламени. Отец долго прислушивался к реву горелки, поворачивал ее сопло то направо, то налево, затем направил пламя в центр печи и продолжал разогревать ее, не переставая, до той поры, когда день снаружи сменился сумерками и кирпичи в печи стали светиться темным и приятным вишневым цветом, отсвет которого лег на наши лица.

Отец потушил горелку, и воцарилась жуткая тишина. Он поднял палец к губам, призывая всех к полнейшему молчанию, спустился в яму и стал прислушиваться к шороху остывающих кирпичей. Послышалось несколько слабых потрескиваний, но ни один кирпич не сдвинулся со своего места.

Все отступили, а отец сунул руку внутрь и стал поворачивать ее ладонью вверх-вниз, изучая нрав новой печи и проверяя, насколько добротен ее страшный жар и каков он на ощупь. Потом он собрал во рту слюну, плюнул на кирпичи, как его научил Ицхак Эрогас в Иерусалиме, и приблизил к ним ухо, расшифровывая шипенье испаряющейся жидкости с тем знанием дела, в котором ему здесь не было равных. По прошествии многих лет, желая объяснить своим читателям, что каждая кирпичная печь имеет свою индивидуальность, я описал им постройку той нашей печи, но тогда я предпочел написать, что она была построена в Иерусалиме и что соорудили ее не братья матери, а знаменитый печник Гершом Зильберберг, польский хасид, который никогда не существовал на белом свете.

Когда все отправились спать, отец остался подле новой печи. Всю ночь он пролежал возле ее отверстия, то и дело всовывая руку внутрь, глядя пышущие жаром кирпичи и снова закрывая глаза.

Утром братья достали из своей колымаги грубые плотницкие инструменты и по указаниям нашего отца выстрогали и отшлифовали доски для рабочего стола, построили гарэ, как они называли шкаф, где расстаивается, то бишь всходит, тесто, сделали решета для просеивания муки, корыта для замеса и деревянные лопаты для сажания буханок, длинные и покороче. Потом младший из них запряг быка и вечером вернулся, везя в колымаге мешки с мукой, дрожжи, сахар, соль и жестянки с маслом. Разгрузив муку и просеяв ее, они попросили отца испечь хлеб.

Яков, который не запомнил ничего из той ночи, и я, запомнивший куда больше, чем тогда произошло, съезжались сбоку, прижавшись друг к другу, и те мгновения, когда слышался рев примуса, шум горелки, а в воздухе распространился кисловатый, живой запах дрожжей, помнятся мне прекрасно, хотя Яков утверждает, что я попросту разлагаю на составные части рассказы матери и затем собираю их заново. «Что тебе еще там делать, в своей Америке, кроме как сидеть, бездельничать и придумывать воспоминания», — ворчит он. Я признаю его правоту. Скажу по правде — иногда я привираю.

Потом отец опорожнил мешки с мукой в корыто для замеса, добавил воду, сахар и соль и влил туда раствор дрожжей. Тесто начало подниматься, распространяя вокруг свой кислый запах, и мать, закатав рукава, принялась месить его, давить, складывать, растягивать и сжимать. Слезы текли из ее глаз, падая в тесто вместе с потом и каплями из носа, лицо пылало от усилий, и глубокие стоны поднимались из лоцины меж грудями. Она была босиком, и всякий раз, когда ее руки загребали тесто, на икрах вспухали огромные желваки мышц, ахилловы сухожилия напрягались и большие

пальцы ног, сжавшись от напряжения, впивались в землю в поисках опоры. Когда тесто поднялось, отец нарезал его на куски, сформовал из них круглые булки и поставил их в новое гарэ, чтобы они еще немного взошли.

Через полчаса он потушил горелку, закрыл трубу, плеснул четверть ведра воды на раскаленные кирпичи, спустился в яму, взял лопату и точными движениями тонких рук начал сажать буханки внутрь печи. Когда в воздухе распространился запах свежееиспеченного хлеба, всех охватило волнение. Все стали улыбаться друг другу. Отец извлек хлеб из печи и тотчас побрызгал горячие корки бойей. Мать взяла первую буханку, разломилась и дала каждому по куску. «Который дал нам жизнь и сохранил нас до этого времени», — произнес дедушка Михаэль, окуная свой горячий ломоть в тарелку с солью, и все начали есть.

Не прошло и двух минут, как снаружи поднялась суматоха. Жители деревни стали сбегаться к нашему дому, топоча тяжелыми сапогами. Запах, вырвавшийся из новой пекарни, сладостным облаком воспарил над их убогими бараками, потек по пыльной улице, прорвался сквозь деревянные стены и старые одеяла и ударил им в ноздри. Они принесли с собой сыр, помидоры и маслины и даже достали где-то крепкие напитки и соленую рыбу. Ицхак Бринкер, наш симпатичный сосед, накрыл скатертью стол для резки теста, и все улыбались, смеялись, пели, хлопали отца по плечу и обнимали нас и друг друга. Прошел всего год с тех пор, как они поселились на этой земле, и сейчас их радость заполняла все вокруг.

— Теперь у нас есть пекарня, — говорили они. — В добрый час!

Мать нарезала всем хлеб, а отец улыбнулся и на какое-то мгновение даже показался довольным. Мы еще не знали в ту пору, что он никогда не оправится от своего унижения — от похищения, от веревок, от постройки пекарни руками «этих гоев». И хотя он понимал, что когда б не «она» с ее силой и энергией, оставаться бы ему до конца дней подмастерьем у пекаря, жалким и забитым иерусалимским орниро,<sup>[48]</sup> он все равно затаил в себе враждебность, которая росла и поднималась в нем, пока не обрела собственную жизнь и уже не нуждалась ни в какой подмоге, потому что, подобно всякой ненависти всходила на собственных дрожжах.

А мать, в огромном теле которой все еще пряталась благодарная, промокшая от дождя, настигнутая и потрясенная любовью двенадцатилетняя девочка-пастушка, не переставала любить его ни на один день.

## ГЛАВА 14

А вот, а вот и образ Джамилы — он возникает перед моими глазами, мутный и дрожащий, как будто проступающий в ванночке с фотопроявителем. Вот она — монеты звенят на вышитой груди, в носу зеленеет серьга, она несет нам в корзинке абрикосы сорта балади, самого замечательного в мире, если только научиться вытаскивать из них червей. Вот мать — дает ей черствый хлеб для кур. Отец раздражается и говорит, что раньше нужно покормить наших кур, а мать отвечает ему: «Есть на всех, Авраам. Есть и нашему, и ихнему». У Джамилы была кипрская ослица — высокая, белая и легконогая, и, когда она понесла от нашего осла, отец заметил: «Ну, поздравляю, наконец-то арабская баба породнилась с русской!»

Очевидно, мать излила свое сердце перед новой родственницей, потому что та бросилась ей на помощь. Стояли весенние дни, то и дело шли дожди, и Джамила велела матери вытащить во двор тазы и лохани и собрать в них воду последнего дождя, а назавтра принесла с холмов огромную охапку ромашек, приказала замочить их в собранной воде и помыть в ней голову. Так поступают феллашки, сказала она, когда хотят возродить любовь.

Мать последовала ее указаниям, и я до сих пор помню чудодейственное влияние, которое это мытье в дождевой воде оказало на ее волосы. Горьковатый, густой и влекущий запах поднимался от ее головы, светлые пряди сверкали новой глубиной оттенков. В тот день она расхаживала так, словно на ее голову возложили корону, в наивной вере, что запахи дождя и поля вернут в сердце отца прежнюю любовь. Мы с братом подсматривали, как она подогревала себе воду на примусе горелки, и молча плакала при этом, а потом сняла блузку и нагнулась над большим тазом. В этом тазу она мыла меня и Якова и, намыливая наши головы едким мылом «Наблус», приговаривала: «Закрой очи». У нее были чистый затылок, руки борца, широкие белые плечи и бледные, нежные девичьи соски. Ее белая кожа светилась в вечной полутьме пекарни, мускулы двигались на ее спине и длинных, выступающих лопатках. Ее волосы плавали в душистой воде карминно-золотистыми змейками. Лишь теперь, извлекая эти картины из темных закоулков своей памяти, я начинаю их понимать — дрожь ее пальцев, когда она подавала еду на стол, потухшие глаза, когда она месила тесто, боязливую улыбку, когда она смотрела в

зеркало, ее детский хриловатый шаловливый голос: «Авраам, Авраам, Авраам...»

Все мое детство и юность прошли в тени любви моего брата к Лее и ненависти отца к матери. Вначале я не понимал, потом отказывался понимать, а под конец понимание обрушилось на меня, схватило за шиворот и вышвырнуло из родительского дома на другой край земли.

## ГЛАВА 15

С раннего утра в комнате отца смятение. Правильно ли он сделал, что спал всю ночь с открытым окном? Что надеть раньше — штаны или рубашку? И как ее положено застегивать? С нижней пуговицы вверх или наоборот?

Из кухни слышится звон посуды. Тия Дудуч уже ставит кастрюли на огонь. Из пекарни раздается шум — это мой брат Яков и наш кузен Шимон перетаскивают ящики с хлебом, готовя заказы к отправке. Лея, жена моего брата, спит в своей комнате. Трое их детей—каждый на своем месте. Младший сын, Михаэль, — в детской. Старший, Биньямин, — в своей могиле. Роми уже улизнула в город.

Как громко и стройно звучит пение просыпающихся птиц. Как и в дни моего детства, начинают бульбули, темными шариками нанизанные на ветки лимонных деревьев и электрические провода. Их оперенье всхохло и ошетилено от предрассветной прохлады, желтые подгузники под хвостами — как насмешка над ритуальной строгостью черных ермолок на хохолках. Из поселка уже не доносятся, как бывало, крики петухов и утреннее мычанье голодных телят, но бульбули, как и в дни нашего прихода сюда, по-прежнему болтают каждое утро, рассказывая все одни и те же сны. Потом к разговору присоединяются воробьи и начинают петь, и их голоса выкатываются из горла, как хрустальные шарики. За ними просыпаются самцы черных дроздов и разевают свои оранжевые клювы в песнях, посвистываниях и подражаниях молитвам, ожидая, пока поднимется солнце, а с ним — хриплый галдеж соек, этих миловидных и драчливых садовых сорванцов.

Отец, в своей комнате на другом конце дома, снова оповещает громким голосом:

— Сейчас я спущу ноги с кровати и надену комнатные туфли. Потом я пойду в уборную, потом выпью кофе, а потом побреюсь. — Затем, после короткого молчания: — Нет! Раньше я побреюсь, а потом выпью кофе, потом немножко похожу, и тогда у меня будет хороший стул.

«Либо ты приедешь за ним ухаживать, либо я выброшу его из дома, — написал мне Яков. — Ты знаешь, что мы с ним никогда особенно не ладили, но сейчас я уже дошел до ручки. Он все время кричит, что у него боли. Ни один врач ничего у него не находит. Я не могу его больше выносить. Я никогда не выносил его, у меня и без него достаточно

неприятностей. В конце концов, он твой отец тоже, так что будь добр, пожалуйста!»

И я, который не приехал на похороны матери и отсутствовал на обрезаниях сыновей моего брата, в тот же день собрал три чемодана, оставил на двери записку — этакую глупую, никому конкретно не адресованную остроту: «Пекарь уехал на месяц. Если припечет, обратитесь, пожалуйста, к лекарю — м-р Норстром, бульвар Хаусман, 66», — отправился поездом в Нью-Йорк и вылетел домой. У въезда в поселок я велел водителю такси ехать дальше и выгрузить мои чемоданы у входа в наш двор, а сам пошел пешком вдоль улицы.

Ощупывая, узнавая, мои воспоминания шли передо мной, повизгивая от волнения. Стоял ранний утренний час, и из крон казуарин и фикусов поднималось воркование горлиц, такое застоявшееся, будто оно завелось там годы назад и только теперь сумело вырваться из листвы на волю.

Маленькие крестьянские домики сменили хозяев, прибавили в летах, этажах и богатстве и превратились в шикарные виллы, покрытые холодной броней мрамора и коврами ползучих растений. Из-за пахучих живых изгородей неслись запахи кофе и первые посвистывания кофеварок, а из еще большего далека ко мне обращались позывные свежего хлеба моего брата Якова, подтверждая, что я вернулся, напоминая о себе и искушая своим обольстительным сладким пением.

Войдя в фотографию знакомого пейзажа, я поднялся в свой дом. Все ближе к объятиям брата, слезам отца и к своим собственным слезам. Возвращение домой? — вероятно, усмехаешься ты. А как же страдания? А волны? А гигантские скалы, которые швырял тебе вдогонку великан? И кто же твои Сцилла и Цирцея? И кто эта ждущая тебя женщина? Что вообще может быть банальней, чем возвращение домой? «Только книга о возвращении домой утомляет больше, чем само возвращение».

Ворота двора уже стояли настезь, и потрепанный грузовичок с открытой дверью маневрировал возле них, пытаясь заехать задним ходом, чтобы погрузить ящики с хлебом. Только сейчас я вспомнил, что на входе в деревню прошел мимо кладбища и не заглянул на могилы матери и Биньямина.

Во дворе был припаркован старенький пикап, выкрашенный в устрашающий желтый цвет и принадлежавший Роми, дочери моего брата, и мое сердце на мгновение остановилось, потому что в эту минуту сама Роми появилась на веранде при входе в дом. Светловолоса она и высока ростом, красива и широкоплеча. Какая жестокая причуда тоски. Одним махом она

перепрыгивает через все четыре ступеньки и обвивает мою шею своими сильными руками. Целует меня в губы, слегка отстраняется и с удовольствием разглядывает с головы до ног. У нее лицо юноши, мягкие выразительные губы и широко расставленные, золотисто-голубые глаза, точно пестрые анютины глазки, «венчик золотой — венчик голубой», смеющиеся из-под светлых и дремуче-густых бровей.

— Что ты привез мне в подарок, дядя? — выдыхает она в мою шею.

Я вошел в пекарню, и вот уже мучная пыль снова раздражает мое горло, и гладкий запах бойи вместе с мощным кислым вкусом левадуры<sup>[49]</sup> охватывают меня, и руки брата Якова сковывают мои плечи. Ибо что может быть сентиментальней, чем возвращение домой? Даже не книга, которая будет написана об этом.

Обнявшись и плача, мы пересекли двор, поднялись на четыре ступеньки веранды, вошли в дом и двинулись по длинному коридору к отцовской двери.

Он лежал в постели, в белой рубашке на голое тело, с зачесанными назад редкими волосами, с отеческой улыбкой, которая сразу же стала растворяться в слабом трепете губ, пока в их уголках снова не осталось ничего, кроме настоящего плача. Две исхудалые безволосые руки тянутся ко мне из постели, в то время как я стою перед ним на коленях, жалея и обнимая его.

Шакикира де раки, платок, пропитанный араком, уже повязан на его лбу, как белый флаг страданий, а из-под анисовой пелены ко мне крадется запах клея на конвертах его писем, запах коричневых старческих пятен, которые расцвели на его руках, запах морщин, выгравированных на его шее, докрасна выжженной раскаленной печью и пламенем любви нашей матери Сары.

— Ну вот, отец, он приехал, — нетерпеливо сказал Яков. — Он приехал, можешь уже снять эту тряпку с головы. Все и так видят, что у тебя боли, не плачь, я же тебе сказал, что он приедет.

Тонкий, нежный мальчик прятался за ногами брата, подсматривая за нами и перебирая пальцами старинное жемчужное ожерелье на шее. До сих пор я его ни разу не видел, кроме как на фотографиях, которые посылала мне Роми.

— А вот и Михаэль, — позвал я, наклонился к нему и поднял на руки.

Яков, увидел я краем глаза, весь напрягся, едва не бросился, чтобы забрать у меня сына, но тотчас взял себя в руки, натянуто улыбнулся и сказал:

— Пошли, я приготовил тебе комнату. Ты, наверно, хочешь поесть,

помыться и отдохнуть.

Он приготовил салат и яичницу, нарезал свой хлеб, сварил сладкий кофе с молоком.

— Я наслаждаюсь, как тридцать хрюшек, — провозгласил я, и Яков дружелюбно спросил, из какой книги я цитирую сейчас.

— Быстро, все наружу, снимаемся в честь дяди! — Роми выгоняет нас на веранду. — Автоматический семейный портрет, — объясняет она, вся — буря и натиск. Она уже притащила кресла и лампы для подсветки, натянула простыни на стену. — Стань возле брата! — укоризненно сказала она мне. Шимон с Михаэлем на руках стоял по другую сторону Якова, и Роми, взяв большие фотографии матери и Биньямина, поставила их на колени сидевших в креслах отца и Дудуч, а сама стала возле меня. Все замолчали. — Смотреть в камеру! — Послышалось жужжанье механизма. Его крохотные песочные часы отсчитывали последние песчинки. Лезвия диафрагмы затаили дыхание. — Не смеяться! Не двигаться! Не дышать! — приказала Роми. — Кто шевельнется, мигом состарится.

Сфотографировались.

Потом я раздавал подарки. Отцу я привез четыре вида жидкости для бритья, две белых хлопчатобумажных рубашки и пару домашних туфель из тюленьей кожи. Брату Якову — чемоданчик с набором рабочих инструментов «Стенли» и усовершенствованный радиоприемник, чтобы он мог слушать далекие станции во время своей предрассветной «третьей стражи». Михаэлю я, по его просьбе, привез костюмы Ангела Смерти и «обыкновенного ангела», а также всевозможные приспособления для показа фокусов. Для Роми, кроме маленького «Олимпуса», который она просила, я купил новую треногу, альбомы фотографий Уильяма Клайна, Ансея Адамса и Хелен Левитт, а также нумерованный экземпляр из эмерсоновской серии «Жизнь и ландшафт Норфолка», что обошлось мне, как ты можешь себе представить, в изрядную сумму. Тии Дудуч — «безобразной карлице», как Роми ее называет, — я привез новое черное платье и черные туфли, чтобы скрасить ее старость, ее сыну Шимону — палку для ходьбы и три килограмма разных сладостей.

Яков приготовил для меня ту комнату, которая раньше была нашей общей спальней. Роми притащила туда мои чемоданы и изучила все мои костюмы и рубашки, перед тем как развесить их в шкафу.

— Мне нравится, как ты одеваешься, — сказала она.

И потом, увидев, как я неуверенно ощупываю все кругом, приснула: «Они висят у тебя на шее, глупый!» Подошла ко мне и водрузила очки на мою переносицу. Она того же роста, что я, волосы такие же рыжие, и, когда

она стоит передо мной, сладкое дыхание ее рта веет мне прямо в лицо. Она называет меня «дядя», а когда у нее хорошее настроение и она хочет мне понравиться, то «дяд-ненагляд».

— Давай сыграем, будто ты вкусная мышь, а я голодная кошка, — предлагает она.

— Давай сыграем, будто я персидский ковер, а ты чайная ложка, — отвечает дяд-ненагляд.

— Когда уже ты привезешь мне платье вместо линз?

— Когда ты научишься себя вести.

— Я ни на минуту не переставала соскучиваться за тобой, — сказала она. Хотя бабка умерла еще до ее рождения, она знает все рассказы о ней и так точно копирует ее неправильную речь, что при их внешнем сходстве это просто пугает. — А ты на меня не наглядываешься, — объявила она и, повернувшись ко мне спиной, продолжала раскладывать мои вещи в шкафу.

## ГЛАВА 16

Прошло пятьдесят лет. Матери, здоровой и сильной, как бык, давно уже нет. Отец — маленький, болезненный и капризный — все еще жив. Гусь растерзан. Коляска приарха доживает свой век на задах пекарни. Мы с Яковом выросли, и каждый пошел своей дорогой. Он, если подытожить вкратце, женился на женщине, которую я предназначал себе, унаследовал пекарню, которую отец предназначал мне, родил троих детей и похоронил первенца. Я уехал в Америку, не женился, не родил сына и не потерял его. Вот, в сущности и вся история. Но, как сказано, «подробности всегда будут встречены с благодарностью» (и тут мне снова придется просить прощения за свою склонность к цитатам).

Пятьдесят лет прошло, но стрелки судьбы не сделали меня и моего брата-близнеца более похожими. Только толстые линзы наших очков утолщались одновременно и остались одинаковыми. Я все еще выше него на целую голову, шире в плечах, сильнее и сдержанней, более холодный и закрытый, и в то время как мои жесткие рыжие волосы едва прорежены сединой, черные волосы брата уже выпадают. Те годы, которые я провел в приятном доме, в удобной спокойной стране, в умеренном морском климате, в хлопчатобумажных костюмах из «Lands' End,<sup>[50]</sup> в объятиях забавлявших меня, забавлявшихся мною и благодарных мне женщин, мой брат провел у пылающей печи, у холодной могилы сына, у запертой двери жены.

Подобно отцу и брату, я тоже зарабатываю на хлеб хлебом, но опять-таки я не пеку его. Я пишу о нем. Я отрекся от семейной традиции страданий, от ада печи и жара поддонов, от мертвой тяжести мешков с мукой. Мать, когда она была еще жива, прокляла меня и назвала «предателем». И действительно — я человек слов и рецептов. Прощайте, потрескавшиеся веки, обожженные ладони. Прочь от меня, кашель пекаря, оковы теста. Пошла вон, рычащая горелка.

Мне жаль, если я выгляжу оправдывающимся.

## ГЛАВА 17

— Теперь я выворачиваю рубашку, — извещает отец из своей комнаты. — Вот так и вот так... Сначала правый рукав... теперь левый...

Старость возвращает отца к горечи детских сражений с окружающим миром. Он начинает заново обсуждать вопросы, на которые каждый уже ответил в младенчестве, — какой руке первой просунуться в рукав, как сделать, чтобы перед свитера был действительно спереди. Полуслепой, с трясущимися руками, встает он на бой. Он воюет с мятежными шнурками, которые не желают продеваться в свои отверстия, с рубашками, которые издевательски отказываются застегиваться, с людьми, которые превосходят его ростом и разумом и лучше знают, что для него лучше.

Он долго и горько советуется — со мной, с собой, с героями своих воспоминаний — о своей склонности переворачиваться во сне. «Ведь как положено спать? Только на том боку, где сердце, — кропит он меня своими наставлениями. — Когда человек спит на животе, у него делаются камни в желчи, а когда на спине — то камни в почках».

— Какой ужас сделался из маленького мальчика, — бормочет он своему отражению в зеркале. Услышав это бормотанье, я не смог сдержаться от смеха, хотя в голосе отца звучало явное раздражение. Даже его собственное тело — эта расползающаяся грудка взбунтовавшейся и коварной плоти — перешло на сторону врага и устраивает ему засады во тьме его старости, точно праотцу Иакову на переправе через ручей Йабок, каждый день удивляя его новыми каверзами — дрожанием пальцев, перебоями дыхания и памяти, плотинами запоров, которые даже его настойка из фиников в оливковом масле не в состоянии прорвать. А пуще всего — болью. Злобной, без оправданий и объяснений. «Старый человек, — сказал он мне, — старый человек плохо видит, плохо слышит, и вкус у него уже не тот. Только боль он ощущает совсем как молодой».

Он планирует и документирует свои действия, как заправский сапер. Глухое бормотанье словно испаряется с его кожи: «Сейчас я иду к столу... Медленно-медленно... Я отрезаю себе кусок хлеба... Осторожно... Намазываю его маргарином... Вот так... А сейчас я сяду кушать... Жевать медленно».

Но хуже всего — это домино, где он всегда проигрывает, потому что не перестает громогласно описывать, какие козни он задумал и какие камни прячет в ладони.

— Зачем ты это делаешь? — кипячусь я, сгребая камни и сбрасывая их со стола. — Ведь это секрет. Весь интерес домино в том, что мне не разрешается знать, какие у тебя камни.

— Зачем? — отвечает он торжествующе. — Совсем не затем, что ты думаешь. А затем, что я каждую минуту могу умереть, поэтому я хочу, чтобы все знали, какими были мои последние слова.

У него та же живая и цепкая память, что у меня. Вчера на меня накатило — я вошел в кухню и каким-то чудом возродил к жизни компот, который когда-то делала мать, тот самый, с черносливом, ломтиками лимона и айвой.

— Очень смачный компот, — провозгласила Роми, и все засмеялись. Именно так хвалила свой компот наша мать, потому что отец никогда не давал себе труда его похвалить. Он и на этот раз ел его с жадностью, но знакомый вкус возродил в нем давние страхи, и он то и дело искоса поглядывал по сторонам, словно «она», эта православная кобыла, подстерегала его в каком-то из углов.

Боязливый, беспокойный, преследуемый страхами человек. Каждое вставание с постели грозит превратиться в ночную авантюру, куда более опасную, чем тот его переход через пустыню. Сумрак ночи, дряблость тела и ослабевшая способность ориентироваться, объединившись, превратили дом в гигантский и запутанный лабиринт, в котором он не может найти ни конца, ни начала. Однажды ночью, рассказывал он мне смущенным и сердитым шепотом, он вышел из уборной и нащупывал дорогу от двери к двери, пока наконец не нашел свою комнату и не улегся. По прошествии нескольких минут он ощутил рядом с собой чужое тело и пришел в ужас. Всю ночь он не мог сомкнуть глаз и даже пальцем боялся пошевелить. Только когда взошло солнце и его лучи проникли сквозь жалюзи, он позволил себе скосить глаза и увидел, что лежит в кровати своего умершего внука, а рядом с ним — его невестка Лея.

Свою комнату он мало-помалу превращает в маленькую квартирку, чтобы ему не нужно было из нее выходить и встречаться с другими людьми. Так удобнее всем. Шимон установил там для него мраморную доску, полки для посуды и раковину. Там он исследует свое тело, прислушивается к своим воспоминаниям, без конца варит кофе на маленькой газовой горелке и с гордостью предлагает его мне: «У вас в Америке нет такого кофе!»

Пока мы пьем, он снова рассказывает мне о гномиках боли, которые вторглись в его тело.

— Первый, кто понимает, что человек скоро умрет, — это его боль, —

сказал он, — и тогда она покидает его и идет искать себе кого-нибудь другого. Так она нашла меня, и только так она меня покинет.

— Она приходит снаружи? — удивился я. — Я думал, что боль приходит изнутри.

— Снаружи, — отрезал отец. — Потом он начал расспрашивать меня о моем доме. — Опиши мне каждую комнату и все, что в ней есть, — попросил он. — И все это дают тебе книги? — удивился он. — И картины, и телевизор, и шкафы, и диваны?

— Это не так уж много, отец.

— А женщины из наших — ты их там встречал? — Я улыбнулся. Отец понял, что обходные пути не работают, и перешел во фронтальную атаку: — Но сейчас ты, может быть, захочешь жениться, ты, может быть, захочешь пекарню?

— Лея и пекарня — они Якова. — Я тоже заговорил, как мать, и лицо отца исказилось в гримасе.

— Пустема!<sup>[51]</sup> — сказал он, поднял руку и приказал: — Не позволяй ей входить ко мне.

Я почувствовал, как тонкие лезвия жалости полоснули по моей груди. Его воспоминания, связанные с матерью, были настолько сильными и свежими, что он порой забывал, что она уже умерла.

— Ее уже нет, отец. Когда ты поймешь это?

Она умерла через год после того, как я уехал в Америку, от стремительного агрессивного рака той разновидности, которую способно было вырастить только такое тело, как у нее, — и я не приехал на ее похороны.

— Я понимаю, я понимаю, но она может обнять меня, сломать мне ребро, а ребро сейчас же прорежет легкие и селезенку. Она может задушить своими поцелуями, эта кобыла, она не такая, как наши женщины. Я не рассказывал тебе о Нисиме Алкалае? Как он умер от поцелуя женщины?

Он лежит на спине, посреди кровати, а я сижу у его ног. Его пятка лежит у меня на бедре, и я стригу ему ногти на ногах. В этой необычной позе я вижу, что в его ноздрях выросли пучки молодых черных волос.

— Постричь тебе волосы в носу, отец?

— Потом, — отвечает он. — Раньше ногти, потом волосы.

Ногти на его больших пальцах желтые и твердые, как кость, и постричь их можно только с помощью старых материнских садовых ножниц. Когда я кончил, он сел в кровати и сам постриг себе ногти на руках. Он стриг их медленно-медленно, высовывая и втягивая язык в такт движениям лезвий. Потом он собрал весь урожай состриженных ногтей в

пепельницу и поджег их на маленьком алтаре, сложенном из спичечных головок, — средство от бесовских полчищ, которые имеют привычку собираться вокруг человека, который сам стрижет себе волосы или ногти.

Под конец он со стоном поднялся и проветрил комнату от запаха гари.

— Ничего уже не происходит впервые, и ничего не происходит только один раз в жизни. О чем легче думать? О том, что будет, или обо всем том, что уже было? А сейчас надень мне туфли и поедem к врачу. Чтобы не опоздать.

Я становлюсь перед ним на колени, натягиваю ему носки, затягиваю шнурки его ботинок и завязываю их двойным узлом, как он любит. Его речь ввинчивается в мои уши, бесконечная, как спагетти сарояновского парикмахера.

В отделении боли уже ожидают больные.

— Сейчас я усаживаюсь... Осторожней... Вытянуть ногу... — бормочет отец, с удобством устраивается на одном из стульев и с благодушным видом победителя улыбается своим соседям, которые отвечают ему холодными, сердитыми взглядами.

Подобно мужчинам у писсуаров, пациенты тайком косятся друг на друга, как будто сравнивают размеры своей боли. Каждый укутан в кокон своих страданий, их губы шевелятся, но голоса не слышны. Страдающие мигренью, недуг которых выдают лишь их зрачки, размером с булавочную головку. Люди с радикулитом, лица которых искажаются за секунду до укола боли. Больные раком поджелудочной железы, сложенные вдвое, точно перочинные ножи, грудь прижата к коленям, лица бледные и в поту. Каменотесы страданий, высекающие из собственной плоти губительный щепень почек и желчи. Некоторые из них еще молоды, и боль тренирует их тела для далекой смерти; другие стары, и боль для них — единственный родственник, который еще навещает их регулярно. Эти касаются и гладят себя с такой огромной сосредоточенностью, что трудно понять, успокаивают они свою боль или поощряют и возвращают ее.

— Боль — это разон. Справедливость, — объяснил мне отец с торжественной категоричностью, и внезапно, спустя пятьдесят лет после того, как руби отхлестал Якова, я понимаю, что в глазах отца боль есть не что иное, как механизм наказания, вложенный в природу человека при его создании точно так же, «как честь, и любовь, и память».

Врач вышел из своего кабинета и улыбнулся отцу. Он симпатизирует ему, хвалит иврит, которым отец изъясняется, и его внешний вид. Отцовские черные брюки всегда выглажены. Его туфли сверкают. На нем белоснежная рубашка. На его одежде не найдешь ни старческих пятен супа

и мочи, ни выцветших следов пота, ни капель яичного желтка.

— Пошли, отец, — сказал я, — сейчас твоя очередь.

Больные подняли завистливые и негодующие лица, и врач подобно ангелу, ответственному за страдания, помахал пальцем.

— Всем болит, — сказал он. — Всем. Прошу вас, господин Леви.

Я тоже вошел.

— Как вы себя чувствуете, господин Леви? — спросил врач.

— Нехорошо, нехорошо.

Отцовский палец скользнул по ноге и поднялся от паха к животу, прочерчивая маршрут новой боли. Яков уже подготовил меня к этому визиту. «Ты только дай ему аудиторию, — сказал он, — и увидишь, на что он способен». С точностью и гордостью изобретателя отец описывает врачу пути своих страданий и их хитрые козни.

— Сначала такой слабый блеск в ноге, вот здесь, вроде пустяк, как будто зажглась маленькая лампа. Но я уже знаю эту мерзость. Она ползет медленно-премедленно, вверх по бедру, а оттуда, маленькими шажками, прокрадывается в мое нутро, усаживается там и ведет себя так, будто это я у нее внутри. Зиара<sup>[52]</sup> мучений.

— Как она ползет? — спросил врач. — Как ползет ваша боль, господин Леви?

Все больные, сказал он мне потом, затрудняются описать свои боли словами. Всякий отчет начинается с «как»—«как нож, как огонь, как пила, как черные точки в теле». Он собрал любопытную коллекцию таких сравнений, записанных за больными: «как будто облако в животе», «давит, как зубы зверя», «маленькие бомбочки в голове», «как черный дым в печени», «как от любви, но в ноге». Красиво, правда? Красиво и непонятно. Вот вам абсурд, над которым стоит поразмышлять, господин Леви: сравнения — вещь настолько очевидная, что человек уверен, будто весь мир тоже обязан их понять.

— Есть вещи, которые я говорю — и все понимают. Например, боль, как веревки на руках, — сказал отец. — Но есть еще боль, как лимон в плече. И есть боль, как стыд в теле. Сыновья мои, господин доктор, этого не понимают, а вот вы, ваша честь, понимаете.

— В сущности, — воодушевился доктор, — боль превращает их в поэтов. Чтобы хоть один раз сходить в магазин, распрямившись, чтобы хоть одну ночь поспать спокойно, они открывают передо мной самую сокровенную свою сокровищницу. Сокровищницу метафор.

Наивный и милый человек — врач моего отца. Простак, который верит каждому слову.

## ГЛАВА 18

Живая изгородь страстоцвета быстро сплелась вокруг нашего дома. Большие голубые глаза раскрылись в ней. За изгородью расстилались просторы открытых, смутно различимых полей, а еще дальше баловал и дурил расплывчатый, ускользящий горизонт. Там были еще и горы, на самом деле недалекие, но совсем уж невидимые для наших слабых глаз, и только сползавшие с них овраги да ветер, приносивший дальние дикие запахи, говорили об их существовании.

На новом месте все было другим. Поселку было всего три года, на его деревьях еще не появились завязи, и жители еще не видели плодов своего труда. Но для нас, беженцев из Иерусалима, здесь были приуготовлены чудеса и восторги. Здесь слышались странные и непривычно новые голоса: попискивание мышей в полях, вибрирующие соколиные крики в небе, мычанье и ржанье в хлевах и стойлах. Хриплых жаб из топких иерусалимских луж сменили веселые лягушки, празднично поющие поблизости, в долине ручья. У них были сверкающие, изящно изваянные тела, они прыгали в мелких лужицах, как танцовщицы, и умели петь двумя разными голосами, а когда попадали в клюв цапли — еще и третьим. Птицы самой причудливой окраски — сизокрылки, щурки и зимородки, — которые в Иерусалиме гнездились только в стеклянных шкафах из рассказов Лиягу о коллекции чучел Эрнста Гримгольца, здесь прыгали между растущими на воле, настоящими деревьями на берегах настоящего ручья. Сверчки, которые в Иерусалиме тянули лишь унылые песни нищеты, здесь громко и страстно стрекотали «любовные песни сладкозвучных певцов». Черные дрозды свистели в садах и посадках. Шакалы и волки выли на горе. Цветы сверкали на земле, а не сохли в альбомах паломников между переплетами из оливкового дерева.

Мать была счастлива. Ее руки трудились, не переставая. Похоже было, что она вообще не нуждается ни в отдыхе, ни во сне. Ночи напролет она месила и пекла, а днем обрабатывала свой участок и ухаживала за домом. Каждое утро я просыпался под звуки ее шумных глотков и стонов удовольствия между ними: «Ух, хорошо!.. Ух, хорошо!..» В моих слабых детских глазах она выглядела взрослой, сильной и умудренной годами. Но сейчас я понимаю, что она была не только молодой и невежественной — в то время ей было двадцать четыре года, — но вдобавок ребячливой по самой своей натуре. Не раз случалось, что она убегала в поле играть с

местными детьми в прятки, догонялки и пятнашки. У нее были быстрые, ловкие движения, и она швыряла тряпичный мяч сильно и точно. Ее повадки нравились далеко не всем.

«Люди говорят о тебе, пустема! — сердился отец. — Женщина не должна играть на улице, как дети».

Но мать носилась по двору от избытка счастья и силы, клекотавших в ее теле, громко распевала смешные полуграмотные песни, а когда видела, что мы наблюдаем за ней, гналась за нами и прижимала к груди сокрушительным прессом своих рук. Она никогда не понимала ненависти и отвращения отца и не чувствовала настороженности, которую вызывала у всех, — настороженности, которая прилипла к ней, как тень, последовала за ней из Иерусалима и мало-помалу обрела новую жизнь в пересудах женщин на новом месте. Прищуренные взгляды начали сверлить ее спину, и поджатые губы стали цедить ей вослед свою желчь.

Она развела за пекарней маленький огород. Оттуда веял запах чеснока, зеленого лука и помидоров. Она отвела к быку нашу первотелку, к которой отец боялся даже приблизиться. Четверо несущек и петух клевали под молодой шелковицей. «У петуха много жен, — объясняла она нам устройство мира, — а у гуся только одна жена.» Ицхак Бринкер, наш сосед, дал ей белый известковый раствор, и она побелила им стволы своих саженцев. Она ставила бесполезные капканы против крыс, которых так и тянуло к складу пекарни, и с громкими ругательствами корчевала сорняки, которые осмелились вырасти в нашем дворе. Ее ненависть к ворам и паразитам не знала границ. Во дворе было несколько муравейников, откуда муравьи проложили себе пути для грабительских набегов на склад. Однажды, стыдно признаться, мы видели, как она стояла в своем широком рабочем платье над одним из этих муравейников, упершись руками в бедра, широко расставив ноги и со странным выражением на лице. Когда она отошла, на холмике осталась пенистая лужица. Я спрятался, а Яков с изумлением и стыдом спросил ее, неужели «она делала пи-пи на муравьев». Матюставилась на него, смутилась, а под конец засмеялась и сказала: «Нет денег на керосин, дети».

На новом месте никто не упражнялся в трубных звуках шофара,<sup>[53]</sup> и синагогальный служка не будил нас покаянными молитвами перед Судным днем. Только крикливые стрижи да стаи бабочек с черно-белыми крыльями прилетали в наши края сообщить, что пришла осень. Тогда мать брала нас в поле, чтобы посмотреть, как Ицхак Бринкер пашет землю. Держась за ее руки, мы топали что было сил, наполовину бегом, наполовину волочась за нею, а она шла между нами своим широким шагом, жадно втягивая в себя

запах рассекаемой лемехом земли, и ее плечи и грудь поднимались и опускались в такт этим глубоким вдохам. Темные борозды то глотали, то вновь выплевывали солнечный свет, матово-тусклый, приятно-бархатистый на вид, и Бринкер, шедший за своим югославским мулом, завидев нас, начинал петь громким голосом:

В небе звездочек без меры,  
Как свою мне угадать?  
Все в деревне кавалеры,  
Как мне милого сыскать?  
Да, того, который знает,  
Что он мне сердце разрывает!

Ицхак приветливо кивал нам с Яковом и улыбался матери. Он был хороший сосед. Он дал матери саженцы и семена, научил ее подрезать деревья и, по ее просьбе, вооружась охотничьим ружьем, провел однажды несколько ночей в засаде на крыс, которые нападали на склад пекарни. У него были сын Ноах, несколькими годами старше нас, который обладал способностью напеть вторым голосом любую только что услышанную песню, и ссохшаяся жена по имени Хая, то есть «живая», которую в поселке называли «Мертвая Хая», потому что от нее шел запах падали. Запах слабый, но несомненный и неустрашимый. Мертвая Хая не так уж часто выходила из своего дома, зато ее запах выходил, да еще как! Позже, начав читать книги, я про себя, тайком от Бринкера, назвал ее «госпожа Тенардье».

Через несколько недель после нашего появления в поселке Бринкер пришел к нам с газетой «Давар» в руках и прочел сообщение о встрече верховного комиссара лорда Плумера с греческим патриархом Демианусом. Патриарх действительно пожаловался комиссару на кражу коляски, «и обе стороны обсудили также текущие дела и конфликт между христианскими общинами различного толка вокруг храма Гроба Господня».

Бринкер и мать засмеялись, но отец испугался. Он потребовал немедленно сжечь коляску. До той минуты она была в его глазах только напоминанием о позоре, но теперь, в глазах главного прокурора мандатных властей, она стала еще и Самым Разыскиваемым Вещественным Доказательством. Отец всегда боялся властей. Людей в мундирах, придирчивых чиновников, санитарных инспекторов, которые, как назло, заявлялись в пекарню именно в пятницу утром, выискивали крысиный

помет и следы тараканов и, как тот алчный инспектор по кашруту, с редкими зубами и бородачкой, что раздражал мать грязью своих взглядов и одежды, заполняли бланки прегрешений и брали десятину халами. А теперь к этим людям, охотившимся за его душой, присоединились еще и сыщики британской уголовной полиции.

Годы спустя, когда я уже был в Америке, последний из англичан покинул страну, и отец вздохнул с облегчением. Но через несколько месяцев, во время одной из ссор, мать, с неожиданной для нее хитростью, сказала ему, что верховный комиссар оставил в стране одного тайного агента как раз для розысков коляски, и еще многие годы спустя в отцовских кошмарах появлялся переодетый сыщик, входящий в наш поселок, — рыжий, с толстыми и волосатыми веснушчатými руками, спрятанными под одеянием монахини, которое призвано было скрыть его пол и должность. Вот он с уверенностью проходит напрямик к коляске, соскабливает перочинным ножом унылую серую краску, которой мать закрасила лаковое патриаршее покрытие, потом хватает отца за чуб и по широкой дуге швыряет его напрямик в глубокое сумрачное подземелье Русского подворья в Иерусалиме. Мы все смеялись над его страхами, но однажды в доме появился именно такой сыщик, и у всех у нас перехватило дыхание, хотя он был в кепке и жилетке, а не в одеянии монахини. Он спросил нас по-английски насчет «женщины из Иерусалима», но я, уже немного знавший к тому времени английский язык, весьма решительно ответил: «No! No!» — и он удалился.

Мать, как и всегда, оказалась смелее и практичнее отца. Она выломала из коляски бархатное сиденье, превратив его в небольшой диванчик для жилой комнаты, и сорвала матерчатую складную крышу, из которой Бринкер, на все руки мастер, сделал навес для нашей веранды. Заодно он снял с коляски деревянные ободья и заменил их на пару старых автомобильных шин, а на самой коляске установил полки для хлеба и решетчатые двери. «Это для вас, фрау Леви», — радостно смеялся он.

Поверх черного лака и эмблем патриархии мать нарисовала гигантский и уродливый каравай, который выглядел как гибрид картофелины и комнатной туфли. Мало-помалу из коляски испарились последние запахи благовоний, розовой воды и шариков из шоколада с мятой, которые патриарх имел обычаем сосать во время своих поездок. Потом меж оглобель был помещен осел, присланный матери ее отцом, и вот так святейший экипаж превратился в конце концов в простую повозку для развозки хлеба.

## ГЛАВА 19

Помнишь ли ты у Ансея Адамса его фотографию руки — первобытную ладонь, белый чертеж на камне? На порге нашей пекарни вдавлены в бетон отпечатки двух ладоней. Одна большая, с отрубленным мизинцем, другая маленькая, детская, и рядом надпись: «Яков Леви и его сын Биньямин, пекари, апрель 1955».

— Он называет эту руку «Памятником», — сказала мне Роми.

На одной из самых страшных фотографий среди тех, что она прислала мне в Америку, изображен Яков, стоящий на четвереньках, опустив лицо к полу, как лакающий воду пес, со вздувшимися щеками и закрытыми глазами. Каждое утро, после выгрузки четвертой, последней, печи, он опускается таким образом на четвереньки, снимает свои толстые очки, наклоняется к бетонному полу и сдувает муку, которая набилась в углубления ладони Биньямина, и каждое утро Роми поджидает его со своим фотоаппаратом — так же, как она подстерегает его в доме, на кухне, во дворе, возле могил, во время работы, во время отдыха, во время его размышлений и во время его скорби.

— Когда-нибудь я сделаю выставку, — сказала она мне, — и назову ее «Мой отец».

Она не скрывает своих намерений и от Якова.

Роми проглядела альбом фотографий Адамса, который я ей привез, и сказала со смехом: «Моя рука лучше». На ее снимке облако поднятой дыханием муки напоминает клочок тумана.

Председатель Комитета скорбящих родителей, худой человек приятной наружности, которого Яков называет «Главный Скорбящий», обратился к нему с предложением участвовать в установке памятника погибшим солдатам поселка.

— У них есть скульптор в Тель-Авиве. Специалист по железному лому. Ржавые ружья и перекореженные пулеметы. Стыд и позор!

Яков привел Главного Скорбящего в пекарню и показал ему отпечатки рук в бетоне.

— Вот тут все, — сказал он. — Вот он, а вот я, эта рука — это и памятник, и книга павших, и все-все, большое спасибо.

Они погрузили свои руки в бетон в тот день, когда в пекарне заливали новый пол. Всех удивило, что Яков впечатал в бетон именно искалеченную руку, с отрубленным мизинцем, потому что обычно он прячет ее в карман

брюк, и сегодня это уже не сознательное действие, а усвоенная самой рукой привычка прятаться точно так же, как прячет себя крот — от света дня и от чужих взглядов.

В добрые старые времена, когда Яков только что женился на Лее, и заступил на место отца, и ждал, пока Биньямин вырастет и наследует ему, наша пекарня была предметом гордости жителей поселка и славилась по всей округе. Обычный и белый хлеб, булочки и халы Якова были известны всем и каждому, а для деревенских праздников, обрезаний и свадеб он пек еще и специальные глазурованные яичным желтком и посыпанные маком халы, размером с ребенка, маслянистые и сладкие на вкус. Это были его подарки женихам, родителям и невестам. Но с тех пор, как Биньямин был убит, а Лея заперлась и уснула в комнате сына, Яков перестал печь эти халы. Вначале его упрашивали вернуться к ним снова, но потом, когда отчаялись, просьбы и уговоры сменились обидой и гневом, потому что он лишил людей удовольствия и предмета их гордости.

— Меня это не трогает, — сказал он мне. Когда он сердится, обрубок его мизинца багровеет и дрожит, и Яков спрятал его в карман. — Мы пекари! Мы всегда чужие. Всегда отдельно. Всегда люди ночи.

Годы, которые я провел в Америке, легкие годы скуки и отрешенности, наделили поселок ностальгической притягательностью. Воспоминания празднично властвовали во мне, рождая и пестуя расцвеченные солнцем и зеленью картины счастливого детства, радостной дружбы, как в том очаровательном стихотворении, по которому наш поселковый библиотекарь Ихиель Абрамсон учил меня английскому. Вот они — не открывая книги, с закрытыми глазами:

The days may come,  
The days may go,  
But still the hands of memory weave  
The blissful dreams of long ago.<sup>[54]</sup>

Но наедине с собой я признаю, что в словах Якова есть правота. Мы всегда были чужими. Мы ясно ощущали превосходство земледельца над пекарем, завтрашнего дня над вчерашним, людей поля и солнца над тружениками печи и звезд. Отец однажды сказал Бринкеру, что представляет здесь «пятнадцатое поколение иерусалимцев из семени Абарбанеля», на что Бринкер ответил ему: «Это замечательно, господин Леви, но мы все тут — потомки праотца Авраама».

Униженный и запуганный, низкорослый, с вечно расширенными зрачками, наш отец выпекал свой ночной хлеб и жил своей свиной жизнью. Когда поселок просыпался, он шел спать, а когда поселок укладывался, он вставал на работу. И в сущности, точно так же, совершенно не общаясь с соседями, живу я сам сегодня в Америке, хоть я и не испек ни одной буханки.

Однажды вечером мы с Яковом увидели его, когда он стоял в яме для пекарей, сунув голову в отверстие печи, — его плечи дрожали, и когда мы подошли ближе, то услышали жуткий крик, а может, и всхлип, проглоченный слоями кирпичей, извести и песка в тот же миг, как он раздался.

А мать — могучая, красивая, чужая и воинственная — возбуждала и здесь то глухое беспокойство, которое вызывала повсюду. Тогда мы еще не могли постичь истинный смысл бросаемых на нее взглядов. Я думал, что женщины любят ее, а мужчины вождедеют. Только теперь я понимаю, что женщины желали ей смерти, а в мужчинах она возбуждала не любовь и не желание, а куда более древние и темные страсти — инстинкты погони, обуздания, укрощения, приручения. Каждое утро она продавала хлеб из окошка на задах пекарни. Покупатели ввинчивались в нее глазами и, не отрывая взгляда начинали тискать буханку и мять ее плоть.

— От вас можно рехнуться! — гроыхала она на них из окошка. — Что вам дался бедный хлеб? Пошто вы так тискаете бедный хлеб?

## ГЛАВА 20

На перепутье дорог  
Роза с покрасневшими глазами...

Это со скамейки на улице слышится голос отца. Яков сидит за утренним столом в кухне, подбрасывает Михаэля на коленях, и гримаса искажает его лицо.

...Лежит и умоляет  
Всех проходящих мимо:  
Люди, прошу вас, ступайте  
Осторожней, чтоб меня не поранить,  
Чтобы ваши ноги меня не растоптали.  
Пожалуйста, я умоляю,  
Поднимите меня из пыли,  
Чтобы мне не быть растоптанной вами.  
Верните меня в мой сад,  
В сад, где моя отрада.

— Ты только послушай его, — говорит Яков с раздражением.

— Кого «его»?

— Ладно, кончай меня воспитывать.

— Почему ты называешь его «он»? Разве ты сам не злился, когда он называл мать «она»? — сказал я. — Чем тебе мешает его пение? Доброе утро, Роми. Я не знал, что ты ночевала дома.

Моя племянница заполняет кухню своей силой и светом. Она выпивает свой кофе с молоком, стоя возле раковины, и только после этого присоединяется к нам за столом.

— Отец, будь так добр, позволь мне сфотографировать тебя в мастерской.

Яков не ответил. Он посадил Михаэля на стул, и Роми уставилась на него, забавляясь и дразня:

— А кто этот маленький мальчик?

Яков весь напрягся. Михаэль заерзал на стуле, наполняясь той смесью

страха и удовольствия, на которую способны только дети.

— А как тебя зовут, мальчик?

— Михаэль, — ответил он. Простодушный, улыбчивый ребенок.

— А меня зовут Роми, — сказала Роми. — Роми через «Б», а не через «П».

Михаэль хихикнул:

— Но я знаю, что ты Роми. Ты моя сестра.

Он посмотрел вокруг, наслаждаясь смущением, которое породила в нем игра.

— А скажи мне, Михаэль, — Роми окунула свой ломоть в томатный сок тии Дудуч, — где ты живешь?

Взгляд Михаэля остановился на Якове, который уже закипал от злости, но пока держался.

— Я живу здесь.

— Здесь? — удивилась Роми. — Как же это я тебя до сих пор не замечала?

— Нашла себе, наконец, с кем играть в свои игры?! — взревел Яков. — Ты сюда пришла поесть или действовать нам на нервы?

Михаэль молчал, наслаждаясь восхитительным ужасом мгновенья.

— А твои родители знают, что ты у нас? — не унималась Роми. — Может, сообщить им, чтобы они о тебе не беспокоились?

— Вот мои родители, — сказал Михаэль, сполз со стула и стал рядом с Яковым.

— Ты его отец? — удивилась Роми. — Почему же ты не рассказал мне, что у тебя есть еще один ребенок?

Яков поднялся, распахнул дверь и рявкнул:

— Пошла вон!

— А кто его мать? — крикнула Роми уже с веранды. — У тебя есть другая на стороне?

— Зачем она меня все время донимает? — кипел Яков. — К чему все эти игры? Зачем она все время меня фотографирует? От кого у нее эта жестокость? И ты еще говоришь, будто она похожа на мать.

— Роми очень похожа на нее, просто она резче, — ответил я.

— Ну, ты скажешь! — Кусочки хлеба и яичницы разлетались из его рта. — Да если бы мать была хоть наполовину такая вредная, ей было бы куда легче жить. Но это уже ваша область, легкая жизнь. Мы в таких вещах не разбираемся.

## ГЛАВА 21

Я принадлежу к числу людей, убежденных, что в итоге длинной цепи причин и следствий крик чайки возле мыса Доброй Надежды способен потопить корабль в проливе Ла-Манш. Ведь именно так белковые молекулы, пропутешествовав к зарождению моего тела, начертали образы моего детства и проложили маршрут моей жизни. Что, если бы в тот день в долине не шел дождь? При мысли об этом меня охватывает озноб. А запоздай бабочки-нимфалиды в своем полете через пустыню на одну ночь? И не умри наша старшая сестра? И не одни лишь особенности жизни и природного склада моих родителей и брата, но и древние звуки колоколов, плач избиваемого ребенка, мигрень человека, умершего еще до моего рождения, — они тоже достигают меня и рвут ту паутину, которую я пряду вокруг себя.

В первые дни нашей деревенской жизни красная шерстяная нитка все еще привязывала нас друг к другу, куда бы ни ходили. Потом мать велела нам выбросить ее. «Конец Русалему!» — провозгласила она свою Декларацию независимости. В новую школу мы шли, держась за руки, похожие на двух слепых собак-поводырей, — каждый из нас был ведущим и ведомым одновременно. Наш учитель, имя которого я никак не могу вспомнить, держал в руке какое-то светлое пятно и водил им по доске, производя странные скрипучие звуки, но только на перемене, подойдя вплотную, мы увидели, что это он на ней, оказывается, писал.

— Может, мы плохо видим? — сказал Яков, и я ответил:

— Чего вдруг!

Две недели спустя, когда учитель — Шимони? может быть, доктор Шимони? почти пятьдесят лет прошло с тех пор — раздавал первую контрольную по арифметике, он вручил нам также «письмо к вашим родителям».

— Что это? — смущенно спросила мать.

Хотя мы оба пытались учить ее всему, чему нас самих учили в школе, она по-прежнему не умела ни читать, ни писать. Отец взял у нее письмо, прочел, и его лицо помрачнело. Доктор Шимони — чем, собственно, плохо: «доктор Шимони»? — ясно, недвусмысленно и даже несколько агрессивно писал о нашей близорукости, прибегая к довольно грубым выражениям, вроде «вслепую» и «не видят дальше собственного носа», упоминал о «тяжелой запущенности» и в конце подпускал тонкую иронию:

«Переписывают с доски по своему усмотрению». Отец понял, что власти, которые до сих пор совали свой нос только в его дела, теперь развернули против него новую и оскорбительную кампанию в связи с близорукостью его сыновей.

— Пойди туда и скажи им, что пекарю не нужно видеть дальше конца его лопаты, — приказал он матери.

Всю ночь между ними шел шумный и яростный спор, и их голоса заглушали рев примуса, вой горелки и скрежет извлекаемых из печи поддонов. Наутро, когда, усталые и раздраженные, они вернулись из пекарни, отец встал в окошке для продажи хлеба, а мать запрягла осла в хлебную повозку и повезла нас к главному врачу.

Дул свежий ветер. Мы с Яковом распахнули решетчатые дверцы и свесили ноги позади повозки, так что большие пальцы касались проносящейся под нами травы, а мать зажмурилась и широко открыла рот, как будто хотела хлебнуть воздух. Мы с удивлением уставились на нее, а она, заметив наш взгляд, засмеялась и сказала: «Ух... хорошо...»

Глазной врач спросил, все ли буквы алфавита мы уже выучили. Когда мы ответили: «Да», он спросил, хорошо ли мы видим, и мы столь же согласно кивнули. Тогда врач сдвинул занавеску, за которой скрывалась официальная версия истины — белая таблица с несколькими рядами смазанных черноватых пятен. Эта таблица, не производившая никаких наводящих звуков и не издававшая никаких указующих запахов, доказала правоту властей: нам с Яковом не удалось различить ни одной из написанных на ней букв.

— А вы, гверет?<sup>[55]</sup> — Доктор повернулся к матери. — Может быть, гверет тоже хочет прочесть таблицу?

Мать побледнела.

— Я вижу очень хорошо, — сказала она.

Врач поставил на стол деревянный ящик, вытащил из него круглые железные оправы, которые тяжело сели на переносицу, и начал вставлять в их прорези разные линзы, то и дело спрашивая: «А сейчас? А сейчас?» Крошечные туманные пятна на доске начали проясняться, обрели очертания, превратились в буквы, и вместе с ними обрел резкость весь остальной мир. словно из сумерек, сотворились и проступили неизвестные и ненужные детали и ворвались в мой мозг, стремясь его затопить. Моя голова сама собой, с силой, которой я не мог противодействовать, стала медленно поворачиваться и глазеть по сторонам. Воздух в середине комнаты внезапно кристаллизовался в виде двух небольших крупинок, которые тут же превратились в двух бесшумно кружащихся мух. На зубах

врача расцвели желтые табачные пятна, точно иллюстрация к дурному запаху, который шел у него изо рта. А квадрат на стене кабинета обернулся портретом странной женщины, о которой даже с помощью новых линз нельзя было сказать, обнажена она или одета.

Пугающая и сладкая боль набухла внутри моих глаз, перекатилась под лоб, охватила виски и потянула меня от таблицы к портрету женщины. Пока я приближался к ней опасливыми шагами, Яков бросился к окну, чтобы выглянуть наружу. «Смотри! Смотри!» — радостно и взволнованно позвал он, схватил меня за полу рубашки и показал куда-то вверх.

Доносившиеся до нас пощелкивания запрыгали по дереву, оказавшись маленькой багряной птичкой. Три далекие точки стали людьми. Двое из них, с кудрявыми волосами, в коротких и широких брюках цвета хаки, вдруг замахнулись и так ударили третьего, что он упал на землю. Из глубины неба выплыл и обрел форму желто-красный воздушный змей, которого раньше там не было. Я посмотрел вдаль, на лежащего на земле побитого человека, потом на змея и смутно понял, что новые линзы обострили мое зрение, но укоротили его дистанцию. До сих пор небо не имело пределов, а теперь оно выглядело как отчетливая, непроницаемая скорлупа, сквозь которую не дано было пробиться даже новым очкам.

— А нитку все равно не видно, — сказал я.

— Какую нитку? — спросил врач.

— От змея, — сказал я, снова подошел к женщине на картине, и увидел, что ее груди, стесняясь и страшась новой силы моих глаз, отодвинулись друг от друга. Сегодня я уже не помню, была она рыжая или черноволосая, в платье с глубоким вырезом или с обнаженной грудью и только в штанишках на голом теле, и, когда несколько дней назад я вытащил из чемодана репродукции «Венеры Урбинской» и «Одалиски в серых шальварах» и спросил Якова, какая из них висела в глазном кабинете, он удивился: «О чем ты говоришь? Какая картина?» Я порой не могу понять, действительно у нас такая разная память, или мы попросту делим ее на двоих.

Я повернул лицо к матери, и мое огорчение усилилось. Раньше, когда она меня обнимала, я всегда наслаждался не только прикосновением ее тела, но и тем, какими четкими становились черты ее лица. Вплоть до визита к главному врачу я воспринимал эту четкость как плату за мою любовь. Теперь я вдруг понял, что мне уже никогда больше не понадобится приближать свое лицо к ней, чтобы увидеть крохотные морщинки в углах ее рта и тонкие, светлые волосинки ее ресниц.

Врач вернул нас за стол, закапал нам в глаза капли, от которых наши

зрачки так расширились, что мы стали похожи на пару сов, осветил фонариком, испускавшим острый, как нож, луч света, потребовал, чтобы мы следили взглядом за его пальцем, который двигался справа налево, оставляя за собой почти неощутимый шлейф табака, шоколада, кала и мыла, и под конец сказал, что, несмотря на наше внешнее различие, мы настоящие близнецы. Нам обоим, сказал он, нужны совершенно одинаковые линзы — по четыре диоптрии каждому.

— Это очень много для начала, — сказал он. — А понадобится еще больше.

И он тоже упрекнул мать, что она запустила наше зрение и не привела нас на проверку раньше.

На обратном пути мы увидели Ицхака Бринкера, стоявшего на вершине холма Асфоделий, и, когда мы приблизились, он бегом спустился к нам навстречу. Мать остановила осла, и глаза Бринкера засияли. Он взобрался на повозку, спросил: «Что слышно, ребята?» — протянул матери несколько сорванных цветков и доехал с нами до деревни. Я спросил его, что он делал на холме, и он сказал, что осенью наблюдает оттуда прямые линии, прочерченные на полях кустиками морского лука. «Таковыми кустиками древние люди обозначали границы своей земли. Потому что этот лук всегда вырастает в том же месте, где росли его родители, и ничто не в силах его вытравить, верно?»

Холм Асфоделий был настоящим цветочным заповедником. На его вершине росли голубые анемоны и желтые лютики, по краям весной цвели нарциссы, а на Хануку — крокусы и еще множество других цветов, названий которых я не знаю. Западный скат был весь утыкан жезлами асфоделей, давших холму его имя. Крапива там тоже водилась в изобилии, и школьный учитель объяснял нам, что это доказывает давность жизни на нашей земле.

— Крапива растет в тех местах, где когда-то были дома, люди и могилы, — сказал он, а потом улыбнулся и добавил: — И возможно, поэтому она жжет.

Мать водила нас туда по субботам, погулять и нарвать ромашек для мытья головы, и порой мы добирались до самого Черепа — огромной, страшной скалы, расщелины которой придавали ей, если смотреть под определенным углом, вид человеческого черепа.

Теперь на этом холме стоит уродливый, громоздкий белый дом в так называемом «испанском стиле». Мне приходится изо всех сил напрягать воображение и память, чтобы опознать в его грубых формах стертые очертания дома Леи, который стоял здесь раньше. Какой-то торгош купил

его, разрушил большую часть здания и перестроил его на свой, надо сказать — весьма дурной, вкус. Подобные строения выросли сегодня на большинстве здешних участков, и никого из прежних хозяев, кроме Бринкера, здесь уже нет. Проходя по улицам поселка, среди пуансиан и араукарий, мимо живых изгородей, подстриженных садовниками в виде шаров и колонн, мимо каменных гаражей, лужаек и бассейнов я киваю людям, с которыми совершенно не знаком. Но они, мне кажется, прознали, кто я, потому что меня уже пригласили в несколько домов, где представляли как «местного уроженца, американского писателя и гастронома» и «вы не поверите, но он из тех Леви, что в нашей пекарне», и в одном из таких домов мне пришлось вести неприятный разговор с тремя крикливыми мужчинами, которые взяли меня в круговую осаду грубых запахов своих лосьонов после бритья и звяканья высоких бокалов, требуя, чтобы я убедил брата продать пекарню на снос.

— Да вы знаете, сколько эта земля стоит сегодня?..

— Он мог бы на эти деньги безбедно жить много лет...

— Вместо того чтобы вредить своему здоровью...

— И нашему.

Пекарня, которая когда-то была построена на отшибе, сегодня оказалась в центре квартала вилл и выглядит как уродливая бородавка на блестящей новой коже поселка. Яков уже годы назад писал мне, что до него стали доноситься «жалобы богачей» — на вой горелки и стук приводного ремня тестомешалки, нарушающие их покой, на крики рабочих, на «эстетический аспект» и даже на слишком хороший запах хлеба, который врывается в их дома, напоминая им об их слабостях и не давая им спать.

— Они никогда нас не любили, здешние. Им было на нас наплевать. Кто мы были для них, в конце-то концов? Помесь сефардов с русскими, полуфренки,<sup>[56]</sup> полугеры. — Слово «геры» Яков произнес с ударением на последнем слоге, как их в насмешку дразнили в родной деревне матери, в России. — Как будто я не помню их разговоры, когда я женился на Лее, — добавил он, напоминая мне то, что я и сам прекрасно знал: деревенские не уважали тех, кто не трудится на земле.

— Тебя это не трогало, ты выбросил очки, сидел себе в библиотеке и читал книги. Но я-то видел все. Отца, который работал только по ночам, и никто не знал, как он выглядит, и мать, которая доводила их до бешенства своим телом, и своим ивритом, и своими волосами и глазами, и Шимона с тией Дудуч, с их уродством. Ты видел когда-нибудь, чтобы кто-то из деревенских пришел к нам в гости? Если не считать Бринкера? Да и тот, к твоему сведению, приходил только затем, чтоб увидеть мать. А ты что

думал — это тебя он любил?

И тут Яков сказал ужасную вещь. Он сказал, что смерть Биньямина была его входным билетом в деревенское общество.

— Только тогда меня сочли достойным, только тогда мне сказали: «Ты наш брат...»

По вечерам мы слышали хриплые вопли крыс, доносившиеся из пустот, которые они прогрызли в стенах склада. То тут, то там на усеянном мукой полу виднелись следы их дьявольских когтей и черные точки их омерзительного помета. Они хозяйничали в пекарне с наступления темноты и до полуночи, когда начиналась работа. Они надгрызали мешки, портили муку, жрали хлеб и тесто, загадили весь склад и совершенно выводили мать из себя. То были не обычные деревенские грызуны, разбойничающие по курятникам и амбарам, а злобные, жилистые городские твари, исполненные чувства собственного достоинства и ненавидевшие весь мир, а главное — друг друга. Я думаю, что они напоминали ей самих иерусалимцев, эту мерзость ее души. Она постоянно твердила, что «крыс и крысиха» прокрались в нашу коляску в ночь землетрясения и прибыли с нами в поселок, «потому что русалемская та зараза гонится за человеком повсюду».

Отец боялся крыс до такой степени, что вообще отрицал их существование. «Это кошка, — сказал он, когда я указал ему на крысу, бегущую через пекарню. — Есть кошки с толстым хвостом, есть кошки без хвоста, и есть кошки, как эта, — маленькие и с тонким хвостом. Есть всякие кошки. Я тебе не рассказывал о голубой кошке Якова Узиеля?» Этот Узиель, кстати, был здоровенный еврей из Салоник, чей надвигающийся кулак стал последним, что увидели два янычара, посмеявшиеся прикоснуться к его сестре. Он был потомком Аарона Луиса Леви Монтезиноса, нашего десятиуродного дяди незапамятных времен, который обнаружил в Южной Америке десять пропавших израильских колен и о котором «сам Менаше Бен-Исраэль написал книгу под названием "Надежда Израиля"». У отца целые полчища родственников — дядья, деды и прочие предки, которые писали книги, готовили лекарства, защищали сирот и вдов, «знали все правила и обычаи», читали молитвы, «лечили испанскую королеву от болезней ее мужа» и, идя в сражение, надевали только красные плащи, чтобы никто не видел их пролитой крови. Но сам отец не сражался, не боролся и не превозмогал, и даже против крыс не осмеливался воевать.

Матери стоило завидеть в пекарне крысу, как ненависть лишала ее всякой способности размышлять. Со всей мощью животного инстинкта, рефлекторная дуга которого огибает любые препятствия здравого смысла,

она швыряла в гадину все, что подворачивалось ей под руку, будь то кусок теста, чашка с молоком, буханка хлеба или железная гиря. Подобно мелвилловским Тэштиго и Дэггу, она метала через всю пекарню гарпуны-лопаты, и бросала банки с маслом и глазуровочные кисти, и, поскольку ни один из этих предметов не предназначался для уничтожения вредителей, наносила немалый ущерб пекарне и вызывала раздражение отца. Невзирая на его испуганные предостережения, она рассыпала на складе стрихнин, но впустую. Она привела в пекарню кошку Бринкера, но та едва унесла ноги с поля боя. Она расставила ловушки, но крысы выжидали, пока в них попадет мышь, а затем съедали ее вместе с наживкой. Несколько раз Бринкер приходил сидеть с ней в сумраке пекарни, но и ему не удалось поймать ни одной крысы. Однажды она одолжила у него на ночь охотничье ружье, которое он завел, чтобы очищать виноградники от шакалов и дикобразов, уселась во дворе и принялась стрелять. Утром мы насчитали двух убитых сипух, большую лужу воды, которая натекла из продырявленной трубы, три поврежденных окна и одну мертвую крысу, смерть которой представляла полную загадку, потому что на ней не было ни единой царапины.

Лишь один-единственный раз ей улыбнулась удача. Однажды ночью, через минуту-другую после того, как отец зажег горелку, крыса появилась возле самой ямы для пекарей. Мать увидела гадину, но, увы, — руки ее были пусты. Мерзкое животное правильно оценило положение, уселось на задницу и принялось преспокойно чистить свои нахальные усы и передние лапы, не переставая издевательски разглядывать заклятого врага. Розовая волна поднялась из выреза материнского платья и поползла вверх, багровея и сгущаясь, пока все ее лицо не потемнело от гнева. Ее ноги стали медленно скользить в сторону печи. Две пары глаз — два серых и больших и два черных и маленьких — не отрывались друг от друга. Когда мать уже была достаточно близко к яме, произошло нечто такое, чему я до сих пор затрудняюсь поверить. Протянув длинную сильную руку, мать схватила горелку за рукоятку, вырвала ее из гнезда и направила язык пламени на крысу.

Два вопля слышались сквозь рев горелки. Один, высокий и короткий, издала крыса, превращаясь в смрадную головешку, другой, хриплый и протяжный, был воплем расплаты и возмездия, перешедшим в стон ужасной боли, когда пальцы матери ощутили жар раскаленной рукоятки. Она отшвырнула свое оружие, погрузила руку в жестянку с бойей и всю ту ночь работали одной рукой, смеясь и охая, охая и смеясь.

Все две недели до прихода новых очков отец и мать продолжали

спорить, тотчас умолкая, когда мы приближались на расстояние слышимости. Мой брат Яков, этот Васко да Гама в океанских просторах зрения, мечтал о новом мире, который откроется перед ним, не находил себе места и радостно пророчествовал. Я же, напротив, замкнулся в себе и готовился к вторжению этого нового мира в мои глаза. Никто из нас не представлял, что произойдет на самом деле, и я уверен, что ты тоже сейчас удивишься. Очки в ту пору стоили больших денег, а все родительские доходы были съедены новым оборудованием для пекарни. Отец, который с самого начала считал очки ненужным баловством, решил купить одну пару для нас обоих.

Сейчас я смотрю на этого несчастного и жалкого старика, к постели которого меня призвали, и думаю про себя, что в мире нет, наверно, другого человека, который отважился бы высказать подобную сумасбродную идею — пусть двое близоруких детей делят одну пару очков на двоих.

— Наконец-то ты что-то помнишь правильно, — сказал Яков, когда я напомнил ему об этом. Он в очередной раз назвал его «жмот говенный», но я — я благодарен отцу. У меня нет сомнения, что тем своим решением он предопределил ход моей жизни больше, чем любой другой человек. Больше, чем мать и Яков, больше, чем Лея, больше, чем библиотекарь Ихииель Абрамсон, человек, которому пора уже появиться в этом рассказе, и больше, чем все женщины, которые делили со мной свои души, постели, жизни и сердца. Я полон благодарности и любви к ним и к отцу, который своею рукою прижимистой и мышцей дряблой вывел меня на всех и каждую из них.

Нашу общую пару очков в круглой стальной оправе мы получили через месяц. Яков, словно мы уже заранее так уговорились, немедленно водрузил их на свой нос и помчался на улицу с видом победителя. Дети тут же прозвали его «Очкариком» и «Четырехглазым», но он не обращал на них никакого внимания, как не обращал внимания и на меня, с превеликим удовольствием оставшегося дома. Камень упал у меня с души, когда я понял, что родители не намерены вмешиваться в дележку очков между нами.

Следующие недели мой брат был занят в основном тем, что заново изучал мир. Возле каждого предмета он останавливался, снимал очки, потом вновь надевал их и таким образом сравнивал знакомый размытый образ с новым, резким и чужим. Я присоединялся к нему, когда он изучал дорогу в школу и обратно. Он прыгал и суетился вокруг меня, возбужденно описывая все новые детали нашего маршрута, которые, по мне, были совершенно излишними, потому что докучали моим глазам своими

притязаниями, требовали постоянного внимания, конкурировали с воображением и мешали думать. Я полагаю, что та постоянная неприязнь, которую я испытываю к людям с острым зрением, к этим туристам, которые обзеревают мой смутный мир с высокомерием аристократов, родилась именно тогда. Я по сей день считаю, что нечеткое зрение — самое подходящее зрение для человека культуры, которому уже ни к чему глаза ястреба, уши летучей мыши и ноздри пса. Очки, которые я и сейчас ношу редко, а теряю часто, представляются мне своего рода излишеством, впору лишь охотникам, соглядатаям и богачам.

Мы были похожи на двух щенков Ликурга из Спарты. Яков играл со своими друзьями во дворах и полях, дрался, прятался, топал и прыгал среди новых резких изображений, окружавших его, а я позволял ему жить в этом мире и не мешал его счастью. Даже после летних каникул, когда мы вернулись на школьную скамью, мы не ссорились. Мы сидели в классе рядом и передавали нашу единственную пару очков с переносицы на переносицу, к большому неудовольствию учителей и под смех одноклассников. А на переменах очки принадлежали Якову, потому что он играл на школьном дворе, а я читал книги.

Распри между нами вспыхивали только в те дни, когда в поселок приезжал разъездной киномеханик в своем грузовичке. Один раз, чтобы заполучить очки, мне даже пришлось употребить свою превосходящую физическую силу. Яков обиделся, заплакал и потребовал, чтобы я взамен рассказал ему все, что я увижу. С тех пор он перестал требовать очки во время сеансов, потому что, по его словам, происходящее на экране, как оно ни расплывчато, куда интересней в сопровождении рассказа, а маленькие дети, которым нетерпеливые родители отказывались объяснять картину, стали собираться вокруг нас, чтобы слушать мои описания. Однажды, когда показывали фильм про индейцев с участием Бестера Китона, я не устоял перед соблазном и сказал Якову, что индеец на экране обнажил свой живот и прижал его к земле. «Индейцы делают так, чтобы услышать издали топот скачущих лошадей или звук приближающегося поезда», — объяснил я ему, а год назад я получил от него письмо, которое начиналось словами: «Ты, жалкий обманщик» — и в котором он рассказывал, что Роми взяла его в Тель-Авив посмотреть «Голубого ангела» и там он увидел, что это Марлен Дитрих обнажает ноги за кулисами, а не профессор, как я ему тогда сказал.

Целых два года мы с братом делили одну пару очков. И, пока нам купили вторую пару, эта, общая, уже сделала свое дело. Больше мы не ходили, держась за руки, — каждый из нас пошел своим путем и стал жить

в своем отдельном мире.

## ГЛАВА 22

Поселковая библиотека. Божественный храм моей юности, отрада моего сердца, радость моего детства. Я чуть не добавил: свет моих дней и жар моих ночей — но есть предел даже моим усилиям тебя очаровать. Большая, необычная и очень богатая библиотека. Она и сегодня стоит возле Общинного дома, но сам этот дом давно уже превратился в большой клуб, шумящий молодыми голосами, а рядом с ним вырос маленький, но шикарный торговый центр, построенный на развалинах амбара и своими сверкающими вывесками и стеклами символизирующий смену времен.

Несколько минутя стою там, наслаждаясь скухими порциями сентиментального волнения и проверяя свою память. Тут проезжала на своем велосипеде Лея, смеющаяся Персефона нашей юности, — коса, подпрыгивающая на спине, и улыбка, летящая впереди ее лица. Тут наш осел обычно терся спиной о столб. Тут стоял Ицхак Бринкер, который был так потрясен преданностью нашего гуся нашей матери, что прямо посреди улицы, да еще по-немецки, стал декламировать ей стихотворение Рильке о Леде и Зевсе, заключив его своим взволнованным объяснением: «И только с ней, фрау Леви, он ощутил, что у него есть перья. Верно? Только с ней».

Большинство других жителей поселка выпали из моей памяти. Чтение книг и выпечка хлеба — не те занятия, которые создают верный круг друзей. Тропа, освоенная моими ногами, была короткой и ясной: дом — пекарня — библиотека. То тут, то там, сквозь мучные стены и книжные полки, просачивались слухи. Мы слышали пересуды и сплетни людей, приходивших за хлебом, но не принимали участия ни в их пахоте и жатве, ни в их ссорах и любовях. Мы знали, что у Биньямини выросла самая большая кормовая свекла, а Слуцкий гнался за своим соседом, угрожая убить его навозными вилами, но не вмешивались ни во что. Мы были пекари. Замкнувшиеся в узких пределах печи и ночи. Защищенные стеной огня и кирпичей, в другом времени, в плотной тьме.

— Пара социопатов, вот вы кто, — издевается Роми надо мной и над своим отцом. — И ты начинаешь в точности походить на него, — добавляет она. — Он останавливается в каждом месте, где что-то напоминает ему о Биньямине. Вы что, не можете вспоминать на ходу? — Она приблизилась ко мне и внезапным точным движением сняла очки с моего носа.

— Тебе лучше без, — сказала она. — Тогда нам видны твои красивые глаза.

— Верни их, — сказал я. — Я не люблю эти игры.

— Сейчас, Дяд. В таком виде ты совсем Ненагляд.

— Не заставляй меня прибегать к насилию, как сказал гурман устрице, которая отказывалась открываться. — Я улыбался, но во мне нарастало глухое и темное раздражение.

— Сейчас... Ну же... Ты делаешь мне больно. На, возьми! Что с тобой?

Здесь, в библиотеке, нет нужды в очках. Достаточно было приблизить нос к полкам и протащить его, как борону, вдоль строя переплетов. Маленькие и четкие, слова сами врывались в мое поле зрения, и приятный запах бумаги смешивался с приятностью ее содержания. Так я читаю и сегодня, когда у меня уже есть свои собственные очки.

«Я рос в светлом мире книг, здоровый и счастливый ребенок». Толстые веревки плюща покрывают стены библиотеки. Деревянная дверь под бровями зеленых пи гьев кажется закрытым глазом спящего животного. «По понедельникам и средам, — извещает записка, приклеенная липкой лентой к старой медной табличке, — с четырех до шести часов после полудня». Раньше были открыты каждый день с трех до семи, а в пятницу с десяти до часа. Почти все книги, что были в ней, появились в поселке вместе с Ихием Абрамсоном, и многие из них были проданы, или украдены, или просто исчезли после того, как Ихиель был убит.

Ихиель Абрамсон, «Основатель и Первый Библиотекарь», был высокий человек в очках, с худым лицом и белыми, но очень мускулистыми руками, дружелюбный и учтивый. Он иммигрировал в страну из Нью-Йорка и так отличался от всех других жителей поселка, что в детстве я думал, будто он вообще единственный в своем роде. Однако, переселившись в Америку, я увидел очень многих людей, похожих на Ихиеля, и даже подумал было на минуту, что попал в страну библиотекарей, пока не припомнил высказывание Эмерсона о том, что воздух и земля, принципы жизни и артикуляция речи определяют черты лица человека не меньше, чем его родители.

Ихиель прибыл в поселок за несколько месяцев до нас, в зеленом грузовике марки «додж» с пятью большими деревянными ящиками в кузове, в которых были упакованы сорок тысяч книг, принадлежавших его покойному отцу, судье Мордехаю Элиягу Абрамсону. Из ящиков были выгружены книги на иврите, английском, идише, немецком и русском, а также древние рукописи, которые дополняли замечательную коллекцию этого талантливой самоучки, истинного монастирца, по ошибке родившегося на Украине, который был наделен неутолимой

любопытностью, изысканным литературным вкусом и практическими познаниями в переплетном деле и в истреблении моли. «В один и тот же год мы получили и "Тору, и муку"», — сказал Бринкер, который подобно мне, был постоянным посетителем библиотеки.

«Возьми книгу для матери тоже», — подсказал мне его голос из-за одной из полок, но я постеснялся сказать, что мать не умеет читать и писать. Я часто читал ей вслух. Она внимательно слушала, беззвучно повторяя за мной слова, и всегда просила снова прочесть ей тот кусок из «Михаила Строгова», где Иван Огарев точит свою саблю, цыганки из Нижнего Новгорода пляшут, а Михаил неотрывно смотрит на свою мать Марию.

— Люби, покуда любится, смотри, покуда смотрится... — повторяла она за мной. — Смотри во все глаза... — И ее глаза тоже наполнялись слезами.

Перед тем как осесть в нашем поселке, Ихиль Абрамсон два года кочевал по просторам страны в своем зеленом книжном грузовике и обивал пороги библиотек и учреждений, пытаясь заинтересовать их доставшимся от отца наследством. Многие готовы были взять ту или иную его часть, но судья Мордехай Элиягу Абрамсон оговорил в своем завещании, что коллекция должна быть сохранена в целости. Ихиль объяснил мне, что его отцу, религиозному еврею, расчленение библиотеки представлялось чем-то вроде расчленения его трупа. Но интересы судьи были многочисленны и разнообразны, а библиотеки, заинтересованные, скажем, в исследованиях Файтловича и Шатнера по истории фалашей, отнюдь не выражали желания приобрести заодно брошюры Исраэли и Фельдмана о методах искусственного опыления финиковых пальм; тем, кто жаждал приобрести «Правила караимского правописания» Симхи Пинскера и «Теудат Шломо» Соломона бен Моше Хазана в редком и дорогостоящем амстердамском издании 1718 года, был без нужды «Альманах фермера-мормона штата Юта» Джефферсона Хоупа, а любители «Деяний Тувии» пера Тувии Акоэна из Меца и «Краеугольного камня веры» Калонимуса не проявляли, как правило, интереса к редкому и устрашающему на вид экземпляру «Калевалы», написанному, как шепотом поведал мне Ихиль, на пергаменте, сделанном из человеческой кожи.

Библиотекарь он был педантичный. Каждый получатель библиотечного абонеента обязан был поднять руку и поклясться старинной клятвой верности соблюдать крайне странные запреты — не капать свечным воском на страницы, не загибать их уголки и не засушивать между ними цветы. На стене у входа Ихиль вывесил скрижали с «Уставом

библиотеки», а рядом с ними — портрет своего отца. Выполненный масляными красками портрет судьи принадлежал кисти художника Макса Вебера. Ихиель показал мне фокус — лицо художника, проглядывающее в зазоре между мерцанием в глазах судьи и блеском его очков. В своем крапчатом галстуке-бабочке, с белой козлиной бородкой, дружескими усами и густыми, с проседью, кудрями, Мордехай Элиягу Абрамсон взирал сквозь круглую золотую оправу на каждого входившего в его библиотеку, гордясь своим замечательным собранием книг, своим преданным сыном и своим поразительным сходством с поэтом Шаулем Черниховским. Оба они, судья и его сын, чрезвычайно любили Черниховского, книги которого, с его автографами, до сих пор обитают здесь, за стеклянными, запертыми дверьми книжного шкафа. К моей бар-мицве Ихиель подарил мне сборник его стихов в прекрасном издании одесской типографии «Мория», и, когда я открыл его, оттуда выпал маленький ключик из желтой меди. Мое сердце замерло. То была копия ключа от библиотеки, и я понял, что это событие навсегда останется счастливейшим мгновением моей жизни. Много ли ты знаешь людей, которые могут сказать подобное о каком-то мгновении своей жизни?

Сорок два года спустя я вынимаю этот ключик из кармана и вхожу внутрь. В библиотеке царит сумрачная тишина. Я иду между стеллажами, и обоняние, этот спусковой крючок воспоминаний, принимается за работу. С двух сторон древнего «Устава библиотеки» теперь смотрят на меня два портрета — старый, рисованный и знакомый, и другой, на фотографии, вызывающий острую печаль, портрет Ихиеля, «который отдал жизнь, защищая Иерусалим в сражении за Сен-Симон во время Войны за независимость». Я побывал и там, паломником воспоминания, в сопровождении Роми. Там стоит небольшая зеленая колоколенка, окруженная кипарисами и соснами, а в стороне — обломки танка, лестница для детских игр и мемориальная табличка с именем Ихиеля в числе прочих погибших. Молодые парни в инвалидных колясках сновали туда-сюда. «Сфотографируй меня, сфотографируй меня!» — кричали они Роми.

Первой книгой, которую дал мне Ихиель, были «Преследователи и преследуемые в животном мире» Эрнеста Сетона-Томпсона.

— *Lives of the Hunted*, — прочел он. — Ты уже знаешь английский?

— Нет, — сказал я.

— Почему ты не носишь очки? — спросил он, увидев, как я всовываю свой нос меж страниц.

— Потому что мне нравится читать так, — ответил я.

Каждый день я приходил за книгой, порой — даже два раза в день.

Однажды Ихиель сказал мне: «Поди сюда». Он сказал: «Поди» — а не «Подойди».

— Ты прочитываешь все книги, которые берешь? — спросил он.

— Да, — заверил я его.

Он посмотрел на книгу, которую я вернул.

— Это чуть рановато для тебя, — сказал он строго, потом улыбнулся, открыл книгу на последней странице и спросил: — Скажи мне, какими были последние слова Петрония?

— «Друзья мои — продекламировал я, — не кажется ли вам, что вместе с нами умирает также и...»

— Также и что?

— Там не написано, — смущенно сказал я. — Он умер.

— Прекрасно, — сказал Ихиель. — А последние слова императора Нерона?

— «Вот истинная верность», — процитировал я.

— Последние слова, — торжественно провозгласил Ихиель, — это самое главное. Вся мудрость, вся честность и вся истина втиснуты в тот миг, когда мы переступаем грань неизвестного.

Я был слишком мал, чтобы понять эти слова, но они очень взволновали меня, и лишь через несколько лет я узнал, откуда они и кому посвящены. Ты, конечно, помнишь последние слова Курца: «Он воскликнул шепотом, обращаясь то ли к какому-то образу, то ли к обманчивому видению, воскликнул дважды, голосом, подобным дуновению ветра: О ужас! О ужас!»

Я перелистываю старые книги. На внутренней стороне обложек — та самая наклейка, с толстой курицей в очках, сидящей на закрытой книге. Ихиель объяснил мне, что это экслибрис его отца, и добавил: «Это его самое точное подобие».

— Вот эта курица? — с опаской и удивлением переспросил я.

— Это не курица. Это сова, символ мудрости, — засмеялся Ихиель. — Но отец уперся, что сам нарисует свой экслибрис.

Он рассказал мне, что его отец погрузился в чтение с раннего детства и книги разрушили вначале его глаза, потом его отношения с женой и, в конце концов, — его позвоночник. «Мой отец, — сказал он с гордостью, — приехал из Харькова в Нью-Йорк, когда ему было пять лет, и самоучкой овладел английским языком».

В шесть лет Мордехай Элиягу Абрамсон спросил у прохожих, где находится публичная библиотека. Он вошел и бесстрашно спросил у библиотекаря первую книгу на самой нижней полке. Вернув ее назавтра, он

попросил следующую по порядку, потом третью, и четвертую, пока не прочел полку по всей ее длине. Книги в библиотеке были расставлены по алфавиту, и к тому времени, когда библиотекарь заметил этот странный способ чтения, мальчик уже прочел «Норвежские диалекты» Аасена, «Двенадцать лет на плоскогорьях Эфиопии» Аббади и значительную часть скучнейшей 180-томной серии Аббота «Ролло». С тех пор библиотекарь взял его под свое покровительство и научил быть более разборчивым. «Если бы каждый юноша подружился с библиотекарем, с учителем природоведения, а также с высокой и снисходительной женщиной, мир выглядел бы совершенно иначе», — закончил Ихиль.

Свою библиотеку судья собирал прилежно и изобретательно. Он помогал еврейским иммигрантам в обмен на привезенные ими книги, покупал, менял, находил и воровал. А когда умер, оставил сыну то самое завещание — перевезти его библиотеку в Страну Израиля. Ихиль купил зеленый «додж», погрузил его вместе с книгами на корабль, «взошел в Страну» и начал свой путь унижений и мук. Он разочаровался в Еврейском университете, который проявил интерес лишь к малой части его коллекции, вышел, стукнув дверью, из нескольких городских библиотек и был изгнан из Дгании и Тель-Иосефа, когда товарищи по кибуцу обнаружили у него «вредный буржуазный материал». Какое-то время он возлагал надежды на жителей Ришон ле-Циона, пока не открыл, что они заинтересованы не столько в его книгах, сколько в его грузовике, и, в конце концов, обтрепанный и раздраженный, добрался до нашего поселка. Под давлением Бринкера поселковое руководство согласилось принять все его книжное собрание и предоставить ему жилье и постоянную работу в качестве библиотекаря, но поставило условием продать несколько редких книг, чтобы окупить строительство и содержание библиотеки. Ихиль был вынужден согласиться, и отправленное им в Англию письмо стремглав привело в Страну посланца в облике усатой монашенки, оказавшейся в действительности переодетым тайным агентом оксфордской Бодлеанской библиотеки. Этот человек купил у Ихилея за огромные деньги рабамовскую «Мишне Тора», напечатанную в 1550 году в Венеции, «Сефер Тора Ор» Баал Шем Това, «Эсперанса де Исраэль» Менаше бен Исраэля, изданную в 1650 году в Амстердаме, напечатанную в Сончино «Сефер а-Икарим» Иосефа Альбо, еще одного дальнего дяди моего отца, если верить его рассказам, а также «Путешествие по Иудее, Самарии, Галилее и Ливану» некоего исследователя, именовавшего себя кардиналом Бодуэном из Авиньона, — книгу, которая представляла собой не столько древнюю, сколько исключительно ценную находку, сохранившейся между

страницами странной, тонкой закладкой из мягкой, блестящей кожи.

После того как сделка была подписана и пять редчайших книг отплыли в Англию, спрятанные в корсете под черным одеянием оксфордского агента, Ихиель постарался как можно шире разрекламировать факт их продажи и получил большое удовольствие, увидев, как были потрясены важные шишки из Национальной библиотеки в Иерусалиме, которые поспешили немедленно заявиться в поселок на специально нанятом такси и завопили о «корыстолюбии» и «передаче в чужие руки неприкосновенного достояния национальной культуры».

— Вы могли получить их даром, — сказал Ихиель профессору Генриху Райс-Леви, «главному протестующему», низкорослому бледному человечку, который прыгал вокруг него, как обезумевший кузнечик, раздувал ноздри и требовал, чтобы Ихиель пустил его в библиотеку. Тремя годами раньше именно этот человек проглядел список книг Мордехая Элиягу Абрамсона, сморщил те же самые ноздри и изрек, что он не видит смысла в приобретении этого собрания.

«Если не считать нескольких впечатляющих экземпляров, коллекция вашего отца представляет собой попросту образчик тех ложных представлений, которые богатство может породить в душе талантливого дилетанта», — сказал профессор пристыженному сыну, а когда тот возразил на обидные слова, позвонил в маленький колокольчик того рода, которым берлинские дети зовут гувернантку в грозные ночи, и велел указать гостю на дверь. Как бы то ни было, я помню, что это определение — «талантливый дилетант», — которое Ихиель выплевывал каждый раз, когда рассказывал мне эту историю, произвело на меня большое впечатление, потому что Ихиель как-то по-особому кривил лицо, произнося его. Лишь по прошествии лет на меня снизошло, что это не похвала, а порицание. Но тогда я был уже достаточно взрослым и понимал, что и сам — не более чем талантливый дилетант, и я не сержусь на то, что ты тоже заметила это и даже употребила те же самые слова по поводу описания Александрии в рассказе о Зоге и Антоне. Но если бы Мордехай Элиягу Абрамсон не был талантливым дилетантом, Еврейский университет поспешил бы заполучить его книги, и тогда Ихиель не добрался бы до нашего поселка, и я бы не познакомился с ним, не нашел себе убежища в его библиотеке и не стал, в свою очередь, талантливым дилетантом. Вот так тонет корабль в проливе Ла-Манш от крика чайки возле мыса Доброй Надежды, и вот так повернулась моя жизнь, и вот я пред тобой — дилетант. Умелый охотник. Изготовитель деликатесов. Талантливый человек. В любви, во воспоминании, в обмане и в раскаянии.

## ГЛАВА 23

В самом конце коридора, за последней дверью, в комнате, что была комнатой Биньямина, в кровати, что была его кроватью, лежит спящая Лея. Время от времени я прохожу мимо этой закрытой двери и тогда невольно понижаю голос и ступаю тихо и осторожно, как говорят и ступают, проходя возле колыбели младенца и памятника погибшему. Но нет такой силы, которая могла бы потревожить Лею в преисподней ее беспробудной дремоты, и комната, как нехотя объясняет Яков, закрыта лишь потому, что ее сон мешает спокойствию бодрствующих.

— Да ты зайди. Зайди, погляди на нее, — сказал он, заметив, что я каждый раз в смятении приостанавливаюсь перед ее дверью. — Вы ведь когда-то были друзьями, правда? А вдруг тебе удастся ее разбудить.

Когда Михаэлю было два года, он вошел в комнату матери и спросил Якова:

— Кто это?

— Лея, — ответил брат.

Его ответ, самый точный и жестокий из возможных, совершенно удовлетворил ребенка, и следующих полтора года он больше не просил объяснений. Только говорил иногда: «Я иду спать к Лее» — шел в ее комнату, забирался в ее кровать, прижимался к ее спине, клал щеку на ее плечо и засыпал.

«Я ненавижу, когда он так делает, — писал мне Яков. — Я ненавижу, когда он вообще приближается к ней».

Лишь в три с половиною года Михаэль спросил, где его мать.

Они сидели за обедом, и не успел еще Яков открыть рот, как Роми ответила:

— Лея твоя мама, Михаэль, и моя тоже. — Яков впал в бешенство, и тогда Роми холодно добавила: — Ты мог бы подумать об этом раньше, прежде чем сказал ему: «Это Лея», и до того, как взял ее силой.

Яков в ярости хлестнул ее по лицу. Роми побагровела и медленно произнесла:

— Ты берегись. Я тоже — татар. — И хотя имитация была идеально точной, на этот раз она не шутила.

Через неделю после приезда я набрался духу и вошел.

Лея возвышалась под одеялом, точно большой, накрытый саваном мешок, окруженный дрожащими в воздухе частичками муки и пыли,

выцветшими плакатами и афишами с изображениями актрис и мотоциклов и парой армейских брюк, когда-то постиранных ею для Биньямина, да так и оставшихся невостребованными. В комнате стоял резкий запах собачьей конуры. Она, естественно, не так уж часто мылась. Яков рассказывал, что как-то раз он подстерег ее, когда она нащупывала себе дорогу во время очередной каждодневной вылазки в туалет, набросился, порвал на ней рубашку, затолкал в душевую и встал рядом, как был, в одежде, под струи хлещущей воды. Он скреб ее яростно и гневно, едва не сдирая кожу, а она, положив мокрую голову ему на плечо, покорно позволяла чужим рукам намыливать и вытирать ее тело, полоскать и сушить ее волосы. В прежние времена ее кожа и волосы, намкнув, издавали волнующий запах дождя — запах, который так возбуждал моего брата, что кровь отливала от его сердца и оно наполнялось взамен любовью. «Но сейчас, — сказал он, — она воняет, как старая швабра».

Душный сумрак безмолвствовал в комнате. Я слегка приподнял одеяло и посмотрел на спящее лицо. Мумия моей любви, застывшая в янтаре своей скорби. Раньше у Леи была огромная коса — такой длины и толщины, каких я никогда не видел, ни до, ни после. Потом она отрезала эту свою косу, но со временем волосы снова отрасли, и вот сейчас они лежали рядом с ней в кровати, точно нечто живущее отдельно, само по себе. Долгие прикосновения темноты сделали ее кожу пористой и мучнистой, щеки отекали в неподвижном воздухе.

«Светлый Таммуз... — Я ищу, куда бы бежать от своей тоски. — Светлый Таммуз, вот, он умер, Таммуз...» В первый раз я увидел это лицо в оконной рамке проезжавшей автомашины. Мне было тогда двенадцать лет, и я вызвался каждое утро развозить покупателям хлеб. Коляска патриарха тащилась по песку, маленькие копытца осла то утопали в нем, то выныривали снова, мой нос был погружен в страницы «Записок Пиквикского клуба», и все мое тело сотрясалось от смеха, вызванного словечками Сэма Уэллера. И вдруг впереди появился шикарный автомобиль марки «форд», мчавшийся мне навстречу по главной улице поселка, поднимая за собой облако рыжей пыли. Из заднего окна на меня глянуло девчоночье лицо. Приятно шипели шины, соприкасаясь с песком, и от корпуса машины шел запах бензина и нагретого металла. Изо всех дворов повыскакивали дети, устремляясь вдогонку за автомобилем, а я подхлестнул удивленного осла, поспешил домой, схватил очки и забрался на дерево. Доехав до конца улицы, машина свернула по колее, ведущей в поля, и без труда одолела подъем на холм Асфоделий. Там она остановилась, из нее вышли мужчина, женщина и девочка и стали

осматриваться кругом. Даже издали можно было разглядеть, что мужчина очень высокий, худой и светловолосый, а женщина в костюмной паре и опирается на его руку сильнее, чем это принято. Вокруг них прыгала девочка в цветастом платье с белым воротничком. Это была Лея.

Сон раздвоил ее лицо на молодость и старость. Крутой и гладкий лоб все еще светился прежним блеском, но на покатоности надо ртом уже пролегла едва заметная сеть тончайших овражков. Губы были покрыты прозрачной пленкой пересохшей кожи, как у истомившегося от жажды ребенка, а два волоска, торчащие из маленькой бородавки на подбородке, которые она когда-то, бывало, просила меня выдергивать пинцетом, теперь сильно удлинились и утолщились, словно это боль непрестанно выталкивала их наружу. Не страдание было у нее на лице, но одна лишь бесконечная усталость, которую даже сновидения уже отчаялись расшевелить и никакому отдыху утолить не под силу.

Я платой сердца моего, кровавой и печальной,  
Отчаяньем и утешеньем запоздалым,  
Тоской души моей, души многострадальной,  
За все, что ты дала мне, уплатил с возвратом.  
Прошу тебя, не проклинай меня ты!  
Прошу тебя, не проклинай меня ты!

Я схватился за край одеяла и одним рывком сбросил его на пол. Лея зашевелилась, вслепую пошарила вокруг себя, словно хотела снова вернуться в теплый кокон, и потом начала складываться, подтягивая колени к животу и втискивая руки между бедрами. Ее тело будто пыталось вывернуться наизнанку, как перчатка, и снова оказаться в собственной матке, но глаза на мгновение открылись, и я ощутил, будто меня ударили в живот. Сплошная блистающая пелена заволакивала эти глаза, словно сияние, натянутое над глубочайшими снами. Они посмотрели на меня, погасли и закрылись снова.

— Это ты? Когда ты приехал? — прошептала она.

— Несколько дней назад.

— Не сердись на меня.

— Встань, Лея, — сказал я.

Дверь открылась, и в ее проеме появился Шимон.

— Что ты здесь делаешь? — спросил он.

— Поди вон, Шимон, — ответил я. — Это не твое дело.

— Почему ты снял с нее одеяло? — Он подошел ко мне.

— Не беспокойся, — сказал я. — Я ей ничего не сделал.

— Она жена Якова, — произнес Шимон. — Я ему расскажу.

— Шимон. — Я сел на краю кровати. — Ты можешь рассказывать, что хочешь и кому хочешь.

— Я вас видел и в тот год, когда Яков был у родственников тии Сары, — сказал Шимон. — Видел и слышал.

Мы всегда относились друг к другу настороженно, с того самого дня, когда он появился у нас — ребенок-обуза, калека и урод, — а время, как известно, не стирает первое впечатление, а лишь усиливает его и подкрепляет доказательствами.

— Слушай хорошенько, болван, — медленно сказал я. — Я ничего не делал с Леей. Ни тогда, ни сейчас. Прошло уже больше тридцати лет. Все мы уже взрослые, мы уже все знаем, а ты-то сам что тут делаешь, в ее комнате?

— Я пришел сменить ей простыни и наволочки, — сказал Шимон. — Я это делаю каждую неделю, и моя мать их стирает, а теперь сам иди вон, ухаживай себе за своим отцом. Тебя ведь для этого вызывали, так?

— Не нарывайся, Шимон. — Я встал и подошел к нему вплотную. — Ты уже получил от меня однажды, позволь тебе напомнить. Если хочешь, чтобы я снова привязал тебя к дереву, только скажи. Я еще не забыл, как это делается.

Шея Шимона взмокла. Боль в разможенном с детства бедре придает его поту соленый запах моря. Его плечи и ребра еще больше раздались вширь. Он стоял, набычившись, чуть наклонившись вперед, и показался мне прямым потомком бульдога Чероки и горбуна Квазимодо.

— Вот что такое семья, — сказал он. — Чтобы охранять и ухаживать. А не уезжать в Америку. — Не отрывая от меня глаз, наклонился, поднял одеяло с пола и укрыл им Лею. — А сейчас выйди отсюда, — добавил он. — Я должен забрать Михаэля из школы, и ты не останешься с ней наедине.

## ГЛАВА 24

Многие люди уже дарили меня своим доверием. Брат Яков писал мне поразительно откровенные письма. Тия Дудуч поверила мне секрет приготовления масапана, этого марципана сефардской кухни. У адвоката Эдуарда Абрамсона, старого дяди Ихиеля, я сортировал сотни любовных писем по рубрикам «женщины», «даты» и «разные». О, эти «разные»... Два дня назад Михаэль открыл мне «волшебные слова, которые взрывают звезды», и похоже, что и ты в своем предпоследнем письме тоже выдала мне некий «маленький секрет». Но я никогда не забывал тот день, когда Ихиель поднял откидную полку у входа в книгохранилище и сказал: «Теперь ты можешь входить сюда и сам выбирать себе книги».

На поселковой улице размытыми силуэтами носились дети, боролись в пыли, тыкали в лицо зелеными листьями и двумя выставленными рогаткой пальцами и кричали: «Хэндз ап!» и «Коснись зеленого!» — а здесь, и библиотеке, Ихиель загадывал мне загадки, учил английскому алфавиту и тренировал в технике заучивания и запоминания. Даже сейчас, читая книгу, я составляю себе список героев в порядке их появления, провожу линии и стрелки взаимосвязей и вычерчиваю генеалогические деревья. Советую и тебе. Трата маленькая, а выигрыш ого-го какой, как сказал продавец цветов, советуя некоему ухажеру купить возлюбленной одну розу вместо пары бриллиантовых сережек.

Прошло немного времени, и Ихиель разрешил мне убирать книги со столов и возвращать их на полки, стирать с них пыль и проветривать, а заодно начал учить меня читать и писать по-английски. Мы прочли с ним детскую книжку под названием «The Little Engine That Could», и он не переставал удивляться, как быстро я усваиваю язык. Он познакомил меня с книгами своей родной страны, и позже, приехав в Америку, я уже не был в ней абсолютным чужаком, вроде Карла Россмана или мальчика Мотла. Он цитировал мне Эмерсона и Торо, объявил, что лучшая книга Марка Твена — вовсе не «Гекльберри Финн», а «Простофиля Уилсон», сообщил, что «уважает» Уитмена и Фолкнера, обругал Луизу Мэй Олкотт и провозгласил, что в Америке растет «большое молодое дарование» по имени Уильям Сароян. Я позволил ему сформировать мой вкус, и в результате меня миновали многие книги и писатели, да и некоторые разделы литературы целиком, но скажи мне — кто вообще может прочесть все? Ведь даже ты, моя дорогая, не сумела опознать более трети тех цитат и

перекрестных намеков, что рассеяны на страницах писем, которые я тебе уже отослал.

Любимыми книгами самого Ихиеля были почему-то некий слащавый роман о самоубийстве кронпринца Рудольфа в замке Мейерлинг и сказочка о рудокопе из Фалуна в переложении Гофмана, которую он запретил мне читать. «Это не для детей, которые влюблены в свою мать», — решил он. Но Бринкер сказал: «Это хороший рассказ, как раз для тех детей, которые любят свою мать». Он взял для меня эту книгу и по дороге домой объяснил, что речь идет о реальном событии, об одном шведском шахтере, который погиб при обвале знаменитого медного рудника в Фалуне и труп которого обнаружили пятьдесят лет спустя — он мумифицировался в медном купоросе и остался таким же молодым, как в тот день, когда от него отлетела душа.

Наедине с собой Ихиель заучивал наизусть «Страдания молодого Вертера», завидовал Бринкеру, что тот может читать Гете в оригинале, и я готов даже предположить, что он втайне хранил у себя желтый с синим «вертеровский сюртук», как заведено у многих поклонников этого надоедливового, плаксивого и докучного влюбленного. Как-то раз он при мне с жаром обличал и поносил насмешливое стихотворение Уильяма Теккерея о любви Вертера к Шарлотте. Многие годы спустя, перепечатывая в моей книге о хлебе тот пассаж из Гете, где Шарлотта нарежает каравай, я присовокупил к нему и отрывок из Теккерея. И вдруг я ощутил в этом какую-то большую неловкость, хотя Ихиель к тому времени давно уже был мертв — а может быть, именно по этой причине, — и потому решил не цитировать последние издевательские строфы, ограничившись только первой:

Werther had a love for Charlotte  
Such as words could never utter.  
Would you know how first he met her?  
She was cutting bread and butter.<sup>[57]</sup>

В библиотеке было несколько коллекций, в том числе фотографии киноактрис, которые Ихиель разрешал мне разглядывать только выборочно, а также серия изумительных рисунков диких животных Северной Америки, выполненных тушью и акварелью — творение Эрнеста Сетон-Томпсона; первые издания всех его книг по сию пору хранятся там же, в библиотечных шкафах, пробуждая во мне инстинктивное желание унести и

спасти. Тебе я готов признаться, что однажды уже воспользовался своим старым ключом и через несколько дней после приезда стащил-таки из сетон-томпсонской серии изображение американского «рыбного ястреба», osprey, или, по-нашему, — скопы. Но этим поступком я просто-напросто замкнул некий круг, потому что в детстве разглядывал это изображение в библиотеке, а сейчас, из окна моего дома на мысе Мэй, на берегу Атлантического океана, гляжу на того же ястреба, но уже живого, когда он выхватывает добычу из воды и полощет в волнах свои убийственные когти.

Однако больше всего Ихиель любил свою сокровенную «Коллекцию последних слов», содержащую последние слова известных людей. Я был слишком мал, чтобы понимать, когда он декламировал мне, со своим нью-йоркским акцентом, шекспировские строки, запечатленные его изящным почерком на первой странице каждого из альбомов этой коллекции.

O, but they say the tongues of dying men  
Enforce attention like deep harmony.  
Where words are scarce they are seldom spent in vain  
For they breathe truth that breathe their words in pain.<sup>[58]</sup>

Он закрывал глаза и со стеснительной улыбкой читал свой перевод этих великих слов:

Язык умирающего человека  
Издает одни лишь слова правды.  
Эти слова приковывают внимание,  
Потому что они рождены болью,  
И там, где слов не хватает,  
Нужно распорядиться ими со скромностью.

Ихиель был под таким впечатлением от этого своего перевода, что даже вывесил его на доске объявлений у входа в библиотеку, между списком новых поступлений и расписанием часов работы. Назавтра на той же доске, под его переводом, появилось начертанное чьей-то рукой: «"Не позволяйте Ихиелю Абрамсону переводить меня". (Последние слова Уильяма Шекспира)»

Ихиель пришел в ярость. «Грубые животные! — кричал он. —

Мужланы! Ни стыда, ни культуры!» Вытащив из железного шкафа свои альбомы, он принялся листать их, как безумный, и, увидев, что я смотрю на него, тут же, волнуясь, начал зачитывать мне из них вслух. Мой детский мозг вбирал и сохранял, собирал и сберегал все подряд: отдельные строчки, рассказы, высказывания и факты, — и точно так же, безо всякого намерения, я запомнил и большую часть тех последних слов, что услышал тогда. И не только такие известные высказывания, как: «Умри, душа моя, с филистимлянами» или: «Павши, падешь от рук Ахиллеса», но и курьезы, вроде просьбы оперного композитора Рамо, который оборвал соборовавшего его священника словами: «Перестань петь свои молитвы, ты фальшивишь!» — или последних слов знаменитого зоолога Жоржа Кювье, который сказал сестре милосердия, ставившей ему пиявки: «А знаете, это я открыл, что у пиявок красная кровь». Сказал — и тут же испустил дух.

Расплываясь в широкой улыбке, Ихиель зачитывал мне последние слова Бенджамина Дизраэли и со слезами на глазах цитировал американского поэта-орнитолога Александра Уилсона: «Похороните меня там, где поют птицы».

— Иди, поиграй немного на улице, — сказал он наконец, возвращая свои альбомы на их место в шкафу. — Негоже детям все время проводить среди книг.

## ГЛАВА 25

Уже несколько недель, как я дома. Посещаю с отцом клинику боли, потому что он не перестает жаловаться на свои страдания. Подолгу разговариваю с Яковом. Шучу и пикируюсь с Роми.

— Давай играть, будто ты свежий салат, а я обезумевший кролик.

— Давай играть, будто ты Долорес Гейз, а я Долорес Дарк.

— Ты все хочешь меня поразить, дяд-занудяд?

— А вот твоя мать поняла бы.

— Ну, так и ступай к ней.

Ты тоже поняла, не так ли?

Несколько ночей назад, когда я уже покачивался в последних сумерках бодрствования, дверь в комнату внезапно открылась, и в ее проеме со стоном возникла маленькая, сгорбленная тень отца. Он стоял неподвижно, и я не сразу сообразил, что он меня не видит. Потом он кашлянул, нащупал руками стену и пошел вдоль нее, а дойдя до дверцы стенного шкафа, открыл ее, позволил своим пижамным брюкам сползти до щиколоток и стал мочиться внутрь. Редкое капанье, перемежаемое вздохами и паузами, продолжалось несколько минут, и я не осмелился его потревожить.

Всю ту ночь я не спал, а наутро провел по полу краской белую блестящую полосу от основания отцовской кровати до дверей его комнаты и оттуда, через коридор, к туалету.

— Иди по этой линии, видишь? — сказал я ему. — Она приведет тебя в туалет и обратно.

К моему удивлению, Яков, увидев полосу, ничего не сказал. Спросил лишь: «Что это?» — а когда я объяснил, усмехнулся.

Тия Дудуч оглаживает меня, подает мне свои замечательные масапаны и закармливает своими деликатесами, словно я ничего не ел с того самого дня, как покинул родной дом.

Иногда она берет мою ладонь и кладет ее на свою одинокую грудь, а однажды вечером вдруг обнажила ее, как делала во времена нашего детства, и я был потрясен. Зубы времени, уже изгрызшие все ее тело, не коснулись этой груди. Жуткий рубец, памятник ее отрубленной двойняшке, по-прежнему тянется рядом, но уцелевшая грудь так же прекрасна и скульптурна, как раньше, и ее сияние ничуть не померкло. Когда я вручил ей черные платья, которые привез в подарок из Америки, ее единственный глаз засверкал. Она пошла в свою комнату примерить обновку, и Роми

сфотографировала ее, когда она медленно поворачивалась перед портретом дяди Лиягу, чьи безумные глаза ревнивца не переставали следить за ней даже из гроба и из-за стекла.

Их сын Шимон пялится на меня тем же ненавидящим взглядом, что и тридцать лет назад. Он не унаследовал ни любопытства, ни жажды знаний, которые приписывались его отцу. У него преданная и мрачная душа и сильное хитрое тело бойцовой собаки. Каждый день он провожает Михаэля в школу и приводит его оттуда, опираясь на новую палку, которую я ему привез, и оставляя в песке глубокие ямки. На переменах он следит за тем, чтобы Михаэль не участвовал в слишком буйных играх и не причинил себе вреда. Однажды я видел, как он ждал там конца занятий. Привалившись в углу школьного двора на изувеченную ногу, он вынул из кармана рубахи пластмассовую мыльницу, в которой держит голубую пачку «Силона», вытащил сигарету и постучал ею по ногтю большого пальца. Его глаза настороженно рыскали по сторонам, и дым клубами шел изо рта. «Последний в стране человек, который еще курит эту вонищу, — добродушно говорит Яков. — Я думаю, что на фабрике для него держат специальный конвейер».

Временами, когда мы с Яковом смеемся, он весь сжимается. Всякий раз, когда я подхожу к закрытой двери Леи, он возникает передо мной и сверлит меня взглядом.

«Ему тяжело, — говорит Яков. — Он думает, что ты хочешь опять вернуться в семью».

Иногда мне приходится напоминать себе, что мой брат более умен и жесток, чем я думаю.

Со двора слышатся ликующие крики Михаэля, вернувшегося из школы, и Яков спешит к двери. У Михаэля веселая походка — непонятно, то ли он идет вперед, то ли прыгает из стороны в сторону и при этом взмахивает обеими руками сразу, как будто пытается взлететь. «Мы ангелы! — кричит он. — Мы летаем!» Его утрашающий страж ковыляет за ним, привязанный к земле гирями боли и увечья.

Яков встает на колени, обнимает сына, потом выпрямляется и открывает его ранец. «Ты опять не доел булочку, которую я тебе сделал. Ты меня очень обижаешь». Каждую ночь он печет для Михаэля две маленькие смешные булочки с глазами из изюминок, желтыми улыбками сумсума и гигантскими маковыми усами. По том он говорит мне: «Подожди нас несколько минут» — и исчезает с сыном в спальне. «Все в порядке», — сообщает он, выходя с ним оттуда, и зовет всех обедать. Предупреждает Михаэля, что суп очень горячий, и все время еды не спускает с него глаз,

даже рот открывает и закрывает одновременно с сыном.

«Малец похож на Лиягу, — злобно хихикает отец. — Дали ему имя этого русского, а получился монастырец».

Михаэль—хрупкий и нежный мальчик, хотя тело его сильнее, чем кажется, и много сильнее, чем думает Яков. Каждое утро он выбегает из дома в тонкой ночной рубашке, босиком, и стремглав пересекает двор с одеждой и ботинками в руках, чтобы одеться возле печи, хотя давно уже погашенной, но все еще хранящей ночное тепло. Он спускается в яму, снимает рубашку и потягивается. В маленькой пекарне царит полумрак. Низкие лучи солнца пронизывают золотыми и серебряными нитями вечно висящую в воздухе мучную пыль и рисуют светлые пятна на его теле. Заметив меня, он ничего не говорит, только улыбается мне из ямы, и я чувствую смущение. Как мог появиться этот ребенок? Не могу себе представить. Открытая, приятная мордашка, но улыбка — как прозрачная стена, сквозь которую мне не удастся проникнуть. Его лицо — лицо человека, умеющего получать удовольствие, очень серьезное и вдумчивое. В нем нет буйной силы матери или Роми, нет мягкого сияния Леи, нет выжженной сдержанности Якова. И на Биньямина он не похож. Его спина и грудная клетка напоминают мне, скорее, отца, но тот не перестает твердить: «Этот мальчик — копия Лиягу, благословенна будь его память».

На этой неделе тия Дудуч начала учить Михаэля искусству приготовления масапана. Упаси тебя Бог недооценивать важность этого события. Левантийские хозяйки строго сохраняют тайну масапана сразу от двух заинтересованных сторон — от ненавистных женщин и от любящих мужчин. Но Яков и я, Биньямин и Михаэль, каждый в свой черед, удостоились этого милостивого урока и даже овладели самым тщательно скрываемым ото всех секретом — как определять то главное мгновение, пунто<sup>[59]</sup> де масапан, когда наступает время добавлять толченый миндаль к уже расплавившемуся сахару.

Это пунто — столь ускользающий осколочек времени, что его не могут отмерить стрелки часов и не способна отсечь диафрагма фотоаппарата. В своей книге «Мясо и сладости» Альфред де Вин пишет в этой связи, что если время между снятием бифштекса со сковородки и его разрезанием на тарелке — самый продолжительный из кратчайших временных промежутков, то пунто де масапан — кратчайший из продолжительных. Впрочем, де Вин вечно ищет смыслы там, где они находились позавчера, и не случайно в своей «Большой книге фаршированных блюд» он позволил себе такую банальность: «Не следует забывать, что, хотя баклажан служит фаршу обрамлением, придавая ему форму, именно фарш придает

баклажану его смысл». Поэтому я предпочитаю старого доброго любекского кондитера Конрада, этого, по его собственному определению, «технолога сладости», который строго научным образом исследовал и доказал, что длительность пунто де масапан есть не что иное, как «длительность мысли о мгновении ока».

Так или иначе, пунто — это тот момент, когда вареный сахарный сироп достигает надлежащего компромисса меж вязкостью и текучестью, одного из тех древнейших согласий, к которым от века тщится прийти человеческое сердце, и ты, наверно, сумеешь понять это лучше меня. Ведь это ты в письме ко мне говорила о чтении как противоположности заучиванию, о мельничном жернове как противоположности колесу кинопроектора, об искрящемся блеске ухаживанья как противоположности мертвенному свинцу ревности.

За несколько дней до приготовления масапана тетка становится беспокойной, как курица-несушка. Она ходит, высчитывая на пальцах по-турецки, и все в доме уже знают, что она начала градуировать свое тело для необходимых исчислений.

— Как беременный евнух, — внес отец свое сравнение.

Она привела Михаэля в кухню, дала ему попробовать деревянной ложкой воду, в которой размокал миндаль, и, одним нажимом указательного и большого пальца сняв с миндалин коричневую кожицу, разложила их сушиться на особое масапанное полотенце — белое и мягкое, которое стирают лишь в дождевой воде и вешают на просушку только в тени. Потом она растерла миндалины в ступке мягкими круговыми движениями пестика, то и дело останавливаясь, чтобы уничтожить крупички, обнаружив их на ощупь мудростью старческих пальцев, ибо масапан — это не только вкус, но и фактура, а ощущение, которое он вызывает, перекатываясь между языком и нёбом, не менее важно, чем его вкус

Не прибегая к весам, она всыпала в горшок равное с миндалем количество сахара, добавила немного миндальной воды и поставила на огонь. Потом она взяла Михаэля за руку, и они вместе вышли из кухни, чтобы поразмышлять о том, как растворяется сахар, и вернуться к горшку как раз в надлежащее время. Дудуч точно знает, как вернуться к сахарному раствору буквально за миг до истинного пунто, словно в пустотах ее тела пересыпается отмеряющий время песок. Она погружает в горшок длинную щепку, подымает ее на уровень глаз и изучает застывшую серебряную паутину, оставленную падающей каплей.

Я помню, как она закрывала свой единственный глаз и замирала на неизмеримо малый промежуток времени, подобный исчезающей

длительности между ударом по клавише рояля и окончательным замиранием звука, а когда снова открывала глаз, то вперяла его в лицо ребенка, и тот познавал величие наступившего мига как по близкому капанью сахара, так и по этому пронзительному взгляду своей старой тетки.

Каждый из нас в свое время выкрикивал: «Пунто де масапан!» — и вот уже Дудуч всыпает растертый миндаль и гасит огонь. «Абашо! Вниз!» — восклицал ребенок. И вот уже Дудуч с грохотом опускает горшок на пол, становится на колени и начинает энергично перемешивать, и перемешивать, и перемешивать, а потом ставит масапан на мрамор, чтобы как следует остудить.

Через несколько часов, когда смесь окончательно охладилась и застыла, они вместе сформовали из нее маленькие холмики и Михаэлю было позволено воткнуть в вершину каждого из них острый и бледный сосок очищенной миндалины.

## ГЛАВА 26

Нам с Яковом исполнилось по семь лет, когда тия Дудуч пришла в поселок. Ее муж и ребенок погибли, а сама она была изнасилована, изувечена, потеряла один глаз и была так потрясена пережитыми страданиями, что утратила речь. Шимона, оставшегося в живых младенца, искалеченный и исковерканный обрубок своей семьи, она несла на руках, чтобы скрыть его тельцем ужасное увечье, нанесенное ей самой. Позади она оставила навсегда разрушенную сыроварню, четыре расколотых куклы матрешки, обезумевшую мать, которая не переставая стонала: «Мы Абарбанели...» — и две свежие могилы: своего мужа Лиягу и своего первенца Бхора Ихезкиеля.

Когда мы покинули Иерусалим, мать оставила свою сыроварню невестке, и Дудуч внезапно обнаружила себя в окружении целой армии загадочных тазов, бурдюков и бидонов, ни с одним из которых не умела управляться и каждый из которых напоминал ей любимую невестку. Она еще всхлипывала, когда во дворе появилась незнакомая молодая женщина с прелестным лицом в обрамлении строгого платка православной монахини. Та подошла к Дудуч так свободно, будто знала ее всю жизнь, и жестом позвала за собой.

Мой дядя Лиягу был чудовищный и злобный ревнивец, и его ревнивая подозрительность, эта низколобая сестра любви и коллекционерства, заразила также свою жертву. Дудуч согласилась пойти с монахиней только после того, как та приподняла свое длинное одеяние и доказала, что она — не переодетый ухажер. В церкви Марии Магдалины их уже ждала другая монахиня — старуха, говорившая басом и шагавшая наклонясь и с усилием, будто паломник против встречного ветра, — которая дала ей точные инструкции для приготовления каждого из видов йогурта и сыра, прославивших унаследованную ею сыроварню.

Дудуч преуспела в новом деле. Булиса Леви восклицала: «Скорее я увижу белых ворон, чем чапачула получит обратно свою сыроварню!» Но судьба распорядилась иначе. Мир Дудуч обрушился на нее, и она ушла из Иерусалима и пришла к нам.

В тот день Ихииель опять отправил меня проветриться, и я присоединился к другим мальчишкам, которые пошли в поля «искать древности». Бринкер поднимал свою осеннюю пахоту, и лемехи его плуга, как и каждый год осенью, выворачивали из земли красные и желтоватые

черепки керамики, сверкавшие зеленым и синим осколки стекла, разноцветные камешки бывших мозаичных полов и обломки мрамора. Мы шли за плугом смешанной группой — вороны и дети. Те искали земляных червей, улиток и зерна, а мы высматривали кусочки мозаики, которые считались самыми лучшими для игры в «пять камушков», и старинные монеты, которые продавали потом господину Кокосину, управляющему поселковым магазином.

Прозвище «Кокосин» дала ему наша мать в честь вонючего кокосового масла, которым торговали в магазине. Он с ума сходил по тем позеленевшим монетам, которые выворачивал плуг, а мы точно так же сходили с ума по его сладостям.

Кокосин обычно принимал нас по вечерам, у себя дома. Вместе с ним нас ждали там его жена с пухленькой дочкой, а также плата за товар — английские конфеты «Кэдбери». Он подолгу спорил с нами из-за стоимости этих древних монет, об истинной цене которых мы не имели ни малейшего понятия. «Вы себе на евонных конфетах дырки в зубах заработали, а Кокосин себе на те бар-кохбовы медяки построил в Тель-Авиве большущий дом», — подытожила мать эту нашу коммерцию добрую дюжину лет спустя, когда управляющий кооперативным магазином бесследно исчез из поселка.

Шелковистое время сумерек опустилось на поля. Стояла такая мягкая и глубокая тишина, что понукания Бринкера и ответные вздохи его мула беззвучно тонули в ее мягких складках. Солнце и Земля сблизилась, одаряя друг друга приятным и дружелюбным теплом, и мы парили в красноватом просвете между ними.

Я слышал крики стрижей над нами и хлопанье крыльев цапель, которые взмывали над стадами коров и размазанными платочками планировали на далекие ивы в долине ручья, где они каждый вечер собирались на совместный ночлег. Вдали появилась маленькая темная фигурка, спускающаяся с холмов, что тянулись за вспаханной землей неподалеку от Черепа. Я, разумеется, ничего не мог толком разглядеть, но что-то в ее движениях насторожило других ребят. Они замолчали и стали следить за ее приближением. Я прижал двумя пальцами уголки глаз, чтобы чуть получше видеть, но она уже исчезла в долине, в тени ив с белыми комочками цапель в листве. Несколько минут спустя расплывчатое черное пятнышко появилось снова, спотыкаясь и ушибаясь на гладких камнях в излучине ручья, и стало медленно подниматься, с трудом пробираясь сквозь густые заросли на крутом берегу.

Я хорошо помню эту картину, потому что Яков вдруг заволновался,

снял с переносицы наши очки, дал их мне и попросил, чтобы я рассказывал ему, что вижу.

Темная фигура приблизилась и оказалась низенькой женщиной в черной изорванной одежде, со смутным, обезьяньего вида младенцем на руках. Она миновала нас, медленно пересекла поле, остановилась на границе поселка, в том самом месте, где сейчас построили заправку «Сонол» с китайским рестораном при ней, Стала оглядываться вокруг, пока не различила трубу пекарни, и направилась напрямиком в ту сторону.

— Она идет к вам! — закричали ребята, и мы победили вслед за женщиной. По сей день, стоит мне посмотреть на свою старую тетку, мне кажется, будто она так и не перестала брести, как тогда, — искалеченная, обессиленная, обнимая сосущего младенца, прижатого к единственной груди, в сопровождении шумной стайки детворы, идущей за ней следом.

— Что она делает? — нетерпеливо спросил Яков.

Мы прижались к забору, и только наши головы торчали над ним. Женщина толкнула калитку, вошла на двор, и тут ее ноги начали дрожать и подкашиваться. Она прошла не больше десяти шагов и упала, как падает юла в своем последнем трепетании.

— Сейчас она упала, — сказал я Якову, и в ту же минуту дверь нашего дома распахнулась, и мать появилась на пороге.

— Мама вышла к ней, — доложил я.

Мать одним прыжком перемахнула через все четыре ступеньки, подбежала к упавшей женщине и застыла над ней.

— Она подымает ребенка и дает его маме, — продолжал я докладывать.

Теперь, освобожденные от своей ноши и ответственности, руки женщины поднялись к горлу, и я, остолбенев, увидел, что она разрывает на себе застешки платья. Из угла, где я стоял, я не могу видеть обнажившуюся грудь — лишь две большие черные пуговицы, оторвавшиеся от платья и покотившиеся в песок, меловую белизну в глазах матери, широко раскрывшихся в безумном ужасе, да ее побледневшие пальцы на спине ребенка.

Воздух огласился прерывистыми рыданиями лежащей в пыли женщины.

— Эта женщина, наверно, совсем сумасшедшая, — сказал я Якову.

— Говори мне только то, что видишь, а не то, что думаешь, — резко ответил он.

— Что вы сделали с Дудуч?! — крикнула мать не своим голосом, упала рядом с женщиной, обхватила ее обеими руками и присоединилась к

ее рыданиям.

— Что там происходит? — допытывался Яков.

— Мама выгоняет эту женщину со двора, — сказал я хладнокровно.

Но на этот раз мой обман не прошел. Яков злобно уставился на меня, потом с неожиданной силой толкнул, повалил на землю и отнял очки. Какое-то время я лежал так, а потом поднялся и тоже побрел домой.

С тех пор прошло много лет, и тия Дудуч не покидала нас ни на один день. Она выкормила десятки младенцев, и изготовила тысячи порций масапана, сварила тонны гювеча, закрутила бочки варенья, спекла дунамы<sup>[60]</sup> пирогов — и не произнесла ни единого слова. Лишь одна-единственная фраза снова и снова срывалась с ее губ, воспоминанием об ужасах резни 1929 года: «Ибрагим, что ты делаешь, Ибрагим?» Она повторяла эти слова родным, шептала кухонной посуде, выкрикивала из окна удивленным прохожим и поверяла своим подушкам, которые выбрасывала каждую неделю, выпрашивая новые, потому что ее ночные кошмары выжигали в них глубокие дыры, не видимые никому, кроме нее самой.

Но тогда, в тот день, в полях, мы еще не знали всего, что произошло. В тот день мы узнали только, кто эта женщина. Дудуч Натан, сестра отца, вдова дяди Лиягу, зыбкое отражение из отцовских рассказов и материнской тоски, вырвавшееся из них и пришедшее к нам наяву.

## ГЛАВА 27

Давно уже изгладились из сердца и шикарный «форд», и девочка, и женщина, и мужчина, и тут появился зеленый грузовик, кряхтящий вверх по холму. Джамилла с матерью собирали там на склоне цветы, поскольку ромашки маме не помогли и Джамилла предложила другие, обходные пути: нарциссы для упрочения слабеющей любви, мандрагоры для воспламенения угасающей страсти, венчики боярышника, дабы подавить вожделение к другим женщинам, и букеты асфоделей, чтобы заново собрать рассеивающуюся верность. Самой Джамилле, кстати, в любви весьма повезло. Будущий муж ее, пастух, умевший читать по земле, как по книге, увидел однажды на тропинке следы ее босых ног. Отпечатки ее больших пальцев и мягких пяток были так совершенны, а расстояние между ступнями было таким изысканным и влекущим, что парень бросил своих овец и пошел по этим следам, пока не настиг ног, которые их оставили, и опустился на землю, по которой эти ноги ступали. Через несколько месяцев переговоры о выкупе невесты завершились, и Джамилла переехала в дом своего мужа неподалеку от нашего поселка. На остаток денег он купил ей туфли, чтобы она больше не оставляла следов, и в обмен обещал не брать себе других жен, кроме нее.

Грузовик со вздохом остановился. Рабочие в касках и майках сгрузили строительные материалы, формы для смешивания бетона, черные резиновые мешки и инструменты. Несколько дней после этого они мерили, и забивали колышки, и натягивали веревки, а потом стали разрывать и калечить плоть холма, с корнями выкорчевывать асфодели, давшие ему имя, разравнивать вершину и пятнать ее рыжеватость кучами извести, гравия и щебня. Казалось, они готовят декорации на сцене предстоящего спектакля.

— Возьмите Шимона, — кричала мать, когда видела, что мы с Яковом выходим со двора и направляемся в трону холма.

— Тогда я останусь дома, — ворчал я.

Яков говорил, что «Шимон — это семья» и мы должны о нем заботиться, но я отвечал, что у меня нет ни сил, ни желания тащить его на руках. Шимон, хоть и низкорослый, был очень широк в плечах, а страдания сдавили его тело, сделав его плотным и тяжелым, как свинец. Мать сшила ему гамак из пустого мешка из-под муки и, как только видела, что его плач вот-вот прорвется сквозь стиснутые зубы, кричала нам: «Покачайте

Шимона!» Но Шимон никого не беспокоил своими страданиями — он совал себе в рот толстую щепку и сжимал ее между челюстями с такой силой, что она хрустела. Мать, которая пестовала легенду о деревянном полене, которое дедушка Михаэль стискивал зубами во время обрезания, утверждала, что это снимает боль. Но в те минуты, когда боль его отпускала, Шимон приходил в такое беспокойство, будто он вообще терял смысл, а также доказательство своего существования.

Словно желая продемонстрировать, что он нуждается не только в успокоении, но и в общении с миром, он начал испытывать свои прорезавшиеся зубы на любом доступном материале. Он оставлял белеющие полосы ободранной коры на стволе шелковицы, прокусывал круглые дыры на подошвах рабочих башмаков, и однажды утром приполз в пекарню и изрядно укоротил деревянную лопату. Мать была уверена, что это дело крысиных зубов, но Ихииель сказал, что есть только одно животное, которое способно сотворить нечто подобное с деревянной рукоятью, однако оно не числится в списке животных Страны. Эта привычка вскоре превратилась у Шимона в маниакальную потребность совершенствоваться и улучшать свои укусы, в которой было что-то от яростных экспериментов взрослеющего подростка, неустанно понукающего свой член подниматься опять и опять, словно бросая ему вызов: кто сломается первый?

Он ни на минуту не позволял своей матери отойти от него. Стоило ей исчезнуть из его поля зрения, он глухо бурчал тем скорбным ворчанием, которое издают старые адвокаты, когда из их книги вынимают закладку. Медленно, настойчиво и упорно он тащился за ней по двору и по улице, опираясь на суставы пальцев и на одно колено и выплевывая крошки древесины и кожи, и его искалеченная нога тяжело волочилась за ним. Даже в два с половиной года ему все еще не удавалось выпрямиться, но на его торсе уже образовались бугры борцовских мышц, а пухлые подушечки, что у каждого малыша на ладонях, у Шимона превратились в роговые копыта. Яков смастерил ему грубые костыли и научил стоять и ходить, и Шимон проникся к нему преданностью, любовью и верностью, которые сохранил по сей день.

— У него был такой странный кошмар — он жаловался, будто видит черные точки, проникающие в его тело, — рассказал я отцовскому врачу о Шимоне во время одного из наших разговоров.

— Крайне интересно, — сказал врач. — Он много плакал в детстве?

— Почти никогда, — ответил Яков, который по моему требованию сопровождал меня в этом визите и до того момента упорно молчал.

— Терпимость к боли различна у разных людей, — произнес врач тем поучающим тоном, который усваивают воспитательницы детских садов, проповедники, страховые агенты и все те, кто имеет дело с зависимыми людьми. — Ведь боль — это преобразование ощущения, а не само ощущение и, как таковое, зависит, прежде всего, от типа личности, обстоятельств и системы ценностей. Некоторые люди кричат от булавочного укола, тогда как другие не проронят и звука, даже если их колесуют. Некоторые женщины вопят при родах, а некоторые только стонут.

— Я знал такую, которая кричала уже при оплодотворении, — заметил я, но врач укоризненно посмотрел на меня и вновь обратился к самому увлекательному и нежащему душу человеческому занятию — поучать и объяснять. — Существует несколько заблуждений относительно боли, — продолжал он. — У боли не всегда имеется цель, она не всегда имеет соответствующую силу, и она никогда не поддается измерению Вы, наверно, заметили, что в ответ на вопрос: «Как сильно ты меня любишь?» — мужчины разводят руки и стороны, а женщины прижимают их к груди. Я прошу больных оценить степень их боли по шкале от одного до десяти, и вы не поверите, насколько это хорошая индикация успешности лечения. А иногда я прошу их сравнить боль, которую они ощущали в прошлом, самую сильную боль, с их страданиями сегодня.

Он внезапно повернулся к Якову, указал на его руку и сказал:

— Вот, например, будь вы моим пациентом, я бы попросил вас сравнить вашу нынешнюю боль с болью при ампутации этого пальца.

Лицо брата исказилось и побледнело. Он не любил, когда люди замечали его увечье. Ему казалось, что этот обрубок прилюдно демонстрирует какую-то его слабость. Иногда он прячет его внутри кулака и сжимает там с такой силой, что его лицо приобретает угрожающее выражение.

Теперь он поспешил прикрыть этот отрубленный палец другой рукой.

— Мне не было больно, когда это произошло, — проворчал он.

— Но потом боль, наверно, появилась? — настырно допытывался врач.

— Я уже не помню, — недовольно ответил Яков. — Это было много лет назад.

## ГЛАВА 28

Погруженные по колено в землю и в тесто, далеки мы были в нашем поселке от людей и от Бога, и строящийся на холме дом стал средоточием пересудов и прогулок. По субботам туда поднимались целыми семьями, дети играли в кучах щебня и песка, а взрослые входили внутрь, слонялись по зияющим пустотам и гадали — сколько денег, сколько времени, сколько кубических метров, сколько жильцов, кто и где будет жить.

В поселке каждое неординарное событие или появление чужака тотчас становились предметом разговоров, догадок и надежд весьма определенного толка. Разъездной врач, водитель автобуса, торговцы скотом, поставщики кооператива. Изредка появлялись также бродячие продавцы галантереи. Из их коробок разносились манящие запахи, а обилие таившихся там мелочей завораживало сердца. Стоило, однако, кому-нибудь из них постучать в нашу дверь, как мать тотчас выпроваживала его и еще долго с подозрением смотрела вслед, потому что все они напоминали ей наваритов Иерусалима.

Однажды к нам заявился незнакомый галантерейщик, высокий, худой человек с похотливыми влажными глазами и такими редкими и липкими волосами, что они, казалось, были выщипаны из каймы его черной ермолки. В деревянной коробке, болтавшейся на его шее, был обычный набор из бритвенных лезвий, мыла, шнурков, расчесок и добрая дюжина бутылочек с «эссенцией» — экстрактом духов, который он по мере надобности разводил спиртом.

Пока мы с Яковом разглядывали коробку с галантереей, мать, к нашему удивлению, предложила торговцу стакан воды из шкафчика со льдом и взяла у него, в подарок отцу, ридома де колония. Но ее истинные намерения немедленно прояснились. Она выбрала тюбик синей краски для глаз, сунула его в карман и начала торговаться о цене.

Она все еще торговалась, когда отец поднялся после полуденного сна, вышел к нам и тоже стал щупать и нюхать бутылочки с эссенциями. Мать смутилась, отозвала его в сторону и сказала:

— Детям нет денег на ботинки, Аврам, а ты будешь покупать одеколон?

Торговец посмотрел на нее с ненавистью, машинально облизнул губы и тихо, но явственно обронил одно-единственное слово: «А гойке».

В нашей семье никто не знал идиша, но с этим словом мать была

хорошо знакома. Она не в первый раз слышала или повторяла его про себя. Яков посмотрел на меня, я на него, и мы, кажется, даже обменялись еле заметной улыбкой и немного отступили назад, чтобы освободить место для предстоящей схватки.

Мать задрожала, «как бухарский сапожник, на которого плюнула змея». Звуки оскорбительного слова пробили ее височные кости, проникли в мозг и взорвались там. Дивный багрянец гнева зажегся на ее груди и начал подниматься к шее и лицу. Ее зубы ощерились, как у волчицы, и яростные жилы вздулись на шее, спускаясь от стиснутых челюстей и исчезая под воротником кофты. Она выбросила вперед свои сильные, меткие руки, схватила кожаные ремни галантерейной коробки и захлестнула их на горле торговца. Его лицо полиловело, руки и ноги задержались, рот широко раскрылся. Мать не отпускала ремни, пока он не рухнул на землю, и лишь тогда его горло сумело вытолкнуть наружу несколько сдавленных проклятий.

Она поставила босую широкую стопу на его испуганный живот и спросила:

— Ты кого обзываешь «гойке»?

— Никого, — простонал торговец.

— Ты берегись, смотри, я — татар! — провозгласила Мать.

Мы все спрятались за ее спиной. Яков нетерпеливо переминался с ноги на ногу, ожидая продолжения. Я гадал, были проклятья, вышедшие изо рта торговца, произнесены в тот момент, что слышались, или прозвучали раньше, но сумели вырваться наружу лишь после того, как мать освободила его горло. Отец, наполовину скрытый ее телом, предостерегающе похлопывал ее по плечу, успокаивая и упрасывая одновременно. Дудуч глядела на нее сбоку немым восхищенным взглядом, лицо Шимона озарилось редкой улыбкой удовольствия, а гусь похаживал кругами, заботясь, чтобы никто не вздумал помешать его госпоже.

— Моего отца сделал евреем рабин вот с такой бородой! — сообщила мать. Торговцу, нам и всему миру. Она перенесла всю тяжесть своего тела на попирающую ногу и руками показала размер той бороды. — Не то что бердеде твоего рабина, — страстно продолжала она. — И глаза у него, как у Ильи-пророка. И мой отец был взрослый, когда они сделали ему бритмилу<sup>[61]</sup>. Всех привязали веревками, потому что не было наркозы, а мой отец просил, чтобы без веревок, и не кричал, потому что обрезание вовсе не было для него болью.

— Ну довольно уже, довольно, — ворчливо сказал отец. — Слышали...

Мать сняла свою ступню с торговца, наклонилась над ним, схватила за рубашку и поставила на дрожащие ноги.

— Мы евреи лучше, чем ты, — известила она его. — А в моих сыновьях уже будет текти кровь от праотца нашего Аврама.

Закончила, толкнула его обратно в пыль и захлопнула дверь. И тут ее ноги подогнулись, и глаза — усталые и отчаявшиеся — медленно закрылись. Стена, на которую она поспешила опереться, задрожала от ее тяжести и рыданий. Яков принес ей чашку чая, и она пила ее медленными глотками, пока не успокоилась и не произнесла свое обычное: «Ух... хорошо...» — в знак того, что ей полегчало.

Наутро у нас во дворе появилась низенькая женщина с лицом преждевременно состарившегося козла, птичьими руками и маленьким деревянным чемоданчиком. Она вошла в дом, спросила: «Где хозяйка?» — и, не дожидаясь ответа, подошла к матери, вытащила две голубые расчески и отодвинула ими ее волосы с висков.

— Так намного красивее, — она отступила на шаг, чтобы полюбоваться делом своих рук. — *Chez nous à Paris*, у нас в Париже, модно именно так.

Она мигом вытащила из кармана синюю бархатную ленточку, повязала ее матери на шею и скрепила белой перламутровой булавкой. Мать громко и смущенно засмеялась, но глаза ее закрылись от удовольствия. Вся эта картина была странной и удивительной, и я уже тогда знал, что никогда ее не забуду, потому что мать была выше незнакомой женщины примерно на полторы головы, и вдобавок маленькие дешевые украшения необыкновенно украсили ее. Мы с Яковом глядели на нее с восхищением. Перед нами вдруг предстала другая женщина — большое лицо, далеко расставленные серые глаза и широкие плечи утратили грубость и стали настолько красивыми и привлекательными, что испугали нас своей новой и незнакомой силой.

Легким толчком гостя усадила мать на стул.

— Силь ву пле, мадам, — сказала она. — Шену а Пари с таким формидабль, таким внушительным лицом и с такими волосами и плечами вы могли бы стать самой-самой красивой королевой.

Она открыла чемоданчик, вытащила гребешок, иожницы, черную сетку для волос, настольное зеркало и шпильки и сказала:

— Вчера к вам заходил человек, который вел себя очень некрасиво, и я пришла попросить...

Она не успела закончить, потому что клыки Шимона сомкнулись на ее ступне. К счастью, его зубы вонзились в туфлю, а не в кожу. Воцарилось

неловкое молчание, но женщина наклонилась, сунула ладонь под его рубашку и кончиками пальцев погладила его спину. Произошло чудо. Глаза Шимона закрылись, мышцы расслабились, и захваты его челюстей выпустили свою жертву.

— Мужчины и дети, — засмеялась женщина, — все они одинаковы — такие симпатичные щенята. У нас в Париже они кусаются и в сорок лет.

И она велела матери снова сесть на стул, накрыла ее плечи широкой простыней и принялась стричь и приче сывать.

Так мать встретила с «Шену Апари», женой того грубого галантерейщика. Шену была страстной франкофилкой, а также специалисткой во всем, что «между ним и ею», а с тех пор — и навсегда — стала еще и лучшей подругой матери. У нее была маленькая женская парикмахерская в соседнем поселке и узкий круг клиенток, которые преклонялись перед ней и считали ее высшим арбитром во всем, что касается кудрей, завивки и любви. И она действительно была одаренной парикмахершей и умудрялась сделать красивыми даже этих тяжело живущих женщин, что уже выцвели, все до единой, от долгих однообразных лет нужды и тяжкого труда и, кроме собственных, ко всему безучастных мужей, не имели ни единой души, ради кого стоило прихорашиваться.

Прозвище «Шену Апари» пристало к ней потому, что она то и дело вставляла в свою речь эти четыре французских слова, «*Chez nous à Paris*». У нее, конечно, было и настоящее имя, но оно давно забылось за неупотреблением, и теперь никто его уже не помнил. Она сама с радостью присвоила себе это прозвище и с гордостью представлялась: «Шену Апари, *enchantée*<sup>[62]</sup>». Выражением «у нас в Париже» она обычно подкрепляла все свои категоричные утверждения:

- У нас в Париже любовь для людей, как хлеб насущный.
- Шену Апари люди целуются прямо на улице.
- Шену Апари даже самый грязный клошар умеет побаловать женщину.

Раз в месяц мать ходила к ней по делам красоты и раз в неделю — по делам общественным и душевным. Там она встречалась со своими новыми подругами, обменивалась рецептами и жалобами, просматривала журналы, где со страницы на страницу перепрыгивали знойные красотки в сопровождении осанистых поэтов с мечтательным взглядом, которые между делом занимались также высшим пилотажем и банковскими махинациями и обматывали кадыки шелковыми шарфами.

Шену Апари дирижировала этими женскими собраниями решительной

и одновременно мягкой рукой, проявляя равную щедрость в отношении чужих и собственных секретов.

— Вот пришла Шошана, — объявляла она. — Ну, Шошана, мы все хотим знать, что было ночью. Твоему мужу помогла эта мазь?

К ее чести надо сказать, что она никогда не сплетничала за спиной, а только в лицо, и поэтому встречи в ее парикмахерской превращались в семинары исповедей и очищения, и женщины отдавались им с большим пылом. Они настолько верили в нее, что даже вид ее собственного лица, покрытого преждевременными морщинами, не мешал им покупать приготовленные ею кремы для омоложения кожи.

— Мне самой это действительно не помогает, — сказала она однажды заколебавшейся женщине, которая испытующе рассматривала ее. — Но ты-то не должна от этого страдать, верно, *ma chérie*?

## ГЛАВА 29

Несколько выцветших картинок школьных лет: в пятом классе у нас был подменяющий учитель, у которого левая рука всегда была засунута за пояс; в уголке живой природы меня как-то вырвало от запаха формальдегида, который напомнил мне бринкеровскую Мертвую Хаю; на викторинах по общим знаниям: синонимы, реки, писатели, столицы и кто что кому сказал — я всегда получал первый приз. Но воспоминания о школе — не того рода, что хотят вернуться и всплыть во мне, и никто из учителей не оставил в моей памяти такого следа, который не изгладился бы со временем.

Когда мне исполнилось одиннадцать лет, я вызвался развозить хлеб. Каждый день я вставал в шесть утра, грузил вместе с отцом ящики с хлебом на повозку, запрягал осла и наследником Гектора и Бен Гура выезжал со двора навстречу приключениям. Рыжая пыльная дорога была еще влажной от росы, и мягкие, истертые резиновые шины не издавали ни малейшего шороха. Ахиллес и Мессалина не маячили на горизонте, осел сам знал дорогу и те дома, возле которых нужно остановиться, и поэтому я забрасывал вожжи за шею, совывал нос в очередную книгу и погружался в чтение. Так я успевал прочесть еще три-четыре книги за неделю. У Ицхака Бринкера я всегда задерживался на несколько минут, невзирая на гнетущее присутствие Мертвой Хаи. Бринкер уже возвращался к этому времени с дойки овец, и они как раз заканчивали свою каждодневную утреннюю ссору на одну и ту же неизменную тему — еда. Бринкер обожал яичницу с петрушкой, а у Мертвой Хаи запах петрушки вызывал зудящую сыпь на шее. Со своей стороны, Мертвая Хая имела привычку варить суп из петушиных гребешков, от которых ее мужа выворачивало до самой глубины души и желудка.

Бринкер знал, почему я мешкаю, и тотчас доставал из ящика тот кусок янтаря, который он привез из Германии. Внутри янтаря застыла огромная, древняя, миллионнолетнего возраста муха, такая же живая и изумленная, как в минуту смерти. Я подносил ее к глазам, затаив дыхание. В книге о старом Ули-Були тоже был такой кусок янтаря, и там у детей тоже захватывало дух при виде его. Свет, преломляясь в золотистых внутренних сводах, увеличивал изображение мухи, а присущая близоруким способность хорошо видеть вблизи еще резче заостряла картину.

— Как поживает мать? — спрашивал Бринкер, глядя меня по затылку.

— Все в порядке, — отвечал я.

— Передай ей привет, — говорил он. — Пусть придет забрать куриный помет для огорода, если хочет.

Моя дружба с Ихием тоже становилась все теснее. Мои занятия с ним постепенно превратились в частные уроки по принципу «английский в обмен на буханку». Мне нравился английский язык. Сегодня я понимаю, что обнаружил в нем достоинства, со временем открывшиеся мне в женщинах, которых я любил, — ясный разум, юмор победителей и наряду с этим — щедрость и снисходительность, которыми широта и утонченность наделяют своих обладателей. До сих пор меня приводит в восторг богатство его синонимов, его покладистость в отношении мужского и женского рода и строгость в отношении времен. Лет через десять после тех занятий с Ихием мне довелось беседовать с его старым дядей о моей любви к английскому языку. Эдуард Абрамсон презрительно усмехнулся.

— Да, да... — проворчал он. — Язык для Франклина и Харди, но не для Екклесиаста и Десяти Заповедей. Три сотни слов для разных видов овец и плоскогубцев и всего пять слов, с которыми можно умереть подобающим образом.

Я любил эти уроки с Ихием, включавшие к тому же и кофе с коржиками, и его разговоры, и его дружелюбие взрослого человека. И вот так, пока мои ровесники с натугой декламировали: «Once there was a wizard, he lived in Africa, he went to China and get a lamp...» («Жил был волшебник в Африке, и как-то он отправился за лампой в Китай...»), я уже мог, под руководством Ихиеля, читать Фенимора Купера на его родном языке и доброй памяти «Простофилю Уилсона», а еще позже — и «Тигра Тома Трейси», самый любимый мой рассказ о любви из всех существующих, как я уже надоедливо намекал. Так Ихиель тоже внес свой вклад в мою замкнутость, в мое отчуждение и в конечном счете — в мой отъезд.

Холостяцкая жизнь хорошо подходила Ихиелю. Он носил твидовые пиджаки, единственные в стране джинсы и высокие американские рабочие ботинки желтого цвета. Время от времени он покупал сыр и овощи у крестьян и яйца у Джамилы, которая тоже выучила у него несколько слов по-английски и, когда Ихиель спрашивал у нее «Хау ду ю ду?», смеялась, сверкая своими большими зубами, теребила бусы на шее и повторяла за ним: «Ха-ди-ду, ха-ди-ду...»

Со временем он стал доверяться мне и однажды открыл свою заветную и тайную мечту—уже сейчас заготовить себе свои собственные последние слова.

— Я всего лишь маленький библиотекарь в маленьком поселке в маленькой стране, — грустно объяснял он мне.

Его мечтой было сочинить такую замечательную и значительную последнюю фразу, чтобы его сочли достойным войти в прославленную антологию и расположиться там в соседстве с самыми выдающимися покойниками. Он придумывал все новые и новые последние фразы, пробовал на мне и непрерывно зубрил, стараясь запомнить, как они прокатываются между небом и языком, чтобы не забыть их в своем предсмертном помрачении. Но затем быстро впадал в отчаяние, потому что ни одна из них не могла сравниться с замечательными образцами из его коллекции.

«На небе я буду слышать...» — с завистью цитировал он последние слова Бетховена. «Еще света...» — таял он от смертельного хрипа Гете. «Какая простота, — восклицал он, — какой скромный оптимизм у таких великих людей!»

И лишь когда он почти отчаялся, его мозг вдруг озарила столь удачная мысль, что ему стало невтерпёж и даже собственная смерть неожиданно показалась ему слишком далекой для реализации этой идеи. Он придумал засмеяться между своими последними словами, какими бы они ни были. Он издаст слабый, но явственный смешок, который выразит всю глубину его презрения к мрачному лику смерти.

В предвечерние часы мы ходили с ним смотреть на рабочих, трудившихся на холме Асфоделий. Даже и до окончания строительства можно было почувствовать, что дом дышит продуманностью и достатком. При виде мансарды наверху Ихмель заключил, что владелец дома поэт. Мертвая Хая сказала, что поэты не нуждаются в двух ваннах комнатах, и решительно заявила, что это богатый англичанин строит дом для своей любовницы и незаконного сына. Кокосин из кооператива объявил, что он уже встречался с будущими жильцами и что это семья еврейских промышленников из Дрездена, которая на время до завершения дома сняла весь пансион Зальцмана в Хайфе и намерена построить в поселке фарфоровую фабрику. Но я, уже видевший девочку, ко торой предстояло здесь жить, знал, что она ничей не сын, законный или незаконный, а также несколько не похожа на дочь поэта или фарфорозаводчика. Но я никого не поправлял.

Тем временем появились столяры, которые поставили толстые двери из дерева и стекла, и стекольщики уже застеклили окна, и стены были заштукатурены и побелены, а полы покрыты плиткой. Два садовника посадили декоративные и фруктовые деревья, посеяли цветы и траву, и

зеленый грузовик привез ящики и мебель. Рабочие разгрузили поклажу, и я, к тому времени уже получивший собственные очки и назавтра же их сломавший, за что отец почтил меня оплеухой, прижал пальцами уголки глаз и отправился смотреть спектакль.

Они осторожно вносили закутанные картины, завернутые в шерсть бокалы, металлические коробки и деревянные ящики. Столы были тяжелые и блестящие. Кресла — громоздкие и тучные, и, когда их перебрасывали из рук в руки, они выглядели как пойманные на горячем почтенные матроны — нижние юбки задраны, ноги с распухшими лодыжками лягают воздух.

Назавтра вечером снова появилась легковая машина. Высокий человек, опирающаяся на него женщина и цветастая девочка вошли в свой новый дом, и всю ночь там горел свет, и чудесная веселая музыка лилась из открытых окон. Несколько лет спустя, уже юношей, я снова услышал именно эту музыку, когда сошел с корабля в нью-орлеанском порту и отправился на поиски еды и очков. Я не удивился. Уже тогда я знал, что Эмерсон был прав и что запахи, мелодии и картины прошлого подстерегают путника, куда бы он ни шел.

## ГЛАВА 30

Иногда в нашем доме появляются незнакомые люди и спрашивают «господина Авраама Леви». «Мы получили письмо, — говорят они, — получили письмо и приехали».

Отец приглашает их в свою комнату для короткой беседы, и через несколько минут они исчезают, пристыженные, с поникшей головой.

— Не прошли тест, — засмеялся Яков, когда я спросил его, в чем дело.

Вот уже многие годы, разъяснил мне брат, отец посылает письма людям, в которых он подозревает наших родственников. «Он строит себе новую семью, лучше, чем у него есть. Потому-то у него в комнате такая куча телефонных книг. Он не успокоится, пока не напишет всем до единого Леви, которые числятся в справочнике».

— Один сын уехал в Америку, один не признает своего отца. Человеку нужно, чтобы у него была семья, — ответил отец на мои расспросы. — Разве с такими родственниками можно жить? — показал он на Шимона. — Посмотри на это. Куда делся весь ум его отца, светлой памяти? Где мудрость царя Соломона, наполнявшая Лиягу, который смотрел на все звезды, и считал любые числа, и говорил на всех языках? Все, все ушло. Золото тонет, дерьмо всплывает. Ушел каймак<sup>[63]</sup>, остался тукмак<sup>[64]</sup>.

Я смотрю на Шимона и вижу кованую плоть и литую боль. Гефест, склонившийся над наковальней собственного тела.

— Нет, это не ребенок Лиягу, светлая ему память, — продолжает причитать отец. — Этого, когда он был сосунком, отдали грузинской кормилице, и ее молоко сделало его тупицей.

И в подтверждение мудрости Лиягу он цитирует стихи, которые его любимый шурин написал в шестилетнем возрасте:

Аистиха с влажными крыльями,  
Со спиной, как белоснежная манна,  
Там, на высоком и дальнем пути,  
Пересекает голубизну океана.

— Пусть болтает, сколько влезет! — кипятился Яков. — Старый бездельник! На Шимона я могу положиться. И на себя. И все.

На мать Шимона, свою сестру Дудуч, отец тоже смотрит косо. Не

знаю, то ли он до сих пор злится на нее за дружбу с нашей матерью, то ли винит в смерти мужа, то ли просто принадлежит к тому сорту мужчин, которые не могут простить женщине, что она была изнасилована. Он непрерывно изводит ее попреками и тем не менее то и дело обращается к ней с просьбой приготовить ему незабвенный салат их детства — ту смесь томатного сока, кусочков зеленого лука и оливкового масла, куда орнирос, ученики пекарей, бывало, макали свой хлеб, который ели затем с черными маслинами, запивая финиковым араком.

В те дни Дудуч отлучила Шимона от груди, страшась его режущихся зубов. Кормление даже больше, чем любовь, нуждается в полном доверии, и я хорошо помню, как несчастный ребенок подползал к своей матери, округлял губы и складывал язык трубочкой, надеясь прильнуть к ее соску, и как его отталкивали прочь. Но грудь моей тетки не оскудевала молоком. Стеная от распирающей ее боли и тоски, она начала высматривать нового сосунка для кормления. Она следила за беременными женщинами, заглядывала в дома, из которых слышался плач младенца, взбиралась на заборы, за которыми на веревках висели постиранные пеленки, а один раз отца даже вызвали срочно в больницу в соседнем городе, потому что его сестра прокралась в комнату для новорожденных и была поймана уже после того, как успела покормить четверых из них.

Он вернулся с ней оттуда, опозоренный и раздраженный.

— Кипазелик<sup>[65]</sup>! — вопил он. — Какой еще стыд ты навлечешь на мою голову?

Избыток молока вызывал у Дудуч такие приступы боли, что Ицхак Бринкер предложил посоветоваться с его братом, профессором Людвигом Эфраимом Бринкером, знаменитым женским врачом из Иерусалима. Профессор приезжал в деревню каждое лето. Высоколобый и высокорослый человек, имя и титул которого все произносили уважительным шепотом — все, кроме его брата-земледельца, который называл его «Фрицци», боролся с ним во дворе и натирал ему лицо пылью, хохоча так, как хохочут выходцы из Германии, йеке<sup>[66]</sup>, когда швыряют своих братьев-профессоров на землю.

Вместе с профессором Людвигом Эфраимом Бринкером приезжали два его сына-близнеца. Они часто заглядывали в пекарню — белозубые, с гладкими пшеничными чубами, в отутюженных шортах цвета хаки и в полуботинках с дырочками для вентиляции.

Бринкер рассказал брату о моей исключительной памяти, и тот проэкзаменовал меня с помощью буквоедских филологических загадок в

стиле гейдельбергского медицинского факультета.

— Я болезнь, а во мне библейский персонаж! — выкрикнул он. — Кто я?!

— Паранойя, — сказал я и заслужил точно отмеренное одобрителное поглаживание по лбу.

— Я материк, а во мне королева! Кто я?

— А-мери-ка, — ответил я и получил подарок: гигантский металлический шприц.

Я сумел ответить ему, где расположены медные рудники Швеции, в каком году комета Галлея появилась над Иерусалимом и как звали римского солдата, который сунул свою руку в огонь на глазах этрусского полководца. «Во мраке ночи, без копья и лука...» — произнес профессор и, когда я продолжил эти стихи, одарил меня похлопыванием по плечу и старым стетоскопом.

Ихиель шепотом расспрашивал его о Черниховском, потому что профессор Бринкер и великий поэт были сокурсниками в Гейдельберге. «Да, конечно, — услышал я его смешок, — очень часто, как перчатки». Ихиель все хотел дознаться, кто такая «Мириам» и чем согрешил перед ней поэт, но профессор Бринкер этого не знал. «Уж если он опубликовал написанные о ней стихи, да еще и посвятил их ей, это, видимо, и впрямь какой-то большой секрет», — изрек он свой диагноз, весьма поразивший Ихиеля, которому никогда не приходил в голову такой способ маскировки действительности.

Профессор Бринкер был также пылким френологом, знатоком писаний Ломброзо и Кречмера, и точно так же, как — ну, как кто? — попросил и получил разрешение измерить череп матери с помощью рулетки и штангенциркуля, извлеченных им из специального кожаного футляра.

— Замечательная голова, — сказал он с восхищением. — Череп прилегает к мозгу, как перчатка к руке.

Он объяснил ей разницу между удлинненным и широким лицом: «Франциск Ассизский в противоположность Мартину Лютеру, Дон-Кихот и Санчо Панса, царь Давид и Навал Кармельский, Данте и Гете». Мать, которая понятия не имела обо всех этих знаменитостях и не разбиралась в этикете академического мира и тонкостях немецких уменьшительных имен, назвала его «профессором Фрицци», сопроводив это смущенным и почтительным полупоклоном. Мертвая Хая всхрапнула, как храпят покойники перед тем, как перевернуться я гробу, отец побледнел от стыда, а профессор Эфраим Бринкер покраснел от удовольствия.

В обмен на измерение ее головы мать попросила его избавить Дудуч от

боли. Но к тому времени наша тетка уже настолько пропиталась ревностью покойного мужа, что не позволила ему осмотреть себя даже с завязанными глазами. Он выписал ей таблетки, чтобы остановить молоко, которые ей несколько не помогли, а вернувшись в Иерусалим, прислал оттуда громоздкий насос из стекла и резины, который не выжал из ее соска ни единой капли.

Она бродила по дому, согнувшись и охая, и однажды произошел эпизод, в который я и сегодня затрудняюсь поверить. Мать заперлась с ней в комнате и, повинувшись той, вызывающей неловкость, женской солидарности, которая недоступна мужскому пониманию, попыталась сама высосать у нее молоко, но безуспешно. Дудуч нуждалась в языке и деснах ребенка. И вот, сидя за семейным столом, она вдруг обнажила грудь странным и трогательным жестом, в котором были одновременно и великодушные, и безмолвная мольба.

Набухшая, одинокая и смущенная, пугающая своим сиротством и великолепием, эта левая грудь моей тетки вторгается сейчас в мою память и освещает комнату изяществом, свежестью и тоской по своей отсеченной близняшке. Время сделало моего отца стариком. Моего брата — мужчиной. Мою мать — мертвой. Меня... чем оно сделало меня? Только грудь Дудуч осталась такой, как была, сохраненная в янтаре ее юности. «Как фотография второй груди», — объясняла мне Роми.

— Бар-минан! — Отец торопливо опустил глаза, и его подбородок затрясся от гнева. — Боже праведный! Что ты делаешь?! Тут большие дети!

Мы с Яковом, уже прошедшие к тому времени бар-мицву и начавшие отрачивать первые признаки усов, уставились на этот шелковистый холм округлившимися глазами и с пересохшим небом. Яков не удержался, протянул руку и потрогал его кончиками пальцев. Отец ударил его по руке и закричал:

— Сгинь уже отсюда, шлюха, путана!

— Оставь Дудуч, бандит! — Мать встала рядом со стулом Дудуч. — Ты ничего не понял? Она не хочет мужчину, она хочет ребенка.

Ее большая рука вспорхнула над волосами, потерявшими свой иссиня-черный сарояновский блеск, проследовала по линиям вечного изумления, прорезанным в лице, на мгновение накрыла, как сводом, пустую глазницу, потом погладила шею, спустилась к бутону соска, который выглядел, как нарисованный фиолетовой кистью, и прикрыла наготу невестки полрой платья.

Тия Дудуч задрожала, положила голову на бедро матери, и темное влажное пятно расплылось на ткани ее платья.

— Ибрагим, что ты делаешь, Ибрагим? — простонала она.

Отец содрогнулся от ярости, выбежал из комнаты, и Яков сказал: «Ну, теперь он наверняка будет орать в свою печь», — но он тут же вернулся, повязав голову белым платком, смоченным в араке, дабы продемонстрировать всем, что его постигла долор де кабеса<sup>[67]</sup> — его нервы больше не выдерживают, пусть все немедленно убираются с глаз долой и оставят его в покое.

Не одна только Дудуч позорила его. Никто из нас не казался ему достаточно хорош. Мать была ненавистна из-за своего поведения, происхождения и вида; Яков был «сыном упрямым и непокорным»; я хоть и был спокоен и вежлив, но уже тогда ушел в свои смутные миры, и отец первым понял, что от меня не снизойдет на него спасение.

Шимон тоже был неистощимым источником щелчков по его самолюбию. Правда, в тот год он уже перешел в третий класс и удивлял всех своим прилежанием, но одновременно его страсть все кусать сменилась столь же страстной любовью к сладкому. У Мертвой Хаи были сепаратор и ручная маслобойка фирмы «Хоскварна», и иногда Бринкер украдкой приносил матери немного масла и сметаны, и она взбивала нам лакомство из какао, сметаны и сахара. Страсть и слюна тотчас вскипали в Шимоне, который слышал шум взбивалки с любого расстояния и в любом углу и, прокравшись в кухню своей кривоногой, как у гиен, походкой, тотчас впивался в мать умоляющим взглядом.

Она наклонялась, показывала ему его порцию и говорила: «Не кусайся!»

Мы смеялись, а Шимон, побледнев от страсти, уносил свою добычу в укромный угол и лишь спустя долгое время после того, как мы съедали наши порции, выползал оттуда и возвращал матери вылизанные дочиста мисочку и ложку.

Мать любила и жалела Шимона, потому что хорошо понимала его муку. Не его боль, а то подавленное звериное начало, которое гнездилось в нем так же, как оно гнездилось в ней. Время от времени ей удавалось сэкономить немного мелочи, и тогда она покупала ему шоколадку у английских солдат, приходивших за хлебом для своей базы. Полученную шоколадку Шимон тут же совал в рот, но вопреки огромному соблазну получить быстрое и сильное удовлетворение — соблазну, который одинаково трудно превозмочь и детям, и мужчинам, — не жевал и даже не сосал ее, а просто смыкал глаза и губы и давал ей растаять в тепле своего рта. В эти минуты он был молчалив, как камень, сосредоточен на своих ощущениях, как факир, и все его тело оставалось свернутым вокруг

комочка наслаждения между языком и нёбом. Я так и видел, как сладость медленно растворяется у него во рту, проникает в скорбь его тканей, утешает его плоть и пускает в нем ростки надежды.

— Шоколад прогоняет черные точки, — сказал он однажды Якову.

— Дай, дай ему кучу шоколата, — говорил отец, — пусть у него сгниют все зубы, у этой дикой собаки, у этого перро<sup>[68]</sup>, — может, тогда он перестанет кусаться.

## ГЛАВА 31

Однажды утром, выйдя к повозке, я обнаружил, что осел уже запряжен, а брат сидит на переднем сиденье.

— Я поеду с тобой развозить хлеб, — объявил он и по дороге предложил заехать в новый дом.

— Брось, — сказал я ему, — не думаю, что они вообще едят хлеб, и к тому же они не деревенские.

— Все едят хлеб, — сказал Яков. — Даже эти. — И повернул к новому дому возмущенного осла, добросовестного и надежного трудягу, но заклятого ненавистника перемен. Приближаясь, мы увидели «форд», который спускался по склону холма. Высокий мужчина промчался мимо нас в быстром облаке пыли, испугал осла и исчез. Лишь по прошествии времени я понял, что был свидетелем бегства мужчины из своего дома и от своей семьи, к которым он больше никогда не вернется.

Мы пересекли поле, взобрались на холм и въехали через открытые ворота во двор дома. Небольшие кучи строительных материалов еще лежали пятнами на ржаном суглинке, и известковая пыль белела на листиках саженцев и цветов.

— Хлеб! Хлеб! — закричал Яков, звеня большим медным колокольчиком, которым мы извещали о нашем прибытии.

Дом молчал.

— Хлеб! Хлеб! — продолжал звонить Яков.

Из окна выглянула женщина.

— Зайди, мальчик, принеси две буханки, — позвала она плачущим, сдавленным голосом.

Яков выбрал две буханки и вошел в дом. Пару мину; спустя он вернулся со сверкающими глазами.

— Почему она плакала? — спросил я.

— Я видел новую девочку! — выкрикнул Яков.

В тот вечер он долго разговаривал с отцом, но тот, смеясь, сказал ему:

— Вы еще дети, Яков, сделай ей лучше пашарикос<sup>[69]</sup>... — И показал, как вылепить маленькие булочки в виде птичек и вставить им совиные глаза из изюминок и хохолок удода из луковой шелухи.

На следующее утро Яков потребовал, чтобы мы первым делом заехали в новый дом.

Он с большой торжественностью позвонил в медный колокольчик, и

Цвия Левитова — так звали мать Леи — позвала нас подняться.

— Идем со мной, — сказал Яков, — и надень очки: я хочу, чтобы ты ее разглядел.

Лея сидела за завтраком. Она еще не заплела косу, и восхитительное изобилие ее волос повергло меня в оцепенение.

— Это для тебя, — смело сказал Яков, подошел к столу и положил перед ней своих птичек.

Лея не ответила. Укрылась за великолепием своих распущенных волос и не сказала ни слова.

— Что это? — удивилась Цвия.

— Это подарок.

— Подарок от кого?

— Подарок от меня, — сказал Яков. — Для нее.

— А ты? Ты тоже что-то принес? — повернулась Цвия ко мне. Она выглядела такой печальной, что я отшатнулся:

— Что?.. Нет... Нет... Я просто его брат. — И, чувствуя, что фраза не может кончиться сама по себе, добавил: — Мы близнецы.

— Вы не похожи на близнецов, — заметила Цвия. И, обращаясь к Лее, сказала: — Скажи спасибо, Лалка.

Лея глянула на булочки Якова, слабо улыбнулась и сказала спасибо.

«Лалка, Лалка, Лалка, Лалка, — твердил Яков, когда мы возвращались к повозке. — Лалка, Лалка, Лалка, Лалка». Его челюсти ходили ходуном, «Лалки» так и летали во рту, лицо светилось от тающего внутри блаженства.

## ГЛАВА 32

В ту неделю Ицхак Бринкер взрыхлял землю у себя на винограднике, и в один из дней лемехи его культиватора наткнулись на что-то твердое, неподвижное и тяжелое. Потрясенный мул застыл, будто его остановила рука судьбы или великана. Бринкер распряг его, прошелся вокруг мотыгой и извлек на свет резную мраморную капитель. Воодушивившись, он стал копать дальше и к вечеру обнаружил еще несколько расколотых капителей, обломки колонн и отдельные плитки пола. Волнение овладело им, не дающее покоя возбуждение человека, который еще не нашел желаемое и не понимает, что ищет. Он продолжал копать всю ночь, при свете двух керосиновых ламп и желтой луны, продолжал и когда рассвело, а к полудню вскрыл маленькую эллинистическую мозаику и тогда понял, почему не прекращал свои раскопки. На мозаике цвели нарциссы и маки, на краю сплетали шеи выцветшие гусь и гусыня, а в центре смутно проступало изображение молодой красивой женщины, глаза и бледные каменные соски которой поворачивались следом за смотрящим, куда бы он ни шел. Бринкера бросило на колени, и он не мог оторвать глаз. Потом он прикрыл наготу мозаики слоем земли и бегом помчался в библиотеку рассказать о находке Ихииелю Абрамсону.

Между Ихииелем и Бринкером царила взаимная напряженность. Бринкер был старше, умнее и образованнее, и Ихииель справедливо подозревал, что это Ицхак высмеял когда-то его перевод из Шекспира. Но Ихииель властвовал в библиотеке, а Бринкер не мог обойтись без книг, и это уравновешивало силы.

Мы как раз сидели тогда с Ихииелем в его кабинете. То был один из наших излюбленных часов, посвященных изучению английского языка, цитированию начальных строк различных книг и сравнению африканских рек по их годовому водному расходу. Мы пили кофе с молоком и американскими коржиками из шоколадных крошек, и Ихииель, процитировав из Эмерсона: «Не хлебом единым жив человек, но также крылатыми словами», пытался окольными путями проверить, уловил ли я двойную иронию этого высказывания.

Потом он долго выпытывал у меня, кто эти новые люди, поселившиеся на холме. «Я надеюсь, для их же добра, что они не имеют отношения к Еврейскому университету», — произнес он строго.

Под конец он показал мне «последние слова», существующие в

нескольких вариантах, и пожаловался, что никак не может выбрать между двумя версиями обращения Архимеда к схватившему его римскому солдату: «Отойди, ты заслоняешь мне солнце» и «Подожди, пока я решу это уравнение». Мне нравились в нем эти колебания, и я знал, что в конце концов он включит в свою коллекцию все версии скопом, потому что, как всякий коллекционер, он куда больше впечатлялся количеством и куда меньше — качеством. В его сокровищнице уже были две версии последних слов императора Веспасиана, выглядевшие, кстати, совершенно одинаково достоверными в силу их совершенно одинакового солдафонского тупоумия.

Но особенно мучили его три предположения относительно последних слов Рабле, которые он то и дело проверял на слух:

«Я отправляюсь по следам великого "может быть"». Торжественно подняв руку.

«Я смазываю сапоги для последнего путешествия». Шепотом.

«Опустите занавес, комедия окончена». Схватив себя за горло и падая на землю.

На мой слух, все три звучали фальшиво, а первая к тому же и глуповато, но Ихиель берег их с такой же дрожью и любовью, с какой старые оптометристы берегут первую пару обуви своих детей.

Бринкер, весь в поту и в пыли, ворвался в библиотеку и сообщил нам о своей мозаике. Умиравший Рабле вскочил с пола, натянул неизменный твидовый пиджак, перебросил через плечо фотоаппарат «Бокс» и позвал меня отправиться с ними.

Помню выражение лица Бринкера, когда он, приложив палец к губам, чтобы мы замолчали, опустился на колени между виноградными кустами и расшвырял руками комья земли, покрывавшие погребенную под ними женщину. Первым открылось плечо, за ним щека и шея, и меня тотчас швырнула на четвереньки мучительная боль, сдавившая мне внутренности и залившая глазницы. Незнакомое прежде желание нахлынуло на меня — мне вдруг захотелось лучше видеть. Это желание с тех пор возвращалось ко мне с такой остротой только четыре раза, о двух из которых я тебе еще расскажу.

Широкая рука Бринкера оголила второе плечо, по гладила шею, соскользнула на грудь и поднялась к лицу. Кисея красноватой пыли скрывала облик молодой гречанки. Бринкер набрал воздух, сильно дунул, и ее лицо выплыло из забвения. Чистым и прелестным было оно, и его холодная красота озарила виноградник.

Библиотекарь не на шутку испугался. Он начал ходить вокруг нее паразитально точными кругами, как будто привязанный нитью к ее взгляду,

все время бормоча: «Unbelievable, unbelievable», потому что девушка и за ним неотступно следила своими сосками и глазами. Бринкер обратил мое внимание на эту странность, и я пришел в неистовое восхищение. Лишь много позже, благодаря моей «Венере Урбинской», я разгадал секрет этого неотрывно следящего взгляда. Я обнаружил, что при всем своем обаянии и сексуальности эта Венера, с ее рыжими волосами, девичьими сосками и сильными руками, — она слегка косоглаза. И не спорь со мной, пожалуйста. Не думаю, что есть в мире мужчина, который провел бы перед ее изображением больше времени, чем я, — кроме, разве что, самого Тициана. Ихиель подошел к крану, набрал ведро воды и плеснул на мозаику. Девушка ожила. Все вернулось разом: коже — ее цвет, телу — его тепло, глазам — их блеск, грудям — их упругость. В нарциссах зажглась желтизна, в шее гуся расцвели все переливы любовной игры, и двое мужчин вздохнули. Лишь много лет спустя моя собственная плоть растолковала мне, что это был вздох мужчин, чья навеки уснувшая возлюбленная ожила у них на глазах. Затем Ихиель сфотографировал мозаику под всеми возможными углами и посоветовал Бринкеру снова укрыть ее землей и никому о ней не рассказывать.

Но уже через три дня в поселке появился небольшой грузовичок, до отказа набитый кирками, ситами и возбужденными исследователями из Еврейского университета в Иерусалиме. В Ихиеле тотчас воспламенился гнев оскорбленного предательством библиотекаря, и он объявил, что не намерен присоединяться. Бринкер привел гостей к красному флажку, которым отметил могилу девушки, и они торопливо начали копать, но увы — не нашли ничего, кроме обломков колонн и капителей. Мозаика исчезла. В растерянности они бросились в библиотеку и потребовали у Ихиеля показать сделанные им фотографии. Ихиель в своем высокомерном презрении даже не потрудился открыть им дверь. Разъяренные археологи вернулись к Бринкеру, шумно обвиняя его в том, что он подшутил над ними, и тогда Бринкер, обидевшись, выгнал их из виноградника.

Исчезновение девушки вызвало у Бринкера приступ головной боли и печаль того рода, «которую рассказчики историй называют раненой любовью». Его подозрения омрачили атмосферу в поселке и взбурлили море догадок. Некоторые утверждали, что мозаику украл Ихиель, пылавший желанием свести счеты с Еврейским университетом; другие тыкали обвинительным пальцем в мужа Джамилы из соседней арабской деревни, которого уже задерживали однажды за кражу древностей; а третьи во всем винули господина Кокосина из кооператива или припоминали детей, которые играли какими-то разноцветными камешками. Сам Бринкер

подозревал свою жену, поскольку она была так ревнива, что не доверяла даже нарисованным женщинам. Но недели шли, толки и пересуды оседали, и гнев Бринкера тоже постепенно угас. В конце концов воспоминания о странной мозаике стерлись из памяти людей, но иногда, приходя в библиотеку, я обнаруживал Ихиеля, склонившегося над сделанными им тогда фотографиями, и тихо удалялся, понимая, что сейчас не время ему мешать.

— Как это получилось, что из всех местных ты сошелся именно с теми двумя, которые влюбились в нашу мать? — спросил меня вчера Яков, когда мы увидели Бринкера на улице. Старик опирался на забор детского сада, вслушивался в щебет малышей и не узнал меня. — Я еще могу понять, что они нашли в тебе. Ты для них был как ключ, и повод, и прикрытие. Но ты-то что в них нашел — этого я просто не могу понять.

## ГЛАВА 33

По ночам в пекарню приходили люди. В основном это были те, кто охранял ночью поля, опрыскивал виноградники или просто проголодался, возвращаясь с ночной смены. Но находились среди них и такие, которых я про себя называл «приговоренные»: запах хлеба коснулся их ноздрей, петлей охватил шеи и приволок к нам.

Один за другим возникали они из тьмы. В особенно холодные или особенно душные ночи двор пекарни казался мне каким-то затерянным в захолустье полевым Назаретом для людей, пораженных тоской. Каждый со своим увечьем, каждый со своей скорбью, каждый со своей болью, они сидели, сторбившись, во дворе и жевали свой ломоть хлеба. Большинство из них были нам незнакомы — мы не знали ни их имен, ни мест обитания. Тут были люди, страдавшие жестокой бессонницей, потому что книги их воспоминаний не давали им уснуть. Были влюбленные, боль которых Гипнос, напротив, еще удваивал жестокими зеркалами сновидений. Были уроды, выходявшие из своих домов лишь под прикрытием темноты; искатели утешений; безумцы, жаждавшие сжечь свои крылья в милосердном пламени печи.

Все они ели с величайшей сосредоточенностью. Те из них, кто уже не раз бывал здесь и у кого это стало навязчивой привычкой, прихватывали с собой что-нибудь поострее, чтобы приправить свой кусок, — сыр, кислый огурец, селедку. Иные приносили даже термос с кофе и книгу. Некоторые входили внутрь и просили разрешения обмакнуть свой ломоть в старую, принадлежавшую еще дедушке Михаэлю тарелку с солью или заглядывали через окошко посмотреть, как мы работаем. Точные и размеренные движения отца, жар печи, железные законы брожения и набухания — все это успокаивало их души.

Мать, практичная и увлекающаяся, уже лелеяла планы пристроить к пекарне дополнительное помещение, поставить в нем столы и стулья и продавать там масло и сыр, маслины и чай. Но отец терпеть не мог этих ночных гостей. Он утверждал, что всякий раз, когда они хлопают дверью, входя и выходя из пекарни, его тесто садится от этих ударов.

— Нечего устраивать здесь кафе итальянки<sup>[70]</sup>, — заявил он и велел Шимону «выбросить этих индехиниадос<sup>[71]</sup>, этих бездельников, со двора». Шимон, который по опыту собственного тела знал успокаивающее действие хлеба, смутился, бросил вопросительный взгляд на Якова и не

двинулся с места.

— Они приходили посмотреть на мать, — говорит Яков. Даже сегодня он не перестает утверждать, что моя близорукость была куда больше, чем все тогда думали. — И Бринкер был в нее влюблен, и этот его брат-профессор был в нее влюблен, и твой Ихиель не спускал с нее глаз, и все те бедняги, что жевали хлеб и при этом думали о ней.

— Глупости ты мелешь, — сказал я ему, удивляясь той темной ярости, которую вызвали во мне его слова. Я, конечно, помнил, что Ихиель тоже приходил. Он был холостяк, и временами ночь донимала его уколами одиночества, оцепенения и отчаяния. Я знал, что иногда он ездит в город, потому что на следующий день Мертвая Хая, встретив его у входа в кооператив, во всеуслышание спрашивала: «Ну, что, интеллигент, опять ездил в город исполнить заповедь?» Но Ихиель, как правило, приходил в пекарню только для того, чтобы поесть свежего хлеба, и, пока жевал, всегда глядел на фотографию каменной девушки.

— Я-то думал, что ты в этих делах понимаешь больше моего, — насмехается надо мной Яков. — Со всеми твоими тамошними женщинами. — Он всегда удивлялся, какое множество любовей было у меня и у Биньямина. Но меня он высмеивает, а сыном хвастается. «Ты бы видел, сколько девушек пришло на его похороны», — вспоминает он с гордостью снова и снова.

С тех пор как он впервые увидел Лею, он стал присоединяться ко мне каждое утро. Теперь он отправлялся на развозку хлеба в белой рубашке и клал в карман маленькую расческу. Его волосы — жесткие и курчавые в те времена, мягкие и редкие сегодня — причиняли ему вечные огорчения. Шену Апари дала ему старый деревянный гребень, и стоило нам выехать со двора, как он начинал энергично распрямлять свои стальные пружины, чтобы придать им приличную форму. Время от времени он погружался в длительные раздумья, и тогда им его лицо появлялась внезапная улыбка, потому что он непрестанно прокручивал в уме все новые любовные планы и предвкушения. Каждое утро он направлял патриаршую повозку ко двору дома Левитовых, настойчиво звонил в колокольчик, выбирал хорошую буханку хлеба для Цвии, брал пашарикос, которые пек ночью для Леи, и стучал в дверь, ожидая приглашения войти.

«Лалка, Лалка, Лалка», — слышал я, как он насыщает себя этим самым древним заклинанием всех мужчин — именем своей возлюбленной.

— Смотри, — сказал мне Яков, указывая на то, что видел только он один. — Это ее следы на песке. Посмотри, какие они красивые. — И, сняв правый сандалий, он вставил свою босую ногу в отпечаток ноги Леи и

прикрыл глаза. — Это, как потрогать. — Он снял и второй сандалий и пошел по ее следам до самого того места, где они вступили на траву и исчезли.

Как сильна любовь мальчишки — жарче и отчаянней всякой другой любви. Уже по тому, как он спускался по лестнице, выходя из дома Левитовых, я знал, удалось ему повидать ее или нет. Я надеялся, что он не заметит принесенных им вчера хлебных птичек, которые валялись в саду среди цветов. Солнце давно уже высушило их мякоть, муравьи прорыли в них свои ходы и сойки выклевали им глаза. Однако Яков не задерживался возле них и не упоминал о них ни словом, а сегодня утверждает даже, будто ничего подобного никогда не бывало, но я и сегодня не могу забыть этих мертвых птичек на цветочных клумбах. Десять с лишним лет спустя, начиная свою первую книгу о хлебе, я придумал в ней «древний иерусалимский обычай» задабривать возлюбленных такой сдобой. Я назвал эту книгу «The Bread of Jerusalem» и всю ее, с начала до конца, написал, опираясь на воспоминания и реконструкции, подкрепленные воображением и фантазией, и вышивая среди ее хлебных рецептов узоры своих подтвержденных документами измышлений и абсолютно доподлинных небылиц, которые очень полюбились читателям. Кто лучше тебя знает, что факты куда легче изобрести, чем обнаружить, и я так поднаторел в этом ремесле, что сегодня уже не знаю, какие из фактов, упомянутых в моих книгах, на самом деле достоверны. Иногда я опускаю или приберегаю некоторые детали, как, например, в эту минуту, но самой большой ложью я заполняю как раз тот дневник, что веду для самого себя. Помнишь, что сказала Сесили мисс Призм? «Память — это дневник, который всегда с нами». А Сесили ответила: «Но записано в нем то, что никогда не происходило». Не понимаю, почему Оскар Уайльд наделил этакую дуреху таким остроумием, но, как бы то ни было, интимные дневники имеют манеру появляться в весьма неудобное для своих хозяев время, уже после их смерти, и я не могу рассчитывать, что Яков переживет меня настолько, чтобы вовремя уничтожить мои дневники. Я — не Гете, и брат мой — не Макс.

Некая американка, чьи широкие белые плечи я хорошо запомнил, сказала мне в ту единственную ночь, которую провела со мной, что обманщик нуждается в превосходной памяти. «Еще лучше, чем у тебя», — сказала она и засмеялась перед тем, как встать и уйти. «Гадюка в корзине с инжиром», — назвала она меня. Горьким и отчужденным был ее смех, слишком обличающим, чтобы напрягаться сейчас и припоминать, что было тому причиной, но я могу и сам подтвердить, что память у меня

превосходная. Я уже рассказывал тебе, что в детстве всегда выигрывал школьные викторины и в Соединенных Штатах тоже однажды соблазнился и с большим успехом принял участие в конкурсе цитат и общих знаний. Просто я провожу различие между памятью и памятьливостью, между запоминанием и вспоминанием, и всякий раз, когда мне приходится за чем-либо обращаться к своим архивам, их содержание меняется. Это качество, которое я из вежливости называю «творческим вспоминанием», я унаследовал от отца: он был и остался искусным — но не злонамеренным — лжецом. «Книга господина Марка Твена довольно-таки правдива, хотя там и сям в ней содержатся некоторые придумки», — свидетельствовал Гекльберри Финн о своем родителе. О своем отце я могу засвидетельствовать, что, если бы Агафон знал его, он сказал бы, подправив свою знаменитую фразу: «Даже Господь Бог не способен изменить прошлое — но пекарю Аврааму Леви это под силу». Поэтому Яков совершенно не может выносить отцовские выдумки и сравнения, тогда как я, напротив, никогда не стремлюсь проверять их на правдивость, лишь бы они меня развлекали.

Мучимый тоской, писал я эту книгу, того рода тоской, которую, как натертую мозоль, ничто не в силах выжечь из души, — тоской по оставленному дому, по матери, страшное проклятие которой тяготеет надо мной и поныне, спустя тридцать с лишним лет после того, как оно было произнесено, по брату, по расплывчатым пейзажам моей юности, по жене брата моего, за любовь которой я не боролся, как надлежало, — даже по крысам в пекарне, и по тем я скучал. Мучимый угрызениями совести — из-за своего отъезда, формы его и мотивов. И мучимый гневом — из-за вырванной паутинки молодых корешков, которые еще свисали с подошв моих ног и донимали меня фантомными болями в тех местах, что были ампутированы даже из моей памяти.

Печаль переполняла меня во время писания. «А иногда подступает еще волна незваных слез, и набрасывает удавку на горло, и замышляет повиснуть на ресницах». Я то и дело отрывал взгляд от письменного стола и переводил его на портреты моих женщин, висевшие на стене. К тому времени я уже выбросил украденные у Ихиеля листы, которые вырвал из его альбомов накануне отъезда, и купил себе великолепные репродукции «Одалиски в серых шальварах» и «Венеры Урбинской». По правде говоря, я куда больше люблю «Жену короля» и «Леду и лебедя» Гогена, но, подобно гусенку, который ходит за первым, кого увидел, когда прорвал скорлупу своего яйца, так и я всегда хочу быть с женщиной, которую увидел в тот миг, когда прорвалась девственная плева моих глаз.

«Твои книги — подлая болтовня, — писал мне Яков. — У меня нет времени и знания английского, чтобы их дочитать».

Я не обиделся. Моя хлебная книга имела большой успех. В газетах писали об «эротической тайне хлебной буханки» и «ароматном очаровании истории хлебопечения», о хлебе, «сопровождающем род человеческий с начала цивилизации и каждого человека с его рождения до смерти», и об авторе, этом «потомке династии иерусалимских пекарей», который «на наших глазах месит чудную средиземноморскую смесь мифологии, гастрономии и истории».

Я еще расскажу тебе об этом, потом, чуть позже, о моем хлебе, об этом «bitter bread of banishment», горьком хлебе изгнания. Потом, чуть позже, когда стихнет эта боль, что гложет и томит мое сердце.

## ГЛАВА 34

— Она такая к'аси'ая, — сказал Яков. Он увлеченно сосал кусочек льда, зажатый между зубами, и этот лед замораживал его «р» и «в». Только что по улице прошел продавец льда со своей накрытой мешками тележкой, и мать послала нас вдогонку, купить половину блока для кухонного шкафчика со льдом. Продавец, во рту которого недоставало большинства зубов, ухмыльнулся своей жуткой улыбкой, но позволил нам взять себе осколки, которые стеклянными брызгами разлетались по сторонам, пока он выламывал блок своим ломиком. Все дети обожали ледяного человека, и все родители запрещали им иметь с ним дело, потому что у него была привычка споласкивать руки у каждого встречного крана. Когда мы были маленькими, Ноах Бринкер рассказал нам, что продавец льда убил своим ломиком жену и детей и кровь их по сей день осталась на его коже, а когда увидел, как мы испугались, добавил еще, что в дни рождения жертв из-под ногтей их убийцы капает кровь.

Сам того не зная, Яков точно воспроизвел старинный диагноз, согласно которому красота, во всех своих видах и степенях, как раз и есть «то, что вызывает любовь». Но мы были молоды тогда и еще не понимали разницы между красотой, свойством одного лишь тела, и обаянием, свойством тела и души. Годы спустя, читая Джорджо Вазари, я с удивлением увидел, что все его меткие рассуждения на сей счет я уже слышал от отца в дни нашего детства. Отец приглядывался к Лее, симпатизировал ей и любил называть ее иджика кон хен, обаятельная девочка. Через несколько лет, пытаясь побудить меня помериться силами с Яковом и завоевать ее, он сказал: «Обаяние, углом<sup>[72]</sup>, — это как любовь и это как боль. Это тебе не красота, и не вес, и не рост, и не ум, которые можно измерить сантиметром».

Лея тоже занималась всякого рода коллекционированием. Я, право, сам не понимаю, как получилось, что в моей жизни собралось столько коллекционеров. Отец с его родственниками, Дудуч с ее сосунками, Ихиель с книгами своего отца. Иногда мне кажется, что Роми тоже коллекционер. Она распинаят портреты своих жертв на частицах серебра и света и выставляет их в клетках застекленных рамок, подобно своей матери, Лее, в те далекие дни. Лея коллекционировала засушенные цветы и марки, салфетки и кукол, а также открытки, которые ее отец посылал ей со всех концов света. В отличие от Ихиеля Абрамсона, который прятал свое

собрание «последних слов» от чужих глаз, она любила приглашать подруг и показывать им свои коллекции и умела делать это так, что ни одна из них не чувствовала зависти — даже при виде фотографии артиста Джона Гильберта, пришедшей из-за границы с его собственноручной подписью, сверкающей на полях.

Подруги наперебой рассказывали, что Леины коллекции рассортированы по сотням маленьких гладких ящичков из дерева и стекла и что она наслаждается многими другими преимуществами единственного ребенка богатых родителей, а не только тем, что у нее есть наказанный и изгнанный отец, из которого чувство вины истекало струей подарков. У нее, например, была своя собственная комната, на крыше, а в ней свой собственный шкаф, для одежды, а в шкафу—множество кофточек и юбок и даже несколько костюмов от «Илки», в карманы которых были вложены сухо шелестящие тряпичные мешочки с розмарином и лавандой. Сейчас, у ее постели, Яков показывает мне остатки той ее старой коллекции бабочек, с давно выцветшими крыльями, и надтреснутым голосом спрашивает: «Но ты-то помнишь, какая она была тогда? Ты-то помнишь?» Уже тогда он утверждал, что, когда она распинает своих бабочек на булавах, те вздыхают с благодарностью за то, что она сочла их достойными внимания, — и я знаю, какие мысли проносятся сейчас в твоей голове. Ты ошибаешься. Я отнюдь не коллекционер. Я ничего не собираю — ни воспоминаний, ни цитат, ни фактов. Они собираются во мне против моей воли. Точно так же, как боли отца, как страдания Якова, как фотографии Роми, как все те женщины, которых чья-то рука собрала в мою жизнь, сняв их весной по винограднике, сорвав летом по яблочку, скосив по осеннему колоску.

За окнами была на исходе весна, лето пришло раньше срока, июльский зной царил уже в начале мая. В пекарне время свершало свой неуклонный круговорот. В библиотеке Ихиель показал мне фотографию дирижабля «Гинденбург», вспыхнувшего на якоре, и прочел статью из «Нью-Йорк таймс» о комиссии Пиля — чтобы я познакомился также с «газетным английским» — а когда я спросил его, почему он не женится, засмеялся и процитировал два афоризма Роберта Луиса Стивенсона: «Супружеская жизнь — это длинная и пыльная дорога, ведущая нас напрямик к смерти» и «Самая жестокая ложь произносится молча». Один из них я понял уже тогда, а другой не понимаю и сегодня.

Я помню, что первого мая той весны мы сидели с ним в библиотеке и клеили обложки. Снаружи снова слышались барабаны демонстрации и та песня, что всегда вызывала гримасу отвращения на лице Ихиеля:

В долине, на горе,  
В ущелье, на холме  
Мы с песнею встречаем  
Наш праздник Первомая.  
Мы бьемся за свободу  
Для всех людей труда  
И в селах, и в поселках,  
И в крупных городах!  
Всем труженикам волю  
На фабрике и в поле!

— Кулаки воспевают рабочих, — с презрением сказал Ихиель.

В те считанные часы, которые я в то лето проводил вне пекарни и библиотеки, я замечал, что полевые травы пожелтели и пожухли, ручей пересох и рыбешки, застрявшие в прибрежных лужицах, умирали в их горячей воде даже раньше, чем она окончательно испарялась. Птицы, охваченные безумной тревогой, сражались за каждый капающий кран, набирали воду в клювы, брызгали ею на свои гнезда и обвевали их своими крыльями, но тщетно. Над гнездами стоял смрад, потому что птенцы запекались заживо, а непроклюнувшиеся яйца сваривались вкрутую и гнили потом. И вот тогда, в эти самые жаркие часы, можно было вдруг увидеть, как Лея появляется из своего дома, что на холме.

Дитя солнца, чья кожа не краснела и не сгорала от зноя, а лишь приобретала чудный запах фруктов и становилась коричневатой, как флорентская бронза. (Флорентская? Может быть, флорентийская? Иногда я и сам уже не помню, что цитирую.) Ее волосы сверкали. Когда она мчалась на своем велосипеде, платье то прижималось к ее золотистым ногам, то взмывало вверх, и, если смотреть под определенным углом, можно было увидеть белое мельканье бедер. Я ощущал, как напрягаются мускулы Якова и частит его сердце, но тогда еще не понимал, что это значит. Он забирался на крышу или на дерево, чтобы наблюдать за ней, а я отправлялся в библиотеку, чтобы принести ему «красивые выражения для писем».

Ихиель сидел у стола и наклеивал марки на свои письма за границу. Он завел привычку обращаться к родственникам «выдающихся покойников» с просьбой сообщить ему последние слова их дорогих усопших. Среди его адресатов в те дни были родственники Лоуренса Аравийского, Кемалю Ататюрку, писателя Скотта Фицджеральда, художника Поля Вебера, композиторов Густава Штернера и Джорджа

Гершвина. Кстати, когда было опубликовано последнее письмо Вирджинии Вулф к ее мужу Леонарду со словами: «Я не думаю, что еще какие-нибудь двое людей были так же счастливы, как мы», Ихиель послал вдовцу письмо с выражениями соболезнования и сообщил ему, что решил включить «очаровательную фразу миссис Вулф» в свою коллекцию. Но и Леонард Вулф не ответил Ихиелю на его письмо.

В отчаянии библиотекарь объявил мне, что ему, видимо, придется убить какого-нибудь знаменитого человека, чтобы собственными ушами услышать его последние слова.

— Альберт Эйнштейн, — сказал он. — Это самый лучший выбор.

Я рассказал Ихиелю о просьбе брата, и он отослал меня к Питеру Альтенбергу: «Твоя плоть подобна нежной песне поэта», «Вот, ты окунаешься в море воздуха и света» — и тому подобные приторности, которые так обрадовали Якова, что он поспешил включить их в очередное письмо, посланное им через Шимона.

Лея сидела на балконе, когда увечный подросток прошел через невспаханное поле и проковылял в ее двор, размахивая письмом.

— Убирайся отсюда и верни это тому, кто тебя послал, черная образина, — сказала она.

Шимон взял письмо в зубы, ухватился толстыми грязными руками за перила балкона и перебросил через них свое тело. Лея так испугалась, почувствовав звериную силу его пальцев на своих суставах, что взяла у него письмо. Шимон продолжал стоять возле нее, чтобы убедиться, что она его прочла, а потом сказал:

— А теперь ты напишешь ему ответ, и я снесу.

— Я только возьму перо и бумагу, подожди здесь, — любезно сказала Лея. — Можешь пока напиться им крана.

Она встала, вошла в свою комнату и заперла за собой дверь. Три года спустя, раскинувшись на своей постели, она сдвинула с плеч волну волос, попросила меня погладить ей шею кончиками пальцев и рассказала, что Шимон ждал ее тогда на балконе десять часов подряд. Только в час ночи, когда он услышал из пекарни звук разжигаемой горелки и почувствовал кисловатый запах всходящего теста, он оставил свой пост и отправился помогать отцу в его работе.

Она показала мне старые мальчишеские письма брата, и мы прочли их вместе, смеясь без всякого злорадства.

— Бедненькие вы мои, — сказала она. — Вовсе не нужно было прилагать такие усилия. Достаточно было убить голыми руками льва и принести мне его труп.

Меня миновали эти мучения. Я был погружен в свои книги, и они, вкупе с моей близорукостью, защищали меня, как Персея — его полированный щит. Свои настоящие первые шаги в любви я сделал лишь несколько лет спустя, в относительно позднем возрасте и с чрезвычайной легкостью. Мне было двадцать два года, когда я впервые оказался в постели женщины. Она была старше меня на несколько лет, похожа на меня телосложением и имела привычку, которая пленила мое сердце, — писать самой себе посвящения от имени знаменитых писателей на первых страницах их книг.

«В вороньем гнезде, между палубой и небом, искал я твою струю». — Герман.

«Опасайся Софьи Андреевны». — Лев. («Уж от него-то я ожидала чуть более оригинального посвящения», — сказала она мне с оттенком обиды.)

«Моя Черная Татарка, съешь меня ягоду за ягодой». — Уильям.

«Помнишь ли ты голубой анемон?» — Виктор.

«Моя толстушка, ау, ау, АУ, ау!» — Андре.

Были тут, как и следовало ожидать, также посвящения Хемингуэя и Вассермана, и еще одно, поразительное по длине и откровенности, написанное — нет, ты не поверишь — Мигелем де Сервантесом, который в тюремной камере не переставал, оказывается, представлять в своем воображении весьма подробные эротические сцены с ее участием и созданную там книгу написал, по его собственному утверждению, лишь для того, чтобы попытаться ее забыть.

— Первый раз это делают в темноте, — сказала она мне. — А очкиними с носа сам и запомни, куда ты их положил.

Она вела меня своими словами, вырочала своим смехом и направляла своими вздохами, и в конце концов я вошел в нее, пораженный простотой этого действия, которое в моих фантазиях выглядело таким сложным.

Но Яков — чувствительный, не понимающий юмора коренастый подросток в толстых очках на переносице, все тело которого трепетало, как беззащитное сердце, извлеченное из реберного укрытия, — был слишком молод, чтобы увидеть веселое и смеющееся лицо любви. Отчаяние и подавленность овладели им, и он нырнул в мрачные пучины своего любовного страдания с радостью и блаженством свинцовой гири. Отец сказал матери: «Твой сын стал тяжелым, как голова албанца» — и вышвырнул его вон из пекарни, потому что одного его присутствия было достаточно, чтобы убить дрожжи.

Он завел привычку взбираться на верхушку нашей шелковицы, высматривая, не прыгает ли дама его сердца в своих крылатых сандалиях

по полям, размахивая сеткой для бабочек, и тотчас мчался к ней, чтобы подносить коричневатых жучков, которые плевали на него вонючей защитной жидкостью, и обжигаться жалами нетерпеливых пчел, что по причине своего трудолюбия и стерильности были яркими ненавистниками всех влюбленных, и собирать ей отвратительных личинок, из которых Лея затем у себя дома выращивала бабочек с раздвоенными, как у ласточек, хвостами. Он даже попросил меня украсть у Бринкера заветный кусок янтаря, ибо знал, что она хотела бы присоединить его к своим коллекциям, — но я наотрез отказался.

«Одолжи и скажи, что ты потерял», — умолял он.

«Я сам украду его», — предупреждал он.

«И все скажут, что это ты», — угрожал он.

С настойчивостью и смелостью, на которые способны только влюбленные мальчишки, он пытался завязать беседу или перехватить ее взор, а потом, когда Лея прохаживалась со своими подружками, ощущал на себе их жалящие взгляды, вонзающиеся в его спину, и слышал их насмешливые и по-осиному ядовитые шепотки. Мать, узнававшая в его трудной и неуклюжей любви то, что было ей хорошо знакомо по собственной жизни, увидела однажды, как он оголил живот и распластался на земле, и сильно испугалась:

— Чего ты сделал?!

— Я прислушиваюсь к ее шагам, как делают индейцы, — сказал Яков и, когда увидел, что я смеюсь, вскочил и погнался за мною, швыряя в меня камни и комья земли.

Хуже всего было сознание, что ему не с кем посоветоваться. Я был так же молод и неопытен, как он, образование тии Дудуч в вопросах любви исчерпывалось тоской по ревности Лиягу, мать, со своими неловкими попытками вернуть любовь отца, выглядела еще более жалко, чем Яков, а сам отец считал, что его жена и сын тратят время на нестоящие пустяки, уна гранда палабра<sup>[73]</sup>.

От безвыходности Яков обратился к Шену Апари, которая слыла у нас главной специалисткой по «отношениям».

Когда Шену Апари говорила «отношения», она подразумевала общее слово для всего, происходящего «между ним и ею». Начиная с надлежащих направлений взгляда и положенных первых фраз до символики цвета посылаемых женщине роз и значения различных оттенков шепота и ласк и кончая всеми возможными разновидностями поцелуя на пути к «Его Величеству Акту». А уж когда Шену Апари добиралась до слова «Акт», то всегда произносила его с заглавной буквы, и ее голос при этом становился

хрипловатым и опускался на целую октаву.

— Прежде всего, распрями, наконец, эти свои волосы, — выговаривала она брату. — Ты что, эфиопский король? — Она посадила его на стул, смазала ему волосы жирной зеленой жидкостью и расчесала. — У нас в Париже, — продолжала она, — у мужчин волосы гладкие и мягкие, и пальцы у них, как у пианиста. — И закончила, как припечатала: — В любви самое-самое главное — знать, где поставить точку и где поставить запятую.

Кстати, пора бы уже тебе бриться каждый день, — добавила она. — А то у тебя будто грязь на лице. Ты уже не мальчик. Еще немного, и ты уже мужчина. — Она стояла перед ним, держа его пылающее лицо в своих ладонях. — Chez nous a Paris мужчины не какие-нибудь животные, — провозгласила она. — У них есть терпение. Они знают, что на пути к Акту нельзя перепрыгивать через несколько ступенек сразу.

Муж Шену («Продавец раз-в-нос», — смеялась Роми, когда я, много лет спустя, в Америке, рассказывал ей историю любви ее родителей.) обычно сидел тут же, в углу парикмахерской, и чистил свои ногти. Он курил вонючие сигареты «малуки» и иногда наигрывал восточные мелодии на старой керамической окарине. Шену Апарри развлекала клиенток сочными описаниями своих постельных обычаев. «Больше-больше всего он любит, чтобы там было *très-très velvette*, очень-очень бархатисто», — заходила она от хохота. Иногда же она тихо смеялась тем воркующим горловым смехом, которым венгерские женщины сигнализируют друг другу, что хотят поведать некий секрет: «В молодости его Малыш по утрам смотрел, как он чистит зубы, а теперь — как он чистит туфли».

Время от времени муж встряхивался, вставал со своего стула, готовил и подавал кофе ожидавшим очереди женщинам и подметал с пола обрезки волос. Он тоже был своего рода коллекционер, но самого мерзкого толка, потому что собирал эти обрезки в подвале парикмахерской, и говорили, что он сортирует их там по цвету, набивает ими подушки и продает на шхемском рынке старым арабам, которые специально для этого приходят из-за Иордана. Мать не выносила его. Иногда она передразнивала его манеру подносить чашку чая прямо к ее лицу, говорить: «Пей-пей» — и пялиться на нее при этом. Но Шену Апарри намекала всем, кто сторонился ее мужа, что под его неказистой внешностью скрывается утонченный и ненасытный любовник, сведуший и опытный во всех *manières* любви и соблазнения, принятых в Париже, и не чурающийся любой новой идеи, но главное — умеющий «смеяться во время Акта».

— У нас в Париже всегда много-много смеются во время Акта, — объясняла она, — потому что ведь, что ни говори, Акт сам по себе —

весьма смешная штука, поп?

Она никогда не говорила этого прямо, но из ее слов можно было понять, что у нее есть и любовник. Время от времени она отправлялась в Тель-Авив, «купить корсет у гверет Гольдштейн» и обновить запас «Комола» для окраски волос, и на следующий день громко зевала и напевала песенки Кристины Беннет или демонстративно обнюхивала кончики своих пальцев, чтобы намекнуть на ароматные события минувшей ночи.

Однажды она пришла к нам попросить немного дрожжей для своих омолаживающих кремов.

— Есть магазин, — сердито сказал отец. — Сходи туда и купи.

Шену Апари смерила его презрительным и долгим взглядом, обошла вокруг и придирчиво обследовала со всех сторон, после чего сказала матери:

— Теперь я понимаю, что тебе в нем мешает. — И тут же вновь повернулась к нему. — Твоя жена — formidable, — сказала она. — Chez nous a Paris она была бы королевой, а ты этого даже не понимаешь, кретин!

— Что шену апари, какой шену апари? — рявкнул отец. — Да когда ты сама была в Париже, пустема?

— Pardon, — с подчеркнутой любезностью ответила Шену и повернулась к нему спиной.

— Пардон макарон, делает вид, будто знает французский, — ворчал отец. — Эта пустема так же знает французский, как осел из Тверии.

Она то и дело вставляла в свою речь «alors», «bon-jour», «comme ci» и «merci», но отец точно нащупал ее слабое место, потому что весь запас ее французского исчерпывался этими несколькими словами, и, несмотря на то что в День Бастилии ее парикмахерская ежегодно украшалась французскими трехцветными флагами, она никогда в жизни не бывала во Франции.

— Для меня такая большая честь, что молодой влюбленный месье обратился ко мне за советом, — сказала она Якову, когда он кончил излагать свою беду. Потом долго расспрашивала его о Лее и заключила: — Она не обращает на тебя внимания? Это хороший признак. Когда она наконец обратит на тебя внимание, это будет очень-очень большое внимание.

«Самое главное — дать женщине в точности то, чего она хочет, — объяснила она. — Но еще важнее — дать ей то, чего она хочет, раньше, чем она сама поймет, чего она хочет. Только получив это впервые, она говорит: "Оооо... как это я могла жить без этого раньше?"»

Тринадцатого июля того года мать велела Якову пойти помочь Шену Апари «помыть в парикмахерской окна с дверями в честь парижского праздника». Брат уже забрался было на лестницу развесить флажки над окном, как вдруг Шену сказала ему: «Спустись на минутку, Яков, и покажи мне свои глаза».

— Красные, как rouge, — поставила она свой диагноз. — Это признак любви. Ты ведь не моргаешь, правда? Ты боишься, что именно в эту минуту она пройдет мимо тебя и ты ее пропустишь, верно? — Яков смущенно кивнул, и Шену Апари поцеловала его в щеку. — Теперь ты уже настоящий мужчина, Яков, — сказала она. — Ты дашь ей в подарок солнце.

По сей день не знаю, сказала она это в буквальном смысле слова или на языке поэтических метафор. Яков, во всяком случае, понял ее буквально.

## ГЛАВА 35

В туалете стоит отцовский застаревший дурной запах, хотя последним там побывал Яков. Меня вдруг охватила страшная слабость, будто от потери крови. Крохотные и острые стеклянные осколки впились в низ живота с такой силой, что мне пришлось обеими руками опереться на стенку, и в результате я накапал вокруг унитаза.

Когда-то я имел привычку запираяться здесь и читать. Запах отца царил вокруг меня, как декларация прав на владение. Его руки барабанили в дверь. Его рот кричал, чтобы я вышел. Ночами, когда кислый запах брожения подымался из пекарни и я знал, что тесто начало всходить и отец уже не может его оставить, я входил сюда и закрывал за собой маленький крючок. Иногда я размышлял здесь, иногда грезил. Такая маленькая отвратительная клетушка, но в ней был замок и была уединенность, а этого вполне достаточно, чтобы дать человеку возможность предаваться «четырем делам уединения», которые ты, конечно, помнишь, — «мечтам, слезам, чтению и буре страстей». Живой и свежий запах первого семени разливался в воздухе. «Тонкая струя нежного аромата, пробившая себе путь сквозь зловоние, не будучи поглощена им». На подоконнике до сих пор стоит отцовский элегантный медный кувшинчик с длинным носиком. «Папель пар эль кулу эз пор лос Ашкинасис<sup>[74]</sup>, — насмешливо отвечал он в ответ на вопрос о его назначении. — А газета — она для головы, а не для задницы». Он всегда был большой чистюля и еще помнит общий туалет в своем иерусалимском дворе, а в его пестром списке «правильных способов» есть также «правильный способ» очищать запахи. Он берет длинную ленту туалетной бумаги и поджигает ее снизу. Бумага вспыхивает, как фитиль из пакли, рассыпается кружевом пепла, и ее пламя, как говорит отец, «сжигает дурные пары». Но Яков кричит, что с этой своей привычкой он когда-нибудь сожжет весь дом. Чтобы успокоить страсти, я привез ему спрей с ароматом жасмина. Отец попробовал его один-единственный раз и опять взялся за свое, утверждая, что «эта штука, ты уж меня прости, пахнет так, будто кто-то нагадил на полях Йошуа Идельмана».

Яков смеялся, когда я напомнил ему эти жасминные поля нашей молодости. Странно, именно когда он смеется, я слышу в его голосе нотки рыдания. «Что бы я делал без твоей памяти?» — говорит он. Любящий, открытый, доверчивый и насмешливый. Как мы отличаемся друг от друга и как близки и связаны друг с другом.

— Ты прав, — сказал он мне на кладбище несколько дней назад. — Мы уже не близнецы. С того дня, как мы получили одну пару очков на двоих, мы перестали быть близнецами. Ты себе читаешь, пишешь, летаешь над нами, не хочешь знать, не хочешь вмешиваться. А я — я просто пекарь, перегоревший возле печи. Что может быть проще хлеба? Что уж я там понимаю? Поди знай теперь, кто выиграл, поди знай, кто поступил умнее.

Замкнут и отчужден брат мой Яков, но, когда его прорывает, вся скопившаяся в нем горечь выплескивается наружу.

— То, что они мне не рассказали, как он погиб, то, что я должен был сам все расследовать, проверять и докапываться, — это еще ладно. Но эта их формулировка, это «погиб при исполнении своих обязанностей» — вот что сводит меня с ума. — Мы стояли рука об руку у памятника, и обрубок его пальца горел в моей руке. — Погиб при исполнении своих обязанностей, — сказал он с горьким презрением. — Как чиновник, который поскользнулся на луже чая в конторе. Тот ведь тоже погиб при исполнении своих обязанностей, разве нет? — И потом, более низким голосом, добавил: — И не при исполнении своих обязанностей он погиб. Он погиб при исполнении их обязанностей. Из-за нескольких тупоголовых офицеров, которые не знали, как вывести солдат в поле, да еще из-за нескольких истеричных солдат, которые сначала всадили в него пули, а потом никак не могли его найти, пока он не истек кровью. А теперь они мне говорят, что это не меняет дела, потому что любой убитый «погиб при исполнении своих обязанностей». Не важно, в бою ли, на тренировках или в аварии. Да пусть они провалятся вместе со своими памятным днями! Не хочу я иметь с ними дело, не собираюсь я играть с ними в их игры. Не хочу я их сраных памятников и никому не позволю распоряжаться моей жизнью.

Ты знаешь, сколько памятных дней есть у семьи погибшего каждый год? Тут тебе и государственный день памяти, и полковой день памяти, и штабной, и взводный, и школьный, и деревенский — лишь бы мы ни одной минуты не скучали. А где мои собственные дни памяти, что с ними? День, когда он родился, день, когда он погиб, и день, когда я его видел в последний раз? А что с тем мгновением памяти, когда проходишь мимо дерева, с которого он упал в шесть лет? И с той минутой молчания, когда видишь на улице кого-то, кто учился с ним в одном классе, и с той секундой памяти, когда видишь такого же светловолосого, как он? А все эти «памятные места»? Как это все избито и как страшно. Это ведь не только памятник на могиле — это еще и памятник в деревне, и полковой памятник, и штабной памятник, и монумент тут, и монумент там, и мемориальная доска в школе. А ведь есть еще место, где он был убит,

которое в этой стране никогда не бывает очень далеко от дома. И его место у стола, и когда накрывают на стол, ты всегда думаешь, не поставить ли и его тарелку. А когда тебя в каком-нибудь учреждении спрашивают, сколько у тебя детей? Что ответить? Двое или трое?

— Хватит, Яков, ты преувеличиваешь, — сказал я.

— Ты, господин хороший, — пыхнул он, точно старые паровые мехи, — откуда тебе вообще знать, когда я преувеличиваю?! Когда твоя великая Америка воюет, это происходит далеко. Ваших сыновей не убивают возле дома. А тут — тут все так близко, все так тесно. Тут никогда не прощаются навсегда. Война идет в соседнем дворе. Видишь и слышишь дым и крики прямо из собственного дома. Вся страна — один сраный кортижо. Все срут рядышком, и все всё знают, и вешают стираное белье прямо в морду друг другу. Вот так-то. Долбаная теснотища Один на другом. Живые и мертвые, все в одной куче. Все на расстоянии руки, и все на расстоянии глаза, и каждый убитый убит в двух-трех часах езды от дома. Максимум четырех. И тогда едут туда. Я не один такой, который преувеличивает. Я слышал то же самое от других родителей. Я знаю точно. Едут увидеть последнее, что видел их мальчик, и последнюю землю, на которой он лежал. И вдруг ты понимаешь, что такое кровь, которая кричит. И не только понимаешь — ты ее слышишь.

Мы покинули могилы матери и Биньямина, и Яков, извинившись, что кричал, предложил посетить заодно и могилу Ихиеля.

— В конце концов, он был твоим другом, когда ты был маленьким, разве нет? Ты не думай, я иногда при хожу и к нему тоже. Не так уж часто. В сущности, каждый раз, когда я прихожу на могилу Биньямина. Я не был его другом, как ты, но я всегда хожу к убитым в Войне за независимость и в Синайской кампании. Уже почти некому ухаживать за их могилами. Родители у большинства уже умерли, братья и сестры состарились, живут далеко, хотят жить своей жизнью. Приезжают редко.

Он наклонился, снял с памятника несколько сосновых иголок и вырвал молодые прутики, поднявшиеся по краям.

— К ним только раз в году, перед памятным днем, заявляется какой-нибудь арабский рабочий от местного совета — почистить и привести в порядок, — сказал он. — Все петунии, и маленькие кактусы, и анютины глазки уже умерли. Только дикие цветы растут из тех могил да трава, да вот еще муравьи, рыжие, черные, понастроили себе гнезда под камнем, между костями. И памятник тоже уже давно не белый, весь покрыт лишайником, и птичьим пометом, и сосновыми иголками, и имена тоже стали не такие четкие и разборчивые. Да так оно и должно быть, такой и должна быть

могила.

## ГЛАВА 36

Иошуа Идельман был одним из постоянных ночных посетителей пекарни. Он принадлежал к группе новых иммигрантов, олим, приехавших из Польши. Их земельные участки и временки, в которых они жили, располагались на окраине поселка. Поселенческие учреждения в одном из приступов юмористического сионизма послали их выращивать в наших краях жасмин для французской парфюмерной промышленности.

В Кракове Идельман был специалистом по литью платины и потерял там жену и старшего сына. Однажды ночью я слышал, как он рассказывал отцу о своем несчастье, и, хотя его рот был забит хлебом и слезами, мне удалось понять, что в аварии, в которой погибли его близкие, были замешаны два паровоза, два машиниста, один стрелочник и четыре бутылки водки. «Они пили всю дорогу они пили», — повторял он снова и снова.

Непреходящее горе, тоска по мертвому первенцу («он был так похож на меня он был»), воделенный запах жены, который даже цветы жасмина не изгладили из его памяти и кончиков пальцев, гнали его каждую ночь в нашу пекарню. Он покупал буханку хлеба и облегчал им свою муку. Он усаживался на скамейку и медленно-медленно жевал. Время от времени он рассеянно приближал кончики пальцев к носу и, закрыв глаза, принюхивался к памяти своей покойной жены. Лишь после этого он осмеливался вернуться к своим жасминным грядкам, потому что только любовь и тоска защищали его от соблазнительного яда цветов.

Производители жасмина будили своих детей в три часа утра, чтобы те успели помочь отцам в сборе цветов еще до того, как солнечный свет лишит жасмин его аромата. Дети приходили в школу такими одуревшими и усталыми, что засыпали прямо за партами. Среди них был и Ицик Идельман, уцелевший сын Иошуа, который учился со мной и с Яковом в одном классе и уже тогда имел отвратительную привычку говорить о самом себе в третьем лице. «Которые так говорят, обманщики!» — постановила мать, добавив, что у Ицика есть еще одна весьма дурная особенность: «Лицо от цыгана». Понимай так, что уже сейчас в нем можно было увидеть будущего вора. Годы доказали, что мать была права, но в те дни я еще не знал, что именно так выглядят будущие воры. С другой стороны, я обнаружил, что Ицик поразительно похож на испанского короля Филиппа Второго, портрет которого, творение кисти Антонио Моро, показал мне

Ихиель Абрамсон, чтобы я лучше понял «Тиля Уленшпигеля».

Иошуа Идельман был неистощимым источником глупой житейской мудрости и постоянно изрекал афоризмы типа: «Собака лает, а кошка себе мяучит» или «У кого есть деньги, тот не нуждается в милостыне» — и глубокомысленные истины, вроде: «Нельзя доверять человеку, который обманывает». Однажды ночью, купив свою обычную буханку, он сказал отцу: «Кто не ест, тот в конце концов остается голодным». Отец, в котором такие высказывания всегда пробуждали братские чувства и желание делать добро, ответил: «Совершенно правильно», и Иошуа, улыбнувшись, тут же поднялся и помог ему перетащить мешок муки, а поскольку его не оттолкнули, начал после этого приходить каждую ночь, помогая сажать в печь поддоны с буханками, просеивать муку и даже замешивать тесто, и отец предоставил ему в уплату свое внимающее ухо, добавив к этому две буханки хлеба в ночь, пару ботинок и рабочую одежду, которой тот не воспользовался, предпочитая работать в своих огромных серых трусах.

— Надень свои очки и посмотри на этого работничка, — шепнул мне Яков, и мы оба прыснули, потому что из-за жары яйца Идельмана свисали чуть не до колен.

Через два года, в течение которых он стал частью пекарни, Иошуа попросил отца нанять его как постоянного работника.

— Я все равно не сплю ночью так или иначе я не сплю, — сказал он.

Он быстро освоился и предложил отцу выпекать особые булочки, которые назывались «книпеле», и, когда оказалось, что они пользуются спросом, отец прибавил ему оплату и разрешил привести с собой Ицика, «чтобы помогал и учился».

Сиротство обострило чувствительность Ицика к отношению взрослых. С матерью они сразу стали врагами. «Змея она, этот Ицик, — повторяла мать. — Точно как Ибрагим нашей Дудуч». Но Ицик был работающим парнем и преданным сыном. Он варил своему отцу еду, играл с ним в шашки и стирал его рабочие трусы, как будто читал в нем ту мягкость и слабость, которые были невидимы другим.

— У меня самый лучший в мире сын у меня, — с гордостью говорил Иошуа Идельман, а сын обнимал его и приговаривал:

— Ицик любит своего папу.

## ГЛАВА 37

Яков долгое время обдумывал странное указание Шену Апар и наконец, взяв из ванной комнаты отцовское зеркальце для бритья, дождался появления Леи на улице и, когда она вышла, направил на нее зеркальцем пучок света и ослепил. Лея нагнула голову, отвернулась и прикрыла лицо руками, но Яков так и танцевал вокруг нее, не переставая посылать в нее солнечные зайчики.

— Уродина дегенератская! — закричала она в конце концов с неожиданной грубостью. — Вот вернется мой папа, он тебе сорвет твою дурацкую башку!

Яков засмеялся, вернулся вприпрыжку во двор и с того дня не переставал ожидать ее в засаде и пугать своими солнечными залпами. Его новый способ ухаживания и липкая настойчивость так разозлили Лею, что она закрылась в своем доме. Тогда Яков забрался со своим зеркальцем на трубу пекарни и стал направлять солнечные лучи в ее окно оттуда. Но расстояние от пекарни до холма было слишком велико, а зеркальце — слишком мало, и прыгающее световое пятно быстро теряло яркость и исчезало.

Яков спустился, несколько часов ходил вокруг дома, погружившись в глубокие размышления, а на следующее утро подошел к Шимону и шепотом посвятил его в новый план. Шимону было тогда одиннадцать лет, но его руки были уже руками кузнеца, а сердце не знало страха и сомнений. Он вошел в комнату отца и матери, одним движением вырвал среднюю дверь платяного шкафа и помог Якову поднять ее на кирпичную трубу пекарни. Дверь вместе с прикрепленным к ней зеркалом.

Огромное пятно солнечного света помчалось через поле, нащупывая себе путь, скользнуло сверкающей столовой скатертью по рыжему суглинку, высушило траву, взобралось, подрагивая, на стены Леино дома и, наконец, нашло нужное окно и ворвалось в ее комнату на крыше. Мгновение спустя в пылающем оконном проеме появилась маленькая ошеломленная фигурка, прикрывающая глаза одной рукой и гневно размахивающая другой. Она знала, откуда идет луч, но Якова не могла увидеть, потому что свет слепил ей глаза. Жалюзи ее окна захлопнулись с такой силой, что звук донесся да же до нашего дома.

— Теперь она тебя уже не видит, — сказал я брату.

— Это не важно. Она знает, что я здесь, и здесь я останусь, — ответил

он, очень довольный собой.

Тут он, однако, столкнулся с неожиданным препятствием в лице матери, которая, по совету все той же Шену Апари, купила новые заколки для волос и хотела глянуть на себя в зеркало.

— Я поднимаюсь до тебя, — пригрозила она Якову Он не ответил, и она действительно взобралась к своему похищенному зеркалу, уселась возле него на закраину трубы и как ни в чем не бывало принялась расчесывать волосы и накладывать румяна.

Отец так и зашелся от гнева. «Спустись оттуда, путана гулящая!» — яростно шипел он со двора, стараясь не привлечь внимания соседей. Но напрасно он топал ногами, пыхтел и скрежетал. Наконец, не в силах совладать со своим волнением, он вбежал в пекарню, сунул, по своему обыкновению, голову в зев печи и заорал. Однако на этот раз он забыл закрыть дымоход, и его проклятия, многократно усиленные эхом во чреве печи, могучей стеной поднялись по печной трубе, и зеркало, завибрировав, рассеяло их по всему поселку. Соседи повыскакивали из своих домов, а Бринкер, испуганный и раздраженный, вбежал в наш двор, словно намереваясь наброситься на отца, но, увидев мать, тотчас крутнулся и исчез с той же скоростью, с какой появился.

— Спустись, мама, спустись уже, — умолял Яков, понимая, что Лея тоже видит и слышит все это.

Но мать только засмеялась, снова посмотрела на себя в зеркало, потом легонько похлопала его по плечу и лишь тогда наконец соизволила спуститься.

Вечером, когда она рассказала Шену Апари о новом способе ухаживания, изобретенном ее сыном, та всплеснула руками: «Preparez la pouchoir,<sup>[75]</sup> у нас скоро будет свадьба!»

Так Яков начал свои дни на трубе. Отец кипел. Он никак не мог вынести это «бездельное сидение», ту атмосферу бесцельности, которую его жена и сын, отравленные любовью, создавали в доме, и, по своему обыкновению, все расширял и расширял круг своего гнева. Дудуч он называл теперь «сдуревшей, как корова в дни поста», Шимона — «зубы из железа, а ум из ваты», мать — «албанской красоткой», меня — «пашарико, который занимается арифметикой в пчелином улье», а Якова — песгадо куршум<sup>[76]</sup>. Он говорил, что надлежит вернуться к тем временам, когда дело ухаживания находилось не в трясущихся руках самих влюбленных, а под опытным наблюдением сватов, у которых были «правильные способы», хорошо подвешенный язык, упорядоченные мозги и размеренно, ровно

стучащие сердца.

Споры из-за зеркала продолжались до того самого дня, когда во дворе вдруг послышался рев двух полицейских мотоциклов. Вслед за ними появился черный служебный «хамбер», и отец затрясся от испуга. Он был уверен, что верховный комиссар Палестины сэра Гарольда Макмайкла сумел-таки разыскать его и прибыл собственноручно арестовать за кражу патриаршей коляски. И действительно, из машины вышел тот самый английский детектив, который в свое время приходил расспрашивать нас о «женщине из Иерусалима». Сейчас он уставился на меня сердитым и одновременно смеющимся взглядом, поджидая вышедшего следом худощавого англичанина в толстых очках и с приветливым выражением лица. То был Артур Спини — человек, который вместе с генералом Алленби многие годы назад спас моего дядю Лиягу от гильотины. Тия Дудуч тотчас узнала его, схватила Шимона за руку и подошла к нему.

— Миссис Натан! — взволнованно воскликнул Спини.

Он подал ей роскошную коробку, содержащую отрез превосходной английской шерсти, черное платье и черные туфли. Его помощник, высокий лысеющий человек, тоже английского вида, открыл багажник и стал доставать оттуда картонные коробки с пакетами чая «Липтон», банками колумбийского кофе и ананасными консервами из Наталя, бутылками кабрийской воды и шоколадом, запах которого сразил Шимона наповал.

Глаз Дудуч широко раскрылся от восхищения и счастья. «Ибрагим, что ты делаешь, Ибрагим», — прошептала она свою единственную фразу на неожиданно новый лад. Она схватила Спини за руку, осыпала ее поцелуями и разразилась рыданиями. У Артура Спини было чувствительное, большое и христианское сердце, и дымка волнения и жалости тотчас заволокла толстые линзы его очков. Любопытно, я не помню, как выглядело его лицо, помню лишь, что он был чрезвычайно близорук. Мне кажется, что его зрение было даже хуже, чем у меня и Якова, и я тещу себя предположением, что он сохранился в моей памяти таким расплывчатым именно из-за своей, а не моей близорукости.

«Меня отправили в кавалерию, потому что лошади видели лучше, чем я», — говорил он о себе с юмором англиканских священников, который унаследовал от своих предков.

Палестина превратила Артура Спини из кавалериста в коммерсанта. В первом бою за Газу он получил знак отличия и привлек внимание генерала Алленби, который приблизил его к себе и после падения Иерусалима сделал ответственным за эвакуацию раненых по железной дороге. Фронт двигался на север, и поезда с ранеными спускались в Египет, оставляя за

собой шлейфы протяжных гудков, криков боли и столбов дыма. Как и многие другие, Артур Спины тоже хотел запечатлеть свой след в истории Святой земли, но хорошие места в истории уже захватили обладатели энергичных локтей, и Спины понял, что ему никогда не взойти на царство, не стать основателем новой религии, не возгласить пророчеств и не возглавить армий. Поэтому он придумал коровник на колесах — купил несколько дойных коров в сельскохозяйственной школе «Микве Исраэль» и поставил их в товарный вагон, высланный изнутри соломой и прицепленный к составу, который курсировал по пустыне. Теперь, провозгласил он с гордостью, наши ребята смогут согреть свои сердца «with decent cup of English tea». Вагон-коровник не изменил лицо истории, но прославил имя Спины в британской армии и в лондонских газетах и сделал его главой армейских столовок в Палестине. После демобилизации он открыл свой первый универсальный магазин возле Яффских ворот в Иерусалиме и нанял туда моего дядю Лиягу—сначала в качестве продавца, а потом — управляющего.

Это было начало империи — самой симпатичной из всех империй, которые когда-либо владели Востоком. Один за другим универсальные магазины «Spiney's» прорастали в Иерусалиме, в Шхеме, в Тель-Авиве, в Александрии, в Бейруте, в Багдаде и в Лимассоли — приятные крошечные островки порядочности, благоразумия и надежности в краях, где от века торговали ложью, страданиями и честью. Спины удалось привлечь в свои магазины множество клиентов. Его лозунгом было: «Отличные товары по разумным ценам». Он торговал сыром из Хеврона, шоколадом из Льежа, деревянными пуговицами из Дамаска, оловянными вилками из Португалии, минеральной водой собственного разлива из источников в Кабри, конскими сосисками из Венгрии, кружевными скатертями из Нормандии и литовским маслом. Каждое утро Лиягу приходил в магазин, кропил все вокруг цветочными эссенциями из сверкающей медной чаши, готовил пиастры, пенни и прочую мелочь для сдачи и ровно без четверти восемь открывал двери. Он говорил с каждым клиентом на его языке и по требованию хозяина покрывал свою раннюю лысину феской.

«А я-то по наивности думал, что вы платите мне за то, что внутри моей головы, а не за то, что на ней», — протестовал Лиягу, и Спины смеялся и хлопал его по спине. Иногда он вспоминал тот странный день, когда они с Алленби сняли Лиягу с передвижного эшафота в подвале тюрьмы Колараси, и радовался, что прислушался к совету генерала и взял юношу под свое крыло. Когда Лиягу был убит во время погрома 1929 года, Спины решил позаботиться о его вдове, но Дудуч исчезла из города, и

только через семь лет нанятый им детектив сумел обнаружить ее у нас. Он проделал хорошую работу. Артур Спини знал о нас каждую мелочь. Он привез отцу две бутылки ракии, белые носовые платки и спиртовые эссенции, чтобы разводить одеколон. Матери — голубое платье в цветах, с короткими рукавами фонариком, которое удивительно подходило к цвету ее волос и глаз и подчеркивало высокую линию ее талии. Мне был приготовлен настоящий сюрприз. В том месяце Орсон Уэллес сделал на радио постановку по Уэллсовой «Войне миров», и Спини привез мне роскошное издание этой книги с оригинальными иллюстрациями Уолтера Эрнста, которого не было даже в библиотеке Ихиеля. А Якову достался кожаный письменный набор с синей вечной ручкой «катав», промокательной бумагой, писчими листами и конвертами для любовных писем.

— «Счастливой охоты!» — с улыбкой процитировал Спини напутствие волчьей стаи из «Маугли».

— Но мне нужно зеркало, — прошептал Яков. — Всем привезли, что они хотели, а я хочу зеркало.

— Ты получил подарок, — сказал отец. — Где твое уважение?

— Но мне нужно зеркало! — закричал Яков. — А никакие не бумажки!

— Какой стыд! Какого сына ты растишь! — обрушился отец на мать.

Спини смутился. Хоть он и не понимал иврита, но почувствовал, что оказался замешанным в супружескую ссору. Однако к этому времени отец уже утратил заметную часть своих былых манер. Он не давал себе труда маскировать свою ненависть и презрение, как прежде, и не стеснялся оскорблять мать при нас, при соседях и даже при чужих. Теперь он бросил ей очередное загадочное и обидное прозвище: «Корова седьмой ханукальной свечи».

— Хватит, чтоб я сдохнула, все равно будет не по его, — сказала мать.

Смущенная и бледная, она повернулась, поднялась на веранду и исчезла внутри дома.

Я надеюсь, что мне удастся описать мою мать такой, какой она была. Она была самой простой сложной женщиной из всех мне известных. Женщины всегда затруднялись понять ее, а каждый мужчина понимал по-своему. То была девочка, заточенная внутри могучего женского тела, которая страшилась отца страхом, не поддающимся описанию, и любила его любовью, хуже которой не придумаешь, — той, которая не имеет причин и лишена надежды. Неуклюже, слепо, с рвущейся наружу силой, не знающей меры и узды, она соблазнила его и не понимала, что их

совместная жизнь превратила его в охотника, выслеживающего ее недостатки. Он обнаруживал, опознавал и описывал их таким образом, что она никогда не могла предугадать следующую обиду и защититься от падающего на нее удара. Он находил изъяны в еде, которую она ему варила, в ее походке, в ее ломаной речи, в ее способе резать хлеб, чистить огурцы, развешивать белье. В ее манере улыбаться, в движении ее гребня, в ее способе сидеть и в том, как она чихала. Даже та детская поза, в которой она спала, — на спине, с раскинутыми руками и ногами, как он увидел ее впервые в долине их встречи, — и та вызывала его ярость. «Как ты лежишь? — насмеялся он. — Точно йеменский младенец, которого бросили в басинико!»

Но сейчас отец смутился, потому что прочел на лице Спины заслуженный упрек. «Скажи ему, скажи ему что-нибудь по-английски», — толкал он меня, но я не знал, что сказать. Да и что я мог объяснить этому симпатичному человеку? Я повернулся и пошел вслед за матерью, которая уже стояла в кухне и молола мясо для котлет. Чего только она не делала, чтобы завоевать его сердце. Крутила ручку мясорубки, утирая нос тыльной стороной руки, закрывала глаза, чтобы не видеть мясо, — и все напрасно. Просила меня научить ее читать и писать, но никак не могла научиться. Карандаши ломались в ее пальцах, расцветая черными цветами на языке и губах, бумага покрывалась дырами, графитными крошками и маленькими, из чернил и слез, пятнами Роршаха. Ее надежды таяли. В отчаянии они ждала встреч с Шену Апарри. В отчаянии расчесывалась и прихорашивалась. В отчаянии покупала себе новое платье и мыла голову в дождевой воде Джамилы — все напрасно.

И все это время отец искал ту девочку в ее теле, шел к ней по горным тропам: пятно ее волос сверкает впереди, разбойники кругом, спешит, как быстрый олень и горах. Ее лицо высоко над его глазами, длинные ноги — по сторонам его головы. Мокрые кольца твоих волос. Гул прибоя в твоём теле. Шум дождя.

## ГЛАВА 38

Неделю спустя Артур Спины прислал зеркало, упакованное между двумя досками, стоявшими в кузове грузовика, и обложенное картоном и ватой. Яков соорудил для него раму из железных уголков и поставил на ось, смонтированную на трубе, чтобы его можно было поворачивать и направлять.

Он был вне себя от счастья. В два часа пополудни, когда солнце поднималось на нужную высоту, он надевал на голову соломенную шляпу, брал в корзинку бутылку воды и полбуханки хлеба, собирал несколько тетрадей и книг, чтобы приготовить там домашнее задание, и взбирался на крышу пекарни. Со временем он приделал себе на трубе маленькое сиденье, потому что однажды едва не был сброшен оттуда неожиданным порывом ветра.

Проходили дни, и толки о любви моего брата распространились по всей округе. Посмотреть на «парня, сидящего на трубе» приходили и люди из других деревень. Как-то раз заявился даже фотограф, пытавшийся сделать снимок для своей газеты, но Яков, увидев его, повернул зеркало в его сторону. Послышался дикий крик боли, и фотограф сбежал, закрывая глаза руками.

С постоянством сидящей на гнезде аистихи Яков провел на трубе большую часть послеобеденных часов своей юности, непрерывно излучая, но не иссякая. Окно Леиной комнаты не открывалось, но Яков знал, что она там и знает, что он на трубе, и еще ему было известно, что я тоже там.

— Это некрасиво, как ты делаешь, — сказала мне мать.

— Она сама меня приглашает, — ответил я.

— Эта Лея — она Якова.

— Эта Лея — она ничья, — передразнивал ее отец.

— Нечего беспокоиться, — улыбалась Шену Апари, точно пророк, которому открылось ободряющее знамение. — Она поступает так только для того, чтобы разжечь любовь Якова.

— А я и не беспокоюсь, — сказал Яков. — Если она его пригласила, пусть идет. Все равно она будет моя.

Ночью, в нашей комнате, я спросил его, говорил ли он искренне.

— А чего мне беспокоиться? — ответил он. — Я ведь вам всем уже сказал — в конце концов она будет моя.

Мои встречи с Леей начались в библиотеке. Однажды она пришла

туда, когда я заталкивал порошок против моли в щели книжных полок. Ихмель сказал мне: «Посоветуй ей какую-нибудь книгу», и я посоветовал ей «Таис». Когда она дочитала до той главы, где Пафнутий взбирается на высокий столп и усаживается там навсегда, она вернула книгу, раздраженно сказав мне, что если я надеюсь помочь своему брату, то мне лучше не вмешиваться. Ей было тогда лет пятнадцать, но жизнь наедине с матерью, брошенной женщиной, обогатила ее восприятие и сделала взрослой не по годам. Мы стояли друг против друга в проходе между высокими книжными стеллажами, она коснулась рукой волны своих волос, и я влюбился в нее.

Признаки были простыми и очевидными, даже угнетающими своей обыденностью. Сухость во рту. Учащенное сердцебиение. Тяжесть и вялость. Я полагаю, что и ты сталкивалась с ними — в собственном теле, в телах своих любовников, в прочитанных книгах. Но я ощущал и еще один, особый признак, которого ожидал с тех пор, как услышал, что Шену Апарри говорила матери: «А есть еще такого рода мужчины — когда они влюбляются, их колени начинают говорить друг с другом в рифму».

В последующие дни я разостлал перед Леей лучшие свои товары. Я цитировал ей стихи, воровал для нее из кладовки замечательные масапаные тии Дудуч, показывал ей старинные книги по искусству, которые Ихмель не выдавал никому, и посоветовал ей прочесть «Историю Сан-Микеле». На третий день она сказала: «Давай сыграем, будто ты медведь, а я лапландская девочка», — и вдруг закружилась на месте и на одну головокружительную долю секунды взметнула передо мной свое платье. Я был в тот момент без очков. Ее голые бедра сверкнули, как сияние далекого облака, туман ее плоти обрисовался на моей сетчатке. На мгновение мне показалось, что я ощущаю муку Якова, но тут же понял, что меня обожгла моя собственная боль.

Когда-нибудь, если мы встретимся, я соблазню и тебя масапанамии Дудуч. В «Мириам Дели», магазине деликатесов рядом с моим домом, я как-то обнаружил ту липкую подделку, что называется «толедским масапаном», и долго наслаждался, понося его, пока хозяйка не расхохоталась и как бы случайно не положила ладонь на мою руку. То была женщина лет сорока, веселая и красивая, очень похожая на меня ростом и цветом волос, и я рассказал ей о масапане своей тетки — об этой бледной отраде, великом утешителе, воплощенном баловстве, единственной из всех сладостей, попробовав которую женщины начинают смеяться.

«Масапан — это самая чистая, простая и возвышенная из всех сладостей», — процитировал я ей «Маленькую кухонную энциклопедию» Отто Густина, и затем — из Григория Седьмого, который до того, как стал

папой и был похоронен в дворцовой библиотеке своей матери, писал: «Средь сладких грехов известна любекская сладость, в которую входят всего две составляющие — миндаль и сахар, которые противоположны не по природе своей, а лишь в целях их совместного существования». Хоть он и не назвал эту «любекскую сладость» по имени, большинство исследователей согласны в том, что он имел в виду масапан.

На лбу владелицы магазина я увидел ряд красных точек, напоминавших то ли болезненный след сороконожки, то ли уколы колючек. Она почувствовала мой пристальный взгляд и смутилась. Когда ей было тринадцать лет, объяснила она мне, она пошла с родителями и церковь на богослужение и там по ошибке сжевала облатку причастия, которую священник положил ей на язык. Ее рот наполнился обжигающей соленостью, ворот кофты стал красным, а двадцать лет спустя на ее лбу появились эти кровавые точки.

— Ты могла бы сделать карьеру святой, — сказал я ей.

Она засмеялась.

— О нет! — сказала она, и горькая влекущая складка вдруг прорезалась меж ее бровями. — Видит Бог, что я — нет.

Я купил у нее миндаль и сахар, всю ночь напролет вызывал заклинаниями уроки тии Дудуч и на завтра в полдень вернулся в магазин. Я помахал перед ней своим маленьким пакетиком и сказал:

— Идеальная пара — мужчина с масапаном и женщина со стигматами.

Из всех женщин, которых я встречал в Америке, я люблю ее больше всех. Когда я захожу к ней в дом, она берет с меня сладкую десятину, которую я обязан ей принести, и, не переставая жевать и смеяться, снимает с меня всю одежду, берет за руку и ведет под душ. Там я с полным доверием вручаю ей свои очки, и, растирая все части и члены моего тела мылом и поливая обжигающей водой, она «не различает между убогим и богатым» — ничего не минует и ничему не дает поблажки. «Закрой глаза». Она моет мне голову, докрасна вытирает меня своими сильными руками и ведет в спальню.

Мы всегда ложимся в одной и той же позиции. «Эксперименты — это для тех, кто еще не знает, что такое хорошо», — смеется она. Потом она дает мне немножко подремать в ее кровати, а когда я просыпаюсь, уже торопит к столу. Она изумительно готовит чипсы и однажды открыла мне свой секрет: она жарит их в кокосовом масле. Когда она вынула из кладовки жестянку масла со старинной этикеткой на ней, я не мог удержаться от смеха. С тех пор, к ее великому неудовольствию, я всегда называю ее «Мадам Кокосин».

Однажды я соорудил ей мезелик<sup>[77]</sup> из собранных в ее магазине деликатесов — на столе были разложены черные маслины, которые я вынул из банки и выдержал, для большей морщинистости, в крупной соли, жирный сыр, который я залил тосканским оливковым маслом, маленькие твердые бублички, анчоусы «Зога», сухие и острые кабанос<sup>[78]</sup> «Сан-Себастьян». Мы провели два блаженных часа в компании нескольких рюмок ракии. Надеюсь, ты не смеешься сейчас и не подозреваешь меня в ностальгии. Этот стол с деликатесами тоже был всего лишь упражнением во вспоминании — таким же, как то блюдо с драгоценностями, с помощью которого Лурган Сахиб проверял память Кима. Ведь в моей памяти накопилось уже столько бесполезных и бессмысленных фактов, что я вынужден заниматься распродажей собственных древностей, непрестанно роясь на этих чердаках и разгребая залежи вздора и пыли до тех пор, пока перед моим мысленным оком не встанет моя Мнемозина и не взмахнет передо мной своим подолом.

«Говори, память». Говори и не умолкай. Черпай из глубокого колодца томас-манновского прошлого, отправляйся в путь по теплому мелвилловскому морю, режь по живой плоти пророка Ирмиягу. Стынь в янтаре, плыви в купоросе. Джозеф Конрад голосом Марло сказал мне: «Я думал, что воспоминания Курца подобны всем другим воспоминаниям, накапливающимся в жизни человека, — смутный оттиск в мозгу, оставленный тенями, упавшими на него в их последнем бегстве». Святой Августин сравнивал память со складом, с широким полем, с просторным храмом, в котором он встречается с самим собой.

Я постоянно проверяю подземные ходы своей памяти, очищаю ее руды от шлаков, выгребая из ее водостоков труху листопада. В детстве мать, бывало, приоткрывала воду в кране тонкой струйкой, чтобы побудить нас с Яковом помочиться. Вот и сейчас — мне достаточно самого слабого возбуждения одного-единственного вкусового пузырька, лабиринтика внутреннего уха, одной обонятельной клеточки, зрительной колбочки. Одной расплывчатой каштановой пряди волос, выхваченной взглядом с головы проходящей женщины, или смутного блеска ее белого плеча — и этого мне достаточно. Клуба красноватой пыли, глухого медного звука колокольчика—достаточно и тех.

Лея любила плести венки из синих цветов, слушать рассказы, смеяться и собирать составные картинки-загадки, «пазлы». Цветы ей поставляли поля, рассказы и смех обеспечивал я, а пазлы приходили в бандеролях, которые посылал ее отец. Он все еще был «за границей», и никто уже

толком не знал, то ли он важная персона в Еврейском агентстве, то ли знаменитый скрипач, то ли английский шпион, то ли продавец алмазов. Она отказывалась говорить о нем, а я так и не рассказал ей, что видел его в день побега.

Из-за близорукости я то и дело приближал лицо вплотную к пазлу. «Ты заслоняешь!» — отталкивала она меня. Мы боролись, катались по полу, смеялись так, что перехватывало горло. Ее пахнущее фруктами дыхание обвевало мое лицо, водопад ее волос стекал по моей груди и щекотал мне ладони, постоянный жуткий блеск царил в комнате из-за света любви, который Яков направлял в ее окно.

— Твой брат совсем спятил, — сказала Лея. Она лежала на животе, сунув голову в подушку и откинув волосы, чтобы я мог гладить ее затылок кончиками пальцев, и вдруг спрыгнула с кровати и слегка раздвинула планки жалюзи, чтобы хоть немного убавить духоту. Потом для надежности приоткрыла их еще немного, а под конец еще, пока ее не ослепило. И все это время она не переставала еле слышно, про себя, ругаться, непрерывно цедя то ли проклятия, то ли грозные прорицания со всей серьезностью и изощренностью уличного мальчишки, так не вязавшимися с ее красотой: «Чтоб ты сдох, чтоб тебя закопали, вонючка, осел, чтоб тебе вороны глаза повывклевали, чтоб тебе цыгане весь твой член разукрасили татуировкой, чтоб тебя муфтий каждую ночь навещал, чтоб ты утонул в свинском навозе, чтоб у тебя руки поотсыхали...»

Однажды, после четырех часов непрерывных световых залпов, когда солнце наконец зашло и мы шли с ней по улице, нам встретился Яков. Он остановился сказать мне, что нужно пойти помочь на разгрузке машины с мукой, но Лее не сказал ни слова. Они полностью игнорировали друг друга, как будто могли переговариваться только с помощью зеркала. Он не рассказывал ей о своих бессонных ночах, а она не рассказывала ему, что наблюдает за ним сквозь щели жалюзи, но его покрасневшие глаза и ее загоревшее даже зимой лицо и сузившиеся зрачки говорили сами за себя.

Мешки с мукой обвисают вялой, мертвой тяжестью, и, когда несешь их, нужно бежать с правильной скоростью, средней между твоей силой и силой тяжести: если побежишь слишком быстро, обязательно споткнешься и растянешься на земле, а будешь идти медленно — колени размякнут, как растаявшие свечи.

Яков с отцом стояли на грузовике и нагружали мешки нам с матерью на плечи, а мы несли их на склад. Крупицы муки крошились у меня во рту, смешиваясь со слюной и потом. Все внутри наливалось свинцовой тяжестью. В отцовском отделении боли мне прояснилось то, что я должен

был понять еще в библиотеке Ихиеля: куда лучше описывать то, с чем собеседник уже знаком, — тогда он сможет сосредоточиться на сути описываемого, а не на его понимании. Я думаю, что ты еще не набралась опыта в деле разгрузки мешков с мукой, и, если тебе хочется прочесть литературное описание этого занятия, поищи его в том же сарояновском «Тигре Трейси», хотя там, впрочем, речь идет о мешках с кофейными зернами, которые, при всей их тяжести, не могут сравняться с мертвым бременем муки. Но как бы то ни было, этот бег всегда кончается коротким мучительным подъемом по ступеням уже сложенных мешков, и, споткнувшись в тот раз, я обнаружил под одним из них спрятанный матерчатый мешочек. Вечером я вернулся туда и отыскал этот мешочек вместе с вложенной в него книгой в зеленом переплете, на котором было написано «Cent manières de la seduction française». Там были картинки, при виде которых я ощутил острую потребность в срочном переливании крови. Я поспешил вернуть книгу соблазнов на ее прежнее место и побежал позвать Якова, чтобы вместе насладиться добычей.

Дивные незнакомые женщины расхаживали по страницам книги. Толстушки в кошачьих полумасках, долговязые жерди со страусовыми перьями на ягодицах, коротышки с густыми бровями и растрепанными кудряшками. Они были затянуты в возбуждающие прозрачные корсеты, они пили уксус с растворенными в нем жемчужинами, они ели устриц и спаржу, и на них были сетчатые бюстгалтеры, неотступно следившие за нами своим спаренным взглядом. Жемчужные глаза подмигивали нам из их пупков, и усатые беззубые улыбки выглядывали из широко расстегнутых кисейных панталон.

— Наверно, это Шену Апарри дала матери, — сказал я.

Яков кинулся было на меня с кулаками, но я крепко обхватил его. Хотя я был сильнее, мне было трудно его удержать. Сцепившись, мы упали на мешки, и мне пришлось стиснуть его так, что в конце концов он стал кашлять, плакать и просить пощады.

В те дни матери было всего тридцать пять, но нам она казалась очень старой. Только сейчас, когда я стал намного старше, чем она была тогда, и смотрю на оставшиеся после нее четыре старые фотографии, в особенности на ту, что сделал Исаак Бринкер — я скажу о ней чуть позже, — то вижу, что, несмотря на тяжелую работу и постоянные насмешки и безразличие отца, она была тогда в расцвете своей красоты и что Роми изо дня в день становится все больше и больше на нее похожей. Но Якова, еще не завоевавшего сердце Леи, испугало иное — та ужасная дистанция, которая вдруг разверзлась между ним и подлинными мастерами

соблазна.

Он сел и громко захлопнул книгу.

— Как это уродливо, — сказал он. — Как отвратительно.

Я рассказал ему анекдот об учителе алгебры и чемпионке по лыжам, но Яков не улыбнулся и не сказал ни слова. Я думал, что он окончательно утратил веру — в меня и в любовь, — но на следующий день он опять поднялся к своему зеркалу и снова взялся за свое.

## ГЛАВА 39

Время прошло и сделало свое дело, не обращая на нас никакого внимания. В том возрасте мы уже научились распознавать силки, которые расставляли для нас наши тела, но любовь смягчала эти вожделения плоти. Яков нашел утешение в стекле, я — в бумаге. Он продолжал слепить Лею и направлять ей свои гелиографические послания, а я продолжал приносить ей книги, написанные другими, и чертить фразы любви на ее спине своими дрожащими пальцами.

— Что это значит — «были друзьями»? — упрямо допытывается Роми. — А что говорил папа?

Я целовал ее с пересохшим горлом и замирающим сердцем, я вдыхал дыхание ее рта, я покрывал себя ее косами и отваживался гладить ее молодые груди через ткань блузки. Мои бедра уже знали пульсирующий жар ее плоти, но я ни разу не спал с ней. До сих пор не понимаю почему. Такая возможность попросту не приходила мне в голову.

— Почему ты не разобьешь это его зеркало? — спросила она однажды.

— Чего вдруг?

— Вы какие-то чудные, — сказала она. — Оба вы чудные. По-настоящему мне бы следовало прогнать вас обоих и поискать себе других ребят.

Мы шли по полю, что между ее домом и поселком, по пути в библиотеку, и световое пятно Якова бежало перед нами. Он заучил расписание ее выходов и возвращений и тех маршрутов, которыми она шла. Стоило ей выйти из дому, и ее уже ожидало на пороге большое пятно солнечного света, то скачущее, то застывающее, подрагивая, на месте, и куда бы она ни пошла, оно шло туда же и сопровождало ее повсюду, то прыгая впереди, то прижимаясь к ноге ярким лоскутом верности, то взбираясь на ее платье, то прихотливо изгибаясь на неровностях почвы.

— Как ты думаешь, у Ихиеля есть кто-нибудь? — спросила она, когда мы подошли к двери библиотеки.

— Думаю, что нет, но иногда он ездит в город. — Тут я рассмеялся. — Знаешь, что сказал о нем Идельман? «Кто не женится, тот в конце концов остается холостяком».

В то время я уже позволял себе видеть в Ихиеле не только наставника и друга, но также источник развлечений.

«Только один человек понимал меня, да и тот не понимал», — гордо

процитировал он мне последние слова Фридриха Гегеля.

— Брось, Ихиель. Это просто чушь, — сказал я.

Ихиель оскорбился и пришел в ярость.

— Чушь?! — вскричал он. — Чушь?! Гегель на смертном одре — это чушь?!

— Это все равно что сказать: «Это конец, а может быть, это и начало», — сказал я. — Или вот еще: «Простят ли мне там, наверху, что я не был самим собою?»

— Кто это сказал? — заволновался Ихиель.

— Никто не сказал. Я просто привожу тебе примеры таких же глупостей.

— Да, но кто это сказал? — кипятился библиотекарь.

— Да никто этого не говорил, — рассердился я. — Я сам это придумал, сию минуту.

Но Ихиель мне не поверил. Он старательно занес мои последние слова в свою записную книжку и приписал рядом: «Аноним».

Выйдя из библиотеки, мы с Леей увидели мчавшийся по улице грузовик поселковых охранников. Он несся с такой скоростью, что мы в страхе отпрыгнули на обочину. За ним клубилось облако красноватой пыли, за рулем сидел Ноах Бринкер, а в кузове, без сознания, истекая кровью, лежал его отец.

Как стало известно потом, Бринкер был ранен в голову ударом поливальной трубы. «Он был ранен любовью», — восхищалась Шену Апари. Увы, его ранила не собственная любовь, а любовь его сына Ноаха. Ноах увлекся дочкой господина Кокосина, имя которой я напрочь забыл, но облик помню очень четко. Маленькая толстая девочка выросла и превратилась в похотливую карлицу с могучим задом богини Астарты, словно призванным компенсировать полное отсутствие шеи у своей обладательницы. Несколько месяцев подряд Ноах твердил ей, что она красавица, и в конце концов она ему поверила. «Видимо, Ноах Бринкер обладает способностью убеждать», — задумчиво констатировала Лея, поскольку на Пурим того же года его возлюбленная отправилась в Тель-Авив, чтобы участвовать в конкурсе на звание царицы Эстер. Мертвая Хая, которая всегда оценивала своего сына выше его достоинств, терпеть не могла эту девицу и утверждала, что она с равным пылом отдается как людям подпольной «Хаганы», так и их идеологическим противникам из «Эцеля» и «Лехи», при этом не обижая также и английских солдат. Я думаю, что и Ноах Бринкер тоже однажды удостоился ее милостей, иначе трудно понять то вожделение, которое она в нем пробуждала.

Ноах шел, водрузив на плечи отрезок поливной трубы, и вдруг краем глаза различил между деревьями соседнего сада очертания карликовой фигуры своей возлюбленной, которая бренчала украшениями и выглядела столь желанной, что он развернулся, чтоб получше ее разглядеть. Длинная тяжелая труба на его плечах со свистом описала в воздухе четверть окружности, с размаху ударила в левый висок его отца и швырнула Бринкера наземь с проломленным черепом и наполненным кровью ртом.

Когда Бринкер очнулся в больнице, он не мог произнести ни единого слова. Профессор Фрицци уже стоял у его кровати, оставался там всю ночь напролет, а наутро пришел к нам и сказал матери, что его брат поражен афазией. Как объясняли в деревне, кровь залила Бринкеру большой участок его мозга, и в ней утонули и задохнулись все находившиеся там слова.

— Фрау Леви... — Профессор Фрицци негромко откашлялся, избегая смотреть ей в глаза. — Мы, в медицине, тоже еще не все понимаем. Если бы вы согласились посетить моего брата — как соседка, разумеется, — это могло бы очень помочь.

Мать отправилась в больницу и вернулась печальная и мрачная. Мертвая Хая сидела возле кровати мужа и не сказала ни слова, когда Бринкер узнал мать и его рука стала шарить и искать по постели, пока не нашла ее руку. Он дрожал всем телом, потел и стонал, но так и не сумел выдать из себя что-нибудь, кроме плача и невнятного мычания.

## ГЛАВА 40

Рука брата в моей руке. Обрубок его пальца трепещет в ней, как птенец. Грузовик с хлебом уже ушел, и мы сидим около печной ямы.

— Знаешь, я никому не рассказывал об этом. Однажды я пошел на этот их семинар, рабочую группу — ну, в общем, из тех, что они устраивают для родителей, у которых погибли дети. Позвонили из министерства обороны и посоветовали. Сначала я и слышать не хотел. Я сказал им: я с вами покончил в тот самый день, когда вы прислали мне свою анкету, чтобы меня признали «скорбящим отцом». Вы его убили, и у вас еще хватает нахальства требовать, чтобы я бегал за вами?! И потом, это название — «рабочая группа», оно меня тоже разозлило. Для меня «рабочие» — это те, кто работает, кузнецы, механики, а не всякие там психологи. Но потом я все-таки пошел, даже сам не знаю, как это получилось.

Я пошел, и это было ужасно. Там были люди, которые никогда раньше друг с другом не встречались. Только наши погибшие дети собрали нас в одной комнате. Там была мать, которая потеряла сразу двух сыновей. Ты слышал такое? Двух сыновей в одной войне. Что это? Бог прыгает выше собственного пупа? И был еще один, офицер полиции, — пришел в форме, а сам весь измолотый, как будто его пропустили через мясорубку. И одна косметичка, которая привела с собой единственную оставшуюся дочку, девочку лет десяти, со страшным тиком на лице, и она все время говорила о своем сыне, какой он был замечательный. «Персик, — она его называла. — Мой персик». Ну, тут уж все начали — каждый со своим персиком. А что бы ты хотел — чтоб они молчали? А психологиня все время талдычит: «Говорите, говорите, вытаскивайте все наружу, выплесните из себя все!» Есть у них такое словечко — «выплеснуть». Я не мог этого вынести. Этого ее «персика». Но я ничего не сказал. Я подумал — может, рассказать им, как я сделал себе Михаэля, как сильно я хотел другого сына и как мне это удалось. Но я уже отвык разговаривать с людьми, и потом — они рассказывали о мертвых детях, не о живых, а о Биньямине я не могу так уж много рассказать, а о том, что мог бы, предпочитаю лучше промолчать. Мы же знаем, какой он был. Хороший парень, но это и все. Ничего особенного. Роми выше его во всех отношениях. По сердцу, по уму, по всему. А Михаэль — тот просто мечта. Маленький ангелок. Лея должна была бы встать и посмотреть на него. Я ведь даже альбом Биньямина не сделал, потому что после него не осталось ни одного написанного слова. Может,

мне следовало издать альбом с фотографиями всех его друзей?

— Папа? Ты здесь?

Голос Михаэля доносится со двора, и лицо брата окрашивается акварельными красками умиления и нежности.

— Я здесь, Михаэль! Иди сюда, сынок.

Солнце еще низко. Тонкая и длинная тень опережает своего маленького хозяина. Яков встал и спрятался за дверью и, когда Михаэль вошел в пекарню, схватил его, раскачал и подбросил в воздух.

— А теперь мы сделаем из тебя сладкую халу.

Он положил сына в старый ящик для замеса теста, осторожно помял его мягкими щекочущими кулаками, поднял и положил на рабочий стол. Посыпал тонкой белой мукой и стал месить его животик. Бережно потыкал пальцами спинку и слегка потискал бедра и икры, и все это время Михаэль заливался смехом, стонал и извивался от удовольствия.

— Чей ты?

— Папин, папин.

— Это мой ребенок, — говорит мне Яков снова и снова. — Посмотри на него. Это я его сделал.

Томление по ребенку, вспоминает он, было невыносимо сильным и нестерпимо сладостным, ожесточающим и размягчающим, обжигающим и леденящим вместе. Поселковые малыши знали, что если пораньше прибегут в пекарню, то получают от угрюмого пекаря булочку в подарок. А молодые женщины, шедшие по улице ему навстречу, смущались и злились, потому что его взгляд срывал с них платья и пялился на их животы и на те места, где в его воображении у них сходились ноги.

— Я уже на похоронах Биньямина думал об этом, — сказал он. — Я не мог сдержаться. Там было так много женщин. Это было поразительно. Я никогда не видел так много красивых девушек, как на его похоронах. Никто не ожидал такого. словно стайка разноцветных бабочек приземлилась на кладбище. Как будто между солдатскими могилами расцвели цветы, как на балконе у того старого сумасшедшего араба в Иерусалиме, помнишь? Девочки из сельскохозяйственной школы, солдатки, студентки. Даже его учительница истории из старших классов и та была там. И не с другими учительницами, а с его подругами. И две Богом забытые пятидесятилетние бабы, которые приехали из Тель-Авива на открытой американской машине, обнялись, и вопили, и вопили, и вопили, точно две ночные кошки. Плакали о моем мальчике, который, наверно, проделывал с ними все те штуки, которые я не осмеливался делать даже в мечтах и никогда уже не сделаю при жизни.

Его кулак сжался внутри кармана.

— Биньямина еще не успели опустить в могилу, а я уже хотел нового сына. Совсем как тия Дудуч. Мне необходим был ребенок.

Нежность и гордость были сейчас в выражении его лица.

— Они любили его. У него было то, чего у меня не было никогда, — легкость в обращении с ними, понимание, что женщина — не фея, не ведьма, не черт и не ангел. То, что я понял лишь однажды ночью, а большинство мужчин не знают и не понимают до тех пор, пока у них не рождается дочь и они не видят, как она растет и взрослеет. Но тогда это уже слишком поздно. И уже никому не приносит пользы.

И вдруг засмеялся и покраснел:

— Когда я говорю «дочь», я не имею в виду Роми.

И все эти женщины, которым уже были ведомы волнующие подмигивания флирта, содрогания плоти и боль пересыхающего нёба, не могли истолковать взгляд моего брата, в котором тоскливая мольба сливалась с мучительной неотложностью. Им хотелось насладиться объединяющим всех возлюбленных чувством скорби и приятной причастности к погибшему, чувством хоть и весьма печальным, но все же не таким, которое невозможно вынести. Они неловко переминались с ноги на ногу, обнимали друг друга и вытирали черные и синие слезы.

Спустя несколько лет Роми привела домой свою армейскую подругу — полную, симпатичную девушку, уродливую на вид, жаждавшую прикосновений и любви. Они приготовили общий ужин, а ночью, когда хлеб начал подниматься и издавать свой запах, она неожиданно появилась в пекарне.

— Этот запах не дает мне уснуть, — смущенно сказала она. — Я не привыкла.

Она стояла возле гарэ и смотрела на Якова, на Ицика и на Йошуа, а когда первые буханки достаточно остыли, брат отрезал ей кусок свежего хлеба.

— Она держала его обеими руками и пожирала, как животное.

Всю ту ночь девушка оставалась в пекарне, обедаясь хлебом и хохоча, словно охваченная амоком, и Яков не прекращал размышлять об этом воплощении плодовитости, особенно трогательной, потому что очевидной всем, кроме нее самой. Очевидной этими грудями, соски которых еще не растянулись и не потемнели от беременности. Этим метрономом матки, розовой и юной, еще не потерявшей упругость мышц и каждый месяц истекавшей своими надеждами и мечтами других.

— Ты не поверишь, но я чуть не предложил ей это. В крайнем случае,

она сказала бы «нет». Но я боялся, что она расскажет Роми, а Роми ведь не способна понять такие вещи. Или же она пришла бы сфотографировать нас в постели — для своей выставки.

Он вновь перевернул Михаэля, переплел его ногу с ногой и руку с рукой, как плетенку халы, и мальчик так и таял в звонком и громком смехе, воркуя и курлыча, пока отец проводил по его спине большой щекочущей кистью для бойи. Потом Яков покрыл изюминками соски на груди сына и волосинки его ресниц, разбросал маковые зерна по животу, коленям и груди, заполнил впадину пупка золотистыми ядрышками сумсума и приклеил на лоб ярлык пекарни.

— Чтобы знали, чей ты, — объявил он.

— Папин, папин, — ворковал мальчик.

— Теперь ты готов, — сказал Яков. — Сейчас мы тебя испечем. — Он положил сына на одни из потемневших металлических поддонов, поднял и пронес по всей пекарне. — А сейчас куда?

— В печь... в печь... — захлебывался смехом Михаэль.

## ГЛАВА 41

Бринкер провел в больнице несколько недель, а вернувшись, волочил правую ногу, с трудом понимал новости по радио и говорил глупости. Ему уже удавалось извлечь из горла несколько слов, но писать он не мог и забыл большинство существительных, которые знал прежде. Правила грамматики и словосочетания стерлись из его памяти. Он тыкал пальцем, говорил, как ребенок, «это» и искал синонимы.

«Открыть... это... прозрачное в стене», — ворчал он на сына, когда тот не понимал его просьбу открыть окно.

«Принеси... ну... пять... принеси... сладкий-сладкий».

Он был достаточно образован, чтобы понять характер своей болезни, достаточно разумен, чтобы впасть в депрессию, и достаточно работающ, чтобы попытаться как можно быстрее вернуть форму. Несколько недель спустя Ноах Бринкер пришел ко мне, вкрадчиво поинтересовался, не хочу ли я «сделать круг на его мотоцикле», а когда я отказался, спросил без обиняков, не соглашусь ли я заработать пару-другую монет, поучив его отца словам, которые тот забыл.

Я всегда симпатизировал Бринкеру, а теперь во мне пробудилась неожиданная самоотверженность. Каждый день я давал ему урок.

— Что такое «ручка», Бринкер?

— Ручка... ручка... видеть... — Он поискал в ящике, вытащил оттуда ручку, и лицо его засияло. — Вот, я вижу... Ручка. Писать.

— Что такое «дом»?

Он закрыл глаза.

— Я вижу это... В доме живут.

— В Иерусалиме тоже есть дом, Бринкер?

— Может быть... Нет... Не вижу... Иерусалим.

После нескольких уроков в моем сознании созрел коварный замысел — учить Бринкера новым, неправильным словам. Но поскольку каждый урок уже минут через пять бесследно исчезал из его памяти, я отказался от этой идеи.

— Раньше ты приходил ко мне, — сказала Лея, — а теперь проводишь целый день с этим идиотом.

— Ты можешь присоединиться, — предложил я. — Это очень интересно, и он не будет сердиться.

— У меня нет сил с ним возиться, — сказала она.

— И он не идиот, — объяснил я ей. — Он все понимает и не потерял ни капельки ума.

— Прямо-таки Виленский Гаон. — Потом ее лицо помрачнело. — Такая странная погода, — сказала она. — Даже страшно.

Жаркая мгла надвигалась с юго-запада, заволакивая мутью морской окоем и затягивая синеву неба. Соленый воздух скрипел на зубах и терся в преддверии легких.

Бринкер был беспокоен и возбужден, как животное. Увидев меня, он сказал:

— Мать... мать.

— Очень хорошо, Бринкер, — сказал я. — И что «мать»?

— Мать... — повторил Бринкер. — Мать.

И внезапно все его лицо словно взорвалось — слезами, потом и словами:

— Мы тоже ходили пятнадцать и потом ты не знаешь позавчера в поле потому что никто кроме твоей матери.

Он пошарил, как безумный, в ящике своего стола, вытащил кусок янтаря с мухой и, не говоря ни слова, сунул его мне в карман.

— Для... для... сейчас... — выговорил он. Страшная мука светилась в его глазах, и благодарность, и любовь, которую я должен был понять и передать.

В небе звездочек без меры,  
Как свою мне угадать?  
Все в деревне кавалеры,  
Как мне милого сыскать?  
Да, он тот, кто говорил.  
Тот, что сердце мне разбил!

Так я пропел ему, но он лишь покачал отрицательно головой и ничего не сказал.

Когда я возвращался домой, заходящее солнце выглядывало, точно больной глаз, из-за красноватых занавесей пыли. Собаки громко выли, поджав хвосты, коты непрерывно вылизывали свою шерсть, и даже потрепанные сойки, чью крикливую наглость ничто, казалось, не могло укротить, умолкли и понурили клювы.

В ту ночь отец велел нам добавить к дрожжам немного сахара и теплой воды, чтобы поддержать их в войне с солью и пылью. Он запустил

тестомешалку и сказал, обращаясь к Якову:

— У тебя нет никаких шансов с ней, углом. Ты сидишь на крыше, как птица, а твой брат ходит к ней.

Яков улыбнулся. Он и без того не доверял отцовским прогнозам, а по этому специфическому вопросу его уверенность в себе только возрастала с тех пор, как он заполучил зеркало, и по мере того, как обострялось равнодушие Леи. Вопреки всем канонам, он не худел, складки печали не бороздили его лицо, глаза не западали в глазницах, и ноги не подкашивались. Его глаза лучились любовью, упрямство разгладило его кожу, надежда укрепила его плоть, хотя и не наделила талантом провидеть будущее.

Даже теперь, вспоминая ту ночь, я вижу все словно со стороны, хотя в тот момент, когда Лея вошла в пекарню, я был частью картины. Я как раз сражался с мешком муки, который упорно отказывался тащиться к ситу, Ицик Идельман готовил поддоны, Яков с отцом стояли у тестомешалки и резали тесто на куски, Иошуа занимал свой пост возле стола, мать и Шимон в ту ночь не работали.

Обязанностью Якова было растянуть тесто и вытащить его из большого барабана тестомешалки, чтобы отец мог разрубить его своим ножом. Тут важно, чтобы ты поняла — как для сути дела, так и для ответа на твой вопрос об изукрашенных булочках князя Антона, — что тесто материал хитрый и коварный. Несмотря на видимую пористость и податливость, оно на самом деле обладает упругостью и неукротимой силой, тяжестью и мятежным характером, и, когда оно начинает всходить, его не удержать даже стальной дверью.

Яков склонялся над барабаном, погружал руки в тесто, с силой выпрямлялся и тянул за собой большой кусок, а отец отрубал его своим старым длинным ножом, который продал ему какой-то резник, когда острое лезвие выщербилось и уже не годилось для работы с мясом. Каждый день нож затачивали на парикмахерском ремне, и он был таким острым, что проносился сквозь тесто, как холодный ветер. Иошуа Идельман, ожидавший у стола, перехватывал у Якова отрубленный кусок и, громко стуча секачом, отсекал его на куски поменьше, каждый весом точно в «девять деко» (девятьсот граммов на языке Идельмана). Он был настолько опытен, что не затруднял себя обращением к стоявшим рядом весам. Орудую секачом, он отсекал кусок чуть побольше необходимого, а затем, быстро и точно прикинув его вес на руке, отщипывал и отшвыривал крохотный лишний кусочек и удовлетворенно улыбался, зная, что теперь в его руке точнехонько «девять деко».

В окне встала луна, осветив пекарню своим блудливым розовым вкрадчивым светом.

— Почему он не пользуется весами? — вскипел вдруг Яков. Он куда больше доверял измерительным приборам, чем опыту Йошуа и его разумным рукам, а душная мгла сделала его вдобавок раздраженным и вспыльчивым.

Отец усмехнулся.

— Руки Идельмана — как весы бухарского ювелира, — сказал он.

— Кто работает точно, тот никогда не ошибается, — расплылся Йошуа, и по лицу Якова снова прошла волна раздражения.

— В один прекрасный день зайвится к нам инспекция проверить хлеб, и выдадут нам так, что мы праотцев своих вспомним, — проворчал он, снова нагнувшись над тестомешалкой и с усилием вытащил из нее очередной кусок, чтобы отец отделил его своим ножом от остального теста в барабане.

И тут, в это потное мгновение, в тот момент, когда отец заносил свой нож, я тащил свой мешок к ситу, а брат поднимал вязкую массу теста и каждый из нас стонал от жары и напряжения, внезапно хлопнула решетчатая входная дверь, и отец закричал:

— Кто это сделал? Теперь тесто сядет!

Все мы оглянулись и увидели, что в пекарню вошла Лея, легкая и прохладная, как ночной цветок.

Воцарилось молчание. В руках у Леи был накрытый поднос, и в жаркой полутьме пекарни она выглядела, точно принцесса, спустившаяся навестить своих рабов в каменоломне. Воздушная тяга печи совлекла с нее одеяние чудных запахов и наполнила ими удушливое пространство.

— Хэлло, Лея, — сказал я. В то время, несмотря на отвращение Ихиеля, мы с ней читали на английском Дэймона Раньона и повадились приветствовать друг друга английским «хэлло». Лея улыбнулась мне, поставила поднос и сняла покрытие, под которым лежали три больших белых валика штруделя.

— Мама просила поставить их в вашу печь, — сказала она, обращаясь к отцу. — К нам приезжают на субботу гости, и в нашей духовке не хватает места.

Отец обычно запрещал посторонним женщинам входить в пекарню во время работы. «От трех вещей садится тесто — от стука, от свиста и от женской нечистоты», — твердил он нам. Он позволял деревенским женщинам ставить их пироги к нам только в «последнюю печь» — утром в пятницу, но к Лее, этой иджика кон хен, у него было особое отношение.

Шестнадцать лет было ей тогда — толстая коса завернута вокруг

головой в два с половиною объёма, на тело наброшено синее хлопчатобумажное платье с короткими рукавами. Когда я надевал очки, на ее платье расцветали маленькие белые цветы с желтым зевом и сильный, свежий запах шафрана распространился в воздухе. Лея обвела глазами пекарню и вдруг впервые посмотрела прямо в глаза Якова. И хотя взгляд был коротким, он оказался достаточно неожиданным и долгим, чтобы раскрыть в теле брата зияющие пустоты и чуть не обрушить его под тяжестью чувств и теста. Его руки были связаны большой и тяжелой пузырястой массой, и отец, который уже занес над ней свой нож, глянул на брата и испугался, потому что понял, что сейчас произойдет, и осознал, что не сможет этого предотвратить.

— Держи тесто, трончо<sup>[79]</sup>! — крикнул он в ужасе. Пять тысяч лет хлебопечения придали движениям пекаря неотвратимость рока. Отец знал, что не сумеет остановить опускающийся в размахе нож.

— Держи крепче! — умолял он. — Яков...

Но Яков смотрел на Лею и чувствовал, что потоки жгучей мучной пыли сушат его горло, связанные руки становятся влажными от любви и тяжелое вязкое тесто выскальзывает из них.

— Не шевелись, Яков...

Толстый слой теста проглотил страшный крик крови, закупорил плоть и скрыл то, что произошло: пытаясь найти надежную опору, пальцы правой руки Якова вслепую двигались внутри плотной массы и мясницкий нож отрубил самый маленький из них.

Яков не проронил ни звука. Один я, увидевший, как побледнело его лицо, и рухнувший вместе с ним на землю, сразу все понял. Уже теряя сознание, он уронил отрезанное тесто на стол, и, когда его тело ударилось о пол, обрубок пальца высвободился и брызнул кровью, как горло зарезанной коровы. Лея в ужасе отшатнулась, и можно было увидеть, как ее кровь бьется под тонкой кожей на шее. Отец поспешно прислонился к стене. Я, лежавший на полу рядом с Яковом, поднялся, сорвал с себя очки и подошел к окну. Ицик Идельман побелел, и только Йошуа не растерялся. Он бросился к Якову, обернул его страшную рану тестом, прижал грязной тряпкой из-под бойи и с криком: «Нужно найти палец нужно!» — схватил нож и стал тыкать им в барабан с тестом, фехтуя, как неуклюжая копия Сирано.

— Хорошо, что он не кричал, хорошо, что он не кричал, — повторял отец, бормоча в стену, но, увы, — его надежды оказались преждевременными. Не прошло и минуты, как посреди пекарни, отдуваясь и шипя, приземлился старый гусь, за которым следовали мать и Бринкер.

Яков лежал на полу в луже крови. Белизна Леиной шеи продолжала биться и пульсировать. Отец дрожал всем телом.

— Убили нам нашего Якова! — закричала мать на Лею и отца, и я, к своему изумлению, почувствовал, что, несмотря на несчастье, на моем лице расплзается улыбка, потому что я никак не мог себе представить, что и она будет цитировать начала знаменитых книг.

И вновь двинулись и медленно развернулись широкие плечи, распахнулись руки, и глубокая, угрожающая багровость поднялась от груди к горлу и залила лицо. Потрясенная Лея мгновенно выскользнула из пекарни, а мать, схватив ее тяжелый поднос, швырнула его ей вдогонку, и штрудели, извиваясь в воздухе, как толстые белые дохлые змеи, раскрылись и вывалили на землю свои сладкие внутренности.

Она бежала всю дорогу. До самого дома. Поднялась в свою комнату, широко распахнула окно, бросилась на кровать и втиснула кричащий рот в подушку. Она была умна и мила, но молода и неопытна. Внезапно приобретенное знание — то знание, что в нормальной жизни постигается, обдумывается и накапливается за многие и долгие годы, — свалилось на нее в одно мгновение и стиснуло горло тисками рыданий. Мало того что упрямый и неуклюжий пекарский сын поразил ее такой страшной и подлой жертвой, но в ту минуту ей вдобавок стало со всей очевидностью ясно, что она будет принадлежать ему, родит его детей и никогда не выйдет победительницей из их будущих любовных сражений.

# **ЭЛИЯГУ САЛОМО И МИРИАМ АШКЕНАЗИ (почти правдивая история о людях с вымышленными именами)**

Двадцать второго июня 1913 года, за несколько минут до того, как летнее солнце вошло над Иерусалимом, некий вали<sup>[80]</sup> из Хеврона, высокий чин хевронского вилайета, прибыл к Воротам Милосердия верхом на лошади и в хорошем расположении духа. Занимающийся день был самым длинным днем в году, и хевронский вали имел обыкновение объезжать в этот день святые стены. То был церемониальный объезд, степенный и продуманный во всех деталях, который начинался с появлением солнца и заканчивался точно с его заходом, что давало вали достаточно времени для повторения наизусть всей семнадцатой суры Корана.

В этом месте надлежит остановиться и разъяснить, что и мы не ошиблись относительно упомянутой выше даты, и вали тоже не опоздал с прибытием. Во всем остальном мире самый длинный день в году — это и впрямь двадцать первое июня, но в Иерусалиме этот день запаздывает на целые сутки по причине чудовищной гравитационной силы Камня Основания, он же Эвен Шатия, он же Краеугольный камень Земли. Этот факт хорошо известен и уже описан во многих книгах, в частности в «Образе Страны» Рафаэля Хаима Леви из Офейбаха, а также и в более современных источниках, среди которых самым знаменитым, несомненно, является «*Voyage de la Judée, la Samarie, la Galilée et le Liban*».

Вали глянул на восток и в тот самый миг, когда солнце сверкнуло над Масличной горой, повернул свою лошадь влево, потрепал ее по шее, и та двинулась в объезд города мерным шагом, который был так согласован с вращением земного шара, что общая тень лошади и всадника не удлинялась и не укорачивалась ни на йоту. Но вот около десяти часов, когда вали уже миновал Шхемские ворота и приближался к Мозаике Орфея, произошло нечто ужасное. Далеко оттуда, близ Баальбека, некий ливанский крестьянин-маронит поджег груды высохшего терновника, который выполол из своего виноградника. Огонь охватил края соседнего поля, перекинулся в рощу, и вскоре на склонах гор уже бушевал огромный пожар.

Огненный зной взвихрил воздух, в Ливанской долине возникли сильные атмосферные колебания, на просторах Востока проснулся свежий ветер, и его внезапный порыв привел в движение греческую мельницу у Шхемских ворот. Одно из ее крыльев ударило по лошади и с размаху переломило несчастной хребет.

Выбравшись из-под павшей скотины, ошеломленный праведник, чей кругозор был так зашорен набожностью, что не позволял ему как следует связать причину и следствие, выплеснул весь свой гнев на ближайшего виновника — поднял руку и проклял мельницу: да отсохнут ее крылья и никогда больше не сдвинутся с места.

Крылья остановились, словно пораженные громом, и отказывались двигаться всю ночь, а на рассвете рыдающий мельник оседлал осла, привязал к нему двух мулов, нагруженных подношениями, и поспешил в Хеврон, дабы взмолиться праведнику и попросить его об отмене жестокого приговора. Но увы — прибыв в Хеврон, он узнал, что вали, едва вернувшись домой, приказал долго жить и теперь возлежал уже с праотцами. Старый был человек, и по причине могучих усилий при заклинании надорвались его сердечные сосуды, и он в одночасье умер.

Мельница у Шхемских ворот известна, кстати, своей красотой и упоминается в записках многих путешественников, включая писателя Гюстава Флобера, который некогда назвал ее «преlestной драгоценностью на краю кучи гнилья, именуемой Иерусалимом». Читателям, изумленным стилем этого описания, да будет известно, что в отношении между Флобером и Иерусалимом воистину вкралось нечто не вполне пристойное. Так, великий писатель не поленился отметить, что в момент первой встречи со святым городом он испустил газы из задницы, а город, с его отшлифованным веками чувством воздаяния, ответил ему доброй порцией сифилиса через ту же самую задницу. Впрочем, эти подробности тоже известны, и тонкие души сумеют понять их и без дальнейшего углубления в детали.

Итак, мельница продолжала стоять — чего нельзя было сказать о времени. Семь тощих лет пришли и прошли. Была война, город посетили болезни и голод, его правители сменились, ушли и не вернулись многие из его сыновей, и все это время мельница продолжала недвижно стоять в заклитии, увековечившем миг ее смерти. Покойный вали так преуспел в своем чудотворстве, что в зимние дни люди специально собирались у мельницы, дабы увидеть, что ее крылья не движутся даже тогда, когда бури срывают крыши и раскачивают колокола.

По совету греческого патриарха мельник решил разобрать мельницу до основанья, перевернуть ее камни наизнанку и построить все заново. Но пока он рассчитывал да планировал, судьба занесла в Иерусалим некоего итальянца по имени Сальваторе Бенинтенди, киномеханика из Александрии, который кочевал по всему Леванту, пересаживаясь с верблюдов на поезда и обратно на верблюдов. Этот итальянец перевозил с собой с места на место коробки с немymi фильмами, а также огромный кинопроектор, приводную систему которого можно было подключать к поливальным насосам цитрусовых плантаций, к подъемным колесам колодцев, к черкесским танцорам, к волам, вращавшим круг маслобойни, и к любому другому восточному механизму, способному совершать непрерывные круговые движения. Иерусалим, со свойственными ему соблазнами и обманами, бесконечной каменной памятью и трогательными попытками растревожить душу своих визитеров, пленил его сердце. Сальваторе Бенинтенди пораспрашивал, выяснял и вскорости арендовал бастующую мельницу. И как только он показал там первый фильм, произошло чудо — раздался ужасный скрип, и мельничные крылья снова струнулись с места.

Сальваторе Бенинтенди был не только любителем немного кино, но также ревностным католиком и в силу обеих этих своих особенностей любил чудеса и свято в них верил. К великой радости аудитории, мельник, который сам был из греческих православных христиан, разрешил ему продолжать показы фильмов, ибо, как умный человек, понимал, что хотя странный киномеханик и принадлежит к неправильной церкви, но без него и его фильмов мельница опять забастует.

Главы всех милетов города, в поразительной демонстрации братства, объявили единодушный бойкот и запрет на посещение недозволенных верующим фильмов, скрипучие крылья мельницы производили ужасающий шум, облака перемолотой муки выбеливали лица актеров и зрителей добела, но вопреки всему этому люди продолжали стекаться в немое кино. Самым постоянным и самым восторженным среди них был еврейский юноша по имени Элиягу Саломо, один из молодых парней монастырской общины. Он был неисправимо любопытен, охоч до острых ощущений и новинок и, подобно всем прочим монастырцам, известен также как астроном, философ, лингвист и математик. Впрочем, главную известность ему принесло то, что он стал первым иерусалимцем, прокатившимся на автомашине.

Эта история требует некоторого разъяснения, ибо в городе, выдавшем все виды смерти, глупости, чудес и боли, трудно кого-нибудь чем-нибудь

удивить, — но первая машина даже ему оказалась в диковинку. Этот маленький, мощный «напьер», выгруженный с корабля у подножья Кармеля, помчался по просторам страны, ошеломляя глаза, нос и уши ее обитателей и открывая перед ними дикий и распутный мир внутреннего сгорания. Его полированная обшивка красного дерева, сердцебиения, раздававшиеся из его корпуса, отсутствие раздражающих мелочей, вроде ворчливых кучеров, путающейся упряжи и грезящих наяву лошадей, очаровали всех, кто его видел. В один прекрасный летний день маленькая машина прибыла в Иерусалим и воскурила городу незнакомый фимиам из бензина и каучука, кожи и разогретого металла. Водитель, высокий усатый американец лет пятидесяти, щеголявший кавалерийской шинелью, гигантскими зубами и фуражкой с козырьком, припарковал свой механический экипаж возле Шхемских ворот, неподалеку от той самой мельницы. Он снял пылезащитные очки и шоферские перчатки и, бесстрашно смешавшись с собравшейся толпой, стал пожимать всем руки и представляться: «Мистер энд миссис Чарльз Глидден оф Бостон». Миссис Чарльз Глидден, рыжеволосая и улыбчивая, вызвала еще большее потрясение. Она тоже пожимала руки и тоже была обута в сапожки для верховой езды. Ее веснушки и глаза сверкали, шелковый платок на шее развевался на ветру, а твидовые брюки убедительно демонстрировали ошеломленной толпе, что ее ноги сходятся друг с другом. Вплоть до этого судьбоносного дня главы религиозных общин во всех поколениях успешно внушали каждому мужчине в городе, что только его жена — та единственная в мире женщина, чьи ноги сходятся вместе, дабы эти мужчины не вождедели того же места скрещенья ног у других женщин. С этой целью они изобретали всяческие обманы, пугали жуткими угрозами и заставляли женщин шить платья, непроницаемые для света и правды. И вот явились американец, его жена, ее брюки и их автомобиль и перевернули весь порядок вещей с ног на голову.

Элиягу Саломо был в ту пору мальчишкой лет десяти, но уже достаточно смышленным, чтобы сожалеть о том, что миссис Глидден появилась в городе раньше, чем он стал мужчиной. В ту ночь он не мог заснуть и после полуночи выскользнул из дома и вернулся к Шхемским воротам. Толпа уже рассеялась, и только несколько зевак стояли в отдалении, да двое охранников, нанятых американским консулом, крутились возле машины. Под мгlistым покровом третьей ночной стражи мальчик пробрался в багажник автомобиля и закрыл над собой его крышку.

Наутро, когда супруги Глидден выехали, чтобы окунуться в Иордане,

они услышали сдавленный кашель из неположенного места машины. Остановившись, они обнаружили в багажнике мальчика — одурманенного выхлопными газами и умирающего от восторга и духоты. Они тотчас вытащили его на свежий воздух, накормили и напоили и к вечеру вернули в Иерусалим — сидящим в уютном брючном углублении миссис Глидден. здоровым и невредимым, по уши влюбленным и бегло говорящим по-английски.

Он не уснул и в эту ночь и на следующее утро поспешил к Шхемским воротам, но увидел, что супружеская чета исчезла. Только следы шин в пыли да тонкий запах духов и гари — вот и все, что они оставили за собой. Элиягу никогда больше не видел ни «напьера», ни миссис Глидден, кроме как в своих снах. Со временем сны, как это им свойственно, распались на тоску, воспоминания и надежды, и Элиягу Саломо опять погрузился в учебу, наблюдения и размышления, а с тех пор, как появился упомянутый Сальваторе Бенинтенди из Александрии, — еще и в немые фильмы. Он быстро подружился с киномехаником, научился у него итальянскому и стал бескорыстно, не требуя платы, помогать ему в работе. Он подметал с полу плевки и мучную пыль, продавал билеты и крутил фильмы. Эта дружба подняла не одну пару бровей в монастырской общине, поскольку Сальваторе Бенинтенди был подозреваем в любви к мужчинам, и подозрения эти, как и все прочие подозрения, рождавшиеся в Иерусалиме с незапамятных времен, были совершенно справедливы. Кто-то будто бы даже слышал, как Бенинтенди сказал: «Мне плевать, обо мне говорят, пока это говорят за моей спиной» — и засмеялся высоким тонким голосом. Но Элиягу это не беспокоило, потому что он знал, что если его друг — гомосексуал, то платонического толка, то есть из тех, кому представляется равно отвратительным телесное прикосновение любого рода — к женщинам ли, к мужчинам или к животным.

Подобно большинству монастырцев, Элиягу Саломо был наделен умелыми руками и со временем усовершенствовал чудовищный механизм деревянных колес, шатунов и ремней, который присоединял кинопроектор к мельничному жернову. Этот передаточный механизм не имел ни переходной муфты, ни маховика, и поэтому случалось, что сильные порывы ветра весьма ускоряли сюжеты любовных фильмов, в то время как смешные фильмы навлекали на город тучи и дождь. И это, разумеется, тоже приводило верующих в ярость.

Элиягу видел каждый фильм по многу раз и вскоре научился расшифровывать движения губ немых актеров. Он схватывал их так быстро и точно, что ухитрялся произносить слова совершенно синхронно с

изображением. Даже в самые сильные бури, когда актеры начинали бегать по экрану, «точно кукарачи, на которых плеснули чернилами для переписки священных текстов», по выражению Саломо Саломо, отца Элиягу, — даже тогда он не отставал от них и в ходе этой имитации движений их губ и выражений лиц незаметно для себя приобрел идеальное американское произношение.

Несколькими годами позже, когда в Иерусалим прибыл первый говорящий фильм, зрители разразились криками и причитаниями, потребовали заткнуть киномашине рот и разрыдались все до единого, потому что синхронность Элиягу Саломо была лучше, а голос — драматичней и приятней, чем у говорящих актеров. Но сам Элиягу к тому времени был уже мертв. Об этом пойдет теперь рассказ, и здесь начнутся детали.

Монастирцы торговали тканями, маслом, ракией и соленой рыбой и молились в синагоге, которая была единственным деревянным строением в Иерусалиме. Они происходили от евреев-романиотов — сильной и древней породы, которая пришла в Македонию еще во времена римлян. Тысячу лет спустя с ними смешались рыжеволосые евреи, изгнанные из Венгрии, и с тех пор у них всегда рождались светловолосые дочери, наделенные замечательным чувством юмора. Лишь немногие из испанских изгнанников, прибывших в Монастир сто лет спустя, осмеливались жениться на этих девушках, поскольку они были одарены острыми языками и ослепительной красотой и не походили на тех глупых томных газелей, которым сплетали венки поэты далекой Севильи. Но немногие отважившиеся не раскаивались. Этот брак порождал на свет детей, слух о которых расходился по всему Средиземноморью.

Элиягу был очень похож на своего отца Саломо Саломо, потому что у монастирцев свойства отца передавались только старшему сыну, «первому от силы его», тогда как остальные дети телом и душой походили на матерей. Еще и сегодня в Иерусалиме можно услышать выражение: «Похожи, как монастирец и его первенец». И действительно, все их старшие сыновья отличались ненасытной любознательностью, страдали бездонной меланхолией, изучали астрономию, чтобы познать загадки бесконечности, и были одарены совершенным ночным зрением. Это последнее свойство развилось у них за долгие годы наблюдения за звездами и передавалось от отца к сыну не только путем тренировки, но уже и по наследству. В сущности, все монастирские первенцы походили на того, кто считался основателем их общины, — на великого теоретика

бесконечности Иссахара Модрухая Монастирского, благословенна память его, и выглядели, как живые памятники ему или как плоды попыток его воскрешения.

Иссахар Модрухай Монастирский жил в шестнадцатом веке. Он знал все звезды на небосводе, и их пути были понятны ему, как линии собственной ладони. В детстве он изобрел формулу для суммирования бесконечного числового ряда за многие годы до того, как ее приписали Фридриху Гауссу, но ему было так скучно проверять свою формулу, что он отложил это дело в долгий ящик и тем самым упустил возможность стяжать мировую славу самому себе и своему родному городу. Все преклонялись перед ним и чтили его память, но даже его ума не хватило, чтобы разрешить великий спор, который расколол еврейскую общину Монастира, а именно — спор о правильном пути все к той же вождеденной бесконечности. «Микроисты» утверждали, что этот правильный путь состоит в абсолютном уменьшении, тогда как «макроисты» предпочитали путь увеличения. Позволительно заметить, что это было продолжением давней минойской дискуссии о бесконечности космоса противу бесконечности точки, отголоски которой все еще слышатся в современных спорах о возникновении Вселенной.

И вот, даже среди монастирцев, известных своим острым умом, Элиягу Саломо почитался гением. В четырехлетнем возрасте он уже способен был решить в уме любую предлагавшуюся ему арифметическую задачу, в девять лет умел объяснить, почему желток и белок не смешиваются внутри яйца друг с другом, в четырнадцать мог прочитать на память законы Кеплера и Баума и периодические таблицы Менделеева и Бранда, а в семнадцать начал лысеть от сильнейшего жара внутри черепной коробки.

В области логарифмов и гематрий Элиягу Саломо побеждал даже близнецов Зерубавеля и Нехемию Тейтельбаумов, которым в Иерусалиме приклеили прозвища Зузубавель и Жужубавель, потому что всякий, кто стоял с ними рядом, мог слышать постоянное жужжанье, рождавшееся в их головах. Эти двое были способны, глянув на собеседника, назвать сумму букв пришедшего ему в голову предложения еще до того, как он произнес его вслух, а друг с другом общались уже не с помощью слов, а исключительно посредством чисел. Рассказывают, что на Песах тысяча восемьсот шестьдесят девятого года, когда Зузубавель и Жужубавель сидели на седере у своего отца, между ними вспыхнул страшный спор, потому что сразу же после обряда второго бокала Зерубавель внезапно перестал жужжать, посмотрел на жену Нехемии и произнес: «2652».

Нехемия побагровел от обиды, с гневом встал из-за пасхального стола и не разговаривал с братом целых четыре года, пока на похоронах их отца Зерубавель не встал перед ним на колени и, заливаясь слезами, прошептал: «6467». И Нехемия поднял брата с колен, с силой прижал его к сердцу и простил ему, произнеся «575», что означает: «Мы люди братья».

В Кортижо де Дос Пуэртос, дворе с двумя воротами, где обитала семья Салоמו, жила также некая вдова по имени булиса Ашкенази — жила вместе со своей подрастающей дочерью Мириам. Однажды, когда Мириам была еще девочкой, Элиягу Салоמו, проходя через двор на улицу, дал ей осколок синего стекла, чтобы смотреть сквозь него на мир. Он дал ей это стекло походя и после этого не обращал на нее внимания, точно так же, как не обращал внимания ни на одну женщину, кроме двух — миссис Глидден на земле и первую утреннюю зарю в небе. Но Мириам полюбила его с тех пор пронзительной и пылкой детской любовью, и всякий раз, когда она смотрела на голубой мир, который он ей подарил, ее сердце трепетало и колени слабели. Она выросла и превратилась в тихую, славную девушку, чьи черные волосы сверкали глубоким синим блеском, а грудь оставалась плоской, как стена. Все ее сверстницы уже налились и округлились, а ее насмешливо называли «Стена Плача». Ее груди ждали в гнезде ее ребер, точно пара белых ворон из известной турецкой поговорки, белых ворон, что никогда не прилетят, и их леность беспокоила ее мать. Но ни молитвы булисы Ашкенази, ни амулеты из Хеврона, ни мазь армянских старух, которая называлась «Святой Яков», — ничто не помогало.

И вот, когда Мириам исполнилось шестнадцать лет и семь месяцев, она вдруг проснулась среди ночи от боли, которую не сумела бы описать словами или сравнить с другими страданиями — ни с болью в животе, ни с печалью, ни с долор де кабеса, ни с любовными мечтами и ни с чем другим, что с нею уже случалось прежде.

Несколько мгновений она лежала с открытыми глазами, взволнованная, но не встревоженная, потому что странная боль гнездилась в органах, которых у нее никогда не было, и потому она решила, что эта боль не относится к ней, а просто ошиблась адресом и заблудилась, как та боль, что покидает умерших мужчин и ищет себе новых хозяев. Годы спустя, в те ночи, когда фантомные боли грызли воспоминание ее правой груди, она вновь вспоминала боль той былой ночи. Но тогда, внезапно проснувшись, она лишь улыбнулась про себя, перевернулась на спину и снова уснула, а утром, поднявшись, увидела, что груди, которые снились ей каждую ночь, на сей раз не исчезли с ее пробуждением.

— Дос миракулос! Пара чудес! Правая из мягкого фарфора, а левая из твердого шелка, — доложила булиса Ашкенази потрясенным соседкам и повела их в Хамамэль-Эйн, где банщица позволила им глянуть через щелку на пару чудес, возносимых телом Мириам, и они вышли оттуда, содрогаясь, позеленев от глубины зависти и красоты.

Одна из этих женщин была женой свата Шалтиеля, и уже назавтра упомянутый сват объявился в доме булисы Ашкенази и сообщил ей, что позволил себе поразмышлять над этим необычным делом и хотел бы предложить ей «брак спесиаль».

Булиса Ашкенази притворилась, что не расслышала, и подала на стол холодную воду, соленый жареный миндаль, «дольче» из айвы и чашечку кофе.

— Вашей дочери требуется нечто особенное, — сказал Шалтиель, не забыв похвалить и угощение.

— Почему это? — спросила булиса Ашкенази.

— Я уже слышал о вашей дочери, — сказал сват, вытирая губы салфеточкой из белой ткани, которую он извлек из кармана.

— И что же вы слышали? — спросила булиса Ашкенази с хорошо разыгранным подозрением.

— Не имеет значения, — сказал сват. — Но того, что я слышал, вполне достаточно. Ей нужен жених из монастырцев.

Несмотря на серьезность ситуации, по лицу булисы Ашкенази расплылась улыбка. О супружеской жизни монастырцев ходили всевозможные легенды и домыслы. Качества, подготовившие их к жизни наблюдателей и мыслителей, а именно: любознательность, ум, методичность и терпеливость, — сделали из них также замечательных любовников, хотя их страсть к познанию и исследованию была все же сильнее телесной страсти, не говоря уж о таких инстинктах, как голод и жажда, которые были отодвинуты на третье и четвертое место. Вот почему они оставались худыми, как дети, и спали со своими женами только в облачные ночи. Еще и сегодня в Иерусалиме можно услышать выразительное сравнение для чувства крайнего разочарования: «Как жена монастырца, которая вернулась из баньо и застала мужа глядящим на звезды».

И действительно, монастырские женщины ненавидели летнюю пору, потому что ее дни сжигали белую кожу их лиц, а ее ночи, усеянные соблазнительным подмигиванием звезд, совлекали с них прочь их мужей, и достоверно известно, что в 1911 году у них не родился ни один ребенок, потому что за год до этого в иерусалимском небе появилась комета Галлея

и все монастырские мужья были чрезвычайно заняты.

— К примеру, — сказал сват Шалтиель, — к примеру, знакомый вам юноша, к примеру, Элиягу Салоמו.

— К примеру, что вы можете о нем сказать?

— Что до Элиягу Салоמו, можно сказать, что его голова занята множеством важных вещей. Немые фильмы, автомобили, вычисления, восходы солнца, языки, гематрии — вся премудрость царя Соломона. Что до Элиягу, ему не повредит жениться на твоей дочери.

Булиса Ашкенази обрадовалась предложению свата, но для гонора и для порядка поспешила заметить, что Элиягу рано польсел. Шалтиель, сам лысый, улыбнулся, как будто не услышал этого замечания, и поспешил напомнить о недостатке родителя будущего жениха, микрографиста Саломо Саломо, одного из самых известных в городе монастырцев. Саломо Саломо специализировался в миниатюрном написании священных текстов и продавал христианам «Послания святого апостола Павла к коринфянам», написанные на ракушках, мусульманам — семнадцатую суру Корана на заклепках упряжи, а евреям — «Утренние благословения» на пятнадцати пшеничных зернах. По самой природе своих занятий он принадлежал к микроистам и гордился тем, что жил и зарабатывал на хлеб в соответствии со своими принципами, потому что искусство миниатюрного письма, утверждал он, — это единственно правильный путь противостояния угрозам бесконечности.

Саломо Саломо заинтересовался микрографией, когда ему было девять лет. Как-то раз, на одном из уроков в талмуд-тора, терзаемый той отчаянной скукой, которую ощущают только умные дети, он стал искать себе занятие, достойное его внимания. Он стал зубрить список имен из книги Берейшит, глава ламед-вав, или 36-я, пока не выучил его на память как в прямом, так и в обратном порядке; он нарисовал тайком предполагаемые лица пятерых дочерей Цлафхада, которые почему-то представлялись ему все на одно лицо; он посвятил несколько минут размышлениям о том, существует ли какой-то глубокий смысл в том, что ивритские «аба», «ими», «нин» и «дод», означающие «отец», «моя мать», «правнук» и «дядя», являются палиндромами, а другие родственники — нет. Потом он выдрал тонкий волосок из затылка дремавшего перед ним мальчика, вставил его в щель на кончике своего пера, высунул язык и написал на своем ногте пять первых стихов из раздела Вэишлах, что в книге Берейшит, глава ламед-бет, или 32-я.

Это деяние вызвало большой шум в школе и во дворах Еврейского

квартала и имело плохой и горестный конец. Заместитель мутасарефа, омерзительный и жестокий турок, любитель миниатюр и сам карликового роста, в тот же день услышал о «ногте маленького монастирца», приказал поставить мальчика пред собой и после короткого расследования велел отослать его ноготь в музей в Стамбуле. Во всем городе слышно было, как вопил истязаемый ребенок, пока два анатолийских солдата волокли его к передвижной гильотине и начальник стражи отрубал верхний сустав его пальца, но в Иерусалиме на такие вопли обращали не больше внимания, чем на соломинку в пыли. Город, оглохший от собственной святости и старости, камням которого был не в диковинку вкус крови детей, девственниц, ягнят, стариков и солдат, не впечатлился муками Саломо Саломо. Его отец и мать, ожидавшие у крепостных стен, пока их окровавленного и потерявшего сознание мальчика не выбросили наружу, тотчас погрузили его на носилки, принесли домой и лечили страшную рану до ее заживления. Но та боль не изгладилась из его памяти и тела. По ночам — так он рассказывал — он слышал отсутствующий сустав, и всякий раз, когда ему случалось встретить страдающего человека, он просил его описать свою боль, терпеливо выслушивал его сравнения и потом изрекал свой суд: «Это болит меньше, чем палец» — или: «Это болит больше, чем палец».

Саломо Саломо не оставил свое искусство, и с возрастом слух о нем разнесся по всему миру, а у миниатюрного письма появились потребители, подражатели и поклонники. Вооруженный лупами часовщиков, широкими зрачками и кисточками из одного-единственного волоса, вырванного из ресниц мушиного глаза, создавал он свои творения и получал за них хорошие деньги. Естественно, пошли завистливые разговоры, и, когда Саломо написал пять книг Пятикнижия на пяти гусиных яйцах, клеветники заявили, что ничего он там не написал, а всего лишь наставил точек, которые своей претенциозностью скрывают свою лживость, поскольку в силу исключительной малости не поддаются никакой проверке.

Саломо Саломо воспылал гневом. Он тотчас позвал рава Давида Альтмана, который знал всю Тору на память и был единственным ашкеназом, получившим разрешение преподавать в иешиве «Бейт-Эль», и предложил отправиться к своему английскому приятелю, доктору Джеймсу Бартону, в клинике которого имелся микроскоп такой силы, что «показывал даже вшей, что живут на вшах».

В те дни доктор Джеймс Бартон приехал из Индии в Иерусалим и, в отличие от других упомянутых здесь персонажей, был вполне реальным человеком. Многие старожилы города до сих пор помнят его привычку

играть в теннис, накрасив губы киноварью, подсинив глаза и натянув на голову тугую сетку для волос. (И всегда выигрывать, потому что кружевная юбка, которую он натягивал на свои бычьи бедра, так и развеялась на ветру, обескураживая соперников и лишая их необходимой сосредоточенности.)

Рав Давид Альтман проверил гусиные яйца под могучими линзами, сопоставил крохотные буквочки с их однояйцовыми близнецами в своей фотографической памяти и по прошествии шести часов выпрямился и подтвердил, что вся Тора, или Пятикнижие, вплоть до непроизносимого знака огласовки внутри буквы «тав» в стихе «Его сыны и сыны сынов его с ним» из книги Берейшит, или Бытие, и малых значков над поцелуем Эсава и Якова, а также над «и Аарон» в книге Бемидбар, то есть Числа, глава гимел, или 3-я, — все это содержится на их скорлупе и ни одна из завитушек не пропущена. И тогда слава Саломо Саломо вернулась к нему и вознеслась до небес.

Булиса Ашкенази хорошо понимала, как велики достоинства Саломо Саломо и как замечательны таланты его сына Элиягу, но напомнила свату Шалтиелю его крупную неудачу в другом сватовстве, которое началось большими ожиданиями, а кончилось неизлечимым приапизмом супруга. Шалтиель выслушал, улыбнулся и сказал: «Глупец боится хорошего, а умный любит читать по звездам», — и, предоставив булисе Ашкенази самой разгадывать смысл изречения, поспешил в дом Саломо. И как только он вошел, Элиягу сообщил ему: «Я согласен», потому что до него уже донесся голос птички небесной и собственного здравого смысла. Он знал невесту и не боялся красоты, приписываемой ее грудям, потому что его любовь была отдана миссис Глидден, а у миссис Глидден было три достоинства, которые каждый монастырский мужчина искал в женщине: она была далеко, она принадлежала другому и она не знала, что любима.

Свадьбу праздновали весело и пышно. Брачный контракт был написан на косточке мушмулы, халы для жертвоприношения вызвали ожидаемый восторг, рыбы, сморщившиеся от соли, плавали в озерах ракии, и монастырцы веселились и танцевали, а потом потребовали, чтобы жених и его отец исполнили традицию и прилюдно провели ученый диспут.

Тогда поднялся Саломо Саломо и выдвинул утверждение, что совершеннейшее бесконечное уменьшение будет достигнуто путем написания четырех букв имени Суцего на острие иглы, ибо тем самым вся Вселенная и ее обитатели будут сжаты в одну безмерно тяжелую точку, которую, в силу ее бесконечной малости и малости ее бесконечности,

каждый обитающий на ней человек сможет носить в маленьком кармашке своих брюк, хотя, естественно, он тоже будет уменьшен настолько, что станет меньше даже той точки, на которой он обитает, в то время как она находится в кармане его брюк. Присутствующие заплодировали, а некоторые из молодых гостей потеряли сознание, потому что циклические силлогизмы подобного рода имеют свойство ускорять и усиливать сами себя, а у молодых, как известно, разум уже достиг вершины своих возможностей, но колени, глаза и сердце еще не обрели ловкости и не имеют ни координации, ни надлежащего опыта.

Тогда поднялся со своего места Элиягу и, не преступая пятую заповедь, доказал своему отцу, что, даже если ему удастся создать эту безмерно тяжелую точку, она провалится сквозь саму себя и все потащит за собой, и тем самым вся Вселенная вывернется наизнанку, как перчатка, начиная с того самого брючного кармана и вплоть до гор и величайших морей, и вернется к своему исходному размеру, только с другой стороны. Все это Элиягу произнес, стоя на одной ноге, чтобы доказать свою зрелость и устойчивость.

И снова все захлопали, а его отец сказал: «Ты победил меня, сын мой!» А родичи со стороны невесты — бедные красильщики тканей, которые не поняли ни единого слова из рассуждений своих новых родственников, — смутились, но радовались вместе со всеми.

На пути к своему рождению беды держатся за пятку радостей, и потому случилось так, что беда Элиягу Саломо приключилась с ним в ту же самую ночь. Отец жениха и мать невесты напомнили молодоженам, как важно сохранять темноту в спальне новобрачных, и булиса Ашкенази, тоскливо вздохнув, сказала Мириам: «Женщине лучше потерять невинность в темноте, чтобы ненароком не найти ее потом при свете».

Но Элиягу Саломо, в силу своей большой любознательности, тем не менее зажег в спальне новобрачных керосиновую лампу и так навлек на себя зло своими же руками. Свет вырвал из тьмы стены комнаты, резьбу в изголовнике супружеской кровати и сияющую улыбку Мириам, которая слышала от родственниц и соседок настолько противоречивые и уклончивые описания первой брачной ночи, что решила, будто это не более чем разновидность игры в прятки. Она сбросила с себя простыню, которой укрывалась, и осталась в скромной ночной рубашке. Потом она подняла руку, чтобы вынуть шпильки из волос, и две упругие волны едва заметно прокатились под ее рубашкой.

За всю свою жизнь Элиягу не видел движения, сравнимого с этим

танцем ткани на грудях его жены. Будто крылатые кошки вспорхнули там в ручье, будто сон скользнул сквозь молодые побеги тумана, будто дух Божий дунул в белизну лепестков лилии. Но даже бессмысленные сравнения, пронесившиеся в его мозгу, не принудили его отступить. Он повесил лампу на стену, подошел к Мириам и, не сознавая, какая опасность витает над ним, потянул завязки, которые скрепляли вырез ее рубашки. Его взгляд спустился по склону обнажившейся кожи, соскользнул и взобрался, снова соскользнул и взобрался, и он удостоверился, что все пересуды и слухи о грудях его жены, ходившие в Иерусалиме, имели основание, и какое! «Точно звезды», — пробормотал он про себя и уже хотел было повернуться и сделать запись в тетради наблюдений, но в ту же минуту, еще до того, как почувствовал, что дрожит всем телом, он ощутил, будто острый меч рассекает его мозг, его зрачки сузились до размера вшиных яичек, ноги подкосились, и он с криком упал на пол.

Мириам была уверена, что судорожные движения мужа тоже входят в игры первой брачной ночи, и уже закричала: «А я тебя увидела, а я тебя увидела, uno, dos, tres!» — но несчастный Элиягу буквально из последних сил выволок себя во двор, прополз через ворота на улицу Караимов, на коленях пересек переулок, свалился на пороге дома аптекаря Эльханати и, когда тот выскочил к нему, сказал, что кто-то воткнул ему в голову шпагу. Аптекарь исследовал его зрачки, вздохнул и сообщил ему, что его поразила *la migraine du jaloux*, или «мигрень ревнивцев», — болезнь редкая и известная, индивидуальный недуг, не имеющий ни лечения, ни ранних симптомов, и каждый человек, которого он поражает, обречен сам искать себе исцеление.

Поутру булиса Ашкенази привела двух йеменских старух из деревни Шилоах, чтобы проверить простыни первой брачной ночи. Они обнаружили простыню, белую, как снег, невесту, которая сказала, что «Элиягу очень кричал, но мне совсем не было больно», и терзаемого болью жениха, который не смел моргнуть, стонал, как верблюд с перерезанной глоткой, и с силой сжимал руку жены. Пришел аптекарь Эльханати, сказал, что всю ночь рылся в книгах и размышлял, и объяснил, что источник болезни — в кровеносных трубках, потому что «ревность влияет на маленькие трубочки, а любовь на большие, и необходимо, чтобы они уравнивались». Но Элиягу выбросил принесенные ему лекарства, ибо, несмотря на свои мучения и ревность, он оставался человеком логичным и суеверия аптекарей, даже самых образованных, представлялись ему неприемлемыми. Он знал, что мигрень, одышка, любовь и аллергия считаются напастями одной и той же группы, и, в соответствии с этим, стал

исключать из своего рациона один вид пищи за другим, в поисках возможного виновника, и тем же порядком снимать с себя одну часть одежды за другой, и, в силу той же логики, опускать в своей речи согласную за согласной. За каких-нибудь шесть недель он дошел до такого состояния, что расхаживал по дому в одних носках, жил на одном лишь супе из трав и называл Мириам «Ииа». Постепенно он понял, что единственное средство от его мучений — это постоянное присутствие жены. И когда он описал отцу свою ужасную мигрень ревности, тот покачал головой и впервые сказал: «Это точно, как палец».

В Йом-Кипур того года Элиягу не осмелился пойти в синагогу, ибо знал, что ему не позволят войти вместе с Мириам на женскую половину. Так его беда стала известной, и слухи пожаром сухих колючек распространились по всему городу. Неделю спустя, когда все сидели в праздничной беседке и Элиягу, орудуя острым ножом, резал гранат, он вдруг увидел, что глаза «пришедших на праздник» праотцев, особенно Иосефа и Аарона, уставились на его жену и в бородах их таится похотливая улыбка. От ужасного гнева и потрясения Элиягу порезал себе палец. Порез был очень глубоким, но Элиягу, не обращая на него внимания, продолжал сверлить взглядом портреты святых грешников и пилить ножом свою плоть, не чувствуя ни малейшей боли. Обнажилась белая кость, и невероятной силы струя крови залила скатерть. Мириам закричала и бросилась перевязывать ему руку, но кровь тотчас вырвалась также из его рта, потому что, продолжая жевать, он несколько раз укусил себе язык. Мириам начала плакать, но Элиягу велел ей успокоиться и тут же, тремя большими глотками, выпил полную чашку кипящего кофе. Так выяснилось, что даже нарисованные святые вождедеют жену ближнего своего и мигрень ревнивцев овладела несчастным Элиягу в такой степени, что закрыла врата его сознания для внешней боли. Уколовшись ли, порезавшись, ущемясь или обжегшись, он не замечал и не чувствовал этого.

— Боль не спасает нас от смерти, — утешала булиса Ашкенази свою дочь. — Она только присматривает за тем, чтобы мы умерли в мучениях.

А соседки со смехом говорили, что теперь Элиягу сможет выгребать угли из жаровни голыми руками, без совка и лопатки. Но Салоמו Салоמו забеспокоился и повел сына к своему старому знакомому, доктору Бартону.

В те дни доктор уже снял жилье в самом центре Мусульманского квартала. Иностранная музыка непрерывно лилась из его дома на улицу, и раз в неделю он отправлялся на рынок в расшитых персидских туфлях и в шелковом сари, чтобы купить телячьи легкие для трех своих котов. Он был

известен своей любовью к операм Вагнера и даже обучил четырех русских монахинь исполнению отрывков из «Мейстерзингеров» на четыре голоса, включая бас, который принадлежал матери-настоятельнице монастыря Марии Магдалины. Кстати, этот факт был зафиксирован несколько лет спустя в иерусалимском дневнике Рональда Сторса, а кроме того, имя доктора Бартон фигурирует также в «Книге цитат» сэра Бернарда Харви, который приписывает ему насмешливое высказывание: «В Иерусалиме есть только два терпимых места — ванна и постель». Это, конечно, ошибка. Автором этого высказывания был не доктор Джеймс Бартон, а предшественник Сторса на посту губернатора Уильям Бартон, который ненавидел город и его жителей и все два года своего правления провел в этих двух терпимых местах, где лежал пластом, декламируя строки из «Потерянного рая». Этот анекдот тоже приводится в воспоминаниях Сторса, но ничего не добавляет и не убавляет в истории Элиягу и Мириам.

Доктор Бартон был потрясен. В Индии он уже видел людей, которые не чувствуют никакой боли, людей, которые чувствуют одну только боль, и людей, которые чувствуют боль других, но никогда не видел людей с *migraine du jaloux*. Он сказал, что болезнь Элиягу очень опасна.

— Боль — это не наказание и не обида, это дар Божий! — провозгласил он. — Человек, не чувствующий боли, может умереть от простой дырки в зубе.

И он наказал Мириам каждый день осматривать тело мужа с пяток до макушки — не поранился ли он, не обжегся и не порезался ли, и заставлять его измерять температуру утром и вечером, чтоб не пропустить какого-либо внутреннего воспаления.

Мириам сшила мужу толстый балахон — защитить его кожу, спрятала от него все ножи и иголки и потребовала, чтобы он не выходил из дому. Но, как все, страдающие мигренью ревнивцев, Элиягу не доверял той, что делила с ним супружескую постель. Он тут же понял, что она хочет заточить его, чтобы самой бегать по улицам и беспутничать там со своими любовниками. Теперь он располагал несомненным доказательством, что все иерусалимские мужчины, от самого жалкого погонщика ослов и до верховного комиссара, от малыша, едва вступившего в талмуд-тора и до главного муфтия Иерусалима, думают только о ней, поскольку сам он ни о чем другом думать не мог.

Точно медленный грязевой поток, мигрень ревнивцев залила его великолепный монастырский мозг, затопила все его отсеки и грозила вытеснить из них все их прежнее содержимое. Он чувствовал, как боль набухает в мягких тканях головы, поднимается и окутывает кости черепа и

скатывается обратно в первобытные глубины сознания. Его страдания стали такими ужасными, что и внутри дома он не позволял Мириам отходить от него или стоять возле открытого окна, где ее могли увидеть посторонние.

Теперь, когда его нервные волокна освободились от необходимости получать и обрабатывать пустяковый вздор внешнего мира, он сосредоточился на истинно важных вещах. Неотвязной слабой тенью следовал он за нею повсюду, не позволяя себе отстать ни на миг, потому что знал, что руки любителей пощупать женское тело способны опередить даже трепет мигнувшей ресницы. И каждое утро он накладывал на пару ее своевольных сокровищ пояс из арабской ткани, который обвивал их десять раз кряду, расплющивая непослушную плоть и не давая ей свободно дышать.

В своей «Книге о видах ревности» отец Антонин, кроме потребности обладать телом возлюбленной, перечисляет также ненависть мужчины к жизни жены до того, как она стала частью его жизни, страх перед ее мыслями, отвращение к ее воспоминаниям, враждебность к ее белью, к ложке, которой она ест суп, к ее старым фотографиям и к дядьям, которые подбрасывали ее в младенчестве на своих развратных коленях. Далее отец Антонин упоминает еще знаменитое убийство, известное в профессиональной литературе как случай «бейрутского ревнивца» — ювелира-маронита, который обезглавил свою жену, потому что она позволяла воздуху войти внутрь ее легких, а свету — внутрь ее глаз. Но ревность Элиягу к Мириам превосходила всё и вся и была тягчайшей из ревностей, самой мучительной и чистейшей из них, поскольку была ревностью пророческой. При всем сочувствии к несчастной маронитке, невозможно отрицать, что эта грешница действительно позволила воздуху и свету проникать в отверстия ее тела, но прегрешения Мириам, которые томили Элиягу, были хуже всех, ибо то были грехи, которые ей предстояло совершить в будущем, а не те, которые она не совершила в прошлом.

Теперь, когда ревность уничтожила остатки его сбережений и здравомыслия, молодым пришлось переселиться на Вдовью Окраину. Это был двор для бедняков, где полы в комнатах вечно покрыты пылью, мусором и голубиным пометом и где кишмя кишели хитрющие крысы и коты, которые наловчились открывать замки и с отчаянья воровали даже картошку. Комнаты были сырые и темные, а питьевая вода в облицованном водоеме была мутной от грязи, сочившейся сквозь трещины в стенках. В центре двора рос большой тополь, одичалые корни которого уже

поднимали плитки полов в нижнем этаже, и горемычные женщины собирались вокруг него посплетничать по-соседски. Здесь они процеживали через пеленки воду из водоема, взвизгивая при виде красных и влажных канализационных червей, извивающихся на белизне ткани.

Зимой Мириам варила сахлев<sup>[81]</sup> и прокаливала собранные летом арбузные семечки. Весной она готовили хамле-мелане<sup>[82]</sup>, а в тяжелые хамсины<sup>[83]</sup> мая и июля, когда на улицах появлялись продавцы напитков с колотым льдом и анисовых сладостей, она делала пепитаду, освежающее и утоляющее жажду питье из дынных семечек, и они с Элиягу продавали его проходим.

Элиягу любил детей, которые собирались вокруг лотка с возбужденными лицами и зажатыми в руках медяками. Они были маленькими и не знали Элиягу в дни его величия, но им нравился этот потрепанный, грязный человек, не перестававший терзать свой мозг фантазиями, которые уже выжгли остатки волос на его голове. Он наливал им питье, загадывал им загадки с четырьмя неизвестными и рифмовал для них изречения и пословицы, но его улыбка оставалась испуганной, а глаза не переставали бегать в глазницах. Он всегда возвращался домой побитый и израненный, потому что прохожие кололи его сзади иголками и подносили зажженные спички к мочкам его ушей, желая убедиться в достоверности рассказов о его болезни.

В то время он стал еще более взыскателен к самому себе и ввел по отношению к грудям Мириам правило «только видеть», в силу чего ночи их любви стали исступленными и возбуждающими. Год спустя у них родился первенец, унаследовавший черты лица и умные глаза отца и деда и получивший имя Саломо Ихезкель Саломо. Это был живой и любознательный ребенок, и по ночам они с отцом кричали в два голоса — голода и боли, потому что младенец тоже тянулся к материнским грудям, а отец пытался его отстранить.

К этому времени несчастный ревнивец окончательно превратился в развалину и на его теле уже не оставалось ни одного живого места. Язык, который он продолжал бессознательно прикусывать, в конце концов раздвоился, как у змеи, руки и ноги распухли в местах переломов, о существовании которых он и не подозревал, гнилые зубы отравили его кровь, глаза, не ощущавшие попадавших в них инородных тел, превратились в ямы красного гноя. Доктор Бартон многократно предупреждал его и давал лекарства, но Элиягу, даром что был уже совершенно безумен, не потерял ни грана своей прозрачной монастирской

логики. Бритвенная острота его самоанализа легко одолела лекарства, которые дал ему врач, ибо они, как и вся медицинская наука, основывались на предположении, что все люди похожи друг на друга, а Элиягу, на примере собственного тела и тела своей жены, видел, что это не так.

Теперь лишь одно препятствие отделяло Элиягу Саломо от полного и самозабвенного подчинения чувству ревности, и этим препятствием была его одержимость регистрацией солнечных восходов. С того дня, когда ему исполнилось тринадцать лет, он каждый день поднимался с рассветом на Сторожевую гору, чтобы зафиксировать точное время восхода. Он собирался продолжать эти наблюдения в течение сорока девяти лет подряд, свести полученные данные в таблицы и изучить по ним цикличность Солнца и времени. Но с тех пор, как он открыл и взлелеял предательский нрав своей жены, он больше не решался взбираться на Сторожевую гору, оставляя жену одну дома в опасное время третьей стражи, самое темное и пленительное из всех времен ночи. Он пытался уговорить ее подыматься на гору вместе, но Мириам отказалась, и ее наивный на первый взгляд довод: мол, кабы люди обязаны были просыпаться с петухами, Господь создал бы их с гребешками — лишь утроил его подозрения и искривил уголки его губ в горькой усмешке.

Он написал Сальваторе Бенинтенди и попросил у него взаймы, чтобы купить два больших зеркала. Итальянец удивился. В Александрии такие зеркала обычно вделывали в стены номеров в публичных домах, чтобы до бесконечности умножать наслаждение клиентов. Он примчался, и порасспросил Элиягу, и, когда тот поделился своим планом, сказал, что ему, «как любителю мужчин и фильмов», отвратительна готовность друга понапрасну искалечить себе жизнь ради «двух распухших жировиков, каких во Вселенной миллионы».

— Да знаешь ли ты, сколько новых грудей каждый год вступает в наш мир?! — воскликнул он.

Но Элиягу только улыбнулся печально и сказал, что выпуклости других женщин для него не существуют, и, если бы Бенинтенди дал себе труд поразмыслить в подлинно кинематографическом духе, он тоже пришел бы к выводу, что эти выпуклости не существуют вообще и что во всем мире нет никаких иных грудей, кроме грудей Мириам, а все остальные — всего лишь их отражения, копии, реконструкции, воспоминания, миражи и предвосхищения, что, вообще говоря, могло бы привести к пониманию циклической природы времени, но сейчас ему некогда заниматься этой весьма незначительной темой.

— Грудь — это не более чем клишированная плоть! — вскричал Сальваторе Бенинтенде, намереваясь раз и навсегда разъяснить Элиягу, что все люди одинаковы. В этом единообразии есть, конечно, нечто печальное, но оно необходимо, и врачи, проститутки, служители всех культов и портные весьма достойно на нем зарабатывают. — На этом подобии держится всё — торговля, кино, искусство, вера. Всё! — кричал он упрямо и вопрошал, как иначе могло бы такое множество людей кормиться, вкладывая волосы, предсказания и их копии в тряпичные мешочки или проецируя миражи на белую простыню.

Элиягу терпеливо ждал, ничего не отвечая, потому что знал, что спорить с безумцем — пустая трата времени. Но Бенинтенди, схватив его за плечи, объявил, что грудь — это «инфантильные органы», которые присоединяются к уже существующему телу, и потому они моложе и глупее других органов и никогда не могут достичь их уровня.

— У двадцатилетней женщины, — тряс он своего друга, — грудь не старше шести-семи лет! Два младенца! Ты когда-нибудь задумывался над этим?!

Однако в конце концов Мириам удалось убедить кинемеханика одолжить деньги ее мужу, и Элиягу нанял двух арабских мальчишек, вручил им купленные зеркала и послал на гору. Один из них стоял возле башни немецкого госпиталя и в тот момент, когда солнце поднималось над Моавскими горами, ловил своим зеркалом лучи восхода и посылал на зеркало второго. Тот стоял возле церкви Марии Магдалины и оттуда направлял слепящий луч прямоком в Еврейский квартал, где сам Элиягу, сидя подле окна и левой рукой затеняя глаза, а в правой держа дневник наблюдений, одним глазом следил за горой, а другим с опаской поглядывал на спящую Мириам.

Не прошло и недели, как детективы английской разведки обратили внимание на поблескивания над Сторожевой горой. Они надели рясы, покрасили усы и, уподобившись таким способом монахиням, проследили странные пути световых лучей. Вскоро они добрались до Элиягу и его слепящих мальчишек и арестовали их по обвинению в пересылке сигналов какому-то врагу. Элиягу был брошен в тюремные подвалы Русского подворья и подвергнут воздействию новейшей комбинации холодной воды с электрическими фалаками<sup>[84]</sup>, этим вкладом британской разведки в иерусалимский арсенал пыток. К их удивлению, допрашиваемый продолжал кричать даже после того, как его перестали пытаться, и дальнейшая проверка показала, что их старания были излишними — *migraine du jaloux* уже сделала за них всю работу.

Тем временем Саломо Саломо решил открыть для Мириам небольшое собственное дело, чтобы его сыну не приходилось выходить на улицы. Он купил ей оборудование для сбивания масла и приготовления сыра, а также дюжину овец. Мириам доверила свое маленькое стадо надежному присмотру Ибрагима — высокого, худого пастуха из Эль-Азари, голубые глаза которого поражали всех, кто его видел, а одежда издавала сильный и сухой запах табака. За сорок миль<sup>[85]</sup> в день, один халат, пару галилейских башмаков с красными носами и седьмую часть приплода, шерсти и молока Ибрагим пас ее стадо. Ему были известны подземные узоры подпочвенных вод и потаенная сеть пастбищных троп, которую за тысячелетия прочертили в пустыне ноги пастухов и копыта скота. Он знал повадки животных, насвистывал на дудочке хриплые мелодии, отгонявшие змей и хищников своей заунывностью, и учил овец распознавать ядовитые растения, от которых выцветает шерсть и становится горьким молоко. Днем он укладывал овец Мириам на самых сочных пастбищах, а по ночам загонял маленькое стадо за каменные заборы и колючие плетни. Овцы у него не знали выкидышей, не теряли ягнят и не погибали в когтях хищников. Их молоко было густым и жирным, а шерсть — упругой и толстой.

С первой зарей Ибрагим вставал подоить овец, а потом грузил на осла налитый доверху кожаный бурдюк и, чтобы молоко не нагрелось и не скисло в пути, всегда поднимался к Иерусалиму по ущелью между высокими берегами Кедрона, где еще лежал стылый ночной воздух. С восходом солнца он приходил во двор, сгружал бурдюк и выпивал большую чашку кофе, по которому никто так и не прочитал, чему суждено произойти.

Однажды Ибрагим запоздал, а когда появился, выглядел очень обеспокоенным и четыре раза подряд напомнил Мириам, что еще не получил обещанные башмаки, а потом вдруг вскочил и, предупредив ее, что близятся погромы, предложил ей спрятаться вместе с семьей у него в деревне.

— Министерство колоний позаботится о нас, — сказал Элиягу, который со времени своего ареста и освобождения считал себя своим человеком у колониальных властей и большим знатоком повадок империи. Между прочим, когда Саломо Саломо слышал, что его сын рассуждает о политике, ему хотелось тут же порвать на себе одежды и отсидеть по Элиягу траурную шиву, потому что в глазах монастирцев это была самая низкая ступень человеческого падения. Но в ту горестную пору Элиягу уже потерял всякий стыд и достоинство и начал сопровождать жену даже в

дворовую уборную. Только сопротивление Мириам и ворчание соседок мешали ему зайти вместе с ней внутрь. Он нервно ждал возле закрытой двери, с опаской прислушиваясь и поглядывая по сторонам, а дворовые женщины качали головами и напоминали, что по правилам мужчине запрещено входить в уборную после женщины, только до нее, тем более что мужчине не полагается знать, что подобные звуки исходят также из куло де ла мужер.<sup>[86]</sup>

— Из ее каки делают бетон, а его какон годится только на макарон! — смеялись они.

В ту пятницу тысячи верующих пришли к мечетям Храмовой горы. Под их одеждой были спрятаны дубинки и топоры, наточенные ножницы для стрижки овец и колья с торчащими гвоздями. Долгие часы завывали там пронзительные голоса мулл, и возбужденный гул молящихся все сгущался и сгущался, пока не превратился в ту темную завесу, которая каждые несколько лет опускается на город и поражает его жителей безумием. Когда ворота Храмовой горы открылись снова и люди хлынули наружу, обитатели Еврейского квартала заперлись в своих дворах и закрыли ворота и жалюзи.

Мириам, Элиягу и маленький Саломо Ихезкиль спрятались в дворовом водоеме. В ту пору, в конце лета, верхний слой воды в облицованной яме уже испарился, и семья укрылась между жестянками с сыром и горшками с простоквашей и йогуртом, поставленными там для охлаждения. Прошло несколько часов, и вот из-за тяжелых ворот послышался знакомый голос Ибрагима.

— Ифтахы эль-баб, сит Мириам<sup>[87]</sup>, открой! — кричал он.

— Он пришел к тебе в такое время? — с подозрением спросил Элиягу. Он гневно вскочил и бросился к воротам.

— Не открывай! Элиягу! Не открывай! — кричала Мириам.

Но Элиягу сдвинул засов, открыл ворота, и его череп треснул под взмахом пастушьей сабли, как спелый арбуз. Он сразу понял, что его снова поразила мигрень ревнивцев, ведь он оставил Мириам в водоеме без надзора. Он виновато улыбнулся Ибрагиму, повернулся и собрался было вернуться к жене, но тут вдруг увидел совсем старенькую миссис Глидден, которая стояла в зиянии между двумя полушариями его мозга и улыбалась ему оттуда. Его колени подкосились, тело обмякло, и душа отлетела.

Люди ворвались во двор и принялись топтать и разбивать дубинками горшки с молоком, крушить решета с сыром и вспарывать истекающие каплями животы мешочков с творогом. Трое из них схватили соседа-

пекаря, подвесили за ноги на тополе и разожгли под его головой большой примус из-под молочных котлов.

Притаившаяся в водоеме Мириам вдруг заметила, что Салоמו Ихезкиль исчез. Обезумев от тревоги, она выкарабкалась из ямы наружу, стала озираться в поисках ребенка и тотчас увидела озверевшего пастуха, окровавленное тело своего мужа и ребенка, который полз, улыбаясь, к отцу, чтобы поиграть с ним.

— Ибрагим, что ты делаешь, Ибрагим? — закричала она.

В это мгновение, в тот миг, когда она увидела мертвого мужа и живого сына, в ней разом рухнули вдруг все устои. Путы традиции, цепи страха, сита обычаев, затычки запретов, все, что когда-либо сковывало ее тело и разум своими удушающими пальцами, — все исчезло. Ее глаза, уши, нос, рот — все разверзлось. Бутоны чувств, точно ждущие знака крохотные цветки пустыни, прорезались и расцвели по всему ее телу. С огромной ясностью и за мельчайшие осколки времени они уловили каждую деталь. Ее руки ощущали вкус. Ее груди видели. Ее плечи обоняли. Ее влагилице превратилось в ушную раковину, которая слышала гул всего мира: Элиягу, лежащего между ногами Ибрагима, его муку, ее любовь, ее маленького сына, с улыбкой ползущего к пастуху, тяжелое дыхание погромщиков, ее собственные крики — и сшивала все эти клочки воедино, помня, что все это время сыр продолжает створаживаться, а йогурт продолжает бродить.

Мириам хотела схватить сына и вернуться в яму, но Ибрагим одним ударом дубинки размозжил ребенку бедренный сустав и в длинном прыжке швырнул ее на землю. Он оттянул ей шею и сжал ее голову между своими костистыми коленями. На какую-то долю мгновения его кривой нож завис над ее горлом и в следующий миг выковырнул ее левый глаз, как дрозды выклеывают улитку из ее раковины.

— Ибрагим, что ты делаешь, Ибрагим? — застонала Мириам, даже сквозь свою муку удивляясь твердости колен пастуха, потому что они причиняли ей еще большую боль, чем его нож.

Ибрагим порвал на ней платье и рассек пояс, который скрывал ее великолепии. Ее легендарные груди впервые открылись чужим глазам, ослепительные в своем блеске, теплые и трепещущие, как птицы. Ноги пастуха на миг обмякли, словно он собирался стать на колени перед открывшейся его глазам великой истиной, более резкой, прекрасной и пугающей, чем любые догадки, но уже в следующее мгновение он пришел в себя, выругался и, схватив ее правую грудь, отрубил ее своим ножом. Тяжелые завесы крови и боли накрыли ее лицо, заслонив насильников, которые уже столпились вокруг нее и расстегивали свои пояса.

Два часа спустя, когда звуки разрушения перестали грохотать среди каменных стен, ушли в пыль и заглохли и последние крики резни и похоти уже впитались в камень и тоже умолкли, испуганные соседи выползли из своих дыр, накрыли мертвых и стали искать пропавших, а женщины принялись перевязывать страшные раны Мириам и очищать ее тело от сгустков крови и спермы. И тут вдруг послышался хриплый, клокочущий плач Саломо Иhezкиля, поднимавшийся из преисподней водоема. С разумностью зайчонка, ребенок уполз, волоча за собой разможенную ногу, и спрятался в одну из жестянок, погруженный до самого носа в алеющие куски болгарской брынзы. Его извлекли оттуда, принесли к матери, и она схватила его, как утопающий соломинку, сунула сосок левой груди ему в рот и стала кормить, не переставая.

— Ибрагим, что ты делаешь, Ибрагим? — кричала она всю ночь, истекая кровью и молоком.

Утром ее отнесли к доктору Бартону, и тот промыл ее раны, перебинтовал глаз и стянул швом края отрубленной груди. Черные и синие слезы текли у него из глаз, и плач рвался сквозь стиснутые зубы.

Через несколько недель, когда ее грудь зарубцевалась, пустая глазница закрылась и бедро ребенка срослось, Мириам отстирала свой нагрудный пояс от крови, сшила из него наплечный мешок, как у феллашек, посадила в него Саломо Иhezкиля и покинула Иерусалим. Она вышла через Шхемские ворота, и, когда проходила возле Мозаики Орфея и вспомнила монологи немых актеров, которые Элиягу произносил в соседней мельнице, страшная мука стиснула ее сердце. Воздух всколыхнулся, и крылья мельницы задрожали. Но это движение было таким слабым, что его не ощутил никто, даже суетившиеся на экране актеры.

## ГЛАВА 42

— Три часа ночи, дождь, как из ведра, и тут вдруг входят двое. Солдаты — полумертвые, вымокли до костей, дрожат от усталости, от холода. У нас здесь, в наших местах, армия зимой и летом проводит учения по ориентировке на местности, и эти бедняги просто с ума сходят, когда слышат среди ночи запах пекарни. Знаешь ведь, каково человеку, когда ему холодно и он скучает по дому. Ради куска хлеба, горячего, прямо из печи, бросаешь все, бежишь сломя голову. И тут, на тебе! — кто этот третий, который тоже входит и бросается меня тискать? Биньямин! Хэлло, отец! Как то «хэлло», что вы с Леей говорили. И пока он меня обнимает, я чувствую, как он вырос и как мало мы обнимались, когда он был ребенком. Как мало мы вообще обнимались. Пока он рос у меня на руках, я ничего не замечал — этот вес, мускулы, этот рост. Я кинулся будить Лею, принести им переодеться, и когда я возвращаюсь — что я вижу? Биньямин, как был, промокший, усталый, стоит возле гарэ и сует в него поддоны.

Я здорово удивился. Он никогда не был особенно старательным. Ни в пекарне, ни в школе. А когда ему исполнилось шестнадцать, он вообще перестал учиться. Бывало, исчезал на целые дни. Я не беспокоился. Чтобы быть пекарем, не обязательно кончать университеты. Он и так ничему там не учился, только тренировался по бегу и гонял за девчонками. Единственное, из-за чего я с ним вечно ссорился, — чтобы он остался после меня в пекарне, чтобы пекарня не умерла вместе со мной. Я ему все время говорил: «Я оставлю тебе пекарню, Биньямин, большим богачом ты не станешь, но заработок у тебя будет». А он отмалчивался. Посмотрит, бывало, на меня и не отвечает. Пока однажды не сказал: «Я не хочу, я решу после армии, твой брат тоже не остался в пекарне, может, я все-таки надумаю учиться, может, захочу поездить, а может, останусь на сверхсрочную после действительной. Я не хочу на всю жизнь застрять в этом тесте».

И тут я понял, что ему не очень-то нравится делать то, что делаю я. И то, что он тебя упомянул для примера, мне тоже было не по душе. Мы даже немного покричали. Ты думаешь, ты лучше, чем твой отец? Что это за разговоры — «застрять в тесте»? Я погорячился и поднял на него руку, а он поднял свою — вот так! — и схватил меня за руку, вот здесь. — Яков улыбнулся. — Ты не поверишь, ему было тогда семнадцать. Ростом он не дотянул до нашей матери, но всю ее татарскую силу от нее заполучил.

Жаль, что ты его не знал, в этом он был, как ты, и как мать, и как ее братья. Я и сам не слабак, достаточно мешков и поддонов перетаскал в своей жизни и тонны теста перемесил вот этими руками, но поверь мне — его рука на моей была, как рычаг тестомешалки.

Он поднялся и принялся ходить по веранде — пальцы растопырены, обрубок дрожит, как хвост ящерицы.

— Не бей меня, отец, сказал он, не надо! Он меня испугался. Испугался отца, как маленький ребенок, только ребенок с силой взрослого, очень сильного взрослого. Ну, мы посмотрели друг на друга таким манером и после этого месяца два не разговаривали. Но когда он начал готовиться к армии, вот тут он меня удивил. Потому что сила силой, но парень он был довольно-таки ленивый и ничего всерьез не принимал. Ему бы только танцевать с девочками и получать удовольствие от жизни. И вдруг — именно туда, именно в этот сраный спецназ.

И ты знаешь, я уверен, — Яков снова сел, и голос его вдруг стал низким и влажным, — я уверен, что всякий раз, когда Лея просыпается хоть на несколько минут, она думает именно так — что это я его подтолкнул пойти в спецназ, чтобы там из него сделали человека. «Ты хотел, чтобы он погиб, — так она, наверно, говорит там, в темноте. — Еще когда он был маленький, ты с ним ссорился и не хотел его». Но понимаешь — как раз перед армией, в те месяцы, когда он бегал по полям и накачивал мускулы, он вдруг надумал помогать мне в пекарне, и мы стали, наоборот, ближе друг к другу. Он начал понимать мою работу, а я начал понимать его жизнь и перестал к нему придирааться. И потом, в армии, я очень им гордился — тем, что он справляется, что ему удастся, что его там ценят. И в поселке тоже, когда он приходил, в этом спецназовском черном берете и с маленькими крылышками на груди, люди начали здороваться уважительно, и что слышно у вашего сына, и все такое.

И вдруг он появляется среди ночи, весь мокрый от дождя. Я дал им свежего хлеба и кофе, нарезал помидоры, сыр и колбасу. Быстренько пожарил на поддоне несколько яичниц с хлебом, и Лея тоже встала с постели и побежала приготовить им бутерброды, и шоколад, и мандарины в дорогу. Я сказал ему: подожди минутку, Биньямин, я разбужу развозчика, чтобы он подбросил вас к вади на хлебном грузовике. Но он не согласился. Даже то, что они сюда зашли, и то против правил. Если их поймают в самоволке, они тут же вылетят из спецназа. И они вышли из пекарни и пошли искать в темноте какую-то «геодезическую отметку» в вади Синдиана. Мы когда-то мальчишками воровали там финики и персики, а теперь они называют это «геодезическая отметка». Я посмотрел на него,

когда он выходил со двора, и подумал — может, он, в конце концов, все-таки вернется в пекарню? Я ничего не сказал, только сердце у меня как-то дрогнуло. Может, мы могли бы стать, в конце концов, друзьями? А может, нет, теперь уже не узнать.

Он опять встал.

— Вот и всё, — сказал он. — Не похоже на рассказ из книги, правда? Никогда уже не узнать.

Никто из нас не заметил Роми, но через три дня появилась фотография. Я сижу. Обе руки в карманах. Яков стоит напротив, его руки растопырены в жесте продавщиц деликатесов, когда они объясняют, что у них кончились албанские анчоусы. На столе между нами — маленькая миска с фруктами. Я босиком, и большие пальцы ног торчат, как два толщенных рожка на голове улитки.

— Ты такой смешной, дядя, с этими торчащими пальцами. О чем ты думал, когда отец произносил свою речь?

— Он неважно выглядит, твой отец, — сказал я.

Фотография углубила морщины, выжженные на шее моего брата, пригасила его глаза. Проблески старости уже сигналият мне из его тела профессионального пекаря. Точно зарницы далеких бурь над Атлантическим океаном. Уменьшается ловкость пальцев, что каждый четверг проверяется в плетении хал. Тело зияет вмятинами и трещинами. Глаза — красные и воспаленные от мучной пыли и печного жара — доставляют постоянные мучения. Когда он стоит в яме, сажая буханки в нутро печи, плечевые суставы издают странные потрескивания — верный признак пересохших тканей. Только тренировка и опыт еще компенсируют постепенную утрату сил, только заученность движений — постепенную утрату ловкости. Он вдруг напоминает мне Акелу — старого волка из «Книги джунглей», который уже не мог повалить оленя. И я почти слышу, как с фотографии доносится типичный кашель хлебопека — результат постоянного, многолетнего раздражения легких мукой.

Я, напротив, не страдаю никакими недугами — если не считать нашей общей близорукости. (Сегодня мы оба добрались до девяти диоптрий в левом и семи — в правом глазу, и врач уже предостерег Якова, чтобы тот не вздумал поднимать мешки с мукой, потому что это грозит отслоением сетчатки.) У меня не ubyло ни тела, ни волос. Мои члены сохраняют прежнюю гибкость и силу, и я никогда не испытывал по-настоящему сильной боли или, точнее, — боли без причины, что куда важнее. Только одно недомогание докучает мне по временам, этакое ощущение удушья и каменной тяжести в диафрагме, словно цементное тесто набухает меж

моими легкими, да иногда еще — с тех пор, как я приехал сюда, — режущая боль в паху. Боль острая и короткая, унижительная, но терпимая.

Подобно большинству людей, я тоже вижу свое тело как единое целое, но Яков стареет неравномерно — как горящая спичка, которая вся изгибается от неравномерности своих страданий. «Боль должна быть одинакова во всем теле», — говорит отец, не зная, что он повторяет последние слова знаменитого падуанского врача Тувии Акоэна. Руки Якова старше других частей его тела. Его ладони затвердели и стали шершавыми от рукояти хлебной лопаты, кончики пальцев покраснели от постоянного соприкосновения с дрожжами и броматом, а тыльная сторона ладоней обгорела и сморщилась от жара кирпичей. Пекари обычно надевают рукавицы, когда вынимают выпеченный хлеб, но сажают буханки, как правило, голыми руками—для большей точности и быстроты. Яков вообще не пользовался рукавицами.

Годы, прошедшие в кругу неизменных природных процессов, железных правил брожения и набухания, вечных ритуалов смерти и возрождения и испытанных тысячелетиями движений, наделили его на редкость интимным знанием и пониманием собственного тела. Ему довелось видеть, как хлебные лопаты укорачиваются от трения и жара и как наш отец тоже съеживается в размерах, пролагая и ему самому путь к такой же старости — к тому дню, когда у него уже не останется сил дышать пылающим воздухом, перетаскивать мешки и поддоны, принимать вернувшийся из лавок нераспроданный хлеб.

— Когда-нибудь я просто свалюсь, — сказал он мне, — и так и умру здесь, в этой яме.

## ГЛАВА 43

В больнице Яков провел три дня — лежал с перевязанной рукой на груди, кровоточил, бредил и затихал, ругался и сквернословил. Его грязная, изощренная брань привлекала к кровати врачей, больных и сестер — не понимая ни слова, они улавливали интонации и не могли поверить собственным ушам. Его трясла дрожь, температура то поднималась, то падала, лицо сморщилось и стало сосредоточенным, как у новорожденного, и я понял, что он выздоровеет и встанет другим человеком.

Мать, Шимон и я по очереди дежурили возле него. Очнувшись и увидев, что я сижу у кровати, он с силой схватил меня за руку и сказал:

— Я не терял сознание — я просто думал с закрытыми глазами.

Он улыбнулся, и я понял, что был прав. Прежние, знакомые черты лица к нему уже не вернулись.

— Нельзя, чтобы любовь причиняла человеку такую боль, — сказал он и повторил еще и еще раз, будто заучивал одну из великих истин Идельмана и выжигал ее на собственном теле.

— Она дважды приходила проведать тебя, но мать ее прогнала, — сказал я.

— Правильно сделала, — сказал Яков, не объяснив, кого из двоих он имел в виду.

Домой он вернулся бледный и обессиленный, уселся в раздвижном кресле на веранде и снял перевязку с руки, чтобы рана быстрее сохла на воздухе и солнце. Так он сидел долгими часами, то открывая, то прикрывая глаза, поворачивал ладонь, словно ленивый цветок подсолнуха, и зашитый обрубок его пальца дрожал и намокал, весь еще черно-багрово-фиолетовый.

Его любовная жертва наполнила мать ужасом и гордостью.

— У Якова огромная душа, — провозгласила она.

Подошел Иошуа Идельман и сказал:

— Отрезал для нее палец он отрезал.

— Нет такой бабы, ради которой Ицик сделал бы такое, — сказал его сын, который к тому времени уже обзавелся привычкой курить и стряхивать пепел отвратительным, манерным прикосновением кончика указательного пальца.

Шену Апари, милый Тартарен любви, тоже пришла, всплеснула руками, сказала: «*Quelque chose*<sup>[88]</sup>» — и объявила, что даже «у нас в

Париже» такого не увидишь.

Дудуч погладила раненую руку брата и бережно положила ее на свою единственную грудь, а двенадцатилетний Шимон, казнивший себя, что не был в пекарне во время несчастья, на следующую ночь перебил всех крыс, с которыми мать воевала уже добрую дюжину лет.

Я и сегодня содрогаюсь при воспоминании о той ночи. Перед вечером Шимон разделся до трусов, взял на кухне кусок колбасы, хорошенько натер ею свои ноги и с наступлением темноты отправился в пекарню. Я забрался на трубу и стал прислушиваться к происходящему. Не было слышно ничего, только крысы возбужденно посвистывали внизу, да каждые несколько минут раздавался хрустящий звук, как будто кто-то раскалывал пальцами скорлупу миндаля. Потом выяснилось, что Шимон уселся у дверей склада, вытянув ноги поперек входа, точно огромную безмолвную наживку. Запах колбасы, который исходил от него, настолько возбудил крыс, что они не могли устоять от соблазна. Как только его голень ощущала скользящие по ней щетинки крысиных усов и касание зубов, нащупывающих в темноте, куда бы впиться, он выбрасывал вперед свою видящую и невидимую руку и одним нажимом большого и указательного пальцев ломал крысе хребет. В час пополуночи, когда мать пришла на работу, Шимон преподнес ей ведро, полное вражеских трупов, а полученные им в награду сладости Яков позднее обнаружил возле своего кресла.

Брат не покидал веранду в течение месяца. С утра он усаживался в раздвижное кресло и поздно вечером возвращался в постель. К зеркалу на трубе он больше не поднимался, свой прислушивающийся живот решительно отъединил от земли, на улицу и в поля выходил теперь редко, опасаясь встретить там Лею или следы ее ног, и по той же причине попросил меня снова развозить хлеб одному.

В доме Левитовых Лея встречала меня тревожными взглядами.

— Не беспокойся, от этого не умирают, — говорил я.

Она попросила меня передать ему письмо с извинениями, но я сказал: «Тебе не в чем извиняться» — и не стал ей рассказывать, что Яков посвящает теперь все свое время методичному выпалыванию тех цепких репейных корешков, которые она пустила в его душе. И не потому, что он перестал ее любить, — напротив, теперь его любовь стала тяжелой и жаркой, как печной под, — а потому, что понял, что на таком кровоточащем фундаменте ничего основательного не построишь.

Давний сильный замес фамильного гонора внезапно проснулся в нем.

— Я никого не виню, — сказал он. — Я просто не хочу ее больше,

понял? Если она тебя послала, можешь ей это передать, а хочешь—можешь вообще взять ее себе.

— Может, тебе пойти в армию? — предложил я. Несколько ребят из поселка записались тогда в британскую армию.

— Это не для меня, — сказал Яков. — С такими глазами нас никто не возьмет воевать, а сидеть в тылу я могу и дома.

Этот мизинец страдания долго не заживал, так и оставив его с содранной кожей, ранимым, как вытащенный из норы слепыш, и тот мясницкий нож, что отрубил ему палец, решил также его судьбу. Вот так, ножом, а еще раньше очками, отец разделил наши с братом пути.

## ГЛАВА 44

— В моих какашках, извини меня, я вижу кусочки.

— Какие кусочки? — вскипел я. — Что за какашки ни с того ни с сего?

Отец глянул по сторонам и беспомощно развел руки, привлекая внимание незримых родственников к своему бестолковому сыну.

— Кусочки меня самого и моего тела, — вздохнул он. — Из моих кишок, из печени, из селезенки, из моих внутренних органов.

Видимо, он прочитал на моем лице скептицизм, потому что тут же предложил мне поглядеть самому.

— Я нарочно не спустил воду. Сохранил для тебя, чтобы ты увидел.

— Даже не подумую. И прекрати это все, наконец.

Отец все больше уходит в себя. Собственное тело становится для него всем миром, средоточием всех его интересов и внимания. Порой, когда я пытаюсь с ним о чем-то поговорить, он вдруг замолкает посреди разговора с отсутствующим взглядом и слегка приоткрытым ртом. Я уже знаю, что в такие минуты он прислушивается к гулу своей плоти, к напряженному шуму крови, к шелестящему листопаду своих тканей. Я бы сказал, если хочешь, что в свои восемьдесят пять лет он вернулся в пору подросткового созревания. Испуганно и возбужденно проверяет те вести, которые возвещают ему его органы. Временами сообщает мне кратко, с удивлением, что вытворяет с ним его тело, — данные наблюдений, жалобы и выводы. Страдания и старость обогащают его наблюдательность, посещения клиники боли шлифуют метафоры.

— Надломленный посох и продырявленный бурдюк, — описал он свое состояние восхищенному врачу. — Мое ухо слышит звуки изнутри, а не снаружи. У меня там морской шум, как тот, что господин доктор, ваша честь, слышал внутри раковины, когда был ребенком.

Как-то раз он сравнил свои боли с «чужими родственниками, которые по ошибке забрели в мой дом», и, увидев, что доктор с явным удовольствием записал его фразу в блокнот, понял, что напал на золотую жилу. Теперь он изобретает и детализирует для него названия своих болячек: «Подлый разбойник в колене», «эль дьяболо в спине». И злейшая из всех — боль в животе, «мерзкий турок страданий в желудке, эль долор де истомого». Он рассказал врачу какую-то притчу—из «Книги Судей», по его многозначительному замечанию, — о предателе, который показал врагам тайный проход в стенах Бейт-Эля. «Вот и у меня в теле такой

предатель, господин доктор, — показывает болям, как войти».

С Яковом они давно в размолвке, и за эти долгие годы в душе отца скопилось великое множество тревог. Сейчас, когда у него появился слушатель, он изливает свои жалобы в мои уши. Обвиняющим перстом привлекает мое внимание к утрате симметрии тела. Жалуется, что морщины в углах рта, те линии, что придают лицу выражение значительности и жизненной мудрости, теперь какие-то неодинаковые: правая стала более глубокой и жесткой, а левая—какая-то мелкая и дряблая. Вытянув ладони вперед, прикладывает кончики пальцев друг к другу и утверждает, что левая рука стала короче.

— Только тебе я могу рассказать, — прошептал он. — Посмотри мне в глаза. Что ты видишь?

— Немного желтоватые, — сказал я. — И один глаз чуть покраснел.

— Пунтикос! — сердито воскликнул он. — Чепуха. Ты не видишь?

— Что я должен увидеть?

— Левый ниже правого! — Он обхватил мою шею слабыми руками, приблизил губы к моему уху и прошептал: — И то же самое внизу, где яйца. Левое ниже, чем правое, «да не узнают об этом враги наши в Гате».

— У всех так, отец, — расхохотался я. — Одно всегда ниже.

— Не смей так говорить, — одернул он меня. — Этому ты научился в Америке? Что за слова я слышу? Боко де жора!<sup>[89]</sup> Не рот, а сточная канава!

Он защипнул двумя пальцами дряблое мясо на своей груди и потянул его, как, бывало, делал, проверяя консистенцию теста.

— Покойник, — диагностировал он.

Он упрямо продолжает бриться опасной бритвой, и сочетание убийственного лезвия и дрожащих рук возвращает на его щеках и подбородке клумбы алеющих бумажных цветов, пока не делает его похожим на ободранного цыпленка, вывалявшегося в конфетти. Он забывает снять маленькие кусочки туалетной бумаги, что наклеивает на порезы, и эти окровавленные клочки, постепенно отпадая, порхают затем по всему дому, как крохотные обрезки крайней плоти.

Как-то утром я побрил его своей электрической бритвой. Он пощупал щеки и подбородок и одобрительно кивнул. Затем взял бритву и тщательно исследовал ее со всех сторон.

— Жужжит, — огласил он свой приговор. — Как нильская муха на окне фараона. — И вернулся к той же своей страшной опасной бритве и к тому же древнему зеркальцу для бритья.

Мы пили утренний кофе. Снаружи распевали черные дрозды. Через окно я увидел Якова, который открывал ворота для хлебного грузовика, и

вышел, чтобы помочь ему погрузить ящики.

— Иди, иди, — сказал он. — Еще спину надорвешь.

Грузовик выехал со двора, и Шимон пошел прибраться в пекарне. Я вынес брату чашку кофе на веранду. Двое мужчин прошли мимо забора, и Яков кивнул им. Оба были нарядно одеты, у каждого в одной руке портфель, в другой — пластиковая сумка с покупками. Они посмотрели на нас и слаженно поклонились.

— Доброе утро, — сказали они.

— Утро доброе, — ответил брат.

— Вы не приходите к сыну, — сказал тот, что постарше, как будто всего лишь констатируя некий факт, а второй печально улыбнулся и покачал головой.

— Я прихожу, я прихожу, но не каждое утро, — ответил Яков.

— Кто это? — спросил я, когда они прошли.

— Коллеги по кладбищу, — сказал Яков. — Отсюда, из поселка. Ты не видел их еще? Каждое утро по дороге на работу идут туда побеседовать с сыновьями. Один раз тот, что помоложе, пришел поговорить по душам. Рассказал: «Мы с женой спим вместе, но плачем порознь, она больше не смотрит ни в зеркало, ни на меня». Понимаешь, она злится на зеркало, что не похожа на своего мертвого сына, и злится на мужа, что он ей этого сына сделал. Ты не поверишь, что он мне еще сказал: «Твое счастье, что твоя Лея все время спит и тебе не приходится видеть ее открытые глаза».

Яков снял ботинки и шумно вздохнул. Долгое стояние у печи, утверждает он, калечит спину и укорачивает ноги. Теперь он высвободил большие пальцы ног, и его лицо сделалось мягче.

— Делить удовольствия — большого ума не надо. Достаточно года совместной жизни, и всякая женщина уже знает, каким способом ее муж получает удовольствие. Но ни одна из них не знает, каким способом он скорбит. Что ты на меня уставился? Что ты вообще об этом знаешь? Что ты вообще знаешь о жизни? Было время, когда я думал, что знаю Лею так же, как знаю каждый кирпич в печи. Сколько молока в кофе, сколько лимона в чай. На рассвете я выбегал на минутку из пекарни приготовить ей зубную щетку и положить пасту, точно как она любит, чтобы все это уже ждало ее на умывальнике. Всё. Маленькие капризы, большие капризы. Пока Биньямина не убили и я увидел, что не знаю ничего. Скорбью и страданием поделиться нельзя. Это тянут на себе в одиночку. Не открывают никому.

Бессонная ночь, памятник сына словно каменная стена между ними, и каждая былая размолвка становится страшной раной, обвиняют себя совместно и себя по отдельности, а главное — друг друга. А этим поцам

главное — сделать мне замечание, что я не хожу к Биньямину. Можно подумать, что я должен отбивать карточку на его могиле. Но я тебе скажу — когда наши сыновья были еще детьми и были живы, эти двое объявили мне войну, хотели выжить пекарню из поселка. Бедняга Биньямин — с тех пор как его убили, никто не осмеливается меня задеть. Теперь они вдруг мои лучшие друзья. Ты не ходишь к сыну... почему тебя не видно... приходи на эту церемонию... приходи на ту церемонию...

— Я тоже не хожу, — сказала мне Роми. — День памяти — это для тех, у кого в семье нет убитых. А для нас это безумная беготня ко всем камням и стенам, где написано его имя. Кому это нужно? И так не проходит дня, чтобы я не думала о нем, и для меня день поминовения — когда я его видела в последний раз. У меня есть даже его последняя фотография. Вот такая огромная. Чего ты смеешься, дядя? Как тебе не стыдно?

В ее комнате есть тумбочка с десятками плоских ящичков: «Цитология», «Эмбриология», «Биньямин», «Споры растений», «Семья», «Проект», «Мой отец», «Мой отец», «Мой отец»... Пятнадцать ящичков «Мой отец», призванных в итоге образовать ту выставку, которую она хочет сделать о нем.

Ее деревянные босоножки стучат по полу. Она выуживает из ящика «Биньямин» большую фотографию: он в форме, спиной к камере, только лицо повернуто назад — немного удивленное, но веселое и улыбающееся.

— Это было воскресное утро, он вышел со двора на большую дорогу, чтобы поймать там попутку на базу, а я побежала за ним и крикнула: «Биньямин!» Он повернулся, а я нажала на спуск и поймала его. Это придает людям очень интересное выражение. Из-за неожиданности и еще потому, что у них напрягаются шейные мускулы. Когда-нибудь, когда я кончу с отцом, я сделаю специальную выставку таких снимков. Я уже придумала для нее название. «Выстрел в спину». Я буду окликать людей сзади и фотографировать, когда они обернутся.

Яков допил свой кофе, спустился с веранды, закрыл ворота и вытер руки о штаны.

— Ну, что, пошли поедим?

## ГЛАВА 45

Как-то раз, перед вечером, вернувшись от Леи, я увидел двух медососов, которые стучались в сетку кухонного окна, — самца в его черно-зеленых, немислимой прелести переливах и самку в ее серенькой скромности. Я распахнул окно. Крохотные птички, которые обычно кормились сладостью цветов жимолости и никогда не проявляли интереса к людям, впорхнули внутрь и направились напрямиком к плечу Якова.

Отец глянул на них, покачал головой, а потом принялся к оцетинившейся волосками коже брата, провел по ней пальцем и сунул его в рот.

— Углом, — сказал он, — у тебя сладкая кожа. Ты знал об этом?

Яков раздраженно ответил, что не знал, но, на его счастье, Господь даровал ему такого всезнающего и зоркого папашу.

— Вспыхивает, как спичка, этот пележон<sup>[90]</sup>, — заметил отец и объяснил нам, что сладкий пот — это «знак». — Тебе нужна женщина, — сказал он.

— Кто бы мог подумать! — проворчал Яков, а я рассказал анекдот о трех увлечениях гувернантки из Берлина и добавил:

— Кому в нашем возрасте не нужна женщина...

— Откуда у вас такие слова, дети? — удивился отец.

— Ну вот, сейчас начнется! — Яков хлопнул меня по плечу. — Нам нужна женщина, а он уже приготовил для нас какую-то притчу.

— Пекарь Эрогас, светлой памяти, был такой сладкий, что муравьи так и лезли ему на ноги... — начал отец.

— Так, поехали, — застонал брат.

— Дети бежали за ним по улице и лизали его... — продолжал отец.

— То-то у него все время стоял, — шепнул я брату.

— Как тебе не стыдно! Не смей так говорить! — прикрикнул на меня отец и повернулся к Якову со странным выражением гордости. — А ты не смейся! Это у тебя из Иерусалима. Здесь такого нет ни у кого. Этому, — он показал на меня, — нужен только он сам. Но тебе, углом, тебе нужна женщина.

— Только тебя нам не хватает, чтобы понять, что нужно ему и что нужно мне! — Яков смахнул с плеча двух опьяневших птичек и вышел из кухни во двор. Я так и не понял, на кого он сердился — на отца, на меня или на свою собственную кожу, предательницу и сплетницу, выдавшую

секрет его плоти.

Отец высунул голову в окно и крикнул ему вслед:

— Ты зря сердишься. Все проходили через это. Ты что, думаешь, ты сам это выдумал? — И повысил голос: — Это еще цветочки. Потом будет хуже.

Следующие недели Яков был неразговорчив и временами настолько замкнут, что я снова не мог разгадать, что он думает. Он целыми часами о чем-то размышлял, осторожно поглаживая обрубок пальца, хорошо зарубцевавшийся, но и по сей день очень чувствительный к прикосновениям, а когда отправлялся спать, почему-то не снимал очки. Возвращаясь из школы, я то и дело обнаруживал его за каким-нибудь бессмысленным занятием в пекарне. То он выстраивал тяжелые мешки с мукой ровными рядами, то счищал гарь с хлебных лопат, то драил пол и скребки для поддонов, а затем вдруг объявил, что необходимо облицевать стены пекарни керамическими плитками.

— Пусть обойдется во что угодно, лишь бы смыть, наконец, все это дерьмо!

Все наперебой принялись объяснять его поведение.

Отец утверждал, что его сын демонстрирует хорошо известную и болезненную чистоплотность людей, которые страдают сердцем и оттого ведут себя, «как та курица, на яйцах которой написали Книгу Иова».

Шену Апари сказала:

— Оставьте его. Такой любви, как у него, каждый учится в одиночку.

Тия Дудуч полагала, что Яков проявляет признаки несущки, присущие женщинам на сносях, но никак не могла выразить это словами.

А мать провозгласила, что «Яковино желание» — занять себя работой потяжелее, чтобы хорошенько пропотеть. «Это он вычищает себе в теле», — объясняла она с гордостью и радостью, ибо не была теперь одинока в своих собственных любовных маневрах и сражениях.

А я? Мне Яков казался маяком, который по ошибке построили посреди суши, и вот он сигнализирует невидимым и никогда не приближающимся кораблям. Лее же я говорил, что, в отличие от других мужчин, которые проявляют признаки любви лишь в определенные времена года или в тот момент, когда в поле их зрения появляется любимая женщина, мой брат распространяет невнятные сигналы, когда ему вздумается и даже в совершенно безлюдную пустоту. Он завел привычку вздыхать, как старик, жевать во сне и — о чудо! — попросил у меня совета, что бы такое почитать. Смутное беспокойство наполняло его тело, и он стал похож на престарелого материнского гуся, который пережил уже всех своих

сверстников, но именно сейчас, на старости лет, вдруг вновь ощутил страсть к скитаниям, свойственную его диким предкам. Правда, теперь уже не было нужды подрезать ему крылья, потому что он больше не бегал по двору и не хлопал крыльями, а только поднимал и вытягивал свою белую шею, раскрывал клюв, трясся, шипел и падал на землю.

— В один прекрасный день к нам в пекарню придет женщина и скажет, что учуяла наш хлеб, — заявил Яков со странным фатализмом, этим мерзким порождением отчаяния и невежества.

— И что тогда?

— Я буду знать, что это она, — сказал он. Никого не спросив, он разобрал рабочий стол в пекарне и вынес доски во двор, чтобы почистить их испытанной смесью лимонного сока, пепла и миртового масла. Но когда он принялся скрести поддоны, тут уж отец взвился от гнева. Старые пекари любят ту гарь, которую время осаждает на их рабочей утвари.

— Прекрати немедленно! — крикнул он. — Ты что, хочешь, чтобы хлеб приставал?

— Это грязь, — сказал Яков.

Отец вырвал поддон из его рук:

— Это то, что придает вкус! Посмотри, и ты сам увидишь. — Кончиком ногтя он соскреб черный налет жира, муки и сахара, скатал его в липкую вермишелину и с наслаждением понюхал. — Это память о нашей работе, эта грязь.

А пустое зеркало, освободясь от любви, все покачивалось на крыше, точно осиротевшее крыло, посылая проклятья своих лучей случайным прохожим. Проходя мимо него, я не поднимал глаз, потому что оно и меня уже ударило однажды своим лучом и только слезы спасли меня от слепоты, от этого добела раскаленного меча, от танцующих нижегородских цыганок.

— Смотри, покуда смотрится! Смотри, покуда смотрится!

Михаил Отрогов не упирался и не противился. Ничего не существовало сейчас для него, кроме матери, от которой он не отрывал глаз. Вся его жизнь сосредоточилась в этом последнем взгляде любви.

— Смотри, покуда смотрится! Смотри, покуда смотрится!

— Хочешь, чтобы я поговорил с госпожой Левитовой? — допытывался отец.

— Нет, — ответил Яков.

— Ты знаешь, на кого ты похож? — продолжал отец. — На старую лягушку из бассейна Хизкиягу, которая каждый год приходила к ашкеназам слушать молитву Кол-Нидрей.

Молчание.

— Так я поговорю?

— Нет! — вскипел Яков. — Я с ней покончил.

— Нехорошо, — сказал отец. — Это была бы честь для всей нашей семьи, и для ее тоже.

— Не лезь ты со своим гонором в это дело, — сказал Яков. — И не разыгрывай из себя свата.

— Что с тобой, Яков? — спросил отец. — По правилам сначала приходит женщина, потом любовь, и только в конце сумасшествие. А у тебя все наоборот.

Яков промолчал.

— Ты еще найдешь себе женщину, углом, — пытался утешить его отец. — Но для этого вовсе не нужно бегать кругами, как тот негр, который съел кошачий хвост.

— Как кто? — вскричал Яков страшным голосом. — Как кто?

— Как негр, который съел кошачий хвост, — сказал отец. — Разве ты не слышал о черном евнухе, который украл аскадины<sup>[91]</sup> из сада царицы Рокселаны?

Яков встал, грохнул дверью и отправился в свой очередной круг по деревне. Я не раз видел, как он шагает по улицам, — подобно арабскому аптекарю, проглотившему кнаффе<sup>[92]</sup>, по выражению отца. Лично мне это его вышагивание напоминало, скорее, писца-ассирийца, который потерял какую-то важную вещь и не может вспомнить какую. Проходя мимо открытого окна, он замедлял шаги, поправлял очки на переносице и стеснительно заглядывал внутрь — словно Дудуч в поисках очередного ребенка, который облегчил бы тяжесть в ее груди.

Постепенно он расширил круги своих поисков и начал бродить по цитрусовым рощам и виноградникам.

— Где ты ищешь? — донимал его отец. — В поле? Ты что — осел? Там ты найдешь одни колючки, мышей и гадюк. Пойди побрейся, оденься по красивей, причешись, побрызгайся одеколоном, поезжай в город, познакомься с людьми, покажи себя.

Каждую пятницу, по завершении «последней печи», Шимон отправлялся к Бринкеру взять мешок ободранных кукурузных початков из-под его молотилки. Этими початками он растапливал котел с водой для нашего общего еженедельного горячего душа. Печная труба урчала глубоким басом, тия Дудуч выдавала каждому из нас брюки хаки и отглаженную ею белую рубашку, и после ужина я отправлялся к Лее. Помывшийся, принарядившийся, причесанный, пахнущий одеколоном.

Иногда, возвращаясь от нее, я видел брата, шагавшего по темному полю. Бринкер, который к тому времени стал охранником и дежурил по ночам, рассказывал матери, что видел, как Яков пересекает проселочную дорогу, ведущую из поселка на север. Застигнутый светом фар случайного грузовика, он на минуту застыл, прикрывая лицо руками, а потом исчезал в придорожной канаве, как испуганный полевой зверек.

## ГЛАВА 46

К сорока пяти годам Бринкер, некогда один из столпов поселка, утратил весь свой былой авторитет. Не было человека, который мог бы вынести поток невнятицы, изливавшийся из его рта, но не было и такого, кто не пытался бы использовать поразившую его афазию. Мертвая Хая хотела выжить его из дома. Соседи хотели перекупить его хозяйство. Ноах мечтал о наследстве. А сам Бринкер, который был умнее их всех, никому не возражал и ни с кем не спорил. Притворившись дурачком, он продолжал выращивать овощи, затеял разводить клубнику, продавал свою замечательную продукцию тель-авивскому отделению «Спини» и извлекал из своей болезни максимум возможного.

Когда ему принесли на подпись договор о продаже хозяйства, он радостно сказал:

— Позавчера тоже да карандаш только если не четыре, — и вышел из комнаты, словно собираясь сейчас же вернуться, но не вернулся, поскольку все и так ожидали, что он забудет.

Когда Ноах стал настойчиво требовать, чтобы он отправился в такое место, «где они смогут за тобой ухаживать, папа», Бринкер ответил:

— Если я конечно а также никто никто также мне, — поморгал своими голубыми глазами, улыбнулся глуповатой и радостной улыбкой в знак согласия и тут же уснул, положив голову на стол.

Что же до Мертвой Хаи, то тут Бринкер проявил себя во всем великолепии. Он неотступно следовал за ней и оплетал своими извилистыми, бессмысленными фразами. Все думали, что он просит жалости и внимания, и только я один понимал, что, заслонясь этой непрерывной болтовней, он осуществил свое давнее желание навсегда перестать с ней разговаривать.

Мертвая Хая и Ноах решили, что если они покинут дом, то он не сумеет управиться без них и ему придется капитулировать. В итоге эта парочка снялась с места, Бринкер остался один — и стал счастливейшим из смертных. Теперь он слушал музыку в полное свое удовольствие, читал газету (со скоростью десяти слов в час), избавился от пытки супом из петушиного гребня, и каждое утро запах омлета с петрушкой поднимался и реял над его домом, точно зеленоватый стяг свободы. Иногда мать приглашала его к нам на обед, а раз в неделю, когда варила мясо, приносила ему порцию из нашего горшка. Широкая кривая улыбка

освещала тогда его лицо. Я хорошо его помню: вот он ставит тарелку на стол, берет обе ее руки в свои, глаза его лучатся и рот не перестает выплескивать нежные бессмыслицы.

Все это время я продолжал с ним заниматься. Я читал ему «Ури-кадури», что печатались на последних страницах детского издания газеты «Давар», потому что думал, что картинки помогут ему понять содержание. Медленно-медленно декламировал стихи, медленно-медленно водил пальцем по рисункам, и Бринкер никогда не улыбался.

Как-то раз я увидел его возле поселкового детского сада: он стоял с закрытыми глазами, опираясь на забор, и его лицо выражало ту же смесь тоски и желаний, что лицо Шимона, когда он получал из рук матери свой кусок шоколада. Из окон сада раздавались ясные детские голоса: «Буква алеф — а-а-а, буква бет — бэ-э-э: ма-ма — ба-ба, ма-ма — ба-ба...» — и поверх всего этого гомона громкий и направляющий голос воспитательницы. То была новая воспитательница — девушка из хасидской семьи, которая ушла от веры и бежала из дому. Она была уверена, что нерелигиозные тоже учат детей читать начиная с трех лет, и не успела поселковая комиссия по образованию разобраться в происходящем, как в библиотеке Ихиеля Абрамсона появились несколько младенцев в мокрых штанишках с требованием выдать им книги.

Воспитательница была незамужней и симпатичной, и я подумал было, что Бринкер интересуется ею, но тут он открыл ворота садика, прошагал по двору, не открывая глаз, словно влекомый пением ангелов, и, войдя внутрь, уселся на один из маленьких стульев, чтобы учить вместе с ними утерянные слова.

Детишки, знавшие и любившие его, потому что он угощал их клубникой, обрадовались его приходу и тотчас сгрудились вокруг него, а воспитательница, прервав урок, спросила, что ему здесь нужно.

— Тоже маленький не страшно все в порядке, — заволновался Бринкер. — Сейчас ну так и есть потому что места могу.

Я вошел следом.

— Что ему нужно? — спросила воспитательница.

— Он хочет приходить и учить слова вместе с малышами, если это вам не помешает, — перевел я.

— Я не знаю, — смутилась девушка. — Это все же детский сад. И что скажут родители?

— Четыре, четыре! — воскликнул Бринкер возбужденно. — Даже где ты знаешь потому что это совсем и также есть это уже ну то сейчас он сказал.

— Он говорит, что не будет вам мешать и починит в садике все, что нужно, — объяснил я воспитательнице.

На следующий день, когда первые из детей пришли в садик, Бринкер уже ожидал их у входа во двор, взволнованный и нетерпеливый. Большая белая шляпа защищала его пустой, освободившийся от синтаксиса череп, большая корзина висела на его руке и две сумки — на плече.

— Ицхак, Ицхак! — закричали малыши.

Бринкер взял одного из них на руки и растроганно объяснил ему:

— Думаю так но также сидеть тихо на есть у меня это из-за него.

Он повесил свою сумку с едой меж детских ранцев. Потом подошел к ящику со льдом, стоявшему в кухне, и доверху наполнил его клубникой. Оттуда он вышел во двор и, вынув из второй сумки рабочие инструменты, поменял уплотнение в протекавшем кране и обмотал свежей паклей резьбу трубы. Сильными и умными руками натянул сетку забора, уже провисшую между столбами, как тряпка. С неожиданной кошачьей ловкостью взобрался на крышу и очистил водосточные желоба от еловых игл и синичьих гнезд. Потом спустился и с сияющим лицом уселся среди детишек, чтобы вместе с ними съесть утренний завтрак и приступить к изучению азбуки.

Так детский сад стал для Бринкера вторым домом. Дети любили его всей душой, и воспитательница тоже привыкла к его присутствию и научилась использовать. Каждый день он усаживался на один из маленьких стульчиков, вслушивался, наморщив лоб, в рассказы, которые она читала детям, и бормотал себе под нос гласные и согласные.

Я снова вспомнил те дни, потому что недавно отцовский врач сообщил мне свое новое умозаключение: язык боли — это не просто язык метафор, но всеобщий, универсальный праязык, состоящий из одних лишь гласных.

— Это подлинный эсперанто, это предтеча всех слов, — с воодушевлением провозгласил он. — Стон боли — самый универсальный и самый понятный звук в мире, и именно поэтому А — первая буква во всех современных языках.

Так он сказал, и я невольно задумался над этим его «А», которое тут же назвал про себя: «Ааа... боли», и о прочих его дружках: «Ллл... — любви», «Ккк... — сравнения», «Ннн... — ненависти», «Ммм... — воспоминания» — и вот тут-то я и вспомнил Бринкера: как он играл с детьми, прыгал с ними по ступенькам согласных, скакал через веревочку слов, погружался в топкую песочницу синтаксиса. По прошествии шести недель налицо был впечатляющий прогресс: во дворе выросли предназначенные для детских игр разноцветные автомобильные шины,

сломанные куклы вновь открывали и закрывали глаза, ухоженная трава окружила ящик с песком — и Бринкер не выучил ни единого предложения. Слова порхали вокруг его пустого черепа, то и дело усаживаясь на нем для минутного отдыха, но ни одно из них не пустило там корней.

И все же не было человека счастливее, чем Бринкер, в тот день, когда, придя в детский сад, он увидел, что на одном из крючков, где висели ранцы, воспитательница прилепила новую наклейку, на которой стояло его имя. А в конце года, когда приехавший из города фотограф снимал очередной выпуск детского сада, Бринкер тоже сидел среди малышей, улыбался в камеру и во весь голос, никого не стыдясь, плакал от счастья.

## ГЛАВА 47

Однажды вечером Яков решил последовать совету отца и отправился в Тель-Авив. Как раз в ту ночь итальянские самолеты бомбили город и десятки людей были убиты. Яков вернулся наутро — улыбающийся, здоровый и невредимый, но в каком-то странном, крикливом, сверкающем блестящими нарядами. Он рассказал, что погулял по бульвару, съел мороженое, а ближе к ночи стал искать, где бы переночевать. Идти пришлось долго, и как раз в ту минуту, когда он проходил мимо Дома Инвалидов — это название до сих пор вызывает у меня литературный озноб, — началась бомбежка. Его рубашка и брюки тотчас намочили от крови убитого рядом человека. Ему оторвало голову, как рассказывал Яков, и она покатила по тротуару. Какая-то старуха, выйдя из соседнего дома, пригласила брата к себе, чтобы отмыться от крови, и разрешила у нее переночевать, а утром дала ему эту странную одежду, которая принадлежала ее покойному мужу.

— Он что, был цирковым клоуном? — поинтересовался я.

Яков рассмеялся.

— Вот видишь, — поддел он отца, — я все сделал, как ты сказал. Поехал в город, показал себя, и меня там не только чуть не убили, так еще единственная женщина, которая позвала меня к себе, — и та оказалась старухой.

В тот год, последний год нашей учебы, брат перестал ходить в школу. По ночам он работал в пекарне, днем спал, и на его лице уже появилось то отрешенное выражение, которое так свойственно всем пекарям. Хотя они с отцом работали вместе, а может, напротив, как раз потому их отношения со дня на день ухудшались. Время от времени, когда я надевал очки или подходил достаточно близко, мне удавалось различить их искаженные гневом лица и слышать резкие слова, которыми они перебрасывались над рабочим столом.

«Верблюд уже сломался в спине у всех нас» — так означила мать положение дел в семье, и в конечном счете оно вылилось в грандиозный скандал, который начался с одного из тех загадочно-туманных оскорблений, что отец обычно швырял матери, но на сей раз завершился не одними лишь криками, а уходом Якова из дома. Порой меня забавляет мысль, что это я был виновником всей той сумятицы — ведь это именно я попросил мать в тот вечер рассказать нам какую-нибудь историю.

— Рассказать сейчас? — возмутился отец, лицо которого выдавало

желание немедленно отправиться в постель. — Кому нужны сейчас ее палабры? Сейчас нужно спать, впереди еще целая рабочая ночь!

— Ну, так, может, ты действительно пойдешь спать? — сказал Яков. — Потому что нам они нравятся, ее палабры.

Яков был прав. Даже сегодня мне трудно назвать книгу, которая вызывала бы у меня волнение того рода, какое возбуждали во мне материнские истории. Я помню ее рассказ «о том, как придумали хлеб», героем которого был голый младенец, найденный крестьянами на пшеничном поле и такой тяжелый, что никому не удалось поднять его с земли. Я до сих пор чувствую сладость прикосновений гусят ее детства, хотя никогда их не видел. Я могу вновь кричать от страха, который вызывал во мне ее рассказ о «людях-ангелах» — стае летающих стариков, которые жили среди утесов Кавказа. «Люди-ангелы» с «глазами из света», которые хватали детей, поднимались с ними в воздух и роняли их на кремнистые уступы скал подобно стервятникам, раскалывающим таким способом коровьи кости и панцири черепах.

Мне нравился ее язык, мелодичный и неправильный одновременно, и ее вступления, удивительные как своей высокопарностью: «В бытность мою девочкой», — так и жестами, которые сопровождали речь. Ее длинные сильные пальцы были так стеснительны, что все время рассказа не переставали играть и бороться друг с другом.

— Иди спать, Авраам, — сказала она отцу. — Я тоже скоро приду. — А нам улыбнулась: — Я расскажу вам об одном нашем соседе, таком Курагине, что жил у нас в деревне. У дедушки Михаэля были всякие коровы, и лошади, и гуси. И весной мы видели: гуси хотят до дому, на север. Бьют крылами, тянут шею, до дому. И не могут, потому как отец обрезал им перья. И тогда я, пяти лет от роду, пошла к тому Курагину...

Мы с Яковом заворуженно смотрели на нее. Тия Дудуч тоже улыбалась, и сросшаяся глазница выколотого глаза приподымала и искривляла уголок ее рта. Сбоку сидел Шимон, с наркотической жадностью сосал очередной кусок шоколада и глядел на мать затуманенным взглядом, настолько размякший, что даже позволял себе улыбаться. Он приближался тогда к возрасту бар-мицвы, но, несмотря на молодость и искалеченную ногу, уже успешно помогал на выемке хлебов из печи, и ни пышущий жар, ни тяжкие усилия не нарушали размаха и точности его рук. Однако даже самая простейшая операция, вроде смешивания дрожжей и муки с водой и сахаром, ему никак не давалась. Он вечно ошибался — в пропорциях, в распознавании запаха, в оценке температуры и в истолковании пузырей. В своем страстном стремлении

угодить он настолько торопил дрожжи, что тесто поднималось слишком быстро и с той же скоростью опадало, и отец, который обычно следил за чистотой своего языка, однажды все-таки не выдержал — сорвался и крикнул: «Твое тесто, как у той старой бляди тело — там, внизу!»

А сейчас он выплеснул свою злобу в излюбленное им слабое место матери — язык, которым она говорила.

— Гуси хотят до дому... — издевательски прокашлялся он.

— Дай ей кончить, — сказал я. А Яков заметил:

— Ты, кажется, хотел пойти спать.

Но отец уже натянул на лицо ту особую тонкую улыбочку, что растягивает губы производителей жасмина, когда их сыновьям удастся особенно хорошо пропеть заключительную главу Торы.

— Гуси! — Он снова присел к столу. — Я вам расскажу кое-что о гусях. Дед вашего деда, дети мои, отец отца отца вашего отца, светлой памяти Реувен Якир Пресьядучо Леви, имел семь гусиных перьев: одно перо для стихов, второе перо для комментариев, третье перо для приговоров, четвертое перо для дел, пятое перо для писем, шестое перо для общественных нужд, а седьмое...

— Чтобы щекотать у султана в заднице, — высказал свое предположение Яков.

— Чтоб тебе, чтоб тебе! Сквернослов! «Сын строптивый и непокорный»! — воскликнул отец. — Седьмое перо было для исправлений. Потому что он все свое время посвящал Торе, сидя на чердаке и корректируя писания своего отца, мудреца Якова бен Шимона Леви, светлой памяти, в честь которого назвали этого бово<sup>[93]</sup>, этого бугая, — тут он указал на Шимона, — и он был начальник из начальников и богач из богачей, и пылал любовью к Сиону, и писал стихи, и о нем говорили: «Известный величием своего благочестия и совершенства и клумбами садов его, что цветут и блещут краше золота и отборного жемчуга»... — Он обвел всех нас холодно-величественным взглядом и продолжал: — А сочинения свои, «Первенец моих чресел» и «Мандрагоры Реувена», написанные в Адрианополе, он создал не где-нибудь, а при дворе самого султана Абд-эль-Азиза, будучи из самых приближенных к лицу его и исполнителем самых важных его поручений. А в старости, когда он взошел в Иерусалим, то отплыл туда на белом корабле самого султана, под белыми парусами, и продолжал свой путь в его белой коляске, запряженной шестью белыми лошадьми, и сам султан послал с ним отряд янычар с ятаганамы, и с копьями, и в полосатых шароварах, чтобы охраняли его в пути от всякой нечисти и нечестивцев и трубили, идя перед ним, в золотые трубы. И на

Песах мы всей семьей поднимались к его могиле на Масличной горе и там читали надпись на ней, которую составил в его честь рабби Розанис.

Тут отец набожно возвел очи горе и нарочито гнусавым, исполненным пафоса и значительности голосом продекламировал упомянутую надпись:

Узреть великолепье твоего лица желаньем  
Всегда пылали страстно мы в душе своей,  
Но умер ты. Не сбывтся нашим упованиям,  
Покуда плотью кость не облечется вновь своей.  
В саду Всевышнего покойся ныне с ожиданьем,  
Овеян негою, увенчан славою достойною своей.

— Как же так получилось, что после всех этих гениальных прессыдучей, и султанов, и перьев с белыми лошадьми ты и твой отец с десяти лет работали простыми рабочими в пекарне? — спросил Яков отца.

— Тяжелые времена, — недовольно пробурчал отец. — Заработок для детей и хлеб для голодных. Мой отец, мир праху его, изучал Тору, и нам, детям, не доставало еды.

— Отец твой не изучал Тору. — Яков выпрямился. — Он продавал на улицах сахлав и хамле-мелане, гладил фески и в конце концов умер от голода, а вам оставил одни только долги. Пока мама не открыла свою сыроварню, вы жили, как попрошайки, на пожертвования, зато твоя мать целый день смотрела на себя в зеркало и воображала, будто она дочь Валеро.

— Утром он гладил фески, а вечером учил Тору, — побледнел отец. — И кто они такие вообще, эти Валеро? Подумаешь — Валеро! Они всего сто лет назад сюда пришли, а мы уже пятнадцать поколений в Иерусалиме. — И тут же сорвался в крик: — Вы бы лучше спросили ее, эту вашу мамочку, об ихней Симхат Тора, как ее отец-гой и ее братья-гой пили в синагоге у себя в деревне и напивались так, что забывали про свое обрезание, выходили на улицу с палками и орали: «Бей евреев!»

Мать задрожала, и кровь отхлынула с ее лица. Ее пальцы, словно белые посохи слепцов, шарили по столу, нащупывая хлебные крошки среди складок скатерти. Вся ее сила разом исчезала, когда отец начинал насмехаться над ней и ее происхождением.

— Не гои, не гои... — забормотала она.

— Эти гои построили тебе пекарню. Без них ты был бы сегодня жалким рабочим. Ноль без палочки, — холодно сказал Яков.

— Нада де нада ке дишо Кохелет! Суета сует, как сказано у Кохелета! — закричал отец. — Я мог унаследовать пекарню Эрогаса. Он был бездетным, бедняга, и сегодня моя пекарня могла быть не хуже, чем у Анжела в Иерусалиме.

— Тогда почему ты пошел пешком из Иерусалима до самой Галилеи, лишь бы жениться на гойке из семьи необрезанных? — настаивал Яков.

— Я не ходил, — сказал отец слащавым голосом. — Я случайно проходил там, увидел, как она лежит в грязи с гусями, и спросил, кто это. Мне сказали — сделай одолжение несчастной девочке.

— Ты ходил! Ты ногами ходил! — закричала мать. — И пришел говорить со старостой, с тем Альхадефом, что я тебе все время снюсь и чтобы староста повенчал тебя со мной.

— Повенчал, повенчал... — передразнил ее отец своим ядовито-змеиным тоном. — Олухи пытаются говорить на языке Торы! Попросите, попросите вашу мамочку-гойку, что только и знает «снить сны» да «скучивать кучи», и ни одну букву различить не может, попросите ее, пусть она вам расскажет, как «тот рабин с берделе» сделал ее отцу обрезание, не связывая его веревками! Что-то мы давненько не слышали...

Скажи эти слова кто-нибудь другой, его ожидала бы страшная смерть, но, как это часто случается с сильными людьми, обида превратила мускулы матери в дряблые тряпки.

— Детей народила тебе, мешки с мукой таскала тебе, тесто тебе этими своими руками всю жизнь месю! — Ее огромные руки взметнулись в беззвучной мольбе животного, в потрясенном протесте ребенка и упали сверху на лицо, чтобы задавить рвущиеся наружу рыдания.

Сегодня я полагаю — хотя и не уверен в своей правоте, — что в те дни отец был женат сразу на двух женщинах. На светловолосой девочке, которая мучила его память своей нездешностью и красотой и не переставала всходить и спускаться по лестницам его снов, и на ней, нашей отчаявшейся матери, могучей и косноязычной «корове в образе человека», которая захватила его ложе, лягала его во сне, стискивала его грудь боязливymi и докучливыми тисками своих объятий и делала дурацкие ошибки в иврите.

Он вытащил из кармана маленький белый платочек, щегольски промокнул уголки рта, поднялся и хотел было выйти из-за стола. Но на этот раз произошло нечто непредвиденное и страшное. Яков вскочил, бросился за ним, схватил его за плечи и силой остановил.

— Ты не будешь называть ее гойкой! — крикнул он. — Уксус из благородного вина, вот ты кто! — прошипел отец. — Ума, как у коровы.

— Ты не будешь называть ее гойкой! — снова крикнул Яков. — Если она гойка, тогда и мы гои. И ты больше никого не будешь здесь обзывать. У тебя у самого весь ум в заднице! Надоел ты, понял? Надоел! Ты нам всем надоел!

— Сгинь с глаз моих! — завопил отец тонким страшным голосом, замахнулся и ударил Якова по лицу.

В то же мгновение брат швырнул его на пол, а сам выбежал наружу.

## ГЛАВА 48

Яков машинально отщипнул кусочек закваски и стал жевать и сосать ее, перекатывая между языком и нёбом.

— Поверь мне, — сказал он, — это счастье, что я пекарь. И что тесто ведет меня, а не я его. Что я могу работать, а не лежать всю ночь без сна в постели. Эти двое несчастных, которых ты видел утром. Какие у них ночи. Как у царя Ахашвероша. Книги памяти нараспашку, а сна ни в одном глазу. Это мое счастье, что я каждую ночь работаю, а утром падаю от усталости, и Михаэль на мне, и никакие таблетки мне не нужны, чтобы уснуть, и не нужны мне солнце, и луна, и птицы, чтобы рассказали, что жизнь продолжается. Ночь напролет с хлебом — это для меня как полный круговорот. Дрожжи рождаются, и живут, и сгорают, и умирают, как весна, и лето, и осень, и зима, полный круговорот, и все это за одну-единственную ночь в пекарне. Помнишь ту сказку, что мы учили в школе, — про принцессу или какую-то там греческую богиню, которая умирала осенью и оживала весной? Ты еще писал о ней в своей пекарской книге, верно? Или это были древние египтяне с их Таммузом и всяким прочим? Он не из Египта? Не суть важно.

Эти двое родителей — ты должен увидеть могилы их сыновей. Бонбоньерки! Каждое утро с бутылками воды в сумке — полить цветы, с тряпками — почистить, со щеткой, чтобы вымести сосновые иголки и птичий помет. Могила как новенькая, так и сверкает, просто жуть берет. Точно та бринкеровская муха — и камни будто только вчера обтесали, и надпись только сейчас вырезали, и тело внутри, наверно, совсем еще теплое, и время для них остановилось. Потому что когда сын умирает раньше отца, это для них против всех законов природы.

Остановилось?! — крикнул он. — Это им так кажется, будто оно остановилось. Что, разве солнце перестало заходить, когда день кончается? Что, оно перестало вставать, когда кончается ночь? И зимой перестал идти дождь? И в четыре часа после полудня уже не дует ветер с моря? Вот это их и убивает — что все продолжается, и все законы в силе, и ничего, в сущности, не произошло. Ведь если солнце по-прежнему встает, и ночью светит луна, и идет дождь, и тесто всходит, и весь мир работает по тем же законам — то в лучшем случае это значит, что и сын твой, согласно этим законам, давно уже сгнил в могиле, а в худшем случае это говорит, что его маленькая смерть была только частью чего-то намного большего и худшего,

какого-то такого большого умысла, который все пытаются постичь, но никто не может.

Всю ту ночь Яков не возвращался домой, и каждые несколько минут мать выходила из пекарни высматривать его и к утру была в таком беспокойстве, что позвала Бринкера и вместе с ним пошла искать Якова в полях. «Оставайтесь здесь», — сказала она мне и Шимону. В полдень они вернулись, так и не найдя его, а через несколько часов пришел и сам Яков — исцарапанный, жалкий, смертельно уставший. Он что-то обрывисто и сбивчиво рассказывал о своих блужданиях по горам и близким воплях шакалов и был настолько обессилен, что позволил матери поддержать себя на ступеньках и усадить за кухонный стол.

— Хочешь покушать?

— Нет.

— Хочешь попить?

— Нет.

— Сделать тебе лежанку?

— Я ничего не хочу, мама, — прошептал Яков, и стебелек шеи качался на его плечах. — Только помыться. Ни говорить, ни пить, ни есть. Помыться в горячей воде.

— Скорей огонь, — сказала мать Шимону.

Она поднялась, схватила Якова под руки, богатырским рывком поставила на ноги, повела в душ, и за ними послышался резкий и отчетливый звук набрасываемого крючка. Мы с отцом прильнули к двери и стали подсматривать сквозь щели, делая вид, будто не замечаем друг друга, как те двое рабов, что подсматривали за Гектором и Андромахой в спальне.

Мать усадила Якова на стул, опустила перед ним на колени, расстегнула пуговицы его рубашки, сняла с него ботинки. Ткань носков отпечатала узор на его пятках. Она поднялась, уперла голову Якова себе в живот и сняла с него рубашку. Полуголое тонкое тело брата светилось в полумраке. Мать распустила его пояс, наклонилась, сплела его руки у себя на шее, сказала: «Держись крепко», и, когда она выпрямилась, он повис на ней, и его голова упала на грудь. Ее руки двигались по его плечам, спине, животу и бедрам, снимали с него штаны и серые рабочие трусы.

Теперь она, в свою очередь, села на стул, а Яков, голый и обмякший, опустился на ее колени — голова и руки повисли, глаза закрыты. Она исследовала его с головы до пят на предмет ран или царапин и все это время не переставала беззвучно рыдать — над своей любовью, над его любовью, над своими днями, которые прошли, и над его днями, которые придут.

Зубами, точно овчарка, она выдираала из его ладоней занозы и шипы.

— Где ты носился? — стонала она. — Где ты ходил? — И ногтями вылавливала семена колючек в волосах на его животе и ногах.

— Какой стыд... — проблеял за моей спиной отец.

Чуткие антенны ее пальцев опасно и бережно расправляли его кожу, прощупывая тело и выискивая в нем ответ и следы.

Закончив с поисками, она снова подняла его на ноги, поставила под душ и, стоя с ним рядом, в одежде, под струями горячей воды, намыливала и растирала его, не пропуская ни одной складки кожи или впадины тела.

— Закрой глаза, — сказала она и стала растирать большим полотенцем, пока его кожа не покраснела; все это время она тихо всхлипывала, то и дело целуя Якова в лоб и в переносицу и бормоча в ямку на его шее. Намокшее платье облепило ее тело, и Яков, как сквозь сон, улыбался от наслаждения, положив руки на ее плечи и опустив голову на грудь.

— Не смей так делать! — внезапно завопил отец из-за моего плеча и бросился на дверь. — Он уже взрослый!

Маленький металлический крючок вырвался из своего гнезда, и горячий пар ударил наружу. Небольшие отцовские кулачки застучали по плечам матери и по лицу Якова. Он пинал их ногами и разевал рот в крике, подставляя лицо и одежду струям воды.

— Бешеный пес, вот ты кто, — спокойно сказал брат.

— Вы не смеете так делать! — Зубы отца были оскалены, глаза сощурены, лоб дрожал студнем ненависти.

Его показная и худосочная ярость выглядела тошнотворно. Я ушел в пекарню, запустил дрожжи бродить и принялся отскребать шпахтелем барабан тестомешалки. Потом загрузил в барабан отмеренные количества воды и муки, включил двигатель, вернулся в дом и громко известил через дверь:

— Тесто уже начало всходить!

Отец вышел, искоса поглядывая в мою сторону, словно приглашая меня начать разговор или выразить свое мнение. Потом появились Ицик и Иошуа Идельманы, сразу же почуяли что-то неладное, и всю ту ночь мы работали молча.

На следующее утро, когда мать позвала нас завтракать, Яков тоже вышел к столу и начал есть с большим аппетитом.

— Ты поедешь немножко к моим, — сказала мать спустя несколько минут.

— Поезжай, поезжай к этим русским, «сын строптивый и

непокорный», подымающий руку на отца и мать свою! — сказал отец, чтобы Яков понял, что это не материнская идея, а отцовское наказание.

— Замолчи, Авраам! — сказала мать и повернулась к нему этим своим знакомым медленным разворотом плеч. — Да?! Ты уже свое сделал.

Мы были поражены, потому что она никогда не говорила с отцом угрожающим тоном, но ее лицо уже заливала та пугающая багровость, которая поднималась из ущелья меж грудей и предвещала недоброе.

— Кончай, и соберем тебе чемодан, — сказала она.

Отец уткнулся в свою тарелку и выглядел как старый проигравшийся игрок в шашки, поспоривший на обед, который ему не по карману. Поев, он скрылся в пекарне и стал изображать там бурную деятельность. Мать собрала Якову одежду, а потом, закрывшись с ним в комнате, продиктовала ему письмо к своим братьям.

Перед тем как мы вышли со двора, она сказала ему:

— Пойди сказать ему шалом.

— Не пойду.

— Пойди сказать ему шалом, — подтолкнула она его.

Яков вошел в пекарню и через мгновение вышел оттуда.

— Он не ответил, — сказал он.

— С чего ему отвечать, — сказала мать. — Пошли, пора идти.

Только она, осел и я провожали Якова на станцию. Шимон тоже хотел присоединиться, но мать велела ему попрощаться с Яковом дома. Его лицо исказилось от огорчения. Он обнял Якова и, когда мы вышли из дома, еще долго ковылял вслед за повозкой, пока мать не прикрикнула на него.

Осенний это был день, в неделю праздника Суккот. Собирался первый в новом году дождь. Я знал, что Лея сидит у себя в комнате, смотрит из окна, прокликает тучи и ждет свистка паровоза. Мы с Яковом поднялись в вагон, потому что мать хотела проверить, что ее сына не посадят рядом с «хайфаитом». Когда ей было восемь лет, какой-то хайфский торговец обманул дедушку Михаэля, и с тех пор она считала всех жителей Хайфы ворами и мошенниками. Она снова напомнила Якову, где он должен сойти, в третий раз описала ему тропинку между полями, по которой он самым коротким путем придет прямо к дому ее братьев, и в очередной раз проверила, что письмо, которое она продиктовала, с именами всех «татар» и их сыновей, дочерей, внуков и внучек, лежит у него в кармане.

— Не ешь там задаром! — предупредила она его. — В поле работай, тебе это на пользу.

Потом мы обнялись, мать успела еще сказать: «И сходи на могилу дедушки Михаэля», а когда мы спустились из вагона на платформу, то

увидели Ихиеля Абрамсона, который бегом мчался к кассе за билетом.

— Куда ты, Ихиель? — крикнул я.

— В Тель-Авив, — ответил библиотекарь с крайним прискорбием и значительностью. — На похороны Шаула Черниховского.

## ГЛАВА 49

Каждое утро я слышу рабочие ботинки, которые тяжело поднимаются на веранду. Вместе с ними поднимается кислый отцовский запах, только теперь он идет от ошметков теста, что налипли на тело моего брата. Яков усаживается на верхней ступеньке, вздыхает, сбрасывает запыленные мукой ботинки, разминает большие пальцы ног и отправляется под душ. Этому утреннему мытью с мочалкой и мылом отец научился у пекаря Эрогаса, и даже я, у себя в Америке, через годы и расстояния, по-прежнему придерживаюсь этого обычая. Рабочий пот, мучная пыль и хлебный пар забивают поры кожи, и всякому пекарю грозит «лишай хлебопека», если он не будет каждый день скоблить свои руки и грудь.

Два дня назад Роми прокралась за отцом. Беззвучно открыла дверь душевой, одной рукой отдернула занавеску, а другой нажала на кнопку фотоаппарата. Яков, ослепший и застигнутый врасплох, сорвал с крючков занавеску, прикрыл свою наготу и бросился за дочерью с криком:

— Не делай этого, не делай!

Услышав крики, я вышел в коридор. Обнаженное тело брата в роняющем капли нейлоновом саване казалось худым и бледным. Роми, смеющаяся легконогая охотница, бежала впереди с криком: «Я тебя поймала, папа, я тебя поймала, теперь ты мой!» — оставляя за собой стремительные очертания сильных крылатых бедер, взметнувшейся кисти рыжих волос и твердых девичьих груди, рассекающих воздух.

Яков был унижен и зол. Настолько, что вдруг заплакал.

— Чего она от меня хочет? — повернулся он ко мне. — Чем это кончится?

Два дня спустя на кухонном столе появилась увеличенная и обрамленная фотография, опирающаяся на старую сахарницу Артура Спины.

— Посмотри, какой ты красивый, папа, — сказала Роми. — Chez nous a Paris мы бы сделали из тебя киноартиста.

Вспышка застигла Якова с закрытыми от мыла глазами. Гнев, этот волохатый брат вожделения и ревности, разлился по всему его телу еще до того, как он опознал свою дочь с ее фотоаппаратом, и уже угадывался на его лице. Вода промыла серые и белые полосы на его голове, соскользнула на удивленную грудь с опаленными волосами, пролилась на живот и стекла дальше, спускаясь к тощим, бесформенным бедрам и голням.

«Настоящий кипазелик!»—улыбнулся я, и Яков сердито глянул в мою сторону.

— Я же тебе сказала, я сделаю о тебе выставку и назову ее «Мой отец»! — объявила Роми и весело крутнулась на месте.

Яков грохнул кулаком по застекленной рамке и окровавившейся сразу рукой схватил дочь за горло.

— Я тебе не позволю делать из меня посмешище! — прохрипел он. И тут же отпустил ее, испугавшись собственного гнева.

— И под каждым снимком ты напишешь несколько слов о себе, — продолжила Роми. — Своим собственным почерком. Скажи ему, дядя! — повернулась она ко мне с пылающим лицом и сверкающими глазами.

Сердце мое остановилось. Ей было лет пятнадцать, когда я увидел ее впервые, но и сейчас я легко могу восстановить оцепенелость и смущение, которые охватили меня тогда. Ведь именно такой представлял я себе мать нашу Сару, когда она впервые открылась глазам Авраама. Точно ветка миндаля, цветущего над озером, и отражение этой ветки в зеркале воды под нею — такими вдруг увиделись они мне двое. Роми, со своими длинными худощавыми конечностями подростка и без материнской стайки гусей, выглядела более мальчишески и грубовато, но, несмотря на это, все равно была той же, вечно бегущей в дождливой долине моего воображения, высокой, легконогой девушкой с дремучими пшеничными бровями и чудными глазами, расставленными так широко, что ни один из них не мог увидеть красоты своего близнеца. И тогда же я впервые различил, что ободки ее зрачков имеют цвет анютиных глазок, желто-голубой, разительно непохожий на тот серый, что царил в глазах нашей матери.

Когда ей было года два или три, Яков послал мне ее фотографию: голенькая девчушка носится по двору, обернув головку тюрбаном белых трусиков, наискосок натянутых через лицо. Один смеющийся глаз и медная прядка волос смотрят сквозь разрез трусов. Уже тогда у нее были эта сильная, прямая спина и те же широкие плечи. «Поверь мне, — написал он на обороте снимка в редкой попытке юмора, — я не знаю, с чем едят таких детей. Сдается мне, что ей было бы лучше родиться твоей дочерью».

Время от времени я посылал ей из Америки фотооткрытки, и, когда Роми пошла в первый класс и научилась писать, она начала на них отвечать. Биньямину я, кстати, тоже посылал подарки и открытки, но он отвечал мне лишь раз в году — трудные слова благодарности, которые, казалось, были написаны подошвами его ботинок. Письма Роми были короткими и веселыми, всегда начинались словами «шалом, дядя», кончались «до свиданья, дядя» и уже тогда напоминали мне четверостишие

Шауля Черниховского, которое Ихиель любил напевать вслух, когда переплетал растрепавшиеся книги:

Пока не склонились вечерние тени,  
Пока еще дышит в нас жизнь-ненагляд —  
Давай наслаждаться любовным забвеньем,  
Шуметь, и кричать, и смеяться, мой дяд!

К каждому из своих писем Роми прилагала картинку. Сначала это были детские рисунки, где возле дома было написано «Дом», возле дерева — «Дерево» и возле кота — «Кот», словно она сомневалась в способности адресата понять и припомнить. Лишь потом мне пришла в голову другая мысль: эта раздача имен могла быть ее способом утвердить свою власть, ведь точно так же поступал и праотец наш Адам. Как бы то ни было, с возрастом она усовершенствовала этот метод и стала писать на каждом снимке несколько слов о том, что на нем происходит. «Дед сидит на скамейке». «Папа в дождь собирает воду в ведра». «Биньямин лезет им дерево».

Она пользовалась «кодаком-ретиной», который я послал Биньямину за несколько лет до этого, когда ему исполнилось семь. «Это подарок от твоего дяди из Америки, — написал я ему. — С условием, что ты пошлешь мне много фотографий. Твоих, твоей маленькой сестры, отца и матери, деда, Бринкера, Шимона, тии Дудуч, могилы твоей бабушки, дома и пекарни». Но Биньямин не воспользовался подарком, и Роми нашла брошенный фотоаппарат в одном из его ящиков, вдунула в него дыхание жизни, и их неразлучная пара стала для меня самой прочной связью с прежним домом, с семьей и, в определенном смысле, который тебе еще предстоит понять, — с жизнью вообще.

Первую фотографию от нее я получил, когда ей было девять. «Это я, — написала она на песке у себя под ногами. — Я все сделала сама. Шимон только нажал вместо меня на кнопку». Она стоит во дворе, кусок ткани обвязан вокруг талии, лицо раскрашено полосами белой извести и красной глины, а ноги босые. Чересчур сильное солнце подчеркнуло тени между ребрами и стерло светлые соски. Две обглоданные куриные ножки воткнуты в свернутые змеями волосы. «Шалом, дядя. Я нарядилась людоедом. Тень на полу — это Шимон. Страшно горячо ногам от песка. Я съела папу, съела маму, а когда приеду в Америку, съем и тебя. Твоя племянница бедная сиротка Роми».

Уже тогда она подчеркнуто ставила точку, обозначавшую «О» в ивритском написании ее имени, — и не просто точку, а маленький кружок. «Чтобы не калечили мое имя», — объяснила она мне позже.

Через несколько лет, убедившись в ее настойчивости и успехах и поняв, что Яков, как в свое время отец, не склонен тратить деньги на ее дорогостоящее увлечение, я предложил ей ту же сделку. На бат-мицву я послал ей «лейку» и треногу и по мере необходимости снабжал ее фильтрами и пленками, фотобумагой, руководствами по фотографии и объективами. В те дни у меня сложились тесные отношения с женщиной-фотографом, которая делала иллюстрации к моей хлебной книге. То была женщина лет тридцати, начисто лишенная чувства юмора, но обладавшая чувством композиции, а также своеобразным пониманием времени, и она поддержала меня в попытках развивать врожденный талант Роми. Это она сказала мне, что людей нужно снимать на сверхчувствительную, быструю пленку, потому что всякое фотографирование — так она утверждала — укорачивает жизнь фотографируемого на время открывания диафрагмы. Она полагала, что в мире существует ограниченное количество времени и живые организмы борются за него точно так же, как они борются за пищу. «Тот, кто умирает молодым, оставляет нам неиспользованное время, — говорила она, — а кто живет долго, укорачивает жизнь оставшихся». Через несколько лет после того, как мы расстались, она погибла в страшной автомобильной катастрофе. Месяц спустя мне позвонил ее адвокат из Балтимора и сообщил, что она завещала мне фотографию, на которой была снята обнаженной, а также все те годы, которые не успела использовать сама.

Роми отвечала мне снимками и пояснениями, которые демонстрировали как ее зреющий талант, так и взбалмошное очарование ее молодости.

«Папа и мама все время ссорятся, и я не знаю из-за чего».

«Я смотрю на снимок бабушки, сделанный когда-то нашим симпатичным соседом-придурком, и думаю — жаль, что ты не дождалась меня: мы могли бы быть хорошими подругами, а сейчас ты даже не знаешь, что я существую».

«Когда пришли сообщить о Биньямине, папа упал на землю, кричал и буянил. Жаль, что я не сфотографировала тебе это».

А теперь она потребовала:

— Я хочу сфотографировать вас вместе. Двух братьев.

— Не морочь голову! — разозлился Яков.

— Я все равно сфотографирую тебя, захочешь ты или нет.

— Иди лучше фотографируй своих тельавивцев! — закричал брат. — На мне ты не сделаешь карьеру. Эта твоя фотография — стыд, просто стыд! — И, увидев, что я прислушиваюсь, погрозил и мне пальцем. — Как ты, точно как ты. Пара крыс! Есть, не вкальвая, наслаждаться, не страдая, смотреть, не надевая очков. Ты с твоими книгами и она со своим фотоаппаратом. Если б вы не были родственниками, я бы вас давно уже сосватал.

Я промолчал, но Роми вспыхнула:

— Ты еще скажешь мне спасибо за эти снимки!

Она стала кружиться вокруг Якова, точно большая золотая оса и, когда он повернулся в ее сторону, дрожа всем телом и шаря растопыренными руками в воздухе, вдруг толкнула его и так же, как Яков и я, была поражена, с какой легкостью он повалился на стул. Она обежала стул, встала за его спиной и прижалась грудью к его лопаткам. Охватив его шею руками и уткнувшись лицом в его затылок, она шептала и шептала, пока все мое тело не напряглось от желания и боли.

— Никто тебя не любил и не будет любить так, как я, — всхлипывала она. — Сильнее, чем ты любил маму, и уж точно сильнее, чем она любила тебя, и сильнее, чем ты обвиняешь себя за Биньямина, и сильнее, чем ты любишь Михаэля. Только я знаю, что происходит с тобой. Ты себя суешь в эту печь каждую ночь, себя и нас.

— Кого это — нас? — прохрипел Яков. — Кого это — нас?!

Его рычащий голос задохнулся, перехваченный гневом, и не успели еще слова отпрянуть от стен комнаты, как уже послышались стук захлопнувшейся двери, деревянные сандалии на ступенях, удаляющиеся рыдания и визг щебня, брызнувшего из-под шин. Затем из своей комнаты возник отец, любопытствуя, что здесь случилось.

— Что случилось? — процедил Яков. — Он еще спрашивает, что случилось...

И, с отвращением встав, направился в пекарню.

## ГЛАВА 50

— Сколько еще можно скучать за Яковом? — сказала за ужином мать.

Брат пробыл в Галилее целый год. Один раз мать съездила навестить его, и раз в месяц он присылал нам письма. Уже издали слышался крик почтальона: «Держите гуся!» — потому что наш гусь набрасывался на всех посторонних, появлявшихся во дворе, шипел и норовил цапнуть клювом. Почтальон наш, маленький, щуплый человечек, передвигавшийся с невероятной скоростью, в каждом доме прежде всего требовал: «Стакан воды, быстрее, напиться, иначе никаких писем». Его поднятый мизинец дрожал от жажды. Его кадык прыгал, как поплавок в штормовом море. Он глотал громко и шумно, и трудно было поверить, что столь маленькое тело способно производить такие мощные звуки.

— Почему ты так много пьешь? — спросил я.

— Жидкость важна для организма. — Он поднял назидательный палец. — Нужно пить много и не тратить зря. Избегать жары, грустных фильмов и женщин.

Почтальон разводил щеглов и канареек, и потомки от их скрещивания приносили ему медали. Самцы канареек, открыл он мне секрет, любят «умбуз» — так он называл зерна гашиша, которыми поощрял своих певунов, — «поэтому ничего удивительного, что они так хорошо поют». Его обуревала мечта — превратить будущее еврейское государство в державу певчих птиц. «Каждая семья получит от властей пару канареек, и мы наладим массовый экспорт птенцов». А однажды он принес с собой клетку и сказал мне:

— Ты ведь парень чуткий, верно? Подержи-ка ее минутку в руке. Осторожнее. Чувствуешь, как быстро стучит это маленькое сердечко? Вот как она сейчас дрожит, так она потом будет петь.

Я читал матери письма Якова, писал под ее диктовку ответ, добавлял несколько слов от себя и оставлял место для Шимона. Яков просил не навещать его, рассказывал, что к нему замечательно относятся, что он работает в поле и не ест хлеб из милости.

— Он воротится, — то и дело повторяла мать. — Воротится и Лею тоже заберет.

— Послушай, мама, — сказал я в конце концов с той резкостью, которую никогда не позволял себе в разговорах с ней, — послушай и запомни: мне не нужна Лея, мне не нужна пекарня и прекрати, наконец, эти

разговоры.

Отец видел, что я вышел рассерженный, и через несколько минут тоже появился во дворе. Какое-то время он крутился около меня и наконец произнес:

— Теперь он уже заодно с ней, а мы с тобой вдвоем— против них.

— Никого я не против, отец, — ответил я.

— Ты еще молод, углом, — сказал отец. — Маленькая рыбешка не может понять море. Ты думаешь, что весь мир — только рассказы из книг твоего Ихиеля? Вот-вот нужно решить, кто получит пекарню. Ты хочешь получить наследство или хочешь остаться голодным, как та кошка, которая живет в мусорном ящике у вдовы?

Шимон ухитрялся услышать звук вскрываемого конверта, где бы ни находился, и в то же мгновение по являлся в кухне, не сводя с нас умоляющего взгляда. Он сосредоточенно прислушивался к чтению, и блаженная зыбь пробегала по его лицу еще раньше, чем я приступал к адресованным ему строкам, что всегда начинались с «Хэлло, Шимон, как дела?» — и заканчивались: «Твой большой двоюродный брат Яков». Когда я кончал чтение, Шимон завладевал письмом, спешил в один из своих потайных углов и там читал и перечитывал эти строки вдоль и поперек, обсасывая каждое слово в отдельности. И лишь спустя долгое время возвращался и отдавал матери письмо на сохранение, довольный так, будто добрые слова Якова просочились сквозь муки его тела и усыпили его боль. Лишь много позже мы узнали, что в тот год к нему вернулся кошмар черных точек, так донимавший его в детстве.

Он был еще подростком, но уже подбирал вонючие окурки, и я известил Ихиеля, что Шолом-Алейхем и Джон Стейнбек, видимо, правы: курение действительно ускоряет рост бороды. Иногда Шимон исчезал из дому на несколько часов, и отец был убежден, что он проводит это время, насилая женщин и зазевавшихся британских солдат, и уже воображал себе самое ужасное: суд, на котором его, Авраама Леви, правнука и потомка мудрецов, мыслителей, врачей и поэтов, обвиняют в дурном присмотре за подопечным.

Я был послан выследить Шимона и благодаря этому обнаружил, что он вовсе не гнусный насильник, а самый обыкновенный воришка. В те дни электрические кабели покрывали свинцом, и наш молодчик выкапывал и воровал куски кабеля из заброшенных складов и строящихся птицеферм. Воротясь в дом с трофеями, он разводил во дворе небольшой костерок, откусывал зубами кусочки мягкого металла и бросал их на раскаленную сковородку.

— Смотри, смотри, — говорил он каждому, кто проходил мимо, выпускал при этом дым через ноздри и с восторгом указывал на сковородку. В расплавленном виде свинец терял свою обычную безотрадную серость и превращался в легкомысленный, подвижный и сверкающий металл. Шимон наклонял сковородку из стороны в сторону, гоня по ней раскаленный ручеек, следил за его сверкающим течением и под конец выливал в ведро с холодной водой, которая при этом бурлила и шипела от сильной боли. Ошеломленный свинец затвердевал в ней маленькими, печальными на вид фигурками, до смерти пугавшими отца колдовством, что застывало в их судорожно вывернутых конечностях. Эти статуэтки, которым мучительный скачок из одного состояния вещества в другое придавал тысячи разных обликов, Шимон прятал в одном из своих тайников и лишь по прошествии многих лет вновь извлек оттуда, чтобы подарить дочерям Йошуа Идельмана—тем в ту пору только предстояло родиться и впоследствии войти в историю моей семьи.

Отец тоже появлялся в кухне. Сделает вид, будто заваривает себе кофе, послушает чтение письма и не промолвит ни слова. Он уже начал в те дни рассылать свои тайные послания и все больше казался мне человеком, которого выбросило на необитаемый остров, и вот он швыряет в море взывающие бутылки. Лишь много позже я понял, что это было начало старческого полоумия — сумасбродного поиска родственников, тех, что сейчас появляются у нашего порога с его письмами в руках. Я, кажется, уже рассказывал тебе о них. Есть среди них бездетные, ищущие себе пристанища, и мошенники в поисках наследства, и люди, пораженные тоской или обделенные любовью. Отец встречает их подозрительно и сурово: пока они стоят по другую сторону забора, он задает им загадки, проверяет их с помощью тайных паролей, требующих правильного отзыва, и подает им неожиданные семейные знаки, от которых у притворщиков сужаются зрачки. Потом он изгоняет их от лица своего. Подлинный родственник, тот, что летит верхом на белом вороне, пока еще не появился.

Теперь я развозил хлеб в одиночку. Свой маршрут я планировал так, чтобы в дом Левитовых заезжать под конец.

— Она ждет, чтобы ты заплел ей косу, — улыбалась Цвия, принимая от меня свою буханку.

Каждое утро я заплетал Леину косу. Я заплетал ее, как плетут халы, — из четырех прядей, а не из трех. В поселке нас уже считали парой. Мне было восемнадцать лет, я был юноша серьезный, романтичный и сильный и любил ее преданно, заботливо и благодарно. С юношеской восторженностью читал ей лекцию о трудноуловимом понятии «самой

красивой женщины в мире», объяснял, почему Орфей оглянулся, и доказывал, что его нужно сравнивать не с женой Лота, а с Сирано де Бержераком.

— Почему? — спросила Лея.

— Потому что и тот, и другой, — сообщил я с важностью, — в действительности не хотели, чтобы их любовь осуществилась.

Она улыбнулась:

— Жаль, что тебя там не было, чтобы сказать им об этом.

И, взяв у меня булочки, которые я испек для нее, поехала со мной на повозке в школу. Оттуда наш осел возвращался домой самостоятельно. Яков, из своего изгнания, не спрашивал о ней и ничего не просил передать. Из ее слов я понял, что она не получила от него ни одного письма.

Печальным и сладостным было то лето. Тоска по брату и любовь к его возлюбленной переполняли меня, а к тому же я неожиданно и приятно сблизился с матерью, которая с готовностью рассказывала мне свои истории и отвечала на мои расспросы. «Потому что он мне показался», — улыбнулась она, когда я спросил однажды, почему она вышла замуж за отца. Мы сидели тогда на передней веранде и лущили молодые початки кукурузы, принесенные Бринкером. Глаза наши слезились от раздражения, которое излишне объяснять тому, кто его испытывал, и бесполезно — тому, кто не знал. Мать сказала, что в «бытность мою девочкой» ободранными кочанами топили не только водяной котел, но и печь в пекарне. Она улыбнулась мне, и я вдруг наклонился и положил голову ей на колени. В минутном порыве она погладила меня по волосам, но тут же оттолкнула со смехом:

— Ты уже не маленький.

Джамила принесла ей испытанный возбудитель любви — ягоды земляники, настоянные на зеленом масле. Я стоял рядом с ними и держал полотенце, пока Джамила втирала ей эту смесь в руки и ноги. Потом мать велела мне оставить их наедине, и Джамила со смехом сверкнула своими огромными верблюжьими зубами.

Но, отправившись посоветоваться с Шену Апарри, она разрешила мне присоединиться и даже послушать их женские разговоры.

— Я хотела жить, как пара голубей, — шептала она.

Шену Апарри смеялась:

— Мадам Понпидур говорила, что, если супруги живут, как пара голубей, это верный признак, что один из них страдает.

Женщины в парикмахерской качали головами и устало улыбались. Шену Апарри знала самые мельчайшие и вернейшие секреты любви.

— Покажи мне свое кольцо, Сара, — сказала она.

Мать сняла с пальца обручальное кольцо и протянула ей.

— Нет! — сказала Шену. — Обручальное кольцо не передают из руки в руку. Ты положи его на стол, а я возьму его оттуда.

А мне сказала:

— Она ничего не понимает. Rien. Голуби или не голуби, — добавила она с укором, — а женщина должна всегда остерегаться. С одной стороны, она должна делать своему мужу очень хорошо, чтобы он ничего не искал на стороне, а с другой, всегда носить на себе все свои bijoux, все браслеты, кольца и серьги. Не снимать их ни под душем, ни в постели, ни при стирке, ни при мытье полов. Если он вдруг вздумает ее выгнать, скажет: «Прочь из моего дома» — пожалуйста, она поднимается и тут же уходит, и все ее золото и серебро при ней.

С Бринкером я тоже в те дни очень сблизился. Профессор Фрицци порой приезжал проведать брата, но соседи его чурались, а сын и жена почти не появлялись в доме. Мертвая Хая наконец-то сподобилась учуять свой запах, и это повергло ее в такой ужас, что она принялась строчить письма и рассылать свои анализы еврейским врачам в Бостоне и Лондоне. Ноах с головой ушел в идиотские тетрадки журнала «Кино», вонял «Плейерзами»<sup>[94]</sup> и поразительно наигрывал песенки братьев Германов на пилах и расческах. Бринкер то и дело жаловался мне на поведение сына:

— Ноах тоже и если не Тель-Авив каждый день пять пять очень, — ворчал он

А я сказал:

— Не страшно, Бринкер, это у него пройдет.

Я был единственным, кому удавалось понять его невнятные фразы, и так мы могли говорить целыми часами. Каждый посвящал другого в свои секреты, планы и надежды.

— И когда ты здесь мать и если один два ушли и еще и еще, — сказал он мне с неожиданным доверием, и рука его нарисовала эллипсы мольбы на моем колене, а я обещал, что никому не выдам его тайну. Сегодня я понимаю, что Бринкер был единственным другом, с которым позволял себе полную откровенность. Я любил его и знал, что он никогда меня не предаст — ведь даже если немцы захватят страну и он сломается и все расскажет под пытками, все равно никто не поймет ни слова.

Наши долгие беседы наделили меня новой способностью — я начал понимать языки, которых никогда не учил. Игра уголков рта, изменения рисунка морщинок, расширение и сужение зрачков, птичьи взлеты голоса — все это изобличало смысл произносимого. Словесные иероглифы

Бринкера стали для меня средством перевода идиша Идельмана, русских слов господина Кокосина, арабского языка Джамилы, сдавленных рыданий Дудуч. Я вдруг стал понимать даже хинди, на котором говорили солдаты расположенной поблизости британской военной базы.

## ГЛАВА 51

— Раньше, до того как Биньямин погиб, мне стоило закрыть глаза, и я всегда видел одну и ту же картину: Лею, как она входит в пекарню, и ее мокрая коса пахнет дождем, а пятки теплые на ощупь. Такая минута запоминается навсегда, и такой мне хотелось ее сохранить. Даже когда нам уже было плохо вместе, мне хотелось, чтобы мои закрытые глаза видели эту картину. Но теперь, когда я их закрываю, я вижу только его.

Наш хлебный грузовик внезапно свернул на обочину, пошел юзом, затормозил, подняв тучу пыли, и Яков, сняв с переносицы туман своих очков, протер их краем рубашки. Крупицы муки и песчинки смешались с его слезами, как они смешивались с потом нашей юности при разгрузке мешков с мукой и царапали наши толстые линзы, налипая на них.

Мы были на пути в Тель-Авив. Я потребовал, чтобы Роми пригласила нас на ужин по случаю примирения с отцом.

— Не бойся, — сказал он. — Со мной это не так уж часто случается. Только с тех пор, как ты приехал. Я немного распустился. У меня вдруг появилась аудитория.

И спросил, не хочу ли я сменить его за рулем.

— Нет, — сказал я. — Я и в Америке-то не очень люблю водить, а уж у вас и подавно. Постоим немного и поедем.

Через несколько лет после приезда в Америку я купил себе машину, синий «де сото». С тех пор прошло двадцать пять лет, а она не проделала и пяти тысяч миль. Большинство из них накрутила Роми, когда приезжала ко мне после армии.

— Ты знаешь такие картины? Те, что видишь только с закрытыми глазами? У тебя тоже есть такие?

Я не ответил. Да и что я мог ответить? Яков откровенен со мной и ничего от меня не скрывает. Как и в дни нашей молодости. Таков он был, когда влюбился в Лею и советовался со мной, таков он был в своих письмах в Америку, таков он и теперь.

— Мне говорят — время лучший врач. Говорят — время сделает свое. Так они говорят. Но, знаешь, может, время и делает свое, но оно не делает наше. Ничего не проходит и не забывается, и я вижу только его. Каж дый день и именно его.

В голосе брата слышатся и удивление, и боль, и еще некая толика неприязни, никому конкретно не адресованной, и его жажда близости

томит меня, потому что я не могу ответить ему той же монетой. Со времен тех разговоров с Бринкером я позволяю себе откровенность только с чужими. Им яверяю самую сокровенную свою ложь. Пассажирам ночных поездов, которыми я езжу на лекции, постояльцам гостиниц, в которых ночую, читателям рецептов, которые придумываю. Тебе тоже, иногда.

— Я любил его, как положено любить сына, не меньше и не больше, — сказал брат. Он унаследовал от отца упрямую склонность к тому, что «положено», к привычке и к обычаю, хотя и не признавался в этом. — Конечно, я его любил, и растил его, и делал для него все, что отец должен делать для сына, кормил и одевал, присматривал и заботился. Но к чему обманывать? Тебе я могу сказать. Ты мой брат, даже если ты не хотел видеть, даже, если ты не хотел знать. Даже если сбежал.

Роми приготовила нам спагетти, напоила нас вином, кружилась вокруг нас, оглаживала, фотографировала.

— Подумать только, какие глупости люди делают из теста, — проворчал Яков, обращаясь к вилке, нагруженной спагетти, и Роми прыснула.

— Может, останетесь переночевать?

— Нет, нет, — сказал Яков.

— Я уже сделала вам лежанку, — сообщила она. Наша мать умерла за несколько лет до ее рождения, и, когда Роми подражает ей, она подражает тем рассказам, которые слышала о ней. Но ее подражания всегда точны: ее голос — это голос матери и слова — ее слова.

Яков не выдержал и улыбнулся, и Роми взмолилась:

— Идельман может поработать одну ночь со своим сыном он может. Позвони им, папа. А мы втроем пойдем в загул!

Но Яков упорствовал в своем отказе, и в полночь мы с ним поднялись и отправились домой, и в первый раз со времени приезда я проработал с ним всю ночь. Я обнаружил, что плоть помнит лучше, чем память. Забытые движения оттаяли в моем теле. Последовательность действий снова встала на свое место. Уснувшие мышцы встряхнулись и расправили свои волокна.

— Кто помнит, тот никогда не забывает, — изрек Иошуа Идельман, глядя, как я высвобождаю колеса тестомешалки из их гнезд и качу ее к рабочему столу. Яков улыбнулся. Полностью нагруженная тестомешалка весит порядка четверти тонны. Мужчина в расцвете сил не может сдвинуть ее с места, но старый опытный пекарь делает это запросто.

— Биньямина это доводило до бешенства, — сказал Яков. — Когда ему минуло семнадцать, он уже был здоровенный лоб, дикий бык, снимал с

грузовика по два мешка с мукой сразу. Но тестомешалку ни за что не мог сдвинуть, пока не пришел отец, щуплый, маленький, весь обгоревший, и показал ему как.

— Ну, и что все это меняет сейчас? — сказал он утром, как будто всю ночь советовался с кирпичами. Ицик и Йошуа Идельманы уже ушли, и он закрыл дверцу печи, тяжело выбрался из ямы и, не встав еще с колен, поднял ко мне покрытую мукой голову. — Я любил его, но предпочитал Роми, а сейчас, с Михаэлем, все уже выглядит иначе. Посмотри на него. Кто бы мог подумать, что у меня получится такой мальчик? Ты видел когда-нибудь такого мальчика? Иди к твоему папе, иди ко мне.

Михаэль вошел в пекарню, как входил каждое утро, чтобы одеться возле печи. Он спустился в яму, поднял на меня глаза и улыбнулся мне оттуда той улыбкой, какой дети улыбаются симпатичным чужим людям, и вот уже руки Якова задвигались по его затылку и шее и стали нежно разминать его плечи.

— И я не могу забыть, как на Кипре — мы тогда с Леей единственный раз в жизни поехали за границу — я купил Биньямину такую черную рыбацкую шляпу, из тех идиотских греческих сувениров, которые там продают туристам. Что-то за гроши. Но Роми я купил транзисторный приемник. Я думаю, это был первый транзистор в нашем поселке. Он стоил безумно дорого. В те времена транзисторы стоили кучу денег. Лея увидела подарки и ничего не сказала, сказала только, что ей холодно, что она устала, — и пошла спать.

Он играет пальцами по лопаткам, читает позвонки худенькой спинки, заучивает ребра.

— Одевайся, Михаэль, и беги к тии Дудуч, пусть она тебя накормит, беги осторожней, и скажи Шимону, чтобы он отвел тебя в школу.

И когда Михаэль выходит, он торопится к окну и следит за ним взглядом, пока тот не входит в дом.

— Почему я так поступил? Поверь мне, я и сам не знаю. — Яков отошел от окна. — Мы вернулись домой, и дети пришли с отцом встретить нас в порту. Биньямину было тогда лет тринадцать, а Роми восемь, и они так волновались и радовались, что не сдержались и распаковали свои подарки прямо там, и я помню, как Биньямин посмотрел на новый транзистор Роми и на свою тряпичную шляпу и не сказал ни слова. Ты ведь знаешь, как это у детей, как они всё сравнивают — почему тот получил больше, чем я, и все такое. Но Биньямин — нет. Он принял приговор. Что так вот обстоят дела между ним и его отцом. Я несколько дней размышлял об этом, а потом перестал, потому что Биньямин не носил эту шляпу, и

прошел день, и еще день, и происходили всякие события, и под конец я забыл всю эту историю, и только через несколько лет, когда Биньямина уже не было на свете, вдруг появляется Роми с этой шляпой на голове, и мне снова припомнилось все это. Поди знай, как работает память. Что ее сохраняет, что приканчивает, а что вдруг пробуждает. Может, если б он не погиб, мне бы это сегодня не мешало. Но сейчас, после того как все так повернулось, это меня убивает. Тот его взгляд там, в порту, и то, что он не сказал ни слова. Что он это принял. И я ничего не сказал Лее. Никому ничего не сказал. Ни матери, ни Роми, ни — уж конечно — отцу. Сейчас я в первый раз с кем-то говорю об этом. Об этом и о том, что не уберег своего сына.

— В чем ты себя винишь? Что не пошел присматривать за ним в армию? Оставь, наконец, Яков.

— В разговорах ты всегда возьмешь верх. Но мы ведь оба знаем правду — всякая кошка бережет своих котят, но я своего не уберег. А я знаю, как беречь ребенка. Нет на свете ребенка, за которым отец следил бы так, как я слежу за Михаэлем. Если он упадет с неба, я успею добежать и поймать его в воздухе, где бы я ни был. И если кто-нибудь тронет его, сделает ему что-то плохое, я убью негодяя вот этими руками. Я держу Михаэля в вате, как хрусталь. Как мать сохраняла живым тот кусок закваски из Иерусалима. С того дня, как этот несчастный ребенок появился на свет, он у меня на руках. Все время. Еще раньше, чем я узнал о его болезни. Это сын моей старости, мой последыш, ты сам видишь, как он похож на меня. Моя копия.

— Он совсем не похож на тебя, — сказал я. — Он не похож ни на кого из нашей семьи.

— Он похож! — Яков возвысил голос. — Он похож! Ты ведь ничего не видишь, ты же слепой, как крот! Даже отец говорит, что он точь-в-точь как я, когда был маленький.

— Что это ты вдруг доверяешь тому, что говорит отец?

— Какая разница? — закричал Яков, и угроза сплелась в этом крике с мольбой. — И почему ты вообще говоришь со мной так?

— Отец говорит, что Михаэль похож на дядю Лиягу, — беспощадно сказал я.

— Какой еще Лиягу?! — так и подпрыгнул Яков. — Откуда ты вдруг взял Лиягу? Что общего у моего ребенка с каким-то Лиягу? Это я сам. Я смотрю на него и вижу себя. Ты не понимаешь?! Этот ребенок вырос из моего бедра, из моего плеча, как черенок из дерева. Я породил его, как дрожжи. Я разделился надвое. Лея была ничто во всей этой истории.

Ничто. Слышишь? Она была просто инкубатор, вот и все. Я использовал ее матку, потому что у меня ее нет.

Тошнота подступила к моему горлу.

— Мне не нравится этот стиль, — сказал я.

— Ах, извините! — воскликнул Яков. — Кому-то здесь не нравится стиль. Господину, который пишет книги, это неприятно. Как мы могли забыть?! Все остальное в порядке. Лея лежит в комнате, точно мумия, Биньямин и мать в могиле, за Михаэлем нужно все время следить, Роми меня убивает, отец спятил, но у нашего американского дядюшки есть, видите ли, проблемы со стилем!

Я молчал.

— Тебе неприятно, что я говорю «матка»? Особенно «Леина матка», да? И то, что я присутствовал при кесаревом и все видел, это тебе, конечно, тоже неприятно. И не смотри на меня так. Я тоже умею быть сволочью. Это я видел ее изнутри, я! Не ты! Мускулы, и жир, и кишки, и матку, и всё. Как те курицы, которых разделявала Мертвая Хая, с гроздьями желтков.

— Извини, — сказал я. — Я не думал, что ты будешь так реагировать.

— Какая разница, — сказал Яков после продолжительного молчания. — В нашем возрасте никто уже не меняется, и в нашем возрасте уже не до экспериментов, и уже не заводят новых друзей. Вот я и говорю с тобой, потому что к тебе я привык, и еще потому, что у меня нет никого другого, и тебе придется примириться с моим стилем, потому что у тебя нет выбора. Как я примиряюсь с твоей жизнью, так и тебе придется примириться с моей. Я всего лишь хотел сказать, что Михаэля я оберегаю, а Биньямина не берег. Я только спорил с ним и донимал его, и за его кровь я тоже не отомстил. Мне ли не знать, кто в этом виноват. Тот офицер, который ошибся в маршруте, и тот, что вел вторую группу и вместо того, чтобы спросить пароль, сразу велел стрелять. И тот ротный, который провел инструктаж, как debil, и все те гении, эти жирные сволочи в штабе, которые только и знают, что трахать девушек-солдаток. Ты что, думаешь, Роми мне не рассказывала об этих говнюках, которые каждую минуту норовят кого-нибудь полапать? Знаю я этих типов, они и операцию небось планировали с какой-нибудь мейделе<sup>[95]</sup> на коленях, которая в это время красила губы. Так чего удивляться, что они не позаботились спасти человека? Чего удивляться, что они оставили его подохнуть? Кричать там в темноте, среди камышей, пока не умер? Чего удивляться, что все они выкрутились из этого с маленькими замечаниями в личном деле, и всё? И скрыли от меня, что случилось, и мне пришлось раскапывать всё самому? Я поехал в госпиталь и нашел парня, который тоже получил там пулю, и он

мне рассказал, как это все случилось, и как в Биньямина попала пуля, и как он упал, и кричал, и кричал, и никто его не нашел. Только когда он совсем замолчал, кто-то наткнулся на его тело, наполовину уже в воде Иордана. Но кого я обвиняю? Ведь я его потерял еще раньше, чем они его убили. И ее тоже потерял. Намного раньше. Значит, мне так и положено теперь: стоит закрыть глаза, не важно, где и когда, и я вижу только его, а не ту картину, где моя Лея входит в пекарню, сушит ноги и выжимает дождь из своей косы.

Несколькими часами позже, по дороге в клинику боли, отец стал допытываться, какое впечатление произвела на меня квартира Роми. Он ни разу там не был и хотел знать, «что она приготовила» и «чисто ли у нее».

— Женщина без мужчины, как корабль без капитана, — сказал он и потом понизил голос, чтобы водитель такси не услышал — Придет парень, увидит такую сатанику, — даже минуту она не посидит спокойно, тут же встанет и убежит. Чего ему оставаться?

Поближе к воротам больницы он начал охать. Я знал, что он репетирует, и не мешал ему в этом. Доктор боли принял его с улыбкой, потрогал и надавил пальцами, пока отец не начал стонать и даже подвывать на разные голоса и стал казаться мне большим органом, на котором доктор играл с поразительным мастерством.

— У меня сильные боли? — спросил он с надеждой.

Врач рассмеялся:

— Это вы у меня спрашиваете, господин Леви? Это ваши боли. — Но, увидев, что отец обиделся, сказал: — Однако я приготовил вам кое-что, это может помочь нам обоим.

— С Божьей помощью, — сказал отец.

— Вместо того чтобы описывать мне боль своими словами, у вас теперь будут слова из нашего вопросника, — продолжал врач и расстелил перед отцом печатную анкету. — Видите? — Он наклонился к нему. — Давайте пройдемся по этому списку. Например, эта ваша новая боль — какое слово ей подходит больше всего? Тикает, бьет, стреляет, жжет...

Удивление и недоверие завладели отцовским лицом.

— ...колет, пронизывает, лопается, сверлит?

— Извините меня, господин доктор, ваша честь, но мы ведь уже говорили, что боль — это не чашка, или кошка, или печка. Боль не укладывается в одно слово. Боль должна быть маленьким рассказом. У него есть свои правила. Это такая маленькая история, которая должна начинаться с «как». Болит, как от сапожного ножа, которым вырезают гильдас<sup>[96]</sup> на Песах. Болит, как если бы в тебе зеркало разлетелось на

тысячи осколков. Как будто внутри лед, который смерзся от зимнего ветра, или как будто в тело вонзаются маленькие-маленькие острые камешки, когда ты мальчик, и ты бежишь по улице, и падаешь на колени. В этом вашем вопроснике есть такое?

— Нет на свете человека, боли которого подходят к описаниям другого человека, — беспомощно сказал мне врач. Он положил перед отцом рисунки человеческого тела, спереди и сзади. — Отметьте мне здесь на картинке, господин Леви, где вам болит. Если боль снаружи, напишите букву «С», а если внутри, напишите букву «В».

— Нет наружной боли, — заметил отец, поняв, что чаша уже склоняется в его пользу. — Если это боль, то она внутри. А если она снаружи, так это еще не боль.

— Я имею в виду глубокую боль, внутри тела, или боль на коже, снаружи, — сказал врач.

— Если господин доктор так хочет... — уступил отец.

На обратном пути я велел водителю такси высадить нас в конце улицы, чтобы отец немного прошелся и размял ноги. Он рассеянно вышел из машины, но, разгадав мой маневр, впал в гнев:

— Почему не возле дома? Мало мы сегодня уже ходили?

Мы медленно двинулись вверх по улице, я поддерживал его рукой, и когда мы проходили мимо детского сада, то увидели Бринкера, стоящего у забора. Он жадно вслушивался в голоса детворы, игравшей за забором, и беззвучно шевелил губами. В поселке появилось новое начальство, и оно уже не позволяет старому производителю клубники входить к детям в сад. Теперь он днем стоит за забором, а вечерами ищет открытые окна, из которых доносятся слова.

— Он уже годы стоит вот так, бедняга, — сказал отец, — и лицо у него, как у старого кади, который вошел в слишком горячую воду.

— Бринкер уже не работает, — сказал мне Яков. — Его поля уже такие послушные и привычные, что он только дает им устные указания.

— Шалом, Ицхак, — окликнул я его, как уже делал несколько раз со времени приезда. Но теперь к его афазии добавились годы и катаракта, и Бринкер, взглянув на меня с тупым усилением, сказал:

— Шалом шалом ну вот два после, — и снова стал вслушиваться.

— Ты не можешь себе представить, как этот йеке был влюблен в вашу мамочку. — Отец поразил меня своей издевательской слащавостью. — На ее похоронах он плакал, как магрибский ребенок, потерявшийся на рынке, даже меня переплакал. — Я был потрясен, и отец засмеялся: — Ты только представь себе — йеке, немецкий еврей, и вдруг плачет на похоронах жены

ближнего, хе, хе, хе...

## ГЛАВА 52

Лея стояла на коленях, и вокруг нее, по всему полу, расстился странный, мягкий, сверкающий тысячами оттенков ковер.

— Не закрывай окно, — сказала она, когда я вошел. — Пусть будет побольше воздуха.

Теплым и ласковым было то утро. Я хорошо помню дату, потому что было первое мая и мы не пошли в школу. Я надел очки, и мое дыхание остановилось раньше, чем я понял, что видят мои глаза. Вокруг нее на полу были рассыпаны тысячи маленьких, разноцветных, квадратных камешков.

У меня перехватило дыхание.

— Что это? — захлебнулся я, в душе уже зная ответ.

— Мозаика, — спокойно ответила Лея. — Ты разве не помнишь мозаику, которую Бринкер нашел в своем винограднике?

— Это... ты ее украли? — Мой голос дрожал.

— Фу, какой глупый! — усмехнулась Лея. — Это твой брат украл ее и принес мне в подарок. В мешке.

— Как он узнал о ней?!

— До чего ты наивный! Ночью, когда тесто начало всходить и ваш отец был занят в пекарне, Бринкер пришел к вам и позвал вашу мать в виноградник — показать ей мозаику. А Яков проследил за ними, вот и все.

Эта пулеметная очередь, это побивание правдой свалили меня наземь. Острые маленькие камни впились в мякоть моих колен.

— И ты прятала ее все эти годы? — спросил я наконец.

— А что, я должна была кому-то рассказать?

— Ихиелю и Бринкеру следовало знать об этом, — сказал я.

— Нет, — твердо сказала Лея. — Ничего подобного. Эта мозаика моя. Не Ихиеля, не Бринкера и никого другого.

— И ты... сумела ее составить? — спросил я после продолжительного молчания.

— Кого?

— Эту женщину... эту женщину на мозаике.

— Так это женщина! — воскликнула Лея. — Он мне не объяснил. Я понятия не имела, что составлять. — И вдруг рассмеялась: — Он пришел, высыпал все камни на пол, сказал: «Я принес тебе самый трудный и самый красивый в мире пазл, сделай из него, что хочешь», — и ушел.

Она сказала, что разделила камни на кучки по цветам и сумела

сложить из них несколько картинок.

— У меня уже получались цветы, и птицы, и один симпатичный парень.

— Хочешь составить ее по-настоящему? — спросил я.

— Да, — ответила она глубоким, дрожащим голосом. — Да. — И я помчался в библиотеку.

Ихиель трудился, вклеивая в один из своих альбомов портрет Альберта Эйнштейна, размещенный над свободным местом, оставленным для его будущих последних слов.

— Когда ты успел его прикончить? — спросил я. Но Ихиель не настроен был шутить, потому что снаружи уже слышались те вирши, что так безумно раздражали его:

В долине, на горе,  
В ущелье, на холме  
Мы с песнею встречаем  
Наш праздник Первомая.  
Долой эксплуатацию,  
Долой порабощение,  
Несем мы человечеству  
Зарю освобождения!

Тонкие детские голоса радостно звенели в воздухе, и Ихиель торопливо распахнул библиотечные окна, чтобы все видели, что он не участвует в этом празднестве. Кто-то из учителей крикнул: «Стыд и позор!» — красные флаги прошествовали мимо окон, и я вернулся к делу, ради которого пришел.

— Ихиель, — сказал я, — помнишь мозаику, которую Бринкер когда-то нашел в своем винограднике?

— Конечно, помню.

— Ты ведь тогда ее сфотографировал, верно?

— Нет.

— Брось, Ихиель. Мне нужен этот снимок, — сказал я.

— Зачем?

— Нужен, — сказал я. — Какая тебе разница зачем.

— Я не отдам эту фотографию. Ни тебе, ни кому другому.

— Да я ее не заберу навсегда. Я только сделаю себе копию.

— Нет.

— Ну, сделай сам, если ты мне не доверяешь.

— Нет.

Какое-то время я ходил между книжными стеллажами, а затем, скрывшись за синей стеной томов «Тарбута» и «Миклата», негромко произнес:

— Ну, а если я тебе дам за это последние слова, которых у тебя нет в коллекции, — тогда дашь?

В библиотеке воцарилась тишина. Я вышел из своего укрытия и увидел следы душевной борьбы на лице Ихиеля.

— Что, например, ты можешь предложить? — прошелестел он пересохшим языком.

— Например, — произнес я очень-очень медленно, — «Мир вам, друзья мои, счастье мое. Как сладостно, что мне довелось увидеть вас вновь. Помолитесь за мою душу».

— Я хочу настоящие последние слова. — Ихиель скрестил руки на груди. — Не из книг.

И тут же вынул из ящика стола фотографию, чтобы стимулировать мою память. И тогда я сообщил ему настоящие последние слова — те, что принадлежали отцовскому дяде Рафаэлю Хаиму Леви и вырвались у него на исходе Судного дня, сразу же после того, как он влил в свои пересохшие внутренности три литра слишком долго бродившей пепитады: «Дайте мне поскорее перо, я хочу писать».

— Крайне интересно, — запыхтел Ихиель. — Сам Генрих Гейне сказал нечто похожее.

Он торопливо полистал в альбоме и показал мне последние слова Гейне: «Писать... бумага... карандаш».

— У моего отца есть еще много таких дядьев, — заметил я.

— На, возьми! — сказал он. — Возьми и принеси еще. У меня есть еще копии.

Так мы с Леей начали складывать мозаику. Отец оказался поистине неиссякаемым источником. Его велеречивые мертвецы возбуждали Ихиеля Абрамсона как отточенным стилем, так и странными обстоятельствами своей кончины. Все они вели себя, как истинные литературные герои, — ни одному из них не удалось преодолеть соблазн сказать перед смертью что-нибудь значительное.

«Иссахар Фиджото, да упокоится он с миром, когда его нашли в преклонном возрасте плавающим в ливорнской бане с двумя саламандрами на животе, сказал: «Я хочу немедленно надеть брюки». Но пока ему принесли брюки, он уже вырвал червями и умер».

«Доктор Реувен Якир Пресьядучо умер, бедняга, в конце месяца элул, когда перенапрягся, трубя в шофар. Кровь брызнула у него из ушей, и его последние слова не могли найти, пока не взяли шофар и не постучали им сильно по столу».

Писательница Грация Агилар, «болезненная жещина, умершая в расцвете лет», оказывается, процитировала при своем последнем издыхании фразу из Книги Иова: «Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться». Я и сам был удивлен, когда отец заявил, что она была нашей родственницей, и еще больше удивился, обнаружив, что он говорил правду, потому что эти ее последние слова были задокументированы в книге «Доблестные женщины нашего народа».

Но однажды, когда отец процитировал последние слова одного из самых древних наших дядей по имени Элиягу Шалтиель: «Ангелы Господни, ангелы Господни...» — я не сдержался и заметил ему, что две недели назад он приписал те же самые слова одному из наших прапрадедов, Шимону Узиелю из Салоник.

Однако отец, который обычно крайне ревниво относился к своим рассказам о наших великих сородичах, на сей раз только улыбнулся и с неожиданной для него искренностью сказал:

— Какая разница, дурачок, кто сказал и что сказал. Так ли, иначе, все они мертвы.

Ихиель тоже не был удивлен, когда я исповедался перед ним в отцовском прегрешении.

— Ну, и что такого? — невозмутимо сказал он. — Не он первый, не он последний. Каждый человек может придумать последние слова, и бывает, что придумывает их правильно.

И велел мне прочесть «В сердце тьмы», дабы я убедился, что Марло, сказавший возлюбленной Курца: «Его последним словом было твое имя», был самым жестоким обманщиком из всех нас.

А отсюда до всех прочих выдумок оставался, как ты понимаешь, всего один шаг.

## ГЛАВА 53

Тишина. Я фотографирую: Михаэль и Шимон играют во дворе. Шимон лежит на животе, а Михаэль расхаживает по его спине, массируя своими пятками больное тело. Шимон стонет от наслаждения. Потом, насколько ему позволяют возраст и хромота, скачет по двору, а Михаэль пытается наступить на его тень. Каждый раз, когда ему это удается, Шимон рычит в муках, а Михаэль взрывается смехом. Наконец Шимон сгребает его одной рукой и уносит в дом.

— Хватит на сегодня, пошли к отцу.

В ночь зачатия Михаэля дул страшный хамсин. По рассказам брата, легким больно было дышать раскаленным и разреженным воздухом. Птицы падали с ветвей шелковицы, теряя сознание прямо во сне. Задолго до восхода на востоке уже пылали розовые и желтые полосы, напоминавшие добела раскаленный металл. Впервые в жизни Яков ощущал, что снаружи жарче, чем в пекарне. А поутру, когда он кончил работу и взошло солнце, жара стала еще тяжелее. Он поднялся, как обычно, на веранду, снял свои запыленные мукой ботинки, поел, побрился и помылся. А затем, раздевшись догола и исполнившись решимости, прокрался по коридору к комнате Леи. И тихо открыл дверь.

Тия Дудуч с ее обостренным чутьем кормилицы сразу же поняла, что Лея забеременела. Наш отец был слишком занят собой, чтобы воспринимать что бы то ни было по ту сторону собственной кожи. А Роми, никогда не входившая в комнату Биньямина, ничего не знала до тех пор, пока ее мать, уже на шестом месяце, не появилась вдруг в коридоре совершенно голая, с животом, возвышавшимся горой Тавор и сосками, так разросшимися и потемневшими, что выглядели, как глаза совы.

— Что с ней случилось? — поразила ее она. И когда отец объяснил ей, ужаснулась: — Прошу прощения, сударь, но порядочные люди так не поступают! — Ее глаза сверкали гневом. Потом она спросила, как он намерен назвать ребенка.

— Михаэль, — сказал Яков. — По имени деда.

— А если это будет девочка?

— У меня не рождаются девочки, — убежденно ответил Яков.

— Ты порой поразительно тактичен, папа, — сказала Роми.

Каждый вечер Яков ложился на пол рядом с кроватью жены. Лежа на спине, он обводил глазами комнату. Лучи заходящего солнца проникали

сквозь щели жалюзи и переливались призрачным золотом на волосах Леи. Снаружи доносились резкие крики тушканчиков, занятых поиском любви и добычи. Его ладонь наслаждалась прохладой керамических плиток, которую сохраняет пол в закрытых помещениях. Время от времени он поднимал простыню, смотрел и трогал. В нем проснулось огромное желание увидеть ее изнутри, писал он мне. Я улыбнулся. Разве не то же самое уже писали Владимир Набоков, и Томас Ута, и Томас Манн? «Целовать ее печень, ее матку, гроздь ее легких, ее прелестные почки». Это истинная правда, даже если мужчины в ней не признаются. Яков приближал свое ухо к скату ее живота, как будто прислушивался к огромной раковине. Улыбка растекалась по его лицу. Шум далеких морей слышался ему, шелест волн. Маленький пленник трудился, разрывая свои узы, желая поскорее вылупиться на свободу.

В те дни у меня была гигантского роста православная любовница из пенсильванской украинской общины. Я подозревал, что она использует меня, чтобы проверить бдительность своего мужа и своего Бога. В их троице царили отношения взаимной подозрительности, слезки и ревности, и она заставляла меня даже среди лета укрываться толстыми одеялами. Разносчик телеграмм постучал в дверь точно в тот момент, когда моя возлюбленная, закрыв жалюзи и погасив свет, схватила мои руки и спросила их: «А кому тут хочется немножко погулять в темноте?»

Я завернулся в полотенце и подошел к двери. Мой милый спаситель вручил мне телеграмму, и я пошел на кухню.

«У меня родился сын», — стояло там. И на иврите, английскими буквами: — «NOLAD LI BEN».

Я не поехал на обрезание Михаэля, как не поехал и на похороны матери. Я пошел на деревянную набережную на мысе Мэй и сел на свою излюбленную скамейку, что глядит в океан, чтобы оттуда следить за предстоящим. «Размышления и вода обручены друг с другом навечно», — сказал Мелвилл, и из своего далекого вороньего гнезда взглядом, переброшенным через десять тысяч километров, я увидел Шимона, который разравнивал граблями землю во дворе в ожидании приезда гостей, и моего брата, расставляющего столы. Яков выскоблил рабочие доски, отмыл их по старинному пекарскому рецепту смесью пепла, лимона и мирта, положил на деревянные козлы и расстелил на них белые скатерти. Старинные медные тазы были вытащены из погреба и до блеска отполированы «Орассой». Старый сервиз Артура Спини был заново извлечен из шкафа, а тия Дудуч нырнула в глубины кухни. Три дня спустя я увидел, как она появляется оттуда, возглавляя шествие подносов с

десятками разнообразных, крохотных и неповторимо хитроумных, ибо не поддающихся ни описанию, ни воспроизведению кулинарных чудес, вкус которых, как мне было доподлинно известно, уже через мгновение после того, как они будут проглочены, превратится в вожделенное и мучительное — ибо безвозвратное — воспоминание.

Мелвилл был прав, «meditation and water are wedded forever». Иерусалимский автобус, арендованный для членов семейства Леви, прибыл до срока, весь полный ликованием и песнями, словно громадная клетка с канарейками. Их путешествие продолжалось целый день, потому что водитель десятки раз останавливался, чтобы дать старикам размять кости, и помочиться, и помолиться, детям — поблевать с пути, а кандидатам в родственники, ожидавшим вдоль всей дороги с отцовскими письмами в руках, — присоединиться к семейству. Они поднимались в автобус, и занятые тетками задние скамьи тотчас вскипали всплесками узнаваний и предположений.

Автобус приблизился к поселку и прежде всего остановился у кладбища. Здесь музыканты отложили свои скрипки и веселые маленькие барабаны пандирас, а старики и старухи, поправив шляпы и вуали, направились к могиле Биньямина — чтобы поплакать и погордиться, и к могиле Сары — удостовериться, что черный базальтовый памятник придавил ее по-прежнему прочно. Большинство из них знало ее лишь по рассказам. Они знали, что она украла Авраама из материнского дома, что у нее была дюжина братьев, все до единого неотесанные и тупые, как леньо ди баньо, те деревянные колоды, которыми растапливают банную печь, что она колотила учителя своих детей до тех пор, пока тот не оглох на правое ухо. Они знали также, что у нее был белый ворон, который говорил человеческим голосом, что греческий священник играл серенады под ее окном и громко плакал при этом, что она «совсем-совсем» не ела мяса, опозорила семью и «умерла от рака молодой, бедняжка». Теперь они подходили к ее памятнику, сгрудившись и прижавшись друг к другу, как овцы, боязливо ступали на цыпочках, с облегчением и опаской смотрели на могилу, но, как положено, вежливо наклонялись и клали на нее свои камни.

Их жены, маленькие и красивые, держали кружевные платочки в левой руке. Их дети, смуглые и послушные, были все как один в белых полуботинках, купленных в честь события, и все как один причесаны на правую сторону. Они привезли Михаэлю расшитые кемизикас<sup>[97]</sup>, престарелого йеменского моэля и большие свертки тиспишти<sup>[98]</sup> и медовиков, которые так обрадовали нашего отца, что он тут же подозвал

Роми и шепотом приказал ей спрятать все это под его кроватью, чтобы «эти русские» не съели долсурас<sup>[99]</sup>.

«Русские» приехали из Галилеи вереницей грузовиков для перевозки скота, и машины стонали под тяжестью их тел. То были добродушные и стеснительные люди. Их квадратные зубы белели в улыбках. Волосинки бровей шевелились на ветру, как длинные усики созревших пшеничных колосьев. Они тоже успели уже побывать на кладбище, негромко поговорить над памятниками и смахнуть с могилы своей сестры камешки, возложенные семейством Леви, сразу же опознав, что это не обломки здешнего базальта, а заговорные камни, нарочно привезенные из иерусалимского бассейна Шилоах, ибо при всей своей малости они были тяжелы, как свинцовые слитки. «Русские» привезли с собой охлажденные горшки с кумысом и кефиром, головы кисловатого сыра и очень красивую деревянную колыбель. Один за другим они подходили к Якову, мяли его в своих объятиях и трижды звучно лобызали в щеки, а потом медленно, степенно кивали всем собравшимся своими большими головами. С заученной осторожностью сильных людей пожимали протянутые им руки и похлопывали по испуганным плечам.

Под конец они с любопытством и симпатией окружили старую Дудуч, что, сидя на табуретке, кормила грудью Михаэля. Но когда они начали перешептываться и показывать пальцами, у Шимона потемнело лицо. Низкорослый и плотный, мрачный и тяжелый, он повернулся к ним со специально приготовленной вежливой фразой: «Ну, хватит, тут вам не представление!» — а затем, поторопив свою мать подняться, увел ее в дом.

И вдруг, в разгар благословений моэля, среди приглашенных воцарилась мертвая тишина. Это Яков, приставив ящик к стене дома, забрался на него и широко распахнул деревянные ставни на окнах комнаты Леи. Никто не спрашивал, что это означает, но в толпе прошел шепоток, и некоторые женщины промокнули покрасневшие веки. Все поняли отчаяние и надежду моего брата — что крик обрезанного младенца, проникнув сквозь распахнутое окно, пробудит мать ото сна и вернет ее в круг живых. Ведь всем известно, что страдальческий плач младенца — самый всепроникающий и пробуждающий звук в мире. Но вот — благословения уже произнесены, пеленка приподнята, крайняя плоть отрезана — и о ужас! — младенец не закричал.

Уши, приготовившиеся услышать вопль боли, услышали одно лишь тонкое посвистывание тишины. Глаза, широко раскрывшиеся, чтобы увидеть явление проснувшейся матери в позолоченной солнцем раме окна, зажмурились и потекли слезами. Лица омрачились. Отказ Михаэля

возвысить голос в плаче обрезания ранил их много глубже, чем они ожидали. В этом была насмешка над традицией и нарушение обычая. Словно этот младенец возвещал им: «Не будет моей доли с вами». Словно он дезертировал из-под общего ярма страданий.

Только Дудуч была счастлива. Ей было все равно, плакал ребенок или нет. Она снова взяла его на руки, и кормила, пока он не насытился, и барабанила подушечками пальцев меж его лопатками, пока он не отрыгнул, и все это время напевала ему свои мягкие бессловесные воркования. К этому времени она уже выкормила множество детей, но ни один из них не наполнял ее такой мягкой и сладкой тяжестью, как этот ребенок. В его тельце таился некий магнит, который притягивал и извлекал из каждого все лучшее, заключенное в нем, — любовь и молоко, слезу и улыбку. Вечером, тающая от удовольствия, она принесла его в спальню Якова, положила в новую колыбель, поцеловала в обе щеки и вышла из комнаты. Михаэль лежал с широко открытыми глазами, не засыпал и не плакал. В конце концов Яков не выдержал, взял сына на руки, положил в свою кровать и, приложив ухо к его животику, стал прислушиваться к поступи неощущаемой боли. И оба они уснули.

## ГЛАВА 54

Так я несся навстречу своей судьбе, подобно одному из тех гонимых в загон оленей из отцовских рассказов о пустыне. Отказываясь глянуть вперед, не извлекая уроков из прошлого, глухой и упрямый фараон любви. Я принадлежу к той породе людей, которые опознают пророчество лишь после его свершения, и, подобно Элиягу Саломо и князю Антону, я тоже не сумел прочитать предостерегающие знаки. Помню, как я сказал Лее, что в тот день, когда мы кончим складывать мозаику, Яков вернется и заберет ее у меня. На что Лея заметила, и вполне справедливо, что я абсолютный болван, и добавила, что нам все равно никогда не удастся заново сложить эту дурацкую мозаику. И в самом деле — всякий раз, когда нам казалось, что мы ее сложили, мы звали Ихиеля, и он приходил, обходил вокруг этой девушки, вокруг этой Алисы Фребом своей любви, и заявлял, что ее косоглазие все еще не вернулось.

Но в одну из суббот случилось, или, лучше сказать, свалилось (сейчас ты поймешь, почему «свалилось»), нечто такое, что даже мне удалось опознать.

В то утро я в очередной раз позанимался с Бринкером и, когда уже шел от него к дому Леи, услышал мягкое жужжанье, приближающееся из-за горизонта. Вскоре в воздухе появился маленький аэроплан и начал кружить над поселком. Шли последние дни войны, и итальянский налет на Тель-Авив еще не изгладился из памяти людей, но этот аэроплан излучал такое простодушие и дружелюбие, что все выбежали из домов и глядели на него с улыбкой. Несколько минут он летал над поселком, слегка покачиваясь, точно бабочка, несомая теплым воздухом, и наконец уронил из своего брюха черную точку, которая с грохотом взорвалась в одном из садов, взметнула огромную стену комьев, листьев, черепков и груш и вырыла глубокую воронку в земле. Аэроплан спокойно удалился, сделал большой круг, но на сей раз изменил своим привычкам и понесся к центру поселка, как намеренно и точно направленная стрела.

Люди бросились во все стороны, попадали, распластались на земле, прикрывая голову руками, но аэроплан, со свойственным всему летающему безразличием, невозмутимо перевернулся в воздухе, медленно спланировал на поле и там с почти неслышным треском развалился на куски и вспыхнул. Когда мы подбежали, он уже весь был охвачен пламенем и из кабины слышались крики: «Антонелла! Антонелла! Антонелла!

Антонелла!»

Несчастный летчик весь обгорел и был при смерти. Шелковый платок на его шее превратился в паутину из пепла, кожаный шлем сплавился с костями черепа, летная куртка выглядела, как сожженная бумага. Люди вытащили его из кабины, а Ихиель Абрамсон взволнованно присел рядом, вытащил из кармана блокнот и карандаш и заполнил четыре страницы подряд именем «Антонелла», которое с каждым разом становилось все слабее и бледнее. Сначала смазалось «Т», потом растворились оба «Н», а длинное «Ааа... боли» слышалось до тех пор, пока душа летчика не отлетела с последним «Ллл... любви» — таким захлебывающимся и протяжным, что, будь оно написано на спине Леи, оно наполнило бы ее бесконечным восторгом.

Огонь погас, обугленная голова умолкла.

— У него была ужасная смерть, — печально сказала мать. — Как у людей-ангелов.

Прибыли английские военные, забрали останки летчика и самолета, измерили, сфотографировали, задали вопросы и уехали. Люди в поселке еще несколько недель вспоминали о странном происшествии. Но, как и эксперты британской королевской авиации, они тоже не понимали итальянского. Я же, специалист по языкам, тогда же понял всё. Пикируя на поселок — вот что сказал летчик, — он был внезапно ослеплен болью тоски по возлюбленной и потерял контроль над дросселем и рулем. Это давнее зеркало Якова, возродившись к жизни, выстрелило в него своим слепящим лучом.

Я не рассказал об этом никому, и, уж конечно, не Лее. Еще через несколько недель война кончилась, в саду были посажены новые грушевые деревья, и летчик был забыт. Но время от времени я слышал, как мать шепчет «Антонелл», повторяя их с самыми разными ударениями, будто желая понять секрет, скрытый в согласных этого имени, с которыми было связано так много любви.

Наступили веселые, забавные дни. Наш Ихиель попал в ту же ловушку, которую судьба готовит многим, заразившимся собирательством: чрезмерный пыл лишает их трезвости суждений, — и теперь мы с Леей заполняли его блокноты никогда не произнесенными последними словами, которые принадлежали никогда не существовавшим знаменитым покойникам. Правда, Ихиель, подобно алчной жене рыбака, потребовал было свести его с отцом, дабы получать его милостивые дары без посредников, но я заявил ему, что отец видит в этих последних словах семейные тайны и передает их по наследству одному лишь мне, а потому

недопустимо, чтобы он узнал, что я выдаю эти тайны посторонним.

Сгибаясь от смеха, падая друг другу в объятия, перекатываясь по колкой мозаике, мы выдумывали аргентинского поэта, уроженца Александрии Хосе Исмаила Ньенте, который сказал: «Дорога была такой длинной, и я блуждал по ней в одиночестве», и Читру Гриву, главу гильдии голубятников Калькутты и автора слов: «Настоящая смерть предпочтительнее смерти при жизни», и шведского военачальника Густава Бризона из Фалуна, этого бравого («Седовласого», — добавила Лея) солдата, который, лежа на своем запятнанном кровью матрасе («В туберкулезной лечебнице», — добавила Лея), вытащил, улыбнувшись, руку из-под («Накрахмаленной», — добавила Лея) юбки («Рыжеволосой», — добавила Лея) медсестры и слабо, но внятно произнес: «Эта война — самая легкая из всех» («Перед тем, как навечно закрыть свой единственный глаз», — добавила Лея.)

— Что он имел в виду — войну с поляками, войну со смертью или войну с любовью? — спросил Ихиль.

— Разве все войны в мире не суть лишь разные обличья одной и той же войны? — торжественно спросил я, заранее зная, как влияет на него подобный выпенденный вздор.

Но время было более трудным противником, чем библиотекарь, и неизбежный день наступил, и был он предначертан и исполнен мастерской рукою. Весеннее («чудесное и неожиданное») утро окружило поселок прелестью своих соблазнов. Пчелы («трудолюбиво») жужжали над цветами, серые старики и старухи («бледные и боязливые») вылезли из зимних нор, намереваясь погреться на солнышке. Постельное белье, утратив всякий стыд, разлеглось на верандах, открыв себя всеобщему обозрению.

— Какое солнце! — воскликнула Лея, вытащила меня за руку из библиотеки, привела на холм и толкнула на траву. — Давай принесем Ихилью последние слова убитого током электромонтера: «Какая сволочь разлила воду на полу?!»

И рассмеялась мне в затылок. А я сказал, что не стоит стараться: Ихиль не интересуется последними словами простых людей.

Ни души не было вокруг. Только пустые глазницы Черепа таращились на нас. Лея распустила шнурок своей вышитой блузки, сняла ее и легла на живот.

— Напиши мне на спине, — попросила она. Резинки рукавов оставили на коже ее предплечий красные браслеты. Тонкая дрожь наслаждения передавалась от них моим пальцам.

— Как, по-твоему, я — красивая? — спросила она, зарывшись подбородком в траву.

— Да, — написал я.

— Напиши «нет», — засмеялась она. — Буква «Н» куда приятней.

Мы лежали в тени скалы. Лея вытащила из сумочки маленькое зеркальце, оперла подбородок на сложенные ладони и стала изучать свое изображение. Без всякого кокетства, печально и тревожно.

— Ты действительно думаешь, что я красивая?

Тот день был весь голубой, и зеленый, и расцвеченный повсюду красными точками анемонов, горлицев и маков и желтыми пятнами горчицы и хризантем.

— Да, — сказал я.

— По-настоящему красивая?

— Ты красивая, — сказал я. — Самая-самая в мире. Самая красивая из всех, кого я знаю.

— А кого ты вообще знаешь? — улыбнулась Лея. — Скольких девушек ты вообще мог увидеть, да еще с этой твоей упрямой привычкой ходить без очков? — Она вздрогнула и перевернулась на спину. — Видишь эту родинку у меня на подбородке?

— Да.

— Видишь, что из нее растут два малюсеньких волоска?

— Вижу, — сказал я.

— Вырвешь мне их? Я сама боюсь.

Она порылась в сумочке, дала мне пинцет и легла затылком на мои колени. Ее глаза были закрыты с полным доверием, губы слегка раскрыты, соски вздернуты и напряжены на легком ветру. Приблизив к ней лицо, чтобы лучше видеть, я ощутил на своих губах ее прерывистое, теплое и сладостное дыхание. Божья коровка шла по склону ее шеи, не понимая выпавшего на ее долю счастья.

Волоски на родинке были тонкими и светлыми, почти незаметными, но с очень глубокими корешками, и, когда я их вырвал, Лея застонала и прижала свои пальцы к моему запястью.

— О Долорес, великолепная и изысканная, о Долорес, госпожа нашей боли, — пробормотал я ей в ухо.

— Может, хватит уже!

Я не смог сдержаться тогда и, уж конечно, не могу сдержаться сейчас. «By necessity, by proclivity and by delight — we all quote»,<sup>[100]</sup> — процитировал я Эмерсона.

Солнце склонялось к вечеру, и в воздухе уже ощущалась прохлада.

Только мы с Шену Апари знали, до какой степени солнце заправляло всеми повадками Леи. Холодные и дождливые дни притупляли ее чувства, обесцвечивали кожу, нагоняли дурное настроение.

— Давай сыграем. — Она задрожала. — Давай сыграем, будто я заблудилась в лесу и ты показываешь мне, где растут под снегом ягоды.

Ее щека соскользнула на мое плечо. Волосы залили лицо и заполнили впадину моей шеи. Ее грудь дышала на моей руке.

— Давай вернемся, — сказала она.

Она оперлась на меня, надевая туфли. Сунула руку в задний карман моих брюк.

— Согреться, — так она сказала.

Медленно-медленно, уверенно, с закрытыми глазами, я собираю мозаику воспоминаний этого летнего дня. Мы неторопливо возвращались в деревню. Хризантемы источали свой дурной запах. Высоко в небе парили черные точки аистов. Щурка поймала на лету осу. Клацнул клюв. В ту ночь Яков вернулся и забрал у меня Лею.

## ГЛАВА 55

Горелка ревела. Отец с Ициком Идельманом заплетали халы. Мать, склонившись над барабаном тестомешалки, очищала его стенки длинными, мощными движениями шпателя. То была ночь с четверга на пятницу, самая тяжелая ночь недели. Шимон подтаскивал мешки к ситу. Йошуа Идельман, который резал тесто на куски, с гордостью посмотрел на своего сына и сказал:

— Кто работает быстро, кончает первый он кончает.

И вдруг, словно сильный язык пламени, внутрь пекарни ворвался запах — дикий аромат растоптанных луговых трав, ломуче-горькое зловоние ночных животных, пряный запах раскрывающихся во тьме цветочных чашечек. Запахи, знакомые по деревенским полям, но никогда прежде не пробивавшиеся сквозь спертый воздух пекарни.

Пальцы отца прервали свой стремительный танец и снова стали видимы глазу, скребок Идельмана и шпатель матери застыли в воздухе. Я стиснул мерную жестянку из-под муки с такой силой, что она издала металлический хлопок и ее удивленное квадратное тело удостоилось талии.

— Он пришел, — сказала мать и лишь затем, сама вдруг осознав смысл этих слов, завопила: — Яков пришел до дому!

Дверь пекарни открылась, и мой брат появился на пороге. Он был похож на одного из тех крестьянских парней, на которых мы с ним всегда хотели походить. Волосы на руках, сожженные пламенем печи, отросли снова. На ладонях пролегли новые борозды. Тело стало смуглым от солнца, которого почти никогда не видит пекарь.

Влажный воздух пекарни затуманил его очки, и он снял их, обнаружив новые, более светлые глаза. Мать кинулась к нему и стала трясти. Он зарылся лицом в ее шею, потом оторвался, подошел ко мне и обнял тоже, и я ощутил, что на его руках вздулись каменные мышцы и из глубины тела под кожу выплыли тяжелые крепкие кости. Он погладил опущенную голову Шимона и сказал ему: «Хэлло, что слышно?» — а потом подошел к отцу, обнял его и сказал: «Шалом, отец, вот я и вернулся».

«Вы все видели тогда — ко мне он подошел в последнюю очередь», — писал мне отец несколько лет спустя в одном из самых занудных своих писем. Но в ту ночь он сказал только:

— Сейчас не время, надо работать. — И повернулся к столу.

— Вы все ступайте спать, — сказал Яков и посмотрел на меня. — Мы

будем печь вдвоем.

— Вы не успеете, — возразил отец. — Завтра пятница.

— Успеем, — сказал Яков. — Шимон нам поможет.

Отец вздохнул, стащил с головы тряпичную шляпу, развязал на поясице грязный фартук и повесил его на гвоздь в стене. Каждое движение он проделывал нарочито медленно, с оскорбленным видом. Мать взяла его за локоть — то ли поддержать, то ли подтолкнуть, — и они оба вышли.

— И вы тоже, друзья, — сказал Яков, обращаясь к Ицику и его отцу. — Возьмите себе ночь отпуска за мой счет.

— Идем, Ицик, — сказал Идельман. — Теперь у нас новый хозяин теперь у нас. — И они вышли тоже.

Яков присел на рабочий стол, отщипнул кусочек теста, рассеянно пожевал и покатал его во рту, а потом встал и начал заплетать халы, все ускоряя и ускоряя движения.

— Ну, что? — обратился он ко мне. — Так и не скажешь мне ничего?

— Ты нашел то, что хотел? — спросил я.

— Что?

— Женщину, которая почует твой хлеб.

— Нет, не нашел, — улыбнулся Яков. — Зато я познакомился со всеми нашими родичами-«татарами», поработал в поле и переспал с женщиной.

— С кем? — испугался я.

— С одной из наших двоюродных сестер, которая выглядит, как твоя двойняшка. — И по прошествии целой минуты, видя, что я потрясен и ни о чем его не расспрашиваю, добавил, словно поддразнивая: — Это не похоже ни на что другое.

Воздух снаружи внезапно застыл, как остановился, и вдалеке послышалось слабое громыхание. То была одна из тех весенних бурь, которые откашливаются перед тем, как заговорить. Последний дождь той весны нетерпеливо постучал в жестяной навес над входом, заколотил тысячью мокрых колокольчиков по баку с соляжкой и легкой поступью почапал по черепицам. Но на этот раз мне уже не нужны были знаки извне. Мне достаточно было глянуть на Якова, чтобы понять, что все пророчества матери сбудутся непременно.

Я вышел наружу. Дождь вскипал и шипел, ударяя по раскаленному коническому колпаку над печною трубой. На уличном фонаре повисла серебристая юбка танцующих капель, и сквозь нее видна была торопливая фигурка, бегущая под ливнем, прикрыв голову шатром ладоней. Я услышал быстрый плеск летящих шагов по затопленной улице. И вдруг она

стремительно свернула к нашему двору, пересекла его, пронеслась мимо меня и вбежала в пекарню.

Я вошел следом. Яков стоял в яме перед дверцей печи — его руки держали лопату, лицо было поднято вверх, и Лея стояла над ним. Она беспокойно переминалась, ее трясло от сырости и холода. Я чувствовал мелкое, участившееся дыхание брата, пение его колен, застрявшее в горле яблоко его кадыка. В тот день я усвоил, что любящие в конечном счете должны искать только под светом фонаря, а не в тех темных углах, где осталась их потеря.

— Вылазь оттуда! — Она протянула ему руку.

Только сейчас, увидев Лею его глазами, я осознал, как сильно она изменилась, как похорошела за этот год.

Яков подал ей правую руку. Она схватила ее, вытащила его из ямы, повернулась к нему спиной и сказала:

— Расстегни мне заколку, Яков, я вся промокла.

Эту большую перламутровую заколку он купил ей за три года до того у Шену Апары и подбросил, с запиской, на веранду. Но до сих пор Лея ни разу не надевала ее. Теперь она освободила намокшую укладку кос, и волосы полились вниз тем медленным потоком, что не имеет ни начала, ни конца — будто тысячи тысяч теплых и влажных ящериц проползают мимо. Капли дождя сверкали на ее бровях, на переносице и ресницах, и жар печи поднимал над ее волосами сильный и свежий запах дождя.

Она наклонила голову, отжимая охапку волос, и вода всё текла и текла с них ручьем. Лея никогда не стриглась. Ребенком она боялась кляцанья ножниц, девочкой боялась щупающих прикосновений парикмахера, подростком боялась что-нибудь в себе менять, а когда стала девушкой, волосы Леи уже были длиннее всех кос в деревне, и ей казалось, что подстричь их — все равно что ампутировать руку или ногу. Как-то раз она сказала мне, что если пострижется, то ей непременно будет больно, а из отрезанных волос обязательно брызнет кровь.

С некоторой драматичностью, на мой нынешний взгляд довольно смешной, я подумал тогда, что вот эта картина и будет отныне вставать у нас обоих перед глазами всякий раз, как мы их прикроем. В то время я еще верил, что раны любви не заживают никогда. Я еще не знал, как быстро и бесследно они рубцуются.

— Дать тебе чаю к хлебу? — спросил Яков.

Он поставил большой чайник на примус, водрузил сверху маленький чайничек для заварки и посмотрел на Лею, которая присела снять туфли. Когда она выходила из дому, ее носки были белыми, но теперь дождь и

грязь разукрасили их коричневыми пятнами. Я глядел на подушечки ее пяток, которые когда-то своими отпечатками очаровали моего брата, а сейчас, влажные от дождевой воды, сморщились бледными и скорбными складками покорности судьбе.

Ливень снаружи усилился. Могучий грохот рассек небо. Подняв чайничек с заваркой, брат поднес его к самому носу Леи — вдохнуть пьянящий запах свежесваренных листиков. Уголки ее губ мелко дрожали. Серая стужа, жестяное дребезжанье мелкого дождя, ад зимы, которая никак не желает кончаться, — все это наполняло страхом ее душу и тело. Она вновь рассыпала великолепие своих волос, встряхнула их, пропустила сквозь пальцы и стала медленно расчесывать. Яков наклонился и потрогал рукой ее ступни.

— Ты замерзла, Лалка. — Он выпрямился. — Я дам тебе сухую одежду.

Подойдя к железному шкафу, он вынул из него стопку стираной рабочей одежды и, повернувшись ко мне, сказал со спокойной, уверенной в себе будничностью:

— Выйди. Она хочет переодеться.

И я вышел.

## ГЛАВА 56

Несколько лет спустя, во время паломничества в Нью-Бедфорд, Уолден-Понд и некоторые иные святые литературные места, я плыл на пароме на Марфин Виноградник, то бишь на остров Мартас-Винъярд. На палубе я свел знакомство с высокой, красивой ирландкой лет сорока, и вскоре мы уже разговаривали с ней накоротке, как всегда разговаривают два рыжих американца, когда случайно встречаются в дороге. Она работала в книгохранилище Библиотеки иудаики Гарвардского университета и, по ее словам, в совершенстве знала иврит. Я в тот момент был специалистом по выращиванию клубники, уроженцем Праги, ранним вдовцом (подвыпивший машинист съехал с рельс и раздавил мою жену об стену) и отцом двух годовалых близнецов.

— Иврит! — воскликнул я с пылкостью, вызванной желанием выяснить, насчитывает ли наша с ней компания более одного враля. — Не тот ли это язык, на котором пишут справа налево? Пожалуйста, скажите мне что-нибудь на иврите!

— Что именно? — смутилась она.

— Что угодно, — ответил я. — Мне просто хочется услышать, как звучит этот язык.

Она уставилась на меня своими светлыми глазами и, ни разу не моргнув, изобразила мне справа налево картину, в которой мы фигурировали с ней вдвоем на старом диване, стоящем, насколько я уразумел, в ее подземном книгохранилище. Ее описание было столь откровенным и детальным, что мне с трудом удалось сохранить то безмятежно-чешское выражение лица, которым природа благословила вдовых производителей клубники. Когда мы сошли с парома, я спросил, не согласится ли она разделить с мной комнату в гостинице «У Питера-гробовщика». Она рассмеялась и спросила, не боюсь ли я спать с людоедом, что по-английски звучало весьма многообещающе: «мужеед», — и душа моя воспарила. На следующую ночь она тайком провела меня в огромное книгохранилище в здании Библиотеки Ленднера в Гарварде. Запах старинных книг и близость к их мудрости, сказала она, воспаляют ее плоть. Многие из этих книг были мне знакомы. С обложки «Полного толкователя снов» Рафаэля Хаима Леви сверкало даже мучительное и памятное изображение курицы в очках.

— Скажите мне еще что-нибудь на иврите, — сохранял я свое

безмятежное спокойствие.

Очаровательная книгохранительница распустила свои косы, мягко толкнула меня на стоявший в книгохранилище диван, и, когда она наклонилась надо мною, мне на миг почудилось, будто я понял, почему вышел тогда из пекарни, и я начал рассказывать ей об этом, пока она не испугалась и не попросила, чтобы я перестал так кричать.

Позднее мои раны залечились, плоть успокоилась, и время обтянуло сердце новой кожей. Лет десять назад, когда мне исполнилось сорок пять, жена моего нью-йоркского редактора пригласила меня отметить мой день рождения. Ее муж уехал на какую-то конференцию на Западное побережье, и она хохотала, не переставая. То была забавная и очень умная женщина, и ее бедра, если принюхаться, таили дивный, неизъяснимый запах шафрана. Помню еще, что она сказала фразу, словно выхваченную изо рта Шену Апари:

— Лучшие любовники в мире — это эгоисты.

— Это потому, что мы так много онанируем, — сказал я ей.

Она стиснула мою руку свою, затянутой в перчатку, и вдруг поднесла ее к губам. Мы отправились в большую церковь, что на Пятой авеню, потому что я хотел показать ей то место, где полицейские стреляли в сбежавшего тигра Томаса Трейси — «тигра, имя которому любовь». Потом мы обедали в устричном баре. У меня есть странная слабость к живым моллюскам. Их вкус кажется мне отвратительным, но в них есть какая-то неведомая составляющая, которая взбадривает мое тело. Мы выпили грушевый Eau de Vie и, слегка опьяневшие, выбрались из катакомб Центральной автобусной станции, пересекли Сорок вторую улицу и поднялись меж двумя каменными львятами Публичной библиотеки, чтобы посмотреть выставку «Книги путешествий девятнадцатого века». Оттуда мы отправились к ней домой, и по дороге, продираясь сквозь толпу маленьких, квадратных и твердых японских туристов, я вдруг увидел старую женщину, скользившую по ледяной арене. Ее глаза были закрыты, а к предплечьям были привязаны крохотные бронзовые колокольчики. Она закружилась на месте, и в этот миг в моем сознании снова всплыл все тот же забытый вопрос и тотчас за ним, словно держась за его пятку, такой же очевидный ответ. Я понял, почему вышел тогда из пекарни. Я громко рассмеялся, сказал своей спутнице: «Ничего особенного» — и сегодня тоже не намерен ни единым словом объяснять эту свою давнюю уступчивость, которая, в любом случае, не имеет никакой связи с историями о князе и служанке, о грудях и ревнивце. Нет нужды объяснять всё и вся. «Читатель наделен разумом, позволяющим заполнить эти пустоты», и ему уже

приходилось отвечать самому и на многие вопросы потруднее. Почему Орфей оглянулся? Почему праотец Яков заплакал? Что именно замышлял Чичиков? Почему Сирано не открыл Роксане тайну любовных писем? Почему я не проводил свою мать в последний путь? Почему ты отказалась встретиться со мной, когда я позвонил тебе тогда с вокзала в твоём городе?

Я вышел из пекарни, подошел к окну и прижался к нему стеклами очков, но окно было покрыто каплями снаружи и запотело изнутри, так что раздевающаяся и одевающаяся Лея казалась сквозь него блеклым туманным облачком, которое уже никогда не обретет резкость.

Я обогнул пекарню и заглянул внутрь через щель между досками, которыми было забито заднее окошко — то самое, откуда мать когда-то продавала хлеб.

— Что ты там высматриваешь? — услышал я сзади.

Кровь хлынула мне в голову жаркой, яростной волной. Я молча повернулся и вlepил Шимону увесистую затрещину. Он тогда уже был пятнадцатилетним подростком — широкоплечим, плотным и очень сильным. Но я был выше, старше и злее, а ошеломление, обида и отвращение собрали в кулак всю мою силу. Удар отбросил Шимона назад, и его искалеченная нога подвернулась, наткнувшись на камень. Даже не застонав, он вскочил и бросился на меня. Я снова ударил его, и он снова упал. Когда он опять кинулся на меня и попытался укунить, я стиснул его шею обеими руками и подтащил его к тутовому дереву. Я бил Шимона головой о ствол, пока его тело не обмякло, как тряпка, потом привязал к дереву и так и оставил там.

Вернувшись к окошку, я опять заглянул сквозь трещину в раме. Лея уже оделась. Она сидела возле разделочных досок, утонув в мятой рабочей робе, а Яков нарезал для нее халу.

— Намазать тебе маслом? — спросил он.

— Да, — сказала она.

— Нарезать тебе кислый огурец?

— Нет. Я не люблю огурцы.

— Тогда, может, давленные маслины?

— Да. Пожалуйста.

— Ты любишь чай покрепче, Лалка?

Меня едва не вывернуло.

— Сколько ложек сахара?

— Одну.

Голос Леи был усталым и монотонным. Как будто ее язык и губы поняли, чему предстоит произойти, задолго до того, как это поняли разум и

сердце.

Брат наклонился, поставил перед ней чашку, потом отступил на два шага, вытер руки о штаны и посмотрел на нее с напряженным ожиданием.

Она тотчас приняла его дары. И я, весь этот год смешивший ее тысячами нелепых историй, описывавший ей империи солнца и царства луны, вырвавший два болезненных волоска из ее родинки, складывавший вместе с ней украденную мозаику и вымышленные последние слова, цитировавший лживые были и правдивые небылицы, — я понял превосходство Якова. Я увидел, как он улыбнулся про себя, но тут же вновь обрел серьезность и снова заспешил к работе, потому что следующая порция теста уже начала всходить, а когда тесто начинает всходить, весь мир торопится за ним следом.

— Ну, где же ты? — закричал он. — Куда ты подевался? Иди помогать!

Лея сидела около длинного рабочего стола, заплетая волосы в огромную косу длиной с ногу и толщиной с руку и укладывая ее двумя тяжелыми кольцами на макушке. Потом она принялась собирать пальцем крошки халы, упавшие с ее губ. Отец и мать тоже имели привычку собирать хлебные крошки со стола. Отец брал крошку двумя пальцами, клал ее на кончик языка и выглядел при этом как избалованная птичка, которая кормит сама себя. Мать сгребала крошки со стола одной ладонью в другую и этой второй вбрасывала добычу в широко раскрытый рот. Но Лея рассеянно прижимала крошку подушечкой пальца, пока она не прилипла там, онемевшая и замороженная, а затем, сунув палец в рот, высасывала из него свой трофей, округляя при этом губы, что придавало ее лицу изумленное выражение, словно она не могла понять, как это такая маленькая крошка может доставлять такое большое удовольствие. Годы спустя, когда я писал вторую книгу о хлебе, я посвятил отдельный и довольно забавный раздел людям, которые играют с хлебом, вроде оденовского доктора Томаса, который скатывал из него маленькие шарики, или того цвейговского шахматиста, докора Б., который в тюремной камере вылепил из хлебного мякиша шахматные фигурки, или Тиля Уленшпигеля с его собачками и кошечками из теста. Но в основном я писал там о людях, которые собирали крошки со стола, каждый в своем стиле. Я писал о них с тоской, потому что знал каждого, но в конечном счете эта моя тоска, как и все прочее, что случалось со мной в жизни, тоже превратилась в типографское собрание вымыслов.

Яков поставил окутанный паром таз с кипящей водой на дно гарэ, и мне вдруг показалось, будто палец Леи прижимается к моему телу. Мне показалось, что я прилипаю к этому пальцу и меня несет вместе с ним, куда

бы он ни повернулся. Мне показалось, будто мои колени охватила страшная слабость, и я вышел наружу, развязал Шимона и послал его в пекарню помогать Якову, а сам провел остаток ночи, сидя на крышке унитаза в библиотечном туалете и шелестя страницами.

«Noni soit qui mal у pense», — читал я надпись на полях рисунка. — Позор маловерам. Я был уверен, что Гоген насмехается над теми, кто, подобно Рильке в его поэме, сомневается в истинности рассказа о Леде и Зевсе. Лишь несколько лет спустя, в Нью-Йорке, адвокат Эдуард Абрамсон, дядя Ихиеля, разъяснил мне скучную правду: гогеновской Леде было предназначено украсить тарелки сервиза, заказанного то ли королевским двором, то ли неким рыцарским (не госпитальерским ли?) орденом, который выбрал это выражение своим девизом, — но тут же добавил, что Гоген, хоть и банкир в прошлом, «был наделен честностью художника», и указал тому свидетельство: только на гогеновском рисунке лебедь овладевает Ледой на лебединый манер — сзади.

На рассвете я вернулся домой. Якова и Леи уже не было в пекарне. Шимон, мрачный и молчаливый, грузил на повозку ящики с хлебом. Я пошел в дом Левитовых, где Цвия ждала на веранде.

— Лалка ушла посреди ночи и до сих пор не вернулась, — сказала она с беспокойством. — Я думала, что она у тебя.

— С ней все в порядке, — сказал я и добавил: — Я хочу поговорить с вами.

— О чем? — спросила она.

— О себе, — сказал я. — Я хочу уехать в Америку.

— В Америку? — удивилась Цвия. — Именно в Америку?

— Я уже взрослый, — сказал я. — Яков вернулся. Он заберет пекарню и Лею, и мне здесь больше нечего делать. Я не хочу быть в доме на роли Шимона.

— Родители знают? — Пока нет.

— И тебе нужны деньги для поездки.

— Мне нужны деньги на пароход и еще немного на первое время, и я верну вам все до последнего гроша.

— Твоя мать убьет тебя, — сказала Цвия. — И меня тоже.

— Она только скажет вам спасибо.

— Подожди здесь, — сказала Цвия.

Она поднялась на второй этаж и через несколько минут вернулась и отсчитала мне в руку купюры.

— Возьми, — сказала она, и ее сдавленный голос дрожал от слез точно так же, как в тот день, когда я впервые пришел к ним в дом. — Это не ссуда

и не подарок. Это плата за труд. Я хочу, чтобы ты сделал там кое-что для меня, и тогда я смогу умереть спокойно. А теперь подожди минутку.

Она села за свой «Зингер» и на скорую руку сшила мне потайной пояс для денег, а когда я выходил, схватила меня за руки и сказала:

— Мне жалко вас, тебя и Лалку.

Я никогда больше не видел Цвию. По прибытии в Америку я время от времени писал ей о моих поисках и о помощи адвоката Абрамсона, а когда мне удалось наконец разыскать отца Леи, Цвия продала свой дом и уехала к нему. Я говорил с ней несколько раз по телефону. У нее появился новый голос. Тот, каким женщины сообщают, что не хотят оборачиваться назад, и встретиться нам больше не довелось.

Вот как и вот почему я уехал, и я не хочу больше распространяться на эту тему. Ты и без того уже убедились в моем умении громоздить слова, и уж если я лишаю себя этого удовольствия, ты наверняка поймешь, что тому есть достаточные причины. Скажу только, что мать не пошла провожать меня в порт, а отец попрощался со мной дома. Мне запомнились его дрожащие руки на моих плечах и слова, произнесенные мне в шею: «Ты оставляешь меня одного с ними». Темный взгляд Шимона, плач тии Дудуч, что птенцом трепетал у меня на груди, да прянувшее мне вдогонку из окна материнское: «Предатель!» — вот и все мои провожатые.

— Не для того дедушка Михаэль делал себе брит-милу без веревок и без наркозы, — снова и снова ворчала мать. — Не для того он продал все, вместе с мельницей, и с ручьем, и с рабочими лошадьми, и с яблоневыми деревьями, и пошел мучиться и помереть в Землю Израиля. Чтоб еще два поколения не прошло, а уже его внук вернулся в галут. И из-за чего? Из-за той Яковлевой Леи...

## ГЛАВА 57

За несколько дней до отплытия я совершил ужасный поступок. Утром того дня я отправился с матерью в парикмахерскую Шену Апарри. Мать вошла внутрь, а я отправился купить блокнот и ручку, потому что забавлялся тогда намерением — в конечном итоге, как ты увидишь, не осуществившимся — вести путевой дневник. Когда я появился в парикмахерской, Шену Апарри уже закрыла рот, но ее слова всё еще витали в воздухе.

— Люди порой ждут своей любви и двадцать лет, — услышал я и понял, что речь идет обо мне. — Любовь никогда не умирает. *Jamais! Chez nous a Paris* любовь терпелива, как вино. Она ждет и ждет — и в конце концов приходит и ее черед.

Шену протянула руку к морю, в предполагаемом направлении «У нас в Париже». Тонкие соленые линии пота обозначились под рукавом ее платья. Женщины хором вздохнули и дружно обратили томный и восторженный взгляд в сторону запада. В стремительном мысленном полете этот взгляд пересек Средиземное море, пронесся, как жадный ветер, над греческими островами, взбудоражил мирный покой мелководных адриатических заливов, просверлил туннели в Альпах и выскользнул на равнины заальпийской Шампани. Прощай, гнетущий труд, постылая работа! Исчезни, пылающий, дряхлеющий, обжигающий Восток! Сгиньте, тряпки, мусорные совки, уют! Там, за дивными названиями — Дижон, Шабли, Фонтенбло, там — окутанный душистыми туманами Сены, раскинулся Париж, «волшебная столица, святая святых всех его любимых женщин». Город Шену Апарри, чьи деревья роняют листья даже весной, чтобы его поэты не остались без вдохновенных образов и метафор. Чьи женщины выстукивают своими каблучками мелодии соблазна на плитах его тротуаров. Чьи мужчины скачут по душистым шелковым платочкам, оброненным так, чтобы указывать правильный путь по тропам любви.

Когда мы вернулись, мать попросила проводить ее к Бринкеру, чтобы отнести ему кастрюлю с едой. На стук он открыл нам дверь, весь светясь от восторга, и тут же схватил ее руку в свои.

— Звезды, звезды, сейчас были и такие... Четыре какие и если захочешь и там камни и ничего потому что так, — сказал он.

— Что он говорит? — спросила мать.

Глаза Бринкера сверкали. Его лоб озарялся светом, который я не мог не

распознать.

— Нет птицы и девушка также в пять все в винограде в пять из-за, — улыбался он, держа ее руку в своей.

— Что он говорит? — снова спросила мать, стиснув зубы.

И тогда это произошло.

— Он говорит, что любит тебя, мама, — сказал я.

Мой голос был таким глухим и сдавленным, что я слышал себя не ушами, а через полость собственного рта и кости своего черепа.

— Он говорит, что любит тебя с того дня, когда ты пришла в деревню. Что раньше, когда ты еще не появилась, у его жены был хороший запах, а с тех пор, как ты пришла, она просто умерла для него. Что он должен был сказать тебе это уже тогда. Он говорит, что все эти годы его любовь не утихала даже на мгновение, что это она держит его в живых и она же убьет его. И каждый раз, когда он видит тебя, у него пересыхает во рту и теснит в груди, вот тут, под легкими, как у мальчика, который увидел раздевающуюся женщину.

Слова Бринкера придавали мне храбрость и силу.

— Он говорит очень простые вещи, мама: ты думаешь, будто любовь — это что-то сложное, но это не так. Он хотел бы сказать тебе несколько слов, из которых складывается любовь: он мечтает о тебе, когда тебя нет, он любит все, что ты делаешь и говоришь, он думает, что ты самая красивая женщина в мире, и это чувство его никогда не оставит—и что даже сейчас еще не поздно. И если есть еще что-нибудь, о чем он не подумал, скажи ему это сейчас.

Я машинально схватил ее за другую руку:

— И еще он говорит, что хоть и болен этой болезнью, он не дурачок. Он работает в поле, он понимает все, что ты говоришь, и ты научишься понимать все, что говорит он, как понимаю я, и в любом случае такая любовь не требует многих слов. И еще он умоляет тебя, мама, ведь вы оба не заслужили такой жизни, какая у вас была. Вы уже сделали довольно ошибок в жизни, и пришло время их исправить. Раньше он не осмеливался так говорить, но сейчас уже не боится, потому что его все равно никто не понимает. И он говорит — не нужно слушать Шену Апари, ведь она дура, и никому не нужно объяснять, что такое любовь. Все знают, что такое любовь, пока их об этом не спросят.

Большая прозрачная слеза набухла в левом глазу матери, выкатилась, скользнула по лицу и ползла вниз, пока не исчезла в проеме платья. Она посмотрела на меня, на Бринкера и снова на меня

— Злодей, — сказала она, глядя на меня. — И обманщик. Какой же ты

злодей. Это ты у него научился, у отца своего, обманщика Авраама.

Ее глаза сузились, голос стал глухим, лицо покраснело. Она высвободила руку из руки Бринкера и положила мне на голову. Тяжелой, как бревно, была эта рука, и я закрыл под ней глаза в ожидании предстоящего.

— Не будет у тебя семьи. Не будет у тебя жены. Не будет у тебя ребенка. Не будет у тебя земли, — услышал я ее слова.

Она повернулась и пошла домой, и я в раскаянии последовал за ней, неся шлейф ее рыданий.

— Это было ужасно, — рассказывал я Лее. — Она просто прокляла меня.

— Пусть прокликает. Предвзвешенности, — сказала Лея. — А ты сам еще хуже. Ведь этот человек законченный придурок. Он говорит, как придурок, и выглядит, как придурок, и каждое утро ходит в детский сад играть с детьми. Что ты хочешь от своей несчастной матери? Нашел с кем играть в эти свои игры!

— Это не игры, — возразил я. — Это в точности то, что он ей сказал.

Лея вскипела:

— Прекрати эти свои штучки! Ты забыл, с кем разговариваешь?

— С Лалкой, — сказал я.

— Умник нашелся. — Она разозлилась. — Что с тобой происходит в последнее время? Чего ты от меня хочешь?

— Теперь я уже ни от кого ничего не хочу, — сказал я.

Матросы освободили якорь, и «Вапоретто» задрожал всем корпусом, сотрясая палубные доски, перила и опирающееся на них тело пассажира. Тяжелая темная туша корабля медленно отодвигалась от берега. Узкая полоса грязной воды между судном и причалом все расширялась. Еще один громоздкий маневр — и вот корабль повернул в открытое море. Только Яков одиноко стоял на причале, и красная шерстяная нитка, которой мать когда-то связала наши запястья, натягивалась и дрожала все сильнее.

— Двигайся, скотина! — подталкивал я корабль из глубины своего сердца. — Ну же, пошевеливайся!

Пассажиры давно уже спустились в каюты, и солнце вобрало в себя свои лучи, а я все стоял и стоял в сумеречном свете, опираясь на перила, потому что все еще видел брата, машущего мне рукой с причала. Лишь когда совсем стемнело и воздух стал холодным и нестерпимо сырым, я повернулся, чтобы пойти в свою каюту, и тут же споткнулся об одну из труб, поскользнулся, ударился о железные поручни, потерял равновесие, рухнул на палубу и в конце концов покатился по замерзшим и гулким

металлическим ступеням. И тут я понял, что и на этот раз забыл дома свои очки.

Вот так, проклятый и слепой, в страхе, задушившем рвавшийся из живота хохот, я отправился в путь и оставил свою страну, свою любовь и свою семью за завесой тумана. Если не считать нескольких ошибок, иных более, иных менее забавных, все обошлось не так уж плохо. Не было гиганта кочегара, который провел бы меня по лабиринтам судна, не было женщины, которая радостно поднялась бы мне навстречу в каюте, куда я вошел по ошибке. Но мне помог детский опыт близорукости. Запах горящего мазута из машинного отделения, запах варева из кухни, запах моря с палубы, бритвенного одеколона и утренних попукиваний из пассажирских кают — все это с легкостью вело меня и указывало нужное направление. Я изучил путь из своей каюты в столовую и на палубу, и этого мне вполне хватало. Ведь в море все равно ничего не видно. Все те красивые слова, что были мне знакомы: необъятность морской синевы, бескрайняя ширь бесконечности, — на деле обернулись однообразными, утомительными, повторяющимися до омерзения волнами, а линия горизонта, претендующая на звание влекущей и недостижимой, оказалась даже ближе, чем на суше. Иногда я разглядывал даль через дырочку, составленную из кончиков пальцев, — игра, знакомая всем близоруким, такое небольшое оптическое чудо, обостряющее взгляд, но уменьшающее мир до размера булавочной головки и тем самым продолжающее древний спор между узким специалистом и энциклопедистом, между микроистами и макроистами, между гусем Сирано и петухом Казановой. Но большую часть времени я расхаживал в пузыре своей слепоты. Ширь вод и небесный свод сливались в нескольких пядях от кончика моего носа, и я был освобожден от известной обязанности корабельных пассажиров восторгаться каждой вопящей от жадности чайкой или очередным дурацким прыжком дельфина.

Вскоре мы вышли из Средиземного моря, этого вонючего внутреннего двора Европы, и бросили якорь в Лиссабоне, чтобы выгрузить и принять на борт товары. Защищенный броней предрассудков, я не сошел на берег. Я не стыжусь своих предрассудков, потому что приобрел их не из опыта, а из книг, и поэтому тщательно избегаю их проверки на деле. Всё, что нужно знать о Лиссабоне, о песнях фадо<sup>[101]</sup> и о девушках по имени Обригадо, я уже знал из «Ассирийца». Да и вообще я боялся, что не смогу найти обратную дорогу в порт или по ошибке поднимусь на другой корабль и окажусь в компании охотников за золотом или на китов. Я размышлял про себя о тех кораблях, на которые уже привела меня моя близорукость:

«Снарк», «Нелли», «Леди Виктория», «Пиквот». Корабли, отплывающие в бумажные моря, «корабли, чьи названия сверкают, как бриллианты, в ночи времени»: «Зуав» Тартарена, «Эспаньола» с Острова сокровищ, «Форвард» капитана Гаттераса и «Мертвая голова» Хука. А «Ласточка» Гаргантюа? А «Корабль мертвых»? А настоящие корабли? Магеллановы «Тринидад» и «Сайта Мария»? «Терра Нова» Скотта? Дарвиновский «Бигль»? А какой из двух «Эдвенчеров»? Настоящий, капитана Кука, или его вымышленный близнец из «Таинственного острова»?

Достаточно ли ты впечатлена? Иногда я выхожу из берегов — это такое мусорное ведро, до краев набитое никому не нужными сведениями.

Три дня мы простояли в Лиссабоне «и вслепую, точно судьба, пустились в пустынную Атлантику». Тридцать дней и восемь тысяч километров спустя мы бросили якорь в огромном, жарком порту Нью-Орлеана.

Увлекаемый потоком людей, я нащупал дорогу по спуску трапа и вступил на твердую, поющую землю Америки. Сердце мое сильно билось в ожидании предстоящего. Тогда я еще не знал, что меня ждет здесь благополучная и монотонная жизнь, лишённая взлетов и падений, не знающая волнений и ожиданий. Ты ведь и сама уже имела возможность убедиться, насколько лучше я описываю первые двадцать лет своей жизни, чем тридцать пять последующих. «Всякий раз, как нам представится некое из ряда вон выходящее событие, мы не станем экономить труд и бумагу, дабы описать его читателям. Но там, где целые годы пройдут, не производя ничего достойного внимания, мы не убоимся пропасти, разверзшейся в нашем рассказе». Опять Филдинг, кто же еще? Мне всегда нравились его обращения «к Читателю», и сейчас, когда у меня есть собственная «Читательница», я не упущу такого случая.

Долгие часы я блуждал по незнакомым и влажным улицам Нью-Орлеана, следуя за петляющими запахами кофе и кустов мелии, повинуюсь легким дуновениям гардений и рома, среди соблазнительных голосов попугаев и тромбонов, пузатых барабанов и речных гудков, пока не набрался смелости и не спросил одного из прохожих, где найти магазин оптики.

Я вошел. Резкий запах табака ударил мне в нос. Маленький медный колокольчик донес о моем приходе. Появился человек, голова — размытым овечьим облачком на небосводе комнаты. Он посадил меня в то самое кресло, против той самой белой таблицы, прижал к моему носу те самые железные оправы и спросил, знаю ли я английский алфавит. Я готов был грохнуться в обморок и только слабо ему кивнул. Он посмотрел в мои

глаза, сменил линзы, записал на листке результат и спросил, как меня зовут.

— Приходите завтра, мистер Леви, — сказал он. Белые пятна глаз и зубов сверкали в черноте его лица. Но я боялся, что если сейчас уйду, то назавтра уже не найду это место. В отчаянии я вышел наружу и уселся на свой чемодан у двери магазина. Увидев меня на чемодане, он проникся жалостью и пригласил меня обратно. Два часа спустя он снова появился из задней комнатки, подошел ко мне и сказал: — Вот ваши очки, молодой человек.

Я встал и послушно повернулся к нему. Он посадил очки на мою переносицу этим замечательным движением всех без исключения оптометристов, и я увидел перед собой старого, лысеющего негра в очках, с белыми бровями и бакенбардами и большими седыми усами, который дружелюбно мне подмигивал.

Сила вновь вернулась в мое сердце, жизнь и надежда — в мое тело. Я вернул ему улыбку.

— Никогда не забывай их больше, — сказал он мне строго, как будто мы были знакомы уже много лет. — Не забывай и не теряй. Ты уже не мальчик. Я не знаю, откуда ты приехал, но эта страна не терпит такого рода роскоши.

Несколько лет спустя, стоя в группе иммигрантов в зале, где мы присягали американскому флагу, я вспомнил то острое и болезненное мгновение, когда черный седой оптометрист даровал мне новое гражданство, водрузив на мою переносицу очки.

Он проверил перемычку оправы, нагревал и сгибал заушины, пока не остался доволен результатом, и под конец привязал к ним черную, тонко заплетенную нитку, чтобы очки висели на груди, когда мне захочется их снять.

— Не хочешь ли выпить со мной чашечку кофе в знак дружбы? — спросил он, перевернул табличку на входной двери и пригласил меня в заднюю комнатку магазина. К моему большому удивлению, он варил кофе в точности, как отец, — в маленькой кастрюльке, доводя его до кипения, снимая с огня и повторяя эту процедуру снова и снова.

Он спросил, откуда я приехал, и, когда я сказал, что родился в Иерусалиме, расчувствовался совсем.

— О какое волшебство и чудо, — воскликнул он, — что красивая девушка покорит меня себе...

— ...и съест меня, ягоду за ягодой, — закончил я цитату, и мы взорвались тем смехом, каким смеются встретившиеся братья после сорокалетней разлуки. Я сказал ему, что еще раньше сарояновского

образованного лавочника подобные фразы произносил старый киплингковский тюлень, и он похлопал меня по плечу.

— Ты низверг моего кумира из кумиров, — улыбнулся он, — и за это тебе полагается даровой обед.

Он усадил меня за стол, а сам подогрел и подал странную и удивительно вкусную смесь риса, мяса и рыбы, приправленную толстыми стеблями зелени, которые он назвал «окра», а на мой взгляд, были просто луком-пореєм. Потом мы пили очень крепкий ликер. Я расчихался, а оптометрист закурил сигарету и, то и дело глубоко затягиваясь, рассказал мне, что его предки были вывезены работоторговцами из Мавритании; некоторых из них послали на хлопковые плантации Луизианы, а других обратили в мусульманство и отправили на Святую землю охранять Мечеть на Скале.

— А вы? — спросил я. — Вы тоже мусульманин?

— Нет, — засмеялся он.

— Христианин?

— Не христианин я и не еврей, — ответил он уже совершенно серьезно. — Просто язычник, как все мои предки. Монотеизм и оптика плохо уживаются друг с другом.

Он вновь усмехнулся чему-то своему, а я не сводил с него взгляда. Хоть я уже знаком был с Кашвалой, Квеквоком и Бумпо, но впервые в жизни столкнулся с язычником во плоти.

— В драке и в постели, — сказал он внезапно.

— Что? — удивленно переспросил я.

Старый оптометрист грустно улыбнулся.

— Ты парень симпатичный, но наивный, — вздохнул он. — Во время драки и в постели с женщиной — вот два случая, когда нужно снимать очки. Тогда и только тогда. Понял? Воевать и любить получается куда лучше, когда не видишь дальше собственного носа.

Я долго слушал его рассказы. Он был стар, и возраст, а также одиночество, вера и ремесло заставили его толковать мир на собственный лад. Он рассказал мне о своей жене, которая была раздавлена много лет назад у входа в нью-орлеанский зоопарк.

— Все попугаи в парке закричали одновременно, водитель грузовика испугался, повернул голову посмотреть и раздавил мою жену о каменную стену зоопарка. — Он вздохнул. — Как можно после этого верить в единственного Бога? Чтобы устроить такой кавардак, нужна большая компания.

Потом он с восторгом рассказал о двух сыновьях, которых вырастил в

одиночку. Один преподавал в школе для поваров, а второй, сержант морской пехоты, несколько месяцев назад вернулся с Таравы в Тихом океане, целый и невредимый, с медалями на груди. Он вытащил из ящика две пары крохотных детских ботиночек.

— Эти — повара, а эти — морского пехотинца.

Потом он вновь вернулся к вопросам любви и войны, стал метаться по маленькой комнатке, точно лев в клетке собственных мыслей, и провозгласил, что, снимая очки, мы, по сути, декларируем свои намерения. Я провел достаточно времени в компании Ихиеля Абрамсона и Ицхака Бринкера, чтобы опознать ту же породу. Можно было не сомневаться, что старый оптометрист посвятил немало долгих часов разработке своего учения. Его речь была слишком четкой и упорядоченной, и декламировал он без остановок.

Потом он вдруг очень буднично сказал:

— Теперь твой черед рассказывать.

Я рассказал ему об одной паре очков для меня и Якова, и он всплеснул руками с восторгом и с жалостью. Я рассказал ему о нашей старшей сестре и ее страшной смерти во время иерусалимского землетрясения, и он вытер глаза. Но когда я вытащил из чемодана женщин, вырванных из ихиелевских альбомов накануне отъезда, он испугался. Он снова достал свой маленький резкий фонарик и посветил им внутрь моих глаз.

— Почему ты не сказал мне, что еще не спал с женщиной? — спросил он после краткого обследования.

Его дыхание пахло мускатным орехом и свежеско-шенной травой. Пальцы, которыми он раздвигал мои веки, были добрыми и мягкими.

— Потому что это правда, — ответил я.

— В один прекрасный день, мой мальчик, — прошептал он низким, надтреснутым голосом, — ты встретишь женщину, которая сможет говорить с тобой обо всем, что тебя интересует, и приготовленный ею первый «мартини» будет точно по твоему вкусу, и в кофе она добавит ром и сахар точно по твоему вкусу, и пластинки, которые она купит, тебе не придется менять в магазине. Она сумеет тебя рассмешить, она будет писать мокрым пальцем стихи на твоей спине, и внутри ее тела, задержав в нужный момент дыхание, ты почувствуешь рукопожатие трех ангелов. Но опасайся! В один прекрасный день твоя женщина улыбнется, и протянет руку, и снимет с тебя очки — снимет и положит на тумбочку возле кровати.

И тут его голос поднялся до крика:

— И вот тут-то ты должен встать и бежать! И не вздумай оборачиваться. Не отвечай на вопросы и не задерживайся для объяснений.

Встань и беги!

Великолепно экипированный, я покинул его магазин и пошел на вокзал, сел в вагон второго класса скорого поезда и отправился в Нью-Йорк. Денежный пояс Цви Левитовой шуршал у меня на животе. В кармане моего плаща лежало письмо Ихиеля к его дяде, нью-йоркскому адвокату Эдуарду Абрамсону. На носу сидели очки моего нового приятеля из Нью-Орлеана, а вторая пара, которую он дал мне в подарок, лежала в моей сумке. Его вкусная пища выстилала мое нутро, а доброжелательные наставления — мое сердце. Он был моим первым благодетелем в Америке, и я никогда не забуду его доброту. Америка проносилась перед моими глазами, приветствуя меня, — новая страна, приятная на вкус и четкая на глаз, свободная от тумана, от острых осколков воспоминаний, от всех экранов с тенями страданий на них.

## ГЛАВА 58

Я, должно быть, прикрыл глаза, а то и забылся в короткой, по возрасту, дреме, потому что, услышав выдохнутое вдруг в затылок: «Дяд-очень-очень-ненагляд», так и вскинулся в мгновенном остром испуге.

— Я тебя не трону, не бойся, — сказала Роми. — Пойдем, я хочу тебе кое-что показать. — Она провела меня темным коридором к кухонной двери и двумя душистыми пальцами запечатала мне губы: — Ты думаешь, что знаешь его? Тогда посмотри на него сейчас.

Яков сидел, наклонившись, на стуле. Михаэль, полураздетый, светясь худеньким тельцем в полумраке, стоял между его коленями, закрыв глаза. Одинокая лампа на кухонной стене отбрасывала их тени.

Руки Якова скользили по плечам ребенка, изгибу его талии, животу и бедрам, раздевая Михаэля догола. Я вдруг ощутил стеснительное возбуждение соглядатая. Положив на стол небольшую коробку, Яков вынул из нее два медицинских фонарика. Один, со слепящим зеркалом, он надел на лоб, где зеркало засверкало, словно огромный одинокий глаз, второй оставил на столе — маленький ручной фонарик с фокусирующей и увеличивающей системой линз, который я послал ему несколько лет назад, понятия не имея, зачем он просит.

— Это их ежедневный ритуал, — сказала за моей спиной Роми. — С тех пор как Михаэль не заплакал на обрезании.

Яков снял очки, чтобы лучше видеть, и придвинул лицо вплотную к сыну, почти касаясь его губами. Плуг его носа пропахал гладь детской кожи, высматривая, нет ли на ней ожогов, уколов или порезов. Кончики пальцев прочесали волосы на голове ребенка, прощупали маленький череп, скользнули по выпуклости лба. Потом он посветил маленьким фонариком внутрь ушей и за ними, побарабанил пальцами по подбородку, приподнял его, чтобы проверить белки глаз.

— Может, дед все-таки прав? — прошептала Роми. — Может, Михаэль и правда похож на того вашего Лиягу?

Она произнесла имя Лиягу, и моему мысленному взору представилась вдруг бесконечная процессия бессмертных белковых молекул — вот они впрыскиваются в тело Дудуч, вот любовно проникают в ее плоть, всплывают к ее сияющим грудям, растворяются в их молоке и оттуда текут в рот Михаэля и дальше, в его внутренние органы и яички. Ощущение было болезненно-острым, и его боль показалась мне похожей на те тайные

письмена, осколки которых каждый день дешифруются моей собственной плотью.

— Не смей! — Рука и дыхание племянницы приковали меня к месту, потому что тело мое уже задрожало и напряглось, будто хотело прыгнуть и ворваться внутрь.

Яков приподнял пальцами губы сына и осторожно вывернул их наизнанку. Михаэль, явно привыкший к этой процедуре, широко раскрыл рот и высунул язык. Яков посветил своим фонариком в глубь его рта в поисках напухших десен, белого налета в гортани, дырочки в зубе или прикушенного языка, потом взял в руки его маленькие ладони и стал поворачивать, высматривая еле ды царапины или укола.

— Расскажи мне еще раз, как ты отрезал себе этот палец. — Михаэль погладил отцовскую ладонь.

— Ты упал, — заключил Яков. — У тебя на руке содрана кожа.

— Я бежал, — признался Михаэль.

— За тобой кто-то гнался?

— Нет, я бежал просто так.

— Где был Шимон?

— Сзади, и он меня сразу поднял.

— Будь осторожней, когда бежишь.

Два слабых, близоруких глаза моего брата и девять с половиной его пальцев, кожа которых за годы работы с тестом истончилась до шелковистости, бережно и внимательно двигались вдоль бледной, нежной спинки, подрагивая на ее выпуклостях, выискивая мельчайшую ссадинку, самый маленький синячок, крохотное покрасненьце, легчайший ожог. Обнаружив занозу в подушечке указательного пальца, он осторожно вытащил ее языком и зубами. Михаэль рассмеялся: «Ты совсем как собака, папа». Оставшуюся ранку Яков смазал синим йодом, и затем Михаэль поднял руки, показывая подмышки и давая отцу возможность пощупать желёзки.

— Тебе было больно?

Яков повернул ребенка и прижал ухо к его спине.

— Что больно?

— Когда ты отрезал палец, тебе было больно?

— Дыши глубже, — сказал Яков, потом: — Покашляй, — потом: — Минуточку, — потом обнял его и стал дуть в затылок, так что они оба прыснули смехом, и наконец, приподняв, положил Михаэля на кухонный стол.

— Это было очень больно, — сказал он. — Больнее всего на свете.

Он осторожно и медленно разглаживал его кожу, нежно мямл маленькое тельце, пробовал на отзвук суставы, простукивал ребра и конечности.

— Иногда я чувствую его боль. Вот здесь, в кончиках пальцев, — сказал он мне несколько дней спустя, когда я, не в силах сдержать любопытство, напрямую спросил, что это все означает. — Вначале я умел только смотреть и выискивать приметы, а сейчас я уже чувствую и саму боль.

— Только отцовские боли ты никак не почувствуешь, — сказал я ему.

— Сделай мне одолжение. Не морочь мне голову своими теориями.

Подобно большинству людей, Яков тоже считает, что у всякой боли должна быть причина. Судя по рентгенограммам, у отца нет таких дефектов позвоночника, которые могли бы вызвать столь сильные страдания. Его внутренности в норме. Колени у него хоть и старческие, но здоровые. И Яков, в котором не утихает застарелая злость и которому осточертели отцовские причитанья и рассказы, подозревает, что все его боли — попросту продолжение шакикира де раки времен нашего детства.

— Это не так просто, — сказал я. — Такое не всякому под силу.

— Послушай, о чем мы вообще говорим? — В голосе Якова послышались ледяные нотки. — Какая сила? Какие боли? Тебя не было здесь тридцать лет, тебе не пришлось выносить все его капризы, тебе не довелось вытерпеть все, что с нами здесь происходило. Так изволь уж теперь ухаживать за своим отцом, а я буду ухаживать за своим сыном, и оставь меня в покое.

Тяжелыми и страшными были эти слова, но как спокойно мы их произносили.

— Она заснула еще до того, как Биньямин погиб, — сказал я. — Ты что, думаешь, я не знаю, что здесь происходило, что ты с ней делал, когда вы поженились?

— У меня нет сил сводить старые счета, — сказал он. — Чего ты хочешь? Получить пекарню? Забрать Лею? Можешь забрать — и то, и другое. Можешь забрать всё. Вы все, до единого — можете забрать себе всё. И ты, и Роми, и отец, и Лея. Фотографируйте меня, изводите меня, бросайте меня, спите из-за меня. Мне от вас уже ничего не нужно. Только этого мальчика оставьте мне. Он мой.

Я видел, как он склоняется над сыном, исследуя пальцы его ног, как скользит по его берцовым костям, тревожно щупая склонные к повреждениям суставы лодыжек и коленей. Закончив, он осторожно постучал пальцами по внутренней стороне бедра, и Михаэль, уже изучивший отцовские сигналы, немного раздвинул ноги. Нежно приподняв

его маленькую мошонку, Яков тщательно осмотрел ее со всех сторон, затем, перевернув ребенка на живот, еще раз исследовал его плечи, спину, ягодицы, промежность и ноги — до самого низу, до нежных сухожилий голени и подушечек маленьких пяток.

— Раньше он каждый день мерил ребенку температуру, — сказала сзади Роми, ее голос — тонкими струйками по моему затылку. — Но я ему пригрозила, что сфотографирую это и пошлю снимок тебе.

Михаэлю было тогда года три. Он распростерт на отцовских коленях, голова и руки свисают, маленький термометр торчит из наготы тела, поблескивая в мягком свете, который теперь уже никогда не погаснет. Я часто смотрел на этот снимок, потому что в нем было какое-то пленительное, колдовское очарование, и не печаль на лице моего брата и не абсолютный покой на лице Михаэля были его источником, а именно вот этот тусклый, мерцающий блеск ртутного столбика.

— У тебя нет температуры, — сказал Яков, поднимая сына. — У тебя всё в полном порядке.

И он поцеловал Михаэля в лоб, в переносицу и в шейную ямку, и голый ребенок, смеясь от удовольствия, положил руки на плечи отца, а голову на его грудь и закрыл глаза. Так они постояли несколько минут, а по том Яков отыскал свои очки и одел сына.

— Точно как ты сказал мне тогда в той Америке, произнесла Роми из-за моего плеча, с усмешкой добавляя к «Америке» материнское «той». — Помнишь? Когда объяснял, в каких случаях снимают очки.

От тоски и усталости мне почудилось, будто это мать говорит за моей спиной, и я обессиленно откинул голову. Но матери уже не было на свете, а ласковость девичьей груди испугала мой затылок. Я побледнел, вздрогнул и торопливо поднялся с колен.

## ГЛАВА 59

Яков унаследовал пекарню, выиграл Лею, остался в родном доме. Вечерами он засыпал в объятых жены и, поднимаясь в полночь для своего ночного труда, любил смотреть, как она перекачивается на согретое им место и улыбается во сне. В пекарне пылала глубоким ровным жаром печь, бурлили, пучились и умирали дрожжи, начинало свой очередной забег всходящее тесто, буханки одна за другой выстреливались в зияющий печной зев. Яков по сей день печет хлеб тем же давним отцовским способом и в той же печи, разве что паровые мехи заменил на электрические. Поставить в пекарне карусельные электрические печи он отказался, и, если не считать дряхлой тестомешалки фирмы «Кемпер», единственными машинами, которыми он пользовался, были «Фортуна», разрезавшая крупные куски теста на части поменьше, да плахт-автомат, большие барабаны которого формовали из теста змеевидные колбаски для плетения хал.

Семейная жизнь Якова и Леи вызывала восхищение матери. Она рассказывала Шену Апари, как Яков расчесывает Лее волосы, как уговаривает Дудуч сделать ей масапан, как улыбается, когда она улыбается, и шевелит губами, когда она говорит.

— Теперь в нашем доме есть любовь, — говорила она. — Сын мой качает ту Лею на руках, как дитё.

— Это неправильно! — встревоженно воскликнула Шену Апари. — Женщина — не бог. Никогда нельзя отдавать ей все, что есть, никогда нельзя показывать ей все, что внутри. Кое-что нужно сохранить про запас.

Мать была поражена и обижена. Шену Апари была в ее глазах не только знатоком, но и наставником, и такая рассудочная трезвость показалась ей чем-то вроде предательства.

— О-о... Ма шер! — Заметив, что мать покраснела, Шену рассмеялась. — Любовь может быть еще хуже, чем деньги. Она протекает сквозь пальцы, она убегает, у влюбленных всегда в кармане дырка, всегда нужно сохранять кое-что на черный день. Не отдавать всё-всё до конца. Быть комси-комси эгоистом.

Она положила руку на плечо матери.

— Ты думаешь, что любовь — это чисто сердечное? Сердце — это только для начала. Любовь требует ума, а этого нельзя найти в сердце или выучить в Сорбонне. У нас в Париже говорят: «Всякий, кто влюбляется,

получает шанс вернуться в рай». И что же? Все пробуют, а кому-нибудь удалось? Уже три тысячи лет самые-самые умные люди пишут о любви. И что? Кто-нибудь приблизился к решению?

Первый дождь после свадьбы привел Якова в лихорадочное возбуждение. Он подставил под водосточную трубу большой таз и собрал в нем дождевую воду, чтобы Лея могла снова окунуть в нее свои волосы.

— Твой сын просто глуп, — охлаждала Шену Апарри восторги матери. — Это не приведет к добру. Нельзя оглядываться на прошлое. Только преступники и дурачки возвращаются назад, к началу.

Когда Яков попросил Лею вымыть голову дождевой водой, она только рассмеялась и последовала за ним в пекарню. Был вечер, до начала работы было еще далеко. Запах муки висел в воздухе, и чрево печи еще сохраняло ночное тепло. Яков поставил таз на примус и, когда вода согрелась, сказал: «Наклонись, Лалка», окунул ее волосы в воду и стал мылить их хозяйственным мылом. В мягкой воде поднялась гора пены, и Яков полоскал, и намыливал, и снова полоскал, и по мере того, как вокруг снова вставал тот давний дождевой запах, его движения, поначалу торопливые, как у возбужденного любовника, превращались в медленные, опытные действия пекаря, а затем — в торжественные ритуальные жесты священнослужителя, пока Лея не сказала: «Хватит уже, Яков, мне холодно». Потом они легли в мучном складе, и грубая ткань мешков докрасна натерла ей ягодицы и лопатки, а потом они затихли и обнялись, и Лея, чувствуя прерывистое дыхание Якова на своей шее и страхась очередных труб, на которые ему вздумается лезть, и очередных пальцев, которые он может потерять, вздрогнула и сказала: «Я люблю тебя, Яков, ты вообще не должен все это делать, просто будь со мной, и всё. Я рада, что мы вместе».

Через несколько месяцев она забеременела, и Яков написал мне, что он счастливейший человек на свете. «Когда я с ней, мне хорошо со всех сторон, — писал он, и я расхохотался, потому что мой брат писал так велеречиво и забавно: — Я люблю Лею, я люблю пекарню, я люблю ребенка, который растет в ее животе».

Я выпросил у Эдуарда Абрамсона выходной день, встал пораньше и отправился на пароме на Песчаный Крюк, чтобы посмотреть оттуда на восток, потому что моя тоска заставляла меня жить жизнью Якова, моя ревность заставляла меня мыслить его мыслями и моя любовь заставляла меня думать о его ребенке, которому только предстояло родиться. Уже тогда я мог бы понять, какие тощие, пустые и скверные годы ждут меня в Америке.

Мой взгляд пересек океан, со свистом пронесся над Гибралтарским проливом, одолел простор Средиземного моря и опустился на трубу пекарни с точностью вернувшегося аиста. Я услышал рев горелки, оперы бедняги Бринкера, гремящие на его старом патефоне с заводной ручкой, и поверх всего этого — колотушку Биньяминова тельца в гудящем колоколе материнского живота.

Счастье накрыло Якова с головой, веяло в его горле, наполняло его тело. Тогда еще никто не знал, ни он и, уж конечно, ни я, что наша мать заболела своей первой и последней болезнью, от которой ей предстояло умереть.

## ГЛАВА 60

В то время я жил в Манхеттене, на Двадцать третьей улице, в маленькой и очень удобной квартирке, которую адвокат Эдуард Абрамсон выделил мне в принадлежавшем ему доме, где располагался также и его офис. Окно квартиры выходило на изящный профиль здания, напоминавшего мне гигантский уют. Я завтракал в латиноамериканском кафе поблизости. Мне нравились яичницы с луком, которые там подавали, странные приправы, которые я когда-то обонял на страницах «Бюг Жаргаль», ароматный кофе от Отто Сейфанга с улицы Ренн. Я наслаждался удобствами моей новой страны и приятностью работы у адвоката Абрамсона, который в первый же день, прочитав переданное мной письмо Ихиеля, взорвался хохотом, по сию пору не знаю почему, и спросил меня, что такое «уэллеризмы».

— Почему вы спрашиваете об этом? — настороженно поинтересовался я.

— Чтобы определить вашу зарплату, — ответил он.

— Мне вполне достаточно и того, что у меня уже есть, сэр, как сказал солдат, когда ему назначили триста пятьдесят ударов розгами.

Второй взрыв его хохота был точной копией первого.

— Диккенс, — торжественно провозгласил он, — вот истинная альфа и омега сочинительства.

И возвестил мне, что я сдал экзамен и назначен его личным секретарем.

— В чем состоят обязанности личного секретаря? — спросил я.

— Не могу вам сказать, сэр, как ответила Ева Господу, когда он спросил, где она покупает себе одежду, — ответил старик. — Вы — мой первый личный секретарь.

Он поручил мне «влиять содержание в звание» и предупредил, что хотя человек он «добрый и покладистый», но даже его терпению есть предел, каковой не следует переступать. Он не задумываясь уволит меня, если я когда-либо дерзну вынуть закладку из его книги.

Я утрясал даты его медицинских проверок, состязался с ним в конкурсах на общие познания, назначал его встречи в Гарвард-клубе, звонил повару в «Сильвер Палас», где Абрамсон раз в неделю обедал в отдельной комнате. (Он любил китайскую кухню, но ненавидел имбирь.) Я собирал для него вырезки из газет. («Вырезайте, главным образом, всякие

дурацкие истории, — наставлял он меня, — это мой способ сохранять молодость»). Я регулярно беседовал с ним. (Темы бесед он назначал за три дня вперед, чтобы я успевал подготовиться.) Я записывал в специальной тетрадке его ходы в тех партиях в стоклеточные шашки, что он разыгрывал со старым хасидом, которого специально для этой цели привозили из Бруклина и отвозили обратно на древнем, начищенном до блеска «дузенберге» моего хозяина. Я читал ему приходившие на его имя письма, среди которых было много интимных, подробных и вызывавших неловкость посланий от женщин с «воображением, мягким, как шелк, и памятью, прочной, как скала». Я заключал с ним пари и в случае надобности звонил его букмекеру, которого про себя называл «мистер Джингль» по причине его обрывистой, задыхающейся речи.

Время от времени меня приглашали к нему домой, чтобы испечь для него хлеб, потому что американский хлеб вызывал у Абрамсона отвращение. «Сделайте мне в том вкусе, в каком я любил». И порой в этих наших трапезах, состоявших из свежего хлеба, масла, рубленого и наперченного сырого тунца, черного чая и кислых огурцов, участвовала также его жена. Огурцы тоже привозили из Бруклина на «дузенберге», но обратно уже не отвозили.

Миссис Абрамсон смерила меня оценивающим взглядом. Она жила в отдельном доме, по другую сторону парка, и раз в две недели я звонил ей, чтобы назначить их встречу, которая всегда происходила в одном и том же номере отеля «Уэстбюри» на Мэдисон-авеню, неподалеку от дома моего благодетеля. «Это мой способ сохранять любовь», — объяснил он мне, хотя я ни о чем не спрашивал, и они обменялись улыбкой. То была молодая, высокая женщина с широкой улыбкой и такими же плечами, всей душой любившая своего супруга. На внутренней стороне левого бедра у нее была симпатичная, пахучая, младенческая складка с маленькой фиолетовой татуировкой в виде славянской буквы «Ш», которую я про себя называл «Шш... шарма». Когда я сказал ей, что салоникские братья, близнецы по кириллице Кирилл и Мефодий позаимствовали эту букву из иврита, она рассмеялась и сказала, что, если бы я не был таким чудным парнем, она, пожалуй, сочла бы нужным обидеться. Она показывала мне свою коллекцию посвящений, называла меня Сильвестром Боннаром и посылала, в качестве живого подарка, своим подругам — одинаково, все до единой, замужним, одинаково дерзким и с общим набором предпочтений и шуток. По их обращению со мной я быстро обнаружил, что они извещали друг друга о перипетиях моего созревания. Я стал для них таким почтовым голубем-переростком, который переносил в своем теле их

послания друг другу; но я не был привередлив. Щедрые и смешливые, они помогли мне забыть мою беду, разбавили мою тоску, научили меня смотреть кончиками пальцев, слушать копчиком и пробовать на вкус через шейную ямочку.

Через год в Израиле вспыхнула Война за независимость. Ихиель записался добровольцем в армию, и его старый дядя едва не сошел с ума от беспокойства.

— Он уже слишком стар! К чему эти глупости? — кричал адвокат Абрамсон. По его приказу я повесил в библиотеке крупномасштабные карты Израиля, и мы вдвоем передвигали по ним флажки и стрелки. А когда Ихиель погиб, я придерживал переносную библиотечную лестницу, пока его старый дядя, с трудом взобравшись по ее винтовым ступенькам, рисовал на карте Иерусалима маленький черный квадрат вокруг монастыря Сен-Симон.

Смерть Ихиеля очень опечалила меня. Я не плакал, но все мое тело маялось и болело, и еще долгие недели спустя я вдруг ловил себя на том, что бормочу строчку из стихотворения, которое любил декламировать Бринкер: «Я флаг, окруженный просторами», и каждый раз, когда я шептал его про себя, я ощущал странную боль в горле, как если бы слова ударили по скрытой там струне. Я знал, что Ихиель погиб сразу, и все гадал, успел ли он сказать или подумать свои последние слова. (Кстати, года за два до того я отправил ему, дурак эдакий, последние слова Гертруды Стайн. «Каков же ответ? — спросила писательница на смертном одре и со смешком подвела итог: — Но если так, то каков вопрос?») Я совсем забыл, что идея предсмертного смешка принадлежала самому Ихиелю и Гертруда Стайн, как он поспешил сообщить мне в ответном письме, которое так и дышало праведным гневом, опередила его «посредством жалкого акта плагиата, предпринятого умирающей графоманкой».)

Жена Абрамсона, которая сумела разглядеть мою скорбь, познакомила меня с вдовой лет пятидесяти. Простой расчет покажет тебе, что сегодня ей уже перевалило за восемьдесят, но в моей памяти ее облик так и застыл в янтаре вожделения и грусти.

— Ты такой хороший мальчик, — повторяла она. — Ты последний подарок, который послала мне жизнь.

Я до сих пор вспоминаю очарование ее речи, уступчивость ее тела, покорность ее грудей. Однажды она сказала мне, что, если я хочу понять характер моей новой страны, мне нужно вызубрить высказывания Бедного Ричарда. Но я предпочитал Бенджамина Франклина под его настоящим именем, а не в том идельмановском занудстве, которое он позволил себе

под прикрытием псевдонима, и окошком, через которое я научился понимать Америку, стала для меня его автобиография. Я по сей день сторонюсь этого бедно-ричардовского филадельфийского мышления, до сих пор не исчезнувшего в здешних местах, — того рода мышления, что хотело бы уложить в одну корзину мораль и науку, интендантские расчеты и рассуждения о сути любви, а также глубокомысленные сентенции о том, каким образом лучше всего убирать лошадиный навоз с городских улиц. К чести Бенджамина Франклина и моей подруги следует, однако, сказать, что они доказали справедливость похвал, которые причитаются женщинам ее возраста. Он — в своем эссе «О немолодой любовнице», она — на свой лад. Она — процитирую с твоего позволения самого себя — дала мне испробовать вкус Адамовых фиг, освежила меня яблоками Суламифи и даровала мне наслаждения, которые даже царица Савская не подарила Давиду. Только смерть матери вырвала меня из этого удобного и тоскливого райского сада, что постепенно разрастался вокруг меня.

## ГЛАВА 61

— Случись это сегодня, ее можно было бы спасти.

Мы с Роми стоим возле памятника: теплый черный базальтовый камень, который «татары» выкорчевали из земли в долине и, вплавив в него кипящие медные буквы, приволокли на деревенское кладбище. Нет, мне жаль тебя разочаровывать, — не на телеге, запряженной женщинами.

— У меня в животе растет злое дитё, — сказала мать, обращаясь к Шену Апару.

Подкрававшаяся смерть вернула ее животу забытую тяжесть беременности, но никто из близких не разглядел этого. Отец был ослеплен ненавистью. Яков — любовью. Лея — молодостью. Я был далеко. Тия Дудуч, как ты уже и сама, я полагаю, смогла понять, была женщина добрая и заслуживала всяческой жалости, но скажем прямо — не отличалась особым умом и сыну своему это качество тоже передала сполна.

Заметила одна только Шену Апару, да еще Бринкер, который тоже увидел, понял и испугался. Но с моим отъездом он лишился переводчика и толкователя своей любви. Он то и дело хватал мать за руку и что-то бормотал, извергая из себя ошметки и обломки слов, но притронуться к ее телу, спросить, показать пальцем — на это он не осмеливался.

— Ничто не могло спасти ее, Роми, — сказал я. — Будь то холера, или змеиный укус, или железнодорожная авария, с ней ничего бы не случилось, но то зло, что образовалось из ее же тела, из ее собственной плоти, даже она сама не могла победить.

— Она, и я, и ты — мы другие, тебе не кажется?

— Нет, — сказал я. — Когда-то — может быть, но сейчас уже нет.

— Я люблю тебя, дядя. Даже когда ты врешь, — сказала дочь моего брата и толкнула меня в плечо. — Давай играть, будто я детектор лжи, а ты жалкий преступник.

— Давай играть, будто ты настольная лампа, а я стиральный порошок, — ответил я, на один ослепительный миг сжав ее ладонь своею, и больше ничего не сказал ей о смерти матери. Ни ей, и ни кому другому. Даже с Яковом я никогда не говорил о последних маминых днях, хотя все мое нутро сжигала горячая смесь вины и любопытства с пугающей добавкой какого-то облегчения. Поэтому я и тебе расскажу не больше, чем уже рассказал. Не потому, что «Читатель» может и сам все понять, но потому, что это вещь в себе, не имеющая ничего общего ни с любовью

князя Антона, ни с привычками доктора Бартона, ни с интригами свата Шалтиеля. Достаточно, если я скажу тебе, что за весь год, прошедший с моего отъезда и до ее смерти, я не получил от нее ни единого письма. Яков, который исправно писал мне все это время, — вот кто рассказал мне, как она рухнула во дворе. «Я услышал шум и решил было, что это рухнуло наше тутовое дерево», — так он написал. Он тоже никогда не думал, что на свете есть что-нибудь, способное убить нашу мать, тем более с такой быстротой. Всего неделя миновала, и уже пришла телеграмма. «ІМА МЕТА. ВО АВАІТА, — было написано в ней на иврите леденящими английскими буквами, которые только усиливали ужас. — Мама умерла. Приезжай».

Все это я пишу тебе на веранде, которая заменяет мне здесь мою постоянную скамейку — ту, что на набережной на мысе Мэй. Яков и Михаэль сидят на кухне, отец лежит в своей комнате, мать — в могиле, тия Дудуч пропалывает сорняки в оросительных канавках на дворе, а Шимон перетаскивает мешки с мукой на складе. Я вытягиваю ноги, тяну время и вижу, как к нашим воротам приближается потрепанный пикап. Это Роми, которая вернулась с работы, из города, — она в два больших прыжка одолевает четыре ступеньки, что отделяют ее от меня, кричит: «Привет, дядя» — и исчезает «выпить чего-нибудь холодненького на кухне».

«Отпусти меня; ибо взошла заря»<sup>[102]</sup>, — шепчет мне это мгновение. Просит меня быстрее писать, чтобы оно могло пройти.

— У нас в семье, — сказал отец позавчера своему врачу, — были люди, которые знали все секреты времени и правильный путь к старости.

И незамедлительно перечислил ему героев-родственников, которые побивали рекорды в остановке дыхания или в замедлении пульса, а также, разумеется, в почитании своих отца и матери, и не забыл наших семейных праведников, что «каждое новолуние рассыпали хлебные крошки пернатым» и практиковали суровейшую экономию в извержении семени, «потому что каждый выпрыснутый живчик, как известно, забирает почти четверть секунды жизни у своего хозяина».

Когда я сообщил Якову об этом последнем отцовском открытии, он расхохотался.

— По такому счету ты в большом минусе, — сказал он мне. — А я проживу двести лет.

Отец приучил меня к отсчету времени по часам хлебопёка, с их набуханием, брожением и сгоранием. Его небо было черным ночным небом, и солнечная стрелка по нему не ползла. Мягким и диким было это ночное время, жестоким и требующим послушания.

— Когда тесто начинает всходить, его уже нельзя оставить, — говорил он нам и объяснял, что время — не поток, и не обвал, и не пространство, а беспощадная непрерывность «упущенных возможностей».

— Все минуты правильные, — провозглашал он, — нужно только знать для чего.

И тут же, без перехода, снова скатывался с высот этих глубокомысленных рассуждений к своим обычным жалким присказкам:

— Не навязывай в жены свою дочь, если знаком с человеком всего одну ночь.

Даже если ему приходила в голову хорошая мысль, он тут же разменивал ее на мерзкие медяки «Соломоновой мудрости», «урока жизни» и «правильного пути». И Идельман, который тоже предпочитал Соломона из Притч Соломону из Екклесиаста, радостно качал головой и говорил:

— Кто знаком с человеком всего одну ночь, не знает его в остальные часы он его не знает.

Мы ли сидим на берегах времени, или это его поток уносит нас? Оно ли в нас, или мы в нем? Отцовский врач состроил гримасу, когда я задал ему аналогичные вопросы о природе боли.

— Бросьте, бросьте, — сказал он. — Человек, которому больно, не задает подобных вопросов. Это роскошь. Философ, у которого болит зуб, не спрашивает: «Как?» Он спрашивает только: «Почему?»

А отец, который был специалистом как по боли, так и по обиде, подытожил:

— Боль обижает каждого на свой манер.

Немного людей пришло на похороны матери. Ее братья из Галилеи. Несколько людей из поселка. Женщины из парикмахерской. Представитель Союза пекарей, который произнес надгробную речь: «Сказано — в поте лица твоего будешь есть хлеб твой, и ты, госпожа Сара Леви, была именно такой. Потом своего лица ты подавала всем нам пример». Бринкер не сказал ни слова, но его плач был громким, захлебывающимся и внятным для всех.

Тия Дудуч сделала поминальную чурбайку<sup>[103]</sup>. Шену Апари обвязала руку черной бархатной лентой, а отец не издал ни звука. «Наверно, он думал обо всем, что еще припас, чтоб над ней поиздеваться, и как она опять его провела, эта гойка, и подохла раньше времени, — написал мне Яков и добавил: — Я надеюсь, что хотя бы за несколько минут до смерти она наконец отучилась от своей привычки его любить».

Края конверта были отрезаны и приклеены снова, и на обороте письма были добавлены два примечания — лаконичные и пронумерованные:

«P.S.1: Теперь все развалится. Все рухнет. Как тесто, которое поторопили излишком сахара. Она держала все вместе. Тия Дудуч не сможет заменить ее, Лея слишком молода, а я не женщина.

P.S.2: И еще одно ты должен знать. Я никогда не забуду тебе, что ты не приехал на похороны. Мерзавец. Ты похож на нее только телом и лицом. Душой ты, точно как он. Мерзавец ты. Пададь».

## ГЛАВА 62

«Посреди ночи я проснулась от непонятной боли в животе», — писала мне Роми.

Ее слова вышитой скатертью покрывали стол, на краю которого сидела сама моя племянница, глядя прямо на меня. Я вернул ей взгляд и положил фотографию обратно в нагрудный карман. Летняя гроза висела в воздухе, набирая сырость и силу. Большие чайки парили над берегом. Ястреб скользил над поверхностью воды в низком хищном полете.

В открытое окно доносились покрикивания кладовщиков и водителей. Отвратительный запах эвкалиптов заполнял все вокруг. Несколько мгновений Роми продолжала лежать в постели, встревоженная, с открытыми глазами. Боль не походила ни на что знакомое, поэтому она не могла ни описать, ни сравнить ее с другими. Более всего она напоминала ручеек тусклого расплавленного свинца, который с шелестом ползет мимо, наталкивается на препятствия, отползает от них и просверливает себе проходы. Она подумала было, что это менструальные боли, которые хотят снова доказать ей, что, несмотря на все старания, она по-прежнему остается женщиной, — но день был не тот, и сила боли не та. Она положила руки на живот, надавила, и боль, прижатая к стене крыса, оскалила зубы, крутнулась и исчезла. Всю ночь она ощупывала себя, терялась в догадках и негодовала, потому что в ее представлении боль была не предупреждением или сигналом тревоги, а самым обыкновенным и низким предательством. Она отказалась от завтрака — «три растерзанные маслины, капля творога и лопнувшее крутое яйцо», — оделась и пошла в штаб.

— Мне нужен выходной, — сказала она и тут же развернулась, выбежала наружу, и ее вырвало на бетонную дорожку, которая вела из штаба на плац. И только теперь, когда ее внутренности очистились, она поняла, что с ней произошло. Она вернулась к себе, поставила заведенный фотоаппарат на край стола, оперла подбородок на другой край и, глядя прямо в сверкающий колодец объектива, сфотографировала сама себя.

«Вот она я, дядя. — Слова заполнили стол, набухли и перевалили через его края. — Посмотри, как я выгляжу. Этой ночью мне исполнилось девятнадцать лет, пять месяцев и двадцать два дня. Ровно столько было Биньямину в ту ночь, когда его убили, и у меня нет иного объяснения.

Я чувствую, будто пересекла какую-то границу, — продолжала она на

обороте фотографии. — Я обогнала его. С сегодняшнего дня я — старшая сестра».

— Да, — сказал брат, когда я вспомнил и рассказал ему об этом. — Случается и такое. Случается и похуже. Всякое случается.

Он остановил тестомешалку, набросился на тесто и принялся месить его вручную. Люди не знают, какая это трудная работа — месить. Тесто упруго и насмешливо, как девушка, тяжело и плотно, как свинец. Яков месил его движениями других древних профессий — укротителя, гончара, массажиста: подняв куски на стол и завернув их углы внутрь, он бил их, мял, унижал и плющил, и лицо его искажалось от усилий. Его пот, капли из носа («сдерживаемые слезы, жар крови, любимая мечта его семени») — все было смешано в этом тесте. На похоронах Биньямина он не пролил ни одной слезы. Странное выражение проступило тогда у него на лице, и его вытянутые руки шарили по воздушным стенам по обе стороны тела, словно искали, кого поддержать и на кого опереться, и не находили никого. Лея уже заснула в комнате сына, отец стоял возле Дудуч, а я смотрел на Роми, которая стояла рядом со мной и дрожала, и на двух светских львиц моего возраста, которые стояли в обнимку, и плакали, и вернули мне взгляд, а по окончании семидневного траура, шивы, в большой тель-авивской квартире, которую они делили вдвоем, под бесконечную тоску флейты из «Танца добрых духов», разносившуюся в пространстве комнат, рассказали мне, как они возвращались однажды после уик-энда из Цфата и возле блокпоста подобрали светловолосого сержанта, который ждал попутки, и, когда они спросили, куда ему нужно, он ответил: «К вам домой, девочки», — и немедленно уснул на заднем сиденье.

— И это был ваш Биньямин, — улыбнулась одна из них.

— И мы взяли его к себе домой, — сказала ее подруга.

— И он был такой хороший мальчик, — вздохнула первая. — Как последний подарок, который послала нам жизнь.

— А откуда вы его знаете? — спросила первая.

— Я не знал его, — сказал я. — Я просто приятель его отца. Я служил с ним в одной бригаде, много лет назад.

Биньямин родился в жаркий летний день и поэтому был «Леиным ребенком», по выражению Якова. Брат держал своего сына в руках и плакал тем плачем, которым плачут мужчины, когда у них рождается первенец, и которым мне не суждено заплакать никогда, и только наша мать сумела найти для него точное определение: плач, который выдавливает слезы из костей. Ребенок был крупный и красивый, в его лице так и просвечивали добродушие и рассудительность, и всякий раз, когда он оглядывался по

сторонам и разевал рот в младенческой зевоте, Якову казалось, что он испускает неслышимый человеческому уху рев.

Ссоры с тией Дудуч начались сразу же после родов. Одна из медсестер в родильном отделении услышала хор жалобных воплей из палаты новорожденных. Она поспешила туда и обнаружила старую женщину, которая кормила Биньямина под завистливый и умоляющий плач всех остальных младенцев. Дудуч была немедленно выдворена из палаты, но потом, когда Биньямина уже принесли домой, она стала кружить и завывать под дверь спальни, как бродячая собака около лавки мясника. В полночь, когда Яков уходил в пекарню, Лея оставалась одна с ребенком, и непрерывный шелест теткинских старушечьих шагов за дверь наполнял ее диким страхом. Запах молока витал в воздухе, и Биньямин все поворачивался к двери и протягивал к ней свои ручонки. «Иди отсюда, иди, наконец, спать!» — кричала Лея и для большей уверенности брала сына к себе в постель.

Отец охотно и радостно включился в общее замешательство в доме. Он тут же поспешил припомнить некую вдову, которая проживала во дворе Хазакиро Эфраима Саадона, «того самого, которому брызнула внутрь глаза капля кипящего олова и отравляла ему мозг, пока бедняга не помер». Эта вдова, предостерег он Якова и Лею, тоже спала со своим маленьким сыном в одной кровати, «и ее вдовьи сны проникли в младенца, как отхожие воды исмаилитов проникают в наши колодцы, и в результате у него выросла желтая борода сверху и черная борода снизу, и по ночам он целовал свою мать, как большой, и пробуждал в ней желания».

Лея была уверена, что Яков избавит ее от отца и тетки, но ее ожидало разочарование — Яков молчал, и все продолжали свое: Дудуч продолжала подстерегать удобный случай, отец продолжал пряхать свою притчу, а вдова подбросила своего ребенка ко входу в библиотеку рава Сальвенди, «там, где сидел и учился светлой памяти Лиягу», а сама бежала в Бейрут, где голод принудил ее зарабатывать на жизнь такими непристойными занятиями, что она заслужила прозвище «путаны с тремя воротами», *putana de tres puertas*.

— Хе, хе, хе, — рассмеялся отец своим шолом-алейхемовским смешком, но Лея сжала веки и губы и не поддержала его. — А этот сирота вырос, — продолжал отец, — и стал богатым купцом, и однажды, когда он приплыл по своим делам на остров Мальту, кого он увидел? Свою старую мать, которая была одета в лохмотья и шарила в портовом мусоре в поисках объедков. — Он выждал минуту и, несколько разочарованный молчанием окружающих, сам задал себе вопрос, который должен был задать ему

«Слушатель», будь он таким же внимательным и понятливым, как «Читатель»: — Как же он узнал, что это его мать? — Лея молча дрожала. — Потому что у нее на каждой руке было по шесть пальцев, дурной знак! — торжествуяще выкрикнул отец в ответ на собственный вопрос. — И этот знак появился у нее потому, что, когда она еще была во чреве матери, ее отец вошел на женскую половину ашкеназской синагоги в самый разгар Кол-Нидрей.

— Ты уберешь от меня их обоих, ты слышишь? — сказала Лея Якову. — Эту свою тетку и этого своего папашу.

— Что на тебя нашло? — спросил Яков. — Женщина вот-вот лопнет от молока, а наш ребенок сосет из бутылки. Что случится, если она его покормит?

— Из-за нее у меня пропало молоко! — швырнула ему Лея.

Биньямин вырос и был отнят от груди, но тело Леи налилось враждебностью, и, когда она расчесывала волосы, ее гребень разбрызгивал синие молнии. Яков смотрел на нее, и его колени подгибались в желании преклониться.

— Это была большая ошибка, — сказал он мне. — Шену Апарри была права, я любил ее неправильно.

Леины пальцы с силой зарывались в распущенные косы. «Иди сюда, Биньямин», — говорили ее глаза сквозь завесу волос. Но Яков обхватывал сына мягкими оковами своих рук и отвечал:

— Мы, парни, просто посидим здесь и посмотрим.

— Я хочу к маме, — протестовал Биньямин, поначалу капризно, словно то была игра, потом с возмущением, а под конец с детским гневом, который все нарастал, пока не перешел вдруг в тот сердитый плач унижения и беспомощности, которым плачут похищенные пекари.

Но Яков не ослаблял свою хватку.

— Ша... ша... Биньямико, — успокаивал он. — Лучше посмотри, как мама причесывается.

— Я здесь, Биньямин, я здесь, — сказала Лея. — Чего ты хочешь от него, Яков? Почему ты держишь его так? Почему ты его так называешь?

— Как — так? — спросил Яков, но замок своих рук не открыл.

В полях цвел дикий лук, упрямо продолжая очерчивать наделы, хозяева которых давно уже умерли; стрижи выкрикивали осенние вести; и сердце брата ширилось и трепетало. В эту пору он стал часто уходить в поля и там ждать. Он шагал, пиная ногами шары сухих колючек, что теперь уже с легкостью отрывались от земли и катились по полю с любым порывом ветра, и растирал между пальцами комья земли тем крестьянским

жестом, который усвоил за год, проведенный в Галилее. Подобно вавилонскому звездочету, он прикрывал ладонью глаза, наблюдал полет ворон, толковал цвет листьев и выжидал прихода первых дождевых туч. И когда они наконец появились, его охватило то беспокойство, которое в тела других мужчин просачивается только весной.

Через несколько дней небеса набрякли дождем. Словно одержимый, Яков лихорадочно вытаскивал во двор ведра и тазы и расставлял их под водостоками. Едва дождавшись, пока они заполнятся дождевой водой, он втащил их в дом. Биньямин тотчас бросился к матери и прижался к ее ногам, как будто охваченный смутным страхом.

Натужные стоны и шелест волос, детский плач и шум дождя поднимались из письма, которое послала мне Лея. Они слышались все разом, не сливаясь друг с другом. Примус под большим тазом раскалился до багровой синевы, Яков разостлал на полу пекарни большие полотенца и с деспотической неотступностью просителей позвал:

— Иди, Лалка, иди же!

Дрожь в голосе и в ампутированном пальце выдали его возбуждение и заставили сжаться Леино сердце. Он вырвал Биньямина из ее рук и швырнул ее на колени с такой силой, что она упала на четвереньки над тазом.

Наклонившись над ее спиной — ее бедра между его расставленными ногами, его колени вонзаются ей в ребра, как шпоры, — он полоскал ее астартовы пряди в мягкой душистой воде. Тогда он еще не знал, что дождевая вода отравит ее тело, что ее плоть остынет, что блеск ее волос потускнеет от траурного пепла. И по мере того, как приближалась и суровела зима и кончался и умирал Таммуз, ее душа тоже погружалась во мрак. Осенние птицы насмешливо кричали над ней, тучи окутывали ее своей печалью, луковицы жасмина протягивали к ней из земли свои ядовитые руки мертвяков. Она была женщиной солнца и лета. Сразу же после того мытья волос зима поразила ее посиневшими губами, побелевшим горлом и красными цветами стужи на ладонях. «Давай играть, — писала она мне в те дни, — будто я — принцесса в башне, а ты решишь, кто ты».

Биньямин стоял сбоку и рыдал все то время, пока его отец боролся с матерью, окунал ее голову в воду и мыл волосы. «Но в чем дело? Что произошло?» — услышал я крик. Я вышел из своей комнаты в коридор, прошел вдоль белой линии и увидел, как он с упорством отчаяния стучится в ее закрытую дверь. «Почему? Что я тебе сделал, чтобы заслужить такое?»

## ГЛАВА 63

Ты не веришь мне. Ты тоже мне не веришь. «Почему ты не поехал на похороны матери?» Глупый, докучливый, повторяющийся вопрос. А что, на все остальные вопросы я уже ответил? Причину горькой судьбы тии Дудуч уже назвал? И действительно ли отец отравил гуся, как полагает Яков? А что общего между Касторпом и Гумбертом, между Надей и Мартой, я уже сформулировал? А кто эти Черные Татары? И чем согрешил Черниховский перед Мириам? Мы ведь даже не знаем, кто она такая. Странно все это. Люди требуют от написанного того, чего нет среди видимого. От книг они требуют большей логики и последовательности, чем от самой жизни. Гляди, примерно через полгода после смерти матери в поселок заявился старый зеленый грузовик, выгрузил рядом с главной дорогой большой деревянный контейнер и исчез. Деревенские дети бросились к контейнеру, услышали раздающиеся внутри звуки и в испуге отбежали. Потом, однако, набрались смелости, снова приблизились и начали швырять в него камни, пока одна из досок не сдвинулась, пропустив ладонь, которая выглянула наружу, пощупала воздух и потянула за собой руку, плечо и женщину. Дети испугались и притихли, глядя издали, как она усаживается на землю, чихает и греется на солнце. Потом женщина забралась обратно в контейнер, а ночью пришла в пекарню.

Ты, с твоим малодушием и упрямством, этакий идейный Ганс Бринкер, наверняка поспешишь заявить, что это происшествие, выдуманно оно или реально, никак не вписывается в излагаемую здесь историю. А я отвечу, что «нет большего нахальства, чем попытка маленького пресмыкающегося найти оплошности в какой-либо части произведения, еще не поняв, как она вписывается в целое». Яков, стоявший в яме перед зевом печи, не увидел гостью, потому что дверь была у него за спиной, но печная тяга донесла до него острый запах чужого тела, который пролетел мимо, словно горьковатое дыхание хризантем, и втянулся в трубу. Он неторопливо повернулся, оперся на стенки ямы и увидел изможденную и на вид опустившуюся, но очень милостивую женщину примерно своего возраста, которая смотрела на него испытующим взглядом. Он уже собрался было спросить, что ей нужно, но тут глаза женщины, будто не найдя желаемого, оторвались от него, миновали Ицика, Шимона и нашего отца и остановились на Йошуа Идельмане, который стоял в своих дурацких трусах и кроил тесто. Женщина подошла к нему, схватила за обе руки

хозяйским и одновременно умоляющим жестом и сказала ему что-то на идише таким тоном, который наводил на мысль, что они знают друг друга всю свою жизнь. Потом она расстелила кусок ослепительно белой ткани, которую принесла с собой, и Идельман положил на эту тряпку буханку хлеба. Женщина запеленала и закутала буханку и вышла, неся ее обеими руками и прижимая к своим тощим грудям.

— Что она тебе сказала? — спросил Яков.

— Это женщина из Катастрофы, — сказал Идельман и заправил вывалившиеся яйца. — Она сказала, что почувствовала запах хлеба она почувствовала, и не смогла не зайти.

— В следующий раз попроси разрешения, если захочешь дарить наш хлеб, — сказал Яков.

Женщину из Катастрофы звали Хадасса Тедеско. Каждую ночь она приходила в пекарню, и Йошуа, который с той недели начал надевать рабочие брюки, давал ей буханку, цена которой вычиталась из его зарплаты. Хадасса не ела хлеб прямо в пекарне, а всегда заворачивала его в белую пленку и уносила в контейнер.

— Я согласна, — сказала она Йошуа, когда он протянул ей сто семьдесят вторую буханку и попросил ее руки, — но знай, что я принесу тебе только дочерей.

## ГЛАВА 64

Медленно дом привыкает к смерти любви,  
Как привыкает дерево к печали осеннего листопада,  
Как поле — к мертвым каркасам сухих кустов.  
Облако унесется на крыльях горького ветра,  
А осень — с криком стрижей.

(В оригинале сказано «посвист ласточек», но я позволил себе эту маленькую вольность выдумщиков и переводчиков. Кстати, вопреки твоим предположениям, я не перестал здесь писать. Сейчас, например, я развлекаюсь сочинением сказки о белой линии, которую начертил для отца на полу, и о ее возможных последствиях, а две недели назад закончил рассказ о моем брате и его маленьком сыне. Я начал его на веранде и кончил на квартире Роми в Тель-Авиве, потому что Яков, мой подозрительный и любопытный братец, все время подкрадывался и заглядывал через мое плечо.)

Войны за мытье и кормление вконец истощили силы Леи и погасили ее глаза. В последующие месяцы она уже сама, послушно и обреченно, тащилась к тазу с дождевой водой, чтобы погрузить в него голову. Однажды она так и осталась лежать лицом в воде, пока Яков не оттащил ее от таза, испугавшись, что она задохнется. В гневе он швырнул ее на пол и вышел во двор. Биньямин бросился к матери, просушил ей волосы полотенцем, расчесал пальцами и так старался поднять и втащить ее в дом, что в конце концов его всхлипы и стоны разбудили ее, и она сама доползла до спальни.

Ночами, перед работой, лежа рядом с женой, обнимая ее деревенеющее тело, выдыхая мольбы в задубевшую кору ее затылка и прислушиваясь к отчужденности ее дыхания, Яков слышал тихие шаги сына, которые подкрадывались к двери спальни, медлили и замирали там, удалялись и возвращались снова. А позже, когда из пекарни раздавался звук горелки и доносился кислый запах, сообщая, что теперь Яков уже не оставит тесто, Биньямин пробирался в спальню, залезал на кровать, вползал под одеяло, укладывался рядом с матерью и засыпал, прижавшись к ее телу.

Легкое и безостановочное, время шло себе и копилось, неслышными

касаниями трогало землю, засевая ее своими отравленными семенами. Лея снова забеременела, и, когда родилась Рони — большая сероглазая девочка, вся покрытая тонким рыжеватым пушком, — уже не было матери, чтобы припомнить и зарыдать. Маленький Биньямин коверкал имя сестры и называл ее «Роми», и Яков сердился:

— Если ты будешь говорить вместо Рони — Роми, я буду называть тебя Биньямим.

— Нашел с кем спорить, с пятилетним ребенком, — сказала Лея.

— У меня получается Роми, — твердил пятилетний ребенок, — что я могу сделать?

И через месяц так стали называть ее все.

Тия Дудуч снова вернулась к своим кормильным засадам. Ее одинокий глаз, полный голодной надежды, сверкал через замочную скважину. Ее шаги опять шелестели за дверью. На ее черном платье вновь проступили большие влажные пятна, и запах молока в очередной раз наполнил воздух.

Кровь отлила от лица Леи, и молоко отхлынуло от ее груди.

— Я не хочу, чтобы она так смотрела на девочку, — сказала она Якову. — Я не хочу, чтобы она к ней подходила. Она хочет забрать ее у меня, как забрала Биньямина.

— Она не забрала у тебя Биньямина, и она ничего от тебя не хочет, — сказал Яков. — Это запах младенцев так на нее действует, на несчастную.

Лея подолгу читала, размышляла и спала, а иногда выходила погулять в поля или уезжала в город. В пекарне она не работала, и никто не мог себе представить, какую она готовит великую месть. Ни силу этой мести, ни ее неожиданность. Однажды утром, когда Яков, сидя на ступеньках веранды, стаскивал свои рабочие ботинки, он различил размытый облик Биньямина, который сидел в углу, вне рамки его очков, и играл чем-то похожим на огромную мертвую змею. Яков в ужасе вскочил, подбежал к сыну, всмотрелся и увидел, что змея — это Леина коса. Ноги его подкосились от неожиданности, но он все же успел дотянуться и выхватить косу из рук ребенка, рванув ее так быстро и сильно, что тот закричал от боли и страха, упал и покатился по полу.

Лея услышала его крик и выбежала на веранду:

— Не смей прикасаться к нему!

Яков приблизился к ней, напуганный той устрашающей ненавистью, которая расцвела между ними, ее бунтующе поднятой, стриженной головой, а Лея, перенеся тяжесть тела на одну ногу, уперла левую руку в бедро, а пальцами правой стала перебирать торчащий ежик своих волос.

Все силы разом покинули Якова. Он уронил ее косу, спустился с

веранды и медленно побрел в пекарню.

— Забирайте! — крикнула Лея и крутнула косу над головой, словно пращу. — Берите себе мою девочку кормить, берите себе мои волосы мыть.

Коса взметнулась в воздух, извиваясь налету, и упала посреди двора.

С этого дня и дальше все в доме пошло тихо, размеренно и жутко. Лея заперлась в своей комнате, Яков и Биньямин обходили друг друга, как поссорившиеся соседи, старающиеся не соприкоснуться телами, тия Дудуч заправляла домом и кормила ребенка грудью в полное свое удовольствие. Уже после первого кормления с тельца Роми сошел младенческий пух, а когда ей исполнилось полтора года и ее отняли от груди, серый цвет ее глаз разделился на желтый и голубой.

Все это время отец отсиживался в своей комнате и строчил письма. Мне и утерянным родственникам. В ворохе изысканных американских конвертов, которые регулярно приходили в офис Абрамсона, случайное отцовское послание выглядело как нищий на пиршестве богачей. Он не верил, что клей, который власти намазывали на обратную сторону марок, выдержит тяготы заморских странствий, и поэтому предпочитал пользоваться самодельным, грубым и вкусным клеем пекарей — той смесью муки, воды, патоки и яичного белка, которой в пекарнях приклеивают фирменные ярлычки на свои буханки. «Когда я вижу муравьев, ползущих к почтовому ящику, я уже знаю, что пришло письмо от отца», — писал я Якову. Для большей надежности отец несколько минут прижимал марку подушечкой большого пальца, чтобы она прочнее пристала к конверту, и оставлял на ней четкий отпечаток, личный почтовый штампель, куда более трогательный, чем содержание самого письма. Смерть матери не уменьшила его ненависти, и я, не глядя, пропускал большую часть тех длинных пассажей, которые он посвящал ей.

Размеренное и ритмичное, шагало себе время. После Пурима слышались первые шаги весны. По следам отступающей зимы пришли песни щеглов и красногрудок, стали слышны потрескивания земли и почек и появился Пасхальный работник. В пасхальную неделю, когда хлеба не пекли, пекарня отдыхала и кирпичи остывали, можно было залезть внутрь печи, чтобы починить и подновить ее стенки.

Имя и возраст Пасхального работника никому не были известны. Те шестнадцать лет, что я прожил в поселке, я видел его из года в год и не замечал в нем никаких изменений. На мой взгляд, он сразу родился семидесятипятилетним и с тех пор не потерял ни одной минуты из тех, что хранились в его теле. То был убежденный социалист с бородой и пейсами, имевший обычай представляться как «первый йеменец, который не верит в

Бога».

— А зачем тебе тогда пейсы? — спросил отец.

— Для красоты, — засмеялся Пасхальный работник.

Инспекторы раввината тоже заявлялись к нам в преддверии праздника, проводили ритуальную церемонию очистки пекарни от квасного и сожжения остатков хлеба и каждый год талдычили нам один и тот же дурацкий мидраш о скромности тонкой и плоской мацы в противовес гордыне «надутой и высокомерной буханки». Затем они угрозами и запугиванием вымогали подарки к празднику, а когда наконец удалялись, Пасхальный работник забирался на тутовое дерево, благословлял их гортанными, издевательскими напутственными пожеланиями и вытаскивал спрятанный им среди ветвей мешочек с лепешками, припасенный, чтобы продержаться все семь бесхлебных праздничных дней.

— Знаете, почему ашкеназы делают дырочки в своей маце? — спрашивал он.

Мы заранее улыбались:

— Почему?

— Если их маца вызывает такой запор даже с дырками, можно себе представить, что было бы без них.

Его смех был почти неслышным — он просто раскачивал все его тело, как смех бруклинских хасидов, когда те выигрывают в шашки.

Потом он переодевался в рабочую одежду — широкие арабские штаны, босые ноги и белая рубашка, — обрызгивал водой нутро печи и, дождавшись, пока затихнет шипение разгневанных кирпичей, открывал заслонку трубы, брал в зубы маленькое ведерко с необходимыми для работы материалами и инструментами и исчезал в глубинах. Там он пел, собирал выпавшие обломки кирпичей, замазывал трещины, укреплял расшатавшуюся кладку и разравнивал печной под, сдирая неровности, от которых портились лопаты.

Семь дней он лежал там, свернувшись и распевая, как гигантский зародыш. Никто не понимал слов его песен, но всем было ясно, что это песни любви. Тягучие, томные и звучные, они разносились по всей деревне, потому что печь служила резонатором, и, поскольку заслонка трубы была открыта, эти звуки поднимались вверх, и старое зеркало Якова рассеивало их во все стороны. Тогда Лея просыпалась, обнимала Биньямина и говорила ему:

— Пойдем погуляем.

Биньямин любил Пасхального работника. Он думал, что именно его громкие весенние песни возвращают матери радость и веселье, и, когда

этот человек появлялся в воротах, тотчас бросался ему навстречу. Но Леей двигала всего лишь сила того же скрытого механизма, от которого набухали и открывались глаза деревьев, соки поднимались по стеблям чертополоха, бабочки выползали из своего кокона и анемоны с ирисами высвобождались из холодных объятий земли.

Тогда Яков укладывал еду в маленькую корзинку и увозил жену и сына в долины среди гор. Там они катались по подушкам травы, и Лея смеялась, жевала цветы, впитывала в себя солнце и насыщалась теплом. Роми не участвовала в этих поездках, точно так же, как она никогда не входила в комнату матери зимой и не входит в нее сейчас. Она оставалась дома с тией Дудуч и играла с осколком синего стекла, который получила от нее в подарок.

## ГЛАВА 65

Я мог представить себе Лею идущей, лежащей, бегущей, едящей, одетой и раздетой. Я видел ее смеющейся, сердитой, улыбающейся и плачущей. Я мог бы снова писать на ее теле кончиками пальцев, имей я, что написать. Но напрасно я силился представить ее остриженной. С утра нашей первой встречи и вплоть до моего отъезда она всегда была увенчана короной кос. После того как она постриглась, я просил Якова прислать мне ее снимок, но он не отреагировал. «Мне это важно», — унижался я, но Яков проигнорировал мое письмо. Однако год спустя он прислал мне негатив семейной фотографии, и я побежал отдать его в ближайшую фотолабораторию, а заодно купить моему хозяину газеты.

— Отправляйтесь пополевать и полоните мне в полях какую-нибудь очередную дичь, — смеялся Абрамсон всякий раз, когда видел, что я выхожу на улицу.

Фотолаборатория располагалась в соседнем квартале, и ее владельцем был низкорослый, усатый ирландец, чьи точные, расчетливые движения пробуждали во мне ностальгию и симпатию. На стене лавки висела великолепная фотография седого усатого человека в темном пальто, которая привлекла мое внимание.

— Это фотограф Альфред Штиглиц, вы, наверно, слышали о нем, — сказал мне хозяин. — Работа Ансельма Адамса.

Его интонации были мне знакомы. С тем же выражением, с каким Ихиель открывал свои альбомы последних слов, он открыл альбом фотографий и показал мне гранитные утесы, лесистые долины и серебриющиеся тополиные рощи.

— Горы выстраивались в очередь перед «хассельбледом» Ансельма Адамса, — сообщил он мне торжественно, — леса расчесывали свои кроны, реки сверкали улыбками, а море лизало его ноги и просило — сфотографируй меня.

Я полагаю, что та же особенность, которая привлекает ко мне сердца замужних женщин, побуждает оптометристов, библиотекарей и фотографов приглашать меня в свои рабочие помещения. Ирландец спросил меня, видел ли я когда-нибудь, как проявляют фотографии, и предложил зайти с ним в его лабораторию.

— Это должно вас заинтересовать, — сказал он.

Робко и замороженно приблизился я к маленькому озерку

фотохимикалий и, к большому изумлению фотографа, снял очки и наклонился так, что мой нос едва не влез в проявитель. С тех пор как я приехал домой, Роми уже несколько раз приглашала меня в свою лабораторию в университете поглядеть на ее последние успехи в охоте на собственного отца. Ее проявочная каморка слишком мала для нас обоих, и, когда я наклоняюсь и смотрю, как зачарованный, в кювету с проявителем, Роми стоит очень близко за мной. Ее дыхание скользит по моему затылку, как маленькие теплые зубки, от ее груди у меня по коже ползут мурашки.

— Давай сыграем, — мурлычет она, — будто я несчастная греческая девица, а ты старый симпатяга Минотавр.

— Давай сыграем, — отвечаю я, — будто ты маленькая продавщица спичек, а я запасное автобусное колесо.

— Как тебе не стыдно, дядька?! Старый извращенец!

Но тогда, в нью-йоркской фотолаборатории, расплывчатые пятна слились с отдаленными точками, и туманные тени, коснувшись друг друга, соединились и образовали загадочную мозаику нашего семейного портрета. Страшная боль вдруг вкатилась в мои глаза, боль, что напоминала сразу обо всех ее забытых сестрах, — тех, что накатывались на меня, когда я смотрел на волосы матери, плавающие в ромашковой воде, на девушку на мозаике в винограднике Бринкера, на Лею, раздевающуюся за запотевшим окном пекарни, на мать, моющую Якова, — все эти острые, иззубренные осколочки времени, которые прорезали себе путь в моем теле.

Моя далекая, затонувшая семья дрожала в своем маленьком озерке, медленно проясняясь и проступая из него, что было так не похоже на воспоминания, во всяком случае — на мои воспоминания, которые всегда, каким-то волшебным образом, выплывают единым махом, этаким выстреленным из глубин Левиафаном, никогда не страдая постепенностью, расплывчатостью или отсутствием резкости, но лишь отсутствием достоверности, как мы уже оба с тобой прекрасно знаем.

— Это мой отец, — сказал я хозяину лаборатории.

Фотография была сделана по случаю окончания заливки нового цементного пола в пекарне. Из дома вынесли сиденье старой коляски, поверх ветхого бархата которого уже было натянуто новое покрытие, и на нем посадили нашего отца. Он настоял на том, чтобы ему на колени положили представительную буханку хлеба, и был первым, кто проявился на фотобумаге. Яков и Лея сидели на пустом ящичке из-под хлеба. Ее волосы уже отросли до плеч, но я впервые увидел ее без косы, и вздох вырвался из моих губ. Биньямин стоял позади нее. Серьезный крепыш, и ничего такого в облике, что предвещало бы раннюю смерть. Широкий и

низкий лоб, сильные ладони на материнских плечах, гладкие, пшеничного цвета волосы прикрывают один глаз. Его выступающие скулы блестели на солнце, и две асимметричных складки спускались от крыльев носа к уголкам губ, придавая лицу обманчиво свирепое, взрослое выражение, которое не соответствовало его добродушному нраву и восьмилетнему возрасту. Роми, которой было тогда три года, лежала на руках своего отца. Тонкая мучная пыль, осыпавшаяся с его одежды, выбелила ее лицо и сделала похожей на клоуна.

Тия Дудуч смотрела на меня своим невидящим глазом. Взгляду Шимона не удалось преодолеть силу притяжения его глаз, и они выглядели, точно две черные дыры в бумаге. После смерти матери Яков ощутил потребность все увековечивать, и теперь он поставил рядом с группой дряхлую патриаршую коляску. Буханка, которую мать когда-то нарисовала на ней, уже выцвела, и молекулы серебра на фотопленке без труда уловили следы сестринских молекул на древних крестах, сверкавших из-под рисунка. Рядом с коляской стоял бессмертный серенький «парго», который сегодня — желтый, ликующий и подремонтированный — служит Роми в качестве пикапа, «ненагляд мой, весь Тель-Авив только о нем и говорит».

Увеличенный портрет матери, в черной рамке под стеклом, вполоборота, с улыбкой на лице и пойманными врасплох мышцами шеи, был поставлен между отцом и Яковом. Я помню, как он был сделан. Через два года после нашего прибытия в деревню профессор Фрицци в один из своих визитов привез фотокамеру, и его брат забрал ее и подстерег мать за изгородью. Когда она проходила мимо, он окликнул ее по имени, а когда она обернулась, нажал кнопку, и оба они улыбнулись. «Теперь у меня есть ваша копия», — сказал он ей низким, твердым голосом, когда принес нам фотографию. Ее скошенные вбок глаза неотступно следят за мной, куда бы я ни шел, — широко расставленные, требовательные, прокливающие.

Нынешнюю фотографию тоже сделал Бринкер, но теперь это был уже больной и изменившийся Бринкер. Он выкрикнул: «Один один два клубок синих два неба» — и нажал кнопку, и все вздохнули, и сбросили улыбки, и с облегчением зашевелились, как будто кто-то перерезал веревки, которые удерживали их в общей рамке. Тогда Яков подвел Биньямина к новому полу, поставил его на колени и с силой прижал его ладонь к влажному бетону. Детская ладонь, в которой уже была мужская ширина, но еще различались пухлые подушечки младенчества. Рядом с отпечатком ладони сына Яков утопил собственную, сильную и мягкую ладонь, на которой годы работы с тестом придали четверем с половиною пальцам силу тисков, выбелили ободки вокруг ногтей и разгладили кожу.

— Положи в бетон свою хорошую руку, — сказал Биньямин отцу, — а не эту уродливую, без пальца.

— Это очень хорошая рука, — ответил Яков. — Она даже халы умеет плести.

Под отпечатками рук мой брат нацарапал гвоздем в бетоне: «Яков Леви и его сын Биньямин, пекари. Апрель 1955».

— Теперь, Биньямико, это и твоя пекарня тоже, — сказал он. — Ты вырастешь и будешь работать в ней, как твои отец и дед.

Могучее и ленивое, время катилось и катилось себе, а мы, симпатичное дурачье, всё пускали по нему свои кораблики. Там и сям, натываясь на препятствия, оно порождало небольшие заводы, которые сочинители называют «воспоминанием», или «томлением», или «надеждой», тогда как разумный читатель знает, что ничего там такого на самом деле нет и не стоит на этом застревать и расписывать. Шли годы, и рука Биньямина становилась все крепче, пока не превзошла по размерам и силе руку отца. На книжной полке в его комнате стояли голубая «Всеобщая энциклопедия» издательства «Масада», «Поверх руин» Цви Либермана, «Ирми из парашютной бригады» и брошюра о сражении на перевале Митла с портретом солдата по имени Йегуда Кен-Дрор, и, когда ему исполнилось семнадцать, он начал бегать в полях, готовясь к приближающемуся призыву. Наш отец постарел, стал навещать дома престарелых, «чтобы привыкнуть к запаху старости», и приучал себя к близости Ангела Смерти, посещая похороны незнакомых людей. Яков обгорал против зева печи. Роми уже вернула тии Дудуч синее стекло, потому что нашла заброшенную братом «кодак-ретину» и начала подсматривать мир через ее объектив, а Лея все глубже погружалась в свой Шеол<sup>[104]</sup>, в преисподнюю своей скорби, будто тренируясь для будущей смерти сына.

Когда Биньямину исполнилось девятнадцать лет, пять месяцев и двадцать два дня и он был убит в Иорданской долине, после него не осталось ничего. Только обещание той ладони осталось там, впечатанное в пол пекарни. Каждое утро Яков сдувает муку и пыль, набившиеся в нее, да Михаэль подходит к ней иногда, кладет в нее свою ладонь, свое нежное правое крыло, и улыбается в изумлении.

Хозяин лаборатории извлек мою семью из проявителя и перенес ее в закрепитель.

— Хорошее фото, — сказал он. — Хорошая семья.

Он хотел было повесить ее сушить, но я выхватил капающую картинку из кюветы и зарылся в нее лицом.

— Что вы делаете? Дайте ей высохнуть! — воскликнул ирландец.

— Сделайте мне еще две копии, — сказал я. — Того же размера. И пришлите их вместе со счетом.

Я взял мокрую, помятую фотографию, прижал ее к груди, толкнул дверь и вышел. На углу я сгреб с прилавка газеты и не задержался получить сдачу. Я поднялся в свою комнату и, досыта насмотревшись на семейный снимок, раскрыл газету и увидел главный заголовок: «Мир в трауре. Альберт Эйнштейн умер в Принстонской больнице».

И тут я разразился рыданиями. Альберт Эйнштейн сделал со мной то, чего не сумели сделать ни проклятие и смерть матери, ни расстояния, ни черепки тоски, ни курганы раскаянья. С мокрыми, отказывающимися верить глазами я читал, что, расставаясь с жизнью, Эйнштейн действительно сказал несколько последних слов, но стоявшая у его постели медсестра, некая Альберта Россель — никогда не забуду это имя, этот позор человечества, — не поняла его немецкого.

Вот так, в честь смерти Альберта Эйнштейна и в память о его пропавших последних словах, я оплакал остриженные волосы Леи, скорбное лицо брата, мою мать, буханку хлеба на отцовских коленях, Ихиеля, которого судьба уберегла от великого разочарования, и его собственные последние слова, к которым он так долго готовился и которые в конце концов не только были украдены у него, но даже не были произнесены и уж наверняка не прохихиканы, потому что пуля, которая попала в него, разворотила ему челюсть, разорвала язык и задушила кровью, хлынувшей в горло.

## ГЛАВА 66

Женщина из Катастрофы наполнилась хлебом, налилась солнцем, выздоровела, расцвела и похорошела. Идельман и Ицик выглядели счастливыми и ухоженными. Их одежда была теперь чистой и выглаженной, их лица — довольными и улыбчивыми.

Хадасса была моложе мужа на 27 лет и старше его во всех других отношениях. Отец сказал, что Ицик не позволит мачехе встать между ним и его отцом, «потому что только французская мышь соглашается поделиться любовью». Но отец ошибся. Свое единственное приданое — контейнер, в котором она прибыла в поселок, — Хадасса подарила как раз Ицику. «Парень должен иметь собственный угол, где он может уединиться», — сказала она и завоевала сердце своего пасынка. Она пекла и продавала пироги из дрожжевого теста и вносила свою лепту в доход растущей семьи.

За четыре года она родила четырех дочерей, после чего перестала рожать. «Она закрыла свою печь она закрыла», — сказал Иошуа. Ее родовые схватки всегда начинались в утренние часы, и пока Ицик бегал, чтобы вызвать машину, очередная девочка была уже обмыта, запеленута и передана в руки Дудуч, а ночью Идельман приносил в пекарню пироги и вино и с гордостью сообщал: «Она выстрелила еще одну она выстрелила».

— Как это у тебя получается ровно через год, Иошуа? — спросил Яков.

— Смотри пожалуйста, — объяснил Иошуа. — Беременность занимает девять месяцев, так? Три месяца живот отдыхает, так? Вместе это двенадцать месяцев. Как раз достаточно, чтобы старые яйца наполнились как раз. Что тут непонятного?

Плодовитость Хадассы сделала его счастливейшим из людей. «У нее там дрожжи в мануш<sup>[105]</sup> у нее, — говорил он и, когда отец спросил, не хочет ли он мальчика, ответил: — У кого есть девочки, к тому потом приходят зятья. Но у кого есть мальчики, к тому потом приходят невестки».

Хадасса не кормила своих детей грудью, так как хотела немедленно забеременеть снова, поэтому их передавали в руки тии Дудуч. Та кормила их в доме Идельманов, в нашем доме, во дворе, на уличной скамейке и в парикмахерской Шену Апари. Отсутствующий глаз искажал выражение ее лица, черное платье и морщины возраста и вечного изумления преждевременно состарили ее, но грудь освещала парикмахерскую своей красотой, и были женщины, которые говорили Шену Апари, что они

перестанут ходить к ней, если тия Дудуч продолжит кормить там идельмановских детей. «Просто с души воротит, — возмущалась одна из них, — смотреть, как эта старуха сует свою титьку сначала одному месячному ребенку, потом годовалому, потом двухлетнему, одному за другим».

Шену подошла к двери, широко распахнула ее и сказала:

— Силь ву пле, гиверет. Да-да, ты, с твоим здоровенным ртом и жопой, выйди вон отсюда! Это от тебя с души воротит. Знаешь, кто бы тебе сделал фризуру chez nous a Paris? Граф Гильотен! C'est tout. А теперь мерси бай-бай авек о ревуар. — И когда женщина выбежала, еще крикнула ей вдогонку: — Лучше одна такая титька, как у Дудуч, чем те две тряпки, что у тебя.

При появлении на свет дочери Идельмана были уродливы, как крысята. И только на втором году жизни они приобретали ту младенческую сексуальность, что хоть и грубовата и неожиданна в детях, но тем не менее по-своему очень пленительна. То была четверка симпатичных и здоровых, смешливых и крикливых малышей, на свой лад даже хорошеньких, несмотря на чересчур пухлые губы и темноватый пушок, покрывавший их руки и щечки.

Став постарше, они начали часто навещать нас. Младшей было тогда два года, а самой старшей — пять. Когда они стучались в дверь, Шимон кричал: «Кто там?» — хотя прекрасно знал кто, и они хором отвечали: «Мы, куколки». И это слово «куколки» они произносили с ударением на предпоследнем слоге, как их брат Ицик. Они раздевались и поливали друг друга из резинового садового шланга, визжали и ползали по оросительным канавкам вокруг деревьев. Они особенно любили забираться на наше тутовое дерево и при этом никогда не падали с него, потому что были наделены большой силой, замечательным чувством равновесия и сохранившейся с младенчества цепкостью пальцев.

Шимон, который к рождению старшей из них был уже тридцатилетним мужчиной, угощал их «чингой», как он продолжал называть жевательную резинку, и даже отыскал и выкопал тех свинцовых куколок, которых сделал и похоронил годы назад, и преподнес им этих маленьких, тяжелых домашних божков в качестве подарка. Но когда они пытались обнять его, он отстранялся. Порой, когда он сидел на своей складной кровати, молча дымя дешевыми вонючими сигаретами, какая-нибудь из девочек подходила к нему и пыталась влезть по его ноге к нему на колени. Тогда Шимон поднимался со своего места и уходил в другой угол двора.

«То ли он ненавидит маленьких, то ли боится заразить их чем-

нибудь, — писал мне Яков. — Может быть, своими болями. Должен тебе сказать, что он до сих пор иногда рассказывает о черных точках, которые вползают в его тело».

Сухой запах исходил от бумаги, на которой Яков писал свои письма, — лист, вырванный из середины тетради, которую не успел заполнить Биньямин, с маленькими дырочками от проволочных скрепок по краю. Мои глаза засорились и слезились от пылинок муки, оброненных двигавшейся по листу рукою брата. Однажды я нашел в конверте несколько крошек хлебной корки, выпавших из его рта. Я собрал их, положил в рот, и жуткая судорога свела мой кишечник. В самом деле, каким образом передаются боли от человека к человеку? Прикосновением, воспоминанием, дыханием, мыслью? И каким образом доктор Реувен Якир Пресьядучо переливал кровь Зоги в жилы князя? И почему британский судья снял с Элиягу Саломо обвинение в шпионаже? И почему я уступил? И действительно ли любовь Черных Татар отличается от любви всех остальных людей? Твои вопросы смешат меня. А почему пантера черная? А цветок синий? Кит — белый? Волосы — рыжие? Осел — голубой? Я всегда ценил Сарояна за то, что он не дал себе труда объяснить неожиданный поцелуй, которым Томас Трейси наградил мать своей любимой Лауры. «Предоставим же Читателю случай воспользоваться дарованной ему понятливостью, чтобы он смог заполнить пустоты собственным воображением».

Через несколько месяцев после этого я получил первый намек на то, какой будет моя дальнейшая жизнь. Абрамсон сделал мне замечание, что я упустил интересную новость в приложении к «Нью-Йорк таймс». То была заметка о строителях, которые рыли котлован под фундамент неподалеку от Батарейного парка и нашли несколько старинных бутылок. Как выяснилось, это были двухсотпятидесятилетней давности бутылки из-под голландского пива.

— Обратите внимание на эту историю, — сказал мне Абрамсон и вымученно пошутил: — Вас это должно заинтересовать не меньше, чем меня, как сказала мышь, съевшая стрихнин, кошке, которая собиралась ее проглотить. — Глубокий кашель вырвался из его горла. Он был очень болен, и мы оба уже предчувствовали его конец.

В последующие дни я узнал, что археологи, незамедлительно прибывшие на эту строительную площадку, извлекли из земли надтреснутые суповые миски из дельфтского стекла, ржавые ободки рыбацких ведер и позеленевшую медную дверную ось. Помню, что, читая об этом, я усмехался про себя. Да какой-нибудь простенький стиральный таз тии Дудуч странствовал в семье на протяжении четырехсот лет и все

еще был годен к употреблению! А кружевное покрывало Роми, которое мать украла у булисы Леви в ночь своего побега из Иерусалима, было старше Колокола свободы!<sup>[106]</sup> Но американцы размахивали старой кухонной посудой своих отцов-основателей, как будто открыли утерянную утварь Второго Храма.

Абрамсон посмеялся тем сухим кашлем, которым смеются в бане старые ашкеназы, когда соревнуются в гематрии, и сказал:

— Мой молодой друг, мы с вами не нуждаемся в этом, у нас этого добра достаточно, но американцы более всего тоскуют не по деньгам или власти, но по истории. Если вы сумеете продать им историю, то хорошо заработаете. Понятно?

Я любил своего старого хозяина глубокой любовью. Я знал, что он вот-вот умрет и что вскоре мне придется искать себе новый дом и новую работу. Я понял, что его совет — не пустые слова, а завещание.

— Какую историю? — повторил он с удивлением мой вопрос. — Хлеба, простак вы этакий. Что еще так напичкано историей, как хлеб? И что древнее хлеба?

Вот так я стал писать о мясистом, вздувающимся тесте, о капканах дивных запахов, распространяющихся по ночам от пекарни, о «добрых, мягких руках» несуществовавших хлебопеков. Разумеется, я не забыл и стереотип пекаря, который лепил из теста женские фигурки, не преминул упомянуть общеизвестные прелести мельниковой дочки, которую я не видел нигде, кроме книг. Но я не рассказывал о легких, пораженных мучной пылью, об искривленном позвоночнике, о сожженных волосах на груди и о клетках тела пекаря, которые из ночи в ночь шалеют из-за потери жидкости. Об огромных, грязных рабочих трусах Идельмана и о его висящих яйцах я не рассказывал тоже. Я сочинял рецепты, изобретал факты, выдумывал миф хлеба — этой самой древней, самой утешительной, самой романтической и самой человечной пище из всех существующих на свете.

С первым же экземпляром моей книги я поспешил в палату моего благодетеля в госпитале «Гора Синай», но к тому времени врачи уже подсоединили его к аппаратам, которые вдвухали в него морфий, сахар и воздух и выкачивали из него мочу, и ум, и все его силы, и всю его злость.

Три недели спустя он умер. Я организовал его похороны, утешил его жену, написал о нем некролог, который был опубликован в нескольких еврейских газетах, взял деньги, пишущую машинку «паркер вакуматик» и книги, которые он мне завещал, и вновь пустился в путь.

Несколько недель подряд я двигался на юг по штату Нью-Джерси,

пока не добрался до городка Мирьям на мысе Мэй. Когда я в первый раз шел по его знаменитой деревянной набережной, той самой, которую лет двадцать спустя снесло ураганом, сверху спикировала хищная птица со светлыми глазами и таким же животом. Какое-то мгновение она неслась над гладью воды, а затем выудила когтями рыбу. Я тут же узнал ее. Скопа, американский рыбный ястреб из альбома рисунков Ихиеля Абрамсона. Я зачарованно следил за тем, как он рвал и пожирал свою добычу, сидя на деревянной тумбе причала. Потом он пронесся снова, испарывая воду погруженными в нее когтями, словно убийца, умывающий руки.

Я снял себе там дом, поставил полки для книг, развесил по стенам своих красивых женщин и снова принялся писать. «Память, вот кто повинен во всех этих трехтомных романах», — сказала Сесили, обращаясь к мисс Призм. Знал ли Оскар Уайльд, что греки уже предвосхитили этот диагноз? Не беспокойся, моя Мнемозина, я не буду докучать тебе в таком объеме.

## ГЛАВА 67

«То утро я помню до последней мелочи. Я как раз почистил и смазал цепь на печной двери, и тут птицы на шелковице заорали, как ошалевшие».

Такими словами: «То утро» — мой брат назвал утро того дня, когда им с Леей сообщили о смерти Биньямина. Галдеж и вопли, вырывавшиеся из листвы, проникали в пекарню, и он решил, что это сойка или змея пробралась сквозь ветки поживиться яйцами и птенцами. Предчувствие беды, в которое сплетались голоса птиц, тревожило его, и в конце концов, разъярившись, он схватил лопату и вышел наружу.

Десятки бульбулей, воробьев и черных дроздов взволнованной тучей носились над деревом, исчезали в его ветвях и стремительно, будто их выстрелили, вылетали оттуда. Яков ткнул лопатой в листву и стал ворочать ею, пока из ветвей не вывалилась бринкеровская кошка и со всех ног бросилась со двора. Он повернулся, смахнул пот со лба и уже собрался было вернуться в пекарню, как вдруг увидел, что во двор входят армейский офицер, врач и девушка из разведки — и вокруг воцаряется страшная тишина. Этот ритуал хорошо известен в нашей стране. Его правила жестко заданы, его слова знакомы, его сцена готова. Только действующие лица выбираются случайно, из публики.

Лея увидела их через окно пекарни. Она сидела у маленького стола и занималась подсчетами. Хадасса Идельман научила ее пользоваться деревянными счетами, и теперь ее пальцы передвигали черные и коричневые костяшки с невероятной скоростью. Издавна тренировала и готовила она себя к этой минуте, и ей не понадобились никакие дополнительные разъяснения, но Яков, который, в отличие от нее и отца, никогда ничего подобного не репетировал, начал в ужасе пятиться назад и еще раньше, чем понял, уже крикнул: «Биньямин!» — упал, пополз, обхватил ноги испугавшегося офицера, завыл и залаял, как пораженный бешенством.

Лея отодвинула счеты и, словно решившись в этот момент на что-то важное или получив подтверждение, которого ждала годами, не забыла сунуть карандаш за ухо перед тем, как закрыть глаза. Мелкие волны боли пошли ширящимися кругами по ее телу, разгладили крохотные морщинки на лице, пробежали дрожью по коже и растаяли в вырезе рубашки и под линией волос. Ее голова ударилась о ножку стола и горшком стукнула по бетонному полу. Кровь не проступила, но ее лоб размяк в обморочном

покое. Врач брызгал водой, шлепал ее по лицу и даже вытащил шприц. Но Лея открыла мутные и очень мягкие глаза, остановила его рукой и прошептала: «Оставьте меня, я хочу спать».

Она поднялась, вышла из пекарни, прошла по тропке, пересекающей двор, одолела четыре ступеньки лестницы, и уже на веранде вновь навалившаяся тяжесть снова швырнула ее на землю. Так, на четвереньках, она доползла по коридору до комнаты Биньямина, отворила дверь и взобралась на его постель.

Где-то снаружи Шимон кричал: «Яков, встань! Встань с земли!» — и голос его был, как у испуганного ребенка. Отец вышел из своей комнаты и прижался к стене пекарни, как будто играл в прятки, а тия Дудуч уже стояла в кухне, закатав рукава выше локтей, и споласкивала большую кастрюлю, в которой будет намочить фасоль для поминальной чурбайки.

— Я видела все. Я не верила, что это правда. Я была, как парализованная. — Роми поднялась с дивана и направилась к окну, демонстрируя прямую и сильную, как у юноши, спину, чистый девичий затылок и сильные бедра Дианы. Из расположенного неподалеку тель-авивского зоопарка доносились крики обезьян, и ночной мотоцикл будил спавших обитателей улицы Ибн-Гвироль. — Жаль, что я не курю, — самое время для сигареты, — сказала она, обернулась, посмотрела на меня своими желто-голубыми глазами и знакомым движением положила руки на талию. Я знал, что сейчас она будет копировать мать.

— Его больше нету, — продекламировала она, — ему пришел ужасный конец.

В то время у меня была любовница, утомительная, высокая и замужня женщина, трудившаяся над диссертацией: «История одного спора: является симметрия врожденным свойством мира или оценочной характеристикой, которую люди приписывают ему». Ее полное самоотжествление с темой работы превращало наше совокупление в равнодушное, лишенное юмора и чрезвычайно изнурительное занятие. Помню, однажды, в попытке самозащиты, я процитировал ей высказывание Шену Апари: «Если двое кончают одновременно, это значит, что один из них кончает плохо» — и она не засмеялась. У нее были высокий лоб и острые светлые соски, чувствительные к свету и взгляду и не выносившие прикосновения, но самым большим ее достоинством было то, что она внушала мне ощущение, будто я совокупаюсь сам с собою, и поэтому я воспламенялся, как юноша, становясь из-за этого раздражительным и смешным. В эти минуты я чувствовал себя воплощением одного из наиболее странных сравнений отца: «Как турчанка, которая уронила в море

ключик от своих шаровар».

Меня неизменно забавляла ее манера засыпать. Она толкала и рыла своим задом мои бедра и живот, как будто выкапывала себе яму для ночлега, запрокидывала назад голову, пока ее затылок не касался моего носа, на переходе от бодрствования ко сну выпускала несколько отрывистых, занятных глупостей, этаким путанным бринкеровский словесный поток, который я понимал без всякого труда: «Завтра мы поедем гулять и даже если он скажет тогда также девушки которые поймали его позавчера тоже были у меня», — и засыпала.

Я любил чувствовать, как ее спящее тело выпускает мою выскальзывающую плоть.

«Как золотая рыбка, умирающая в покинутой сети», — сказал я про себя на иврите.

— Что? — пробормотала она вдруг. — Мы тоже были и они не сказали мне.

— Ничего. Это песня. Не обращай внимания, ты ее не знаешь, спи.

Я засовывал ладонь под ее ребра, чтобы моя рука замлела под ее тяжестью. «Будильник миссис Абрамсон», — называл я этот способ пробуждения, потому что позаимствовал его именно у нее. Покальвания крови будили меня как раз в тот момент, когда приходило время отправлять моих замужних подруг к их мужьям, возвращающимся домой после трудов праведных.

Разносчик телеграмм потянул дверной колокольчик в ту минуту, когда моя поклонница симметрии перевернулась на спину и раскинула свои белые руки за головой. «Эту ты целовал больше, чем ту», — сказала она капризным тоном, который как ни что другое омерзителен для слуха мужчины, секунду назад извергшего семя.

Я встал, обмотался большим полотенцем и подошел к двери. Мой милый спаситель протянул мне телеграмму. «Биньямин убит», — было написано в ней. Как всегда: слова на иврите, буквы английские: «BINYAMIN NENHERAG».

Я попрощался с ней жестоким, противу всех основ ее диссертации, поцелуем в одну лишь правую грудь, купил Роми фотоувеличитель, который она давно просила, собрал чемодан и полетел домой.

Я провел дома месяц, и за все это время Роми не сказала мне больше трех фраз подряд. Ей было тогда лет пятнадцать, и я сказал Якову, что такая застенчивость после девяти лет нашей переписки кажется мне странной.

— Это такой возраст, — ответил Яков. — И позволь мне напомнить тебе, что у нее только что погиб родной брат.

Я был еще более удивлен, когда вернулся в Америку. В почтовом ящике меня уже ждали письма от Роми и фотографии, которые она сделала во время моего приезда. Мы с ее отцом идем по двору, взявшись за руки. Два ужасных снимка: на одном я, наклонившись, подглядываю через замочную скважину в комнату Леи, а на другом — то ли прошу помилования, то ли занимаюсь шведской гимнастикой на могиле матери, даже не разобрать. Фотография, на которой мы с отцом пьем арак со льдом из прозрачных чайных чашек и заедаем огурцами, играя в домино на веранде.

«Пришли мне еще фотографии, — написал я ей, когда преодолел первое смущение. — И вот тебе красивый стишок, чтобы доказать, что я не сержусь». И я присовокупил к письму старинные строки, которые часто декламировал Ихиль и которые не переставали всплывать из своего потайного ящичка, где-то внутри меня, с тех пор, как я увидел ее двухцветные глаза.

И стал Амнон полевым цветком,  
Темно-синего цвета его лепесток.  
А Тамар, что лежала на груди у него,  
Сестра его, стала как желтый глазок.

Издали доносились глухой шум океана и рычание автострады, и я поднялся, чтобы закрыть окно. Мыс Мэй — это длинный язык, который материк показывает океану, и назван он так не по имени месяца мая, а по имени человека, а городок Мирьям — это вылизанный и сонный прибрежный поселок, заслуживший место в американской истории и на туристической карте штата только благодаря тому, что когда-то один из президентов провел здесь недолгий отпуск. Мне по душе его не возмутимое спокойствие, подстриженные деревья, викторианские дома, дружелюбие обитателей и само его имя, такое непохожее на те древние, непонятные и угрожающие названия, которые я оставил за собой, — Ашдод, Сдом, Эштаоль, Кишон, Тавор, Хайфа. Как истолковать эти осыпающиеся груды согласных, которые никто уже не понимает? Где затерялся их смысл? Может быть, это остатки древних языков? Иероглифы боли, которой не суждено исчезнуть?

Мои соседи, к великому моему счастью и удовольствию, не слишком назойливы. Я провожу время в чтении на иврите и английском, сочинении своей колонки, которая публикуется в нескольких десятках

гастрономических журналов, во встречах с женщинами, далеко не столь частых, как тебе кажется, в созерцании океана и ястребов и в сочинении этих писем, часть которых я отправляю тебе, а часть укрываю в своем личном дневнике, о котором уже упоминал. Иногда я позволяю себе маленькое персональное прегрешение — отправляюсь в Балтимор полакомиться лучшими устрицами на Восточном побережье, а потом иду в большую Библиотеку имени Пратта просмотреть периодику и подумать об Ихиеле.

Летом эти края заполняют отдыхающие. Время от времени идет теплый дождь, и далекие молнии вонзаются в землю. Тогда я отправляюсь в лекционное турне, которое моя литературная агентша тщательно готовит в течение года. Моя агентша — молодая, энергичная женщина, и однажды, когда я пришел к ней в офис в Оушен-Сити, она сыграла со мной в игру «Сорока-ворона кашу варила...», только в венгерском варианте, в котором эта игра начинается со ступни, а не с ладони.

Я выступаю в гастрономических клубах, которые расцветают здесь, как дикий лук осенью, перед студентами, которые в этой избалованной стране получают зачетные «пункты» по любому мыслимому предмету, а главным образом — перед женскими кружками в городках вроде моего. Я хозяин своего времени, и поскольку летать я не люблю, то большую часть поездок, даже самые дальние, проделываю обычно в поездах. С началом сезона я получаю от агентши конверт со всеми проездными билетами, расписаниями, маршрутами, а также с необходимыми мне телефонными номерами, и на каждой станции, всегда позади маленького краснокирпичного здания, под большим зеленым кленом, меня уже ожидает женщина в синем большом автомобиле с откидным сиденьем. Она отвозит меня в скромный отель, где я с головой погружаюсь в Библию, которую чьи-то руки заботливо кладут в каждый номер на пользу скучающему грешнику, и стою нагишом у двери, заучивая правила выхода из помещения на случай пожара, пока к вечеру та же женщина не появляется вновь, чтобы отвезти меня в зал, где мне предстоит выступать. Некоторые из них потом присылают мне письма, и я всем им отвечаю. Я полагаю, что мои близорукие глаза, глаза щенка, вечно ищущего сосок, и та древняя чувственность, которая почему-то связывается с представлением о вымешивании теста и выпекании хлеба, — вот что влечет ко мне сердца этих добрых провинциалок.

Некоторые поездные контролеры уже узнают меня. Старший официант в вагоне-ресторане интересуется моим самочувствием. В вагоне-баре, лязгающем на стыках пути, я чувствую себя лучше всего. Я завожу беглые

разговоры о неистребимой романтике поездов, с неизменным упоминанием рассказа Габриеля д'Аннунцио о пощечине в туннеле, с большим успехом читаю по ладоням пассажиров, вежливо интересуюсь книгой, которую читает моя соседка — подвыпившая, симпатичная старушка: «А знаете ли вы, миссис, что эта книга была впервые опубликована в виде сериала, под вымышленным именем «Боз»?» Я истинная находка для пассажиров, которые хотели бы излить душу в чье-нибудь внимательное ухо. Я тоже рассказываю им истории и открываю тайны своего сердца. Со времени бесед с Бринкером я никогда не получал такого удовольствия. Им я тоже могу открыть истинную правду без всяких прикрас, потому что я их больше никогда не увижу. Знала ли ты, что юношей я обрюхатил на родине девушку и был за это отправлен к своему дяде — американскому сенатору? Я рассказываю им о своей покойной сестре Лауре, о деде — дегустаторе кофе, о матери — владелице кондитерской, очень низенькой женщине, почти карлице, и об отце — философе-самоучке, который посвятил всю свою жизнь исследованию бесконечности и умер в туберкулезном санатории, когда мне было семь лет. Он оставил по себе 149 псалмов, написанных на страусином яйце, и большого рыжего мальчика-сироту (меня, моя дорогая, меня).

## ГЛАВА 68

— Вот здесь я читаю твои письма.

— А папины?

— Здесь. — И я чуть сдвинулся вправо по скамейке.

Роми рассмеялась.

Обычно я прихожу сюда пешком, полчаса прогулки от дома. Но на этот раз Роми привезла меня сюда на моей машине. В ней заговорило сочувствие.

— Бедненький мой, никто тебя не выводит гулять! — воскликнула она, когда я открыл гаражную дверь на следующий день после ее приезда. Старый «де сото», ухоженный и сверкающий, обменялся с ней взглядом и улыбнулся своими большими хромовыми зубами.

— Я умираю за этой машиной, ты знаешь, что она моего возраста?!

Она умело припарковалась, пробежалась по набережной, вернулась ко мне, перепрыгнула через скамейку. Доски застонали под ее ногами. Это старая дощатая набережная, поставленная на сваях, и местные благодетели привинтили к ней скамейки, обращенные к морю. Они установлены вдоль одной линии и на равных интервалах, заякоренные в досках и в законе так, чтобы ничто не потревожило отдых и человек мог бы размышлять в соседстве с другими размышляющими. Смотреть на волны, замкнувшись в себе, или улыбнуться соседу и завести знакомство. Никто не знает надлежащей дистанции между одной одинокой душой и другой лучше, чем американцы.

Мы сели. Одну ногу Роми вытянула вперед, другую притянула к груди. Долорес? Долли? Богоматерь нашего страдания? Или это Клавдия сидела так?

Когда она демобилизовалась из армии, я пригласил ее приехать и погостить у меня. Я приближался тогда к пятидесяти, довольный жизнью, несколько уставший от нее, вошедший в тот удобный возраст, когда еще не теряешь права, но уже свободен от обязанностей. Большинство моих проступков и грехов заслуживали помилования за давностью, и я уже был достаточно умен, чтобы обрести снисходительность, которая даруется не столь уж многим мужчинам. Подобно немолодой любовнице Франклина — улыбчивой, опытной, щедрой, — я даровал прощение даже своей собственной плоти.

Мы извлекли из шелестящего целлофанового мешочка каменно-

твердые, очень соленые бублики и уставились на океан.

— Ты видел меня, когда смотрел отсюда?

— Чудесное море, широкое море, прекрасная даль, что не знает границ, — пропел я ей с удовольствием. Насколько это лучше, чем «a dark, illimitable ocean, without bounds, without dimensions», как читал мне Ихиель тем тоном, которым доктор Джеймс Бартон декламировал в ванне, — или, может, то был все-таки Джон Бартон, губернатор?

Я собирался приехать в Нью-Йорк накануне ее прилета, купить нам обоим подарки в «Аргосе» и в «Книжной корзинке», а потом забрать ее в аэропорту, но Роми попросила меня не беспокоиться. Она заночует у подруги в Бруклине и позвонит мне оттуда.

Я провел ночь, полную тревоги, непривычной и раздражающей смеси ребяческих страхов и родительских кошмаров, прежде чем она позвонила. Она здесь, у сестры какого-то типа, с которым служила в армии. Ты его не знаешь, дядя. Всё в порядке. Да. Сначала путешествуют по стране, а потом приезжают к дядям. Не беспокойся. Я уже большая девочка.

— Это было последними словами многих девушек в этой стране, — сообщил я ей.

Решительность ее тона, материнская и детская одновременно, удержала меня от того, чтобы приказывать или просить.

— У меня уже есть один отец, — рассмеялась она, — и он беспокоится обо мне за вас обоих.

И исчезла. И я, этакий сирота в годах, не находил себе места. «Мне никогда ничего не рассказывают», — подражал я старому Форсайту по телефону, и сестра этого типа из армии сказала: «Я должна объяснить тебе, что такое Роми? Она помчалась погулять».

Нетерпеливая, стремительная и возбужденная, моя племянница носилась по материку, посылая мне стрелы своих звонков «за счет абонента» из любого уголка, в любое время и с любого расстояния.

— На улице в Оксфорде, — восторгалась она, — один негр играл на тромбоне специально для меня, и его щеки надулись, как два прозрачных шарика, так что стали видны самые-самые тонкие сосудики под кожей.

Я нашел Оксфорд в Канзасе, в Мэне, в Коннектикуте, в Огайо, в Миссисипи, в Небраске, в Нью-Йорке, в Висконсине, а также в Нью-Джерси и оставил атлас возле телефона.

— Я не знаю, как называется это место, но тут живут очень уродливые люди. Я послала тебе оттуда их фотографии, потому что знала, что ты не поверишь.

Теплый дождь, «с такими вот здоровущими каплями», падал на нее во

Флориде — она занималась там обдиркой кожи на крокодильей ферме.

— Может, кончишь уже эти свои дела и приедешь сюда? — кричал я на нее. — Тридцать лет живу в Америке и не слышал, чтобы люди занимались такой мерзостью.

— А ты думал, дядя, что крокодил раздевается сам? Я большая и сильная, и мне это не противно.

— Рабочие? — Она смеется. — А что рабочие? Бог с тобой, дядя, от меня так несет падалью, что по сравнению со мной даже Мертвая Хая пахнет, как нарцисс. На меня тут вообще никто не смотрит.

Звонок из Потсвилла:

— Я побуду здесь несколько дней. Один симпатичный старикан подвез меня в своем пикапе и пригласил к себе.

— И ты согласилась?

— Почему бы нет?

— Почему нет? Я должен объяснять тебе, почему нужно говорить таким людям «нет»? Да еще в таком месте, которое называется Потсвилл? Где это вообще, черт побери?

— Почему ты ругаешься, дядя? Он всего-навсего старый, симпатичный человек. У него на огороде растет редиска. Ты пробовал когда-нибудь пиво с редиской и маслом? Стоит попробовать.

— Насколько старый? Что для тебя значит — «старый»?

— Старый, я знаю? Сорок, пятьдесят, шестьдесят, ну, как ты или отец. Он даже сказал мне, что я могла бы быть его дочерью.

— Да?! — заорал я. — И ты хочешь мне сказать, что тебя убедила эта дурацкая и банальная фраза, истертая, как залупа монаха?

— Как ты разговариваешь, дядя! — Она смеется. — Не рот, а помойная яма. Знаешь, какой замечательный завтрак он мне приготовил?

Дядя не отвечает.

— Хочешь поговорить с ним? Вот он стоит, смотрит на меня и ни фига не понимает, что я говорю.

Я швырнул трубку.

## ГЛАВА 69

— Как ты добираться от места к месту?

— По-разному.

— Что это значит — по-разному?

— Автобусом, поездом... уф... Сейчас меня подвез немецкий турист. Старый хрыч на мотоцикле. Он жутко смешной, и вообще вдвоем путешествовать дешевле.

— Что именно дешевле? Ты спишь с ним в одной комнате?

— Что с тобой в последнее время? Я думаю, что трахаться ему вообще не интересно. Он немного чокнутый в этом вопросе.

— Could you be more specific<sup>[107]</sup>, Роми, дорогая?

Она рассмеялась:

— Чокнутый, я знаю?.. Странный такой. Фон что-то. Из семьи князей и баронов и всякое такое.

— Только этого мне не хватало! Странный немец на мотоцикле. Чем он странный?

— Я знаю?.. Он как-то чудно говорит. Вдруг посмотрит на меня и спросит: «Волен зи мит мир штербен, Ромиляйн?» Я надеюсь, что я правильно произношу.

— Ты совсем спятила? Что я скажу твоему отцу? Что ты едешь на мотоцикле с немцем, который спрашивает тебя, хочешь ли ты с ним умереть?

— Всё в порядке, дядя! Я большая и сильная, и у меня есть страховка. Не беспокойся.

Ее голос постепенно слабеет, ее смех постепенно исчезает.

Подобно поздней летней буре, она кружилась по всей стране, неслась вихрем, топала по дорогам и звонила в любое время и из любого места. В пять утра и в два пополудни. С железнодорожных и заправочных станций, из мотелей и кафетериев. Иногда странное хихиканье, однажды — страшный крик: «Дядя, дядя, дядя!» — и потом разъединение, после которого я не спал два дня и три ночи, пока она не позвонила снова. «Я кричала? Когда я кричала?.. Ах, тогда... Да нет, ничего не случилось.» Кто-то жутко ее «щекотал», и она не могла говорить.

— Не беспокойся, я управляюсь. Да, я ем... и завтрак тоже. Да, да, все питательные вещества до единого.

— На что ты живешь?

— Сейчас? Я работаю у фотографа.

— С какой стороны объектива ты находишься?

— Это не то, что ты думаешь, — смеется она. — Мы делаем для пожилых пар фотографию их первой встречи.

— Что?

— Они приходят, рассказывают нам историю своей встречи, все такое, показывают свои старые фотографии, и я записываю все подробности и организую им то же место, ту же одежду, а Филипп фотографирует, как они сидят там и плачут. Chez nous a Paris мы больше-больше всего любим вспоминать любовь.

Филипп. Тошнота подступила к моему горлу. В своих расширяющихся книзу штанах, с высокой талией, с маленькими, плотно сбитыми яичками и цепочкой на шее.

— Где ты сейчас?

— Эй, как называется это место? — услышал я, как она кричит на своем израильском английском. — Я в телефонной будке. — Ее слова закачались на волнах близкого мужского смеха. Незванный Гумберт проснулся во мне. Ах, ах, ах, сказала маленькая дверца.

— С кем ты там, Роми? Что там происходит? Неужто я умоляю? Неужто угрожаю? Да я просто старый дурак.

Я еще кричал, когда она положила трубку. Она уже усвоила отвратительный американский обычай обрывать разговор не прощаясь.

Неделю спустя, посреди ночи, она закричала с лужайки, что возле дома:

— Дядя, открой, это я! — И вот уже она врывается внутрь, грязные пряди волос выбиваются из-под старой греческой шляпы. — Ты можешь заплатить за такси? У меня кончились деньги.

Мое сердце остановилось. Ее сильные и длинные руки обнимают меня. Она привела с собой парня, у которого на лице написано, как вытатуировано, — «кибуц». Немного хромает, в очках, на три-четыре года старше Роми и на два-три сантиметра ниже. Оба неуклюжие, как телята, голодные и веселые, как собаки динго. Я приготовил им еду полуночников из яичницы и салата, сидел рядом с ними, пока они припоминали перипетии своей поездки, смотрел на них усталыми глазами доброго дедушки, пока они хихикали набитыми ртами, толкали друг друга локтями и обменивались восклицаниями на своем тайном молодежном языке.

— А тот, который взял нас в старом «студебеккере»?!

— А та адвокатесса, которая хотела, чтобы мы перевезли ее машину, и стала заигрывать с тобой?

— Со мной? Она пыталась заигрывать с тобой!

— А тот чокнутый, который хотел обратить нас в ислам прямо на улице?

— Это был ассириец.

— Во всем мире осталось всего семьдесят тысяч ассирийцев, — попытался вставить я, — и десять Черных Татар.

— А тот идиот-полицейский, который нам поверил?!

— Послушайте, друзья, — сказал я наконец. — Извините, что я прерываю на минуту ваш праздник, но в это время ночи я обычно сплю. Пошли-ка со мной, Роми.

Мы вошли в мой рабочий кабинет. Воздух сразу же загустел.

— Вы спите вместе — ты и этот парень?

— Почему такой тон, дядя? Отец знает его. Это тот, который рассказал ему о Биньямине. — И через несколько секунд: — Что случилось? Почему ты такой?

— Роми, — сказал я. — Я холост, я стар, я устал, и я не привык к реальным людям. Где и как вы хотите спать?

— Мы будем спать, как тебе удобно, там, где ты скажешь.

— Что значит — «удобно»? — Я вдруг вскипел. — Что я — вдова Дуглас?! Миссис Марч?! Какое мне дело? Судя по тому, что ты ухитрилась выкинуть за время своего путешествия, ты уже действительно большая девочка. Ты мне только скажи, чтоб я знал, сколько простыней и одеял вытащить, и я приготовлю вам постель.

— Вместе, — сказала она. И потом: — Ты сердишься на меня? А, дядя?

— Завтра поговорим, — сказал я. — Я хочу спать.

Я повернулся, чтобы выйти, и она оплела меня сзади своими руками и положила мне на плечи изгиб своей шеи. Позор маловеерам. Знакомая чудная сила таилась в крыльях ее рук.

— И перестань бомбардировать меня именами из книг. Они не производят на меня никакого впечатления, я знаю, что ты их придумываешь.

— Я не придумал.

— И ты еще вообще со мной не поздоровался, — трепетали ее слова на моем затылке.

— Шалом, — проворчал я.

— И я еще не сказала тебе спасибо за билет.

— Я рад, что ты получаешь удовольствие, Ромиляйн, — сказал я и направился к бельевому шкафу.

## ГЛАВА 70

— Что же случилось в конце концов с ее гусем?

— Он был уже стар, и его разорвала соседская собака. Наша мать чуть с ума не сошла от горя.

— А отец рассказывал мне, будто он улетел после бабушкиной смерти и больше уже не вернулся.

— Твой отец романтик, Роми.

— Я тоже так думаю. — И, помолчав: — Ужасно красиво здесь.

Океан громаден, катит валы, распахнут до горизонта. Раз в несколько месяцев он врывается на берег с декларацией грозных намерений, но во все прочие дни безмятежно ленив. Так не похож на Средиземное море, этот кишачий народами двор, где все знают друг друга, все затаили обиды друг на друга, все сплетничают друг о друге. Там — крики соседей, веревки с бельем и воспоминаниями растянуты от берега к берегу, увядшие накрашенные сирены, исчерпав все свои соблазны, бессильно идут ко дну. А здесь — океан. Огромный равнодушный простор. Спокойное молчание гигантов.

Там — море мелких коробейников, ускользнувших из китового чрева пророков, медлящих с возвращением домой героев. А здесь — могучее скрытое своеволие, угадываемое в тяжелом колыхании воды. «Но и эта чудная мощь ни в коей мере не умаляет его чарующую подвижность». Много лет назад, выбирая себе постоянную скамейку, на которой я собирался отныне сидеть, я пришел сюда ночью, вооруженный ножом и компасом, и вырезал стрелку на перилах набережной. В ясный день, при подходящем положении солнца, сняв очки и глядя в направлении этой стрелки, я могу различить по-блескивания на трубе пекарни, которые уже не спят никого, кроме меня.

Океан серый и сонный, точно колышущийся свинец. Его запах вызывает слезы. Его вода холодна. Только раз в году, в полдень двадцать первого июня — самый длинный день в году, не так ли? — я погружаюсь в эту купель, отчасти в виде некоего ритуала, да и то лишь затем, чтобы сравнить свое ощущение с воспоминаниями от предыдущего купанья. Обычно же я удовлетворяюсь тем, что лениво сижу на скамейке, читаю и всматриваюсь в своего старого и послушного друга — в горизонт, который я могу приближать и удалять по своему желанию. Я морочу его, а он меня, и солнце, садясь, греет мне затылок. Даже прожив тридцать лет на

Восточном побережье, я все еще удивляюсь тому, что солнце не садится в море, а встает из него. Оно огромное, далекое, багровое и каплющее.

— Давай поиграем во что-нибудь, — сказала вдруг Роми.

— Поиграем? — очнулся я. — Во что?

— Давай поиграем, как будто я Шимон, а ты — кусок шоколада.

Я впервые услышал от нее такое.

— Не заводись с этим, — сказал я.

— Я уже большая, — сказала она. — Я могу, я хочу, и я знаю.

— Гвендолен моя дорогая, — сказал я ей. — Ты не большая. Когда ты станешь большой, твой отец и аз грешный — мы сообщим тебе об этом.

— Давай играть, будто ты кенгуру, а я собака динго.

— У кого ты этому научилась? — забеспокоился я. — У своей матери?

— Биньямин говорил это своим подругам, а я подсматривала и подслушивала, — сказала она. — Давай сыграем, будто я морж, а ты упрямая устрица.

На этот раз я рассмеялся.

— Кажется, кто-то здесь начал читать книги? Ты принесешь уксус, а я перец?

Недалеко отсюда суша высовывает еще один язык в глубь океана. Он тянется на несколько песчаных километров, и на самой его оконечности расположены орнитологическая станция и старые, заброшенные пушечные позиции. Мы шли вдоль берега. Брат и дочь его брата. Сын и его воспоминание о матери. Отец и его дочь, которая никогда не родится.

«Безликий северный ветер плетет небылицы у самой поверхности воды». На песке валяются панцири крабов — свидетельство былой жизни, которая давно сгнила внутри них. Прибрежные растения собирают вокруг себя маленькие песчаные бугорки. Некоторые борются с песком и ветром, танцуя податливыми гибкими телами, а некоторые припадают к земле и вгрызаются в нее своими зубами. Одни распростерты по земле, ворсистые и мясистые, другие торчат высоко, и лезвия их листьев ранят тело. Здесь можно увидеть и гигантских альбатросов. Большую часть своей жизни они парят в воздухе, а приземляясь, расхаживают по берегу с озадаченным видом, встревоженные устойчивостью почвы, которая кажется им порождением обмана и надувательства.

— И пиво, и хлеб изобрели древние египтяне, — сказал я орнитологам заповедника, которые пригласили меня на глоток. Сюрприз: на стене их офиса я обнаружил очертания знакомого лица — орнитолога Александра Уилсона, и его неожиданные прыжки, из блокнотов Ихиеля в амбары моей памяти, а оттуда на стену в офисе заповедника, неожиданно потрясли меня

до глубины души.

«Похороните меня там, где поют птицы», — процитировал я им его последние слова.

# ШИМОН НАТАН И ДЕВОЧКИ ИДЕЛЬМАН (гипотетический рассказ о реальных людях)

Поздним гулякам, ночным труженикам и просто мученикам бессонницы хорошо знаком тот изгиб приморского шоссе, где запах хлеба внезапно ударяет в окна машины. Как спящий ребенок, он обнимает за шею, льнет к сердцу, наполняет томлением желудок. Что-то теплое пробуждается на мгновение в душе, но вот уже пальцы снова сжимают рулевое колесо, нога давит на педаль газа, и добрый запах хлеба тает и исчезает позади. Мало ведь их, людей, отвечающих зову сердца. Кто из нас не оставлял вот так же — позади, на обочине — пейзажи своего детства? Свою единственную любовь? Свои мечты и свое призвание?

Но если бы отозвался поздний путник, поддался соблазну, вышел из машины и последовал туда, куда зовет его этот запах, да, придя к близлежащему поселку, поднялся по его горбатой улочке и вошел в расположенную в последнем дворе маленькую пекарню, то там он увидел бы Якова Леви — усердного и угрюмого пекаря, стоящего, согнувшись, в яме у печи и сжимающего обеими руками лопату.

Лицо Якова изрезано морщинами, глаза — как щелочки, лоб — как пергамент. В «Книге о хлебе» Герберта Франка сказано, что тридцать лет работы хлебопека равнозначны сорока трем годам работы в любой другой профессии — из-за сильного жара, нарушения распорядка сна и потери жидкости. Но Яков Леви, сдержанный, опаленный огнем человек, не нуждается в книгах, чтобы понять, почему он выглядит старше своего возраста. Ему пятьдесят пять, но он уже хорошо знаком с тем одиночеством, что вползает сквозь проходы в человеческое тело и опухолью разбухает в сердце, с одиночеством, соединившим в себе что-то от обособленности, обычной для всех пекарей, и что-то от аскетизма, свойственного только его личной жизни.

Эта история, начало которой — в одиночестве Якова, кончится еще более страшным одиночеством Якова, и между этими началом и концом будут приведены лишь несколько дополнительных подробностей. Как и любые подробности, они могут вызвать улыбку, зевок или слезу, но ничего

не добавят и ничего не убавят от сути. Сказано ведь уже, что острого зубила каменщика да простого надгробного камня вполне достаточно, чтобы запечатлеть все подлинно важные для жизни детали — одно имя и две даты. Время и человек. Его начало и его конец. А итальянский археолог Эрметте Пьеротти, поэт и архитектор, который изучал древние могилы Иерусалима, добавил к этому: «Зануды же воздвигают им памятные плиты с потоками восхвалений, извинений или разъяснений».

Отец и мать Якова уже ушли в лучший мир, его первенец погиб на армейской службе, а жена лежала в постели погибшего сына, спала там и не просыпалась. Яков приходил к ней, просил ее встать, тряс, гладил, силой раздвигал ее веки, попрекал и умолял — все напрасно. Гипнос и Танатос, боги-близнецы сна и смерти, баюкали ее в своих объятьях, замедляли стук ее сердца, намертво смыкали ей веки.

Воздух в комнате был неподвижен. Пыль, обычно витающая в нем, давно осела. Мошки, обычно суесящиеся в нем, застыли на лету. Свет, обычно наглый и бесстыдный, стал приглушенным и мягким.

Каждый вечер Яков заводил будильник и ставил его в изголовье жены, но будильник тикал так тяжело, словно кто-то держал его за пятку, и, когда наступало время звенеть, у него уже не хватало сил, и он, задохнувшись, умолкал.

И что? — удивлялся Яков, глядя на жену. Что, время — это река, уносящая всех? Болото, в которое все мы погружаемся? А может, эстафетная палочка, торопливо передаваемая из руки в руку? Или тот древний хаос, из которого был создан мир и в который мы все возвращаемся?

Потомственный пекарь, Яков хорошо знал повадки времени и его ходы, циклы рождения, зачатия и смерти. Бывали дни, когда он смотрел на спящую жену и видел ее такой, как в дни ее молодости. Бывали дни, когда он говорил себе: хорошо бы войти и обнаружить ее мертвой. А большую часть дней он думал, как ему зачать себе нового сына.

Он уже давно не спал с женой и иногда онанировал. Ведь это тоже способ — неуклюжий, но неожиданный по точности способ измерения времени. Яков стыдился болезненного наслаждения, которое онанизм зрелого возраста доставляет тем, кто им грешит, и порой плакал, потому что юношеская радость и сила уже исчезли из этого действия, осталась одна лишь привычка, и, когда толчки его семени переставали пульсировать, он чувствовал себя, как женщина после выкидыша. В молодости, вспоминал он, член пел в его руке, трепетал, как канарейка, зажатая в ладони, а теперь он походил на старого, снисходительного и умеющего

хранить тайну друга семьи.

Однажды вечером, в жутком крике выплеснув свое семя на одеяло жены, Яков выбежал из ее комнаты наружу и, пока не пришла пора идти в пекарню, сидел в темноте на веранде и думал о том, как сильно он хочет нового сына. Скажем тут к слову, что этот феномен жгучего, охватывающего все существо желания мужчин произвести себе потомство был уже некогда изучен у индейцев племени черная грудь с мексиканских плоскогорий. Эти люди верят, что дети образуются в теле мужчины, а матка женщины — просто грядка для дальнейшего роста младенца, и, когда наступает время родов, они выгоняют подруг роженицы, и трое старых акушеров извлекают плод из ее тела. Мужчины берут на себя и воспитание мальчиков, потому что женщины, как они убедились, с возрастом теряют влечение к игре. Так или иначе, когда в сердце мужчины, черногрудый он или нет, пробуждается материнский инстинкт, на свете нет ничего сильнее этого инстинкта. Всякий, кто хоть однажды это чувствовал, знает, что это так, а кто не чувствовал, попросту туг на душу. В любом случае нет надобности больше распространяться на эту тему.

Однажды Яков преисполнился злости и смелости, разделся и лег в постель рядом с женой. Он прижал свой живот к ее спине, просунул левую руку под ее шею, а правую положил на ее бедро. В прежние годы он, бывало, именно так обнимал ее, целовал ее плечи и дышал в них, так что его дыхание ласкало ей затылок, и Лея — так звали его жену — улыбалась про себя, начинала ворковать, прижимать к нему свою попку и, в усладу ему, выписывать ягодицами страстные восьмерки. Родником и бурей было в те годы ее тело, и внутри оно было выстлано любовью. Читатель, разумеется, отлично знает — даже если он не готов в этом признаться, — что любовные повадки людей удручающе одинаковы, но у Якова и Леи был свой интимный ритуал: кончиками пальцев Яков выстукивал легкие тайные сигналы на внутренней стороне ее бедра до тех пор, пока Лея не начинала смеяться и раздвигала ноги в ответном, лишь ей одной свойственном движении, полном ленивой и сладкой истомы. Но когда он снова сделал это в тот день и стал тискать и мять ее тело, ощущая боль и смущение от накопившейся в нем страсти, Лея повернула к нему голову и сказала слабым, ясным голосом, каким матери погибших говорят со сна: «Ты хочешь, чтобы еще один мальчик умер? Этого ты хочешь?» У слов, выходящих из ее рта, был дурной запах, и Яков выбежал вон.

Так прошло пять лет. Каждую ночь Яков выпекал свои полторы тысячи буханок, Лея лежала в постели сына, и больше не происходило ничего,

кроме упрямой смены времен, которая и так совершалась бы в любом случае, рассказывают о ней или нет.

Пять лет прошло, и жгучее желание произвести ребенка все набухало и набухало внутри Якова, так что в конце концов все его тело начало дрожать, потому что наполнилось этим желанием сверх меры. Теперь он знал, что желание и судьба влекут его навстречу поступку, подобного которому он еще не совершал, и ждал лишь знака, который укажет, что день наступил.

И ожидание его не обмануло. Однажды ночью с юга нахлынули волны зноя. Жара была так невыносимо ужасна, что изменила обычный порядок мира. Дрозды продолжали петь и после наступления тьмы, луна побагровела, соленый, влажный ветер потянул из пустыни. Яков, стоявший у печи, через силу дышал, и каждое движение лопаты доставалось ему с таким трудом, будто он ворочал ею в огненной трясине. Он был пекарь, и такого рода признаки были ему знакомы. Поутру, когда он отправил фургон с хлебом, каждая струнка в его теле дрожала и колотилась так, что он отказался от завтрака и пошел освежиться под душем. Он долго простоял под струей воды, отскоблил и очистил тело, помыл голову, выбрился до блеска, потихоньку прошел коридором и вошел в комнату Леи.

Воздух был спертым, как в конуре. Скорбь имеет обыкновение выдавливать из тела пахучие выделения — прозрачные пленки пота, капли слез, паутинки слюны. Яков лег позади жены, но на этот раз не стал гладить, мять или целовать ее. Закатав ее ночную рубашку, он прижался к ней и стал тереться о беспробудную дрему ее ягодиц, пока его плоть не вспомнила ее наготу и восстала ей навстречу. Лея не ощущала его, ритм ее дыхания не изменился, и Яков, наученный жизнью, что время не возвращается на круги своя, и в прочие чудеса не веривший тоже, всунул ладонь меж ее колен и решительно раздвинул их.

Ее забытое и сонное влагилице было теплым, но дряблым, и к тому же сухим, как песчаный бугор. Яков собрал полный рот слюны, выпустил ее в подставленную ковшиком ладонь и хорошенько смочил. Лея не пошевелинулась, но ее тело ожило, выпустило тонкие побеги и отозвалось ему добрым тяжелым запахом.

Горечь и решимость двигали Яковом. Лишь четыре-пять раз он вошел в нее и уже выплеснул свое семя в ее скорбные глубины. Не обычными толчками, а незнакомой ему непрерывной струйкой. Он не дарил наслаждение, не наслаждался, и единственным удовольствием, которое он ощутил, была радость скопившегося в нем густого изобилия, какого он раньше никогда не знал.

Спустя несколько часов, когда поток его семени достиг ее матки, Яков проснулся, потому что Лея внезапно застонала, словно от сильного удара, и все ее тело забилося, как подбитая птица. Мощная и энергичная судорога прошла по низу ее живота и вытолкнула его вялую плоть из влагалища. Яков встал, обмотался простыней и вышел из комнаты.

В доме Якова жили еще его престарелая тетка, тия, по имени Дудуч Натан, и ее сын Шимон. Шимон, застарелый холостяк, хромоногий по причине искалеченного бедра, работал с Яковом в пекарне, а тетка Дудуч вела хозяйство.

В пекарне издавна работал также помощник, наемный работник по имени Иошуа Идельман. Уже пожилым человеком Идельман взял себе в жены молодую женщину, которая принесла ему четырех дочерей, похожих, как четыре деревянные матрешки, что родились одна из другой и отличаются друг от друга только размерами. Шимон, очень их любивший, дарил им подарки и катал по двору, сажая по две на каждое плечо.

В прежние времена Дудуч выкармливала чужих младенцев, потому что не перестала истекать молоком даже после того, как отняла Шимона от груди, а другого сына у нее не было. Теперь, услышав внезапное глухое журчание в доме, она подумала было, что ей слышатся воспоминания или, того хуже, — надежды. Но звук был вполне реальным, и старая тетка пошла по его следу, прошла коридором, открыла дверь, наклонилась над Леей и прислушалась. Невозможно передать словами улыбку, осветившую ее лицо, и поэтому скажем просто, что она выглядела точь-в-точь как улыбка старой кормилицы, которая узнала, что ее надежде на появление нового младенца вот-вот суждено сбыться. Яков же, увидев лицо своей тетки, тотчас понял, что его желание осуществилось: его семя принялось, жена забеременела и у него родится ребенок.

С того дня они ждали вместе. Яков — наследника, тетка Дудуч — сосунка. Каждое утро они оставляли возле Леиной постели очищенный миндаль и сушеные яблоки. Вместе переворачивали ее с боку на бок и вместе поднимали одеяло — проверить, как набухает ее живот.

Иногда Лея вставала, чтобы справить свои нужды, — глаза закрыты, руки растопырены, как сяжки, ноги скользят по паркету, как настороженные собаки-ищейки. «Я такая толстая...» — слышал Яков ее бормотание перед тем, как она исчезала в своем склепе. Но и когда ребенок уже начал толкаться в ее животе, она не проснулась — только веки то и дело начинали вдруг трепетать, как крылья наколотой бабочки. Теперь она стала очень грузной, ее трудно было одевать, и, когда она выходила из своей комнаты нагишом, с поднятым горой животом и закрытыми глазами,

Якову казалось, что она следит за ним и за миром сосками своих грудей.

Никто из соседей не знал о ее беременности, но все говорили, что Яков начал печь такой хлеб, какого не выпекали никогда на свете. И в этом не было ничего удивительного, потому что месил ли он, формовал, зажигал или вынимал — он не переставал думать о будущем ребенке. По ночам в пекарню стали приходить какие-то незнакомые люди, они хватали и рвали руками буханки, пожирали хлеб, словно изголодались до безумия, и смотрели, как он работает. «Бросьте деньги вон в тот ящик», — говорил Яков и не добавлял ни слова.

На седьмом месяце беременности врач решил, что Лея должна рожать с помощью кесарева сечения. Он назначил дату рождения ребенка и позаботился, чтобы Якову, в силу «особых обстоятельств», разрешили присутствовать в операционной.

Наступил день родов, и Яков, вызвав поселковую карету «скорой помощи», отправился с Леей рожать себе сына. В больнице на него надели хирургический халат и напялили на голову чепчик, который вполне мог сойти за колпак пекаря, если б не его зеленый цвет. Лею уложили на металлический стол и воткнули ей в спину шприц. Она была такая большая и дышала так тяжело, что казалась похожей на увиденного им однажды на газетной фотографии кита, которого выбросили на берег волны и отчаяние.

Хирурги быстро взрезали низ ее живота. Они перебрасывались короткими отрывистыми словами. Их пот и ножи сверкали. Глаза моргали над полумасками. Они развернули и прикрепили куски кожи на краях разреза, промокнули кровь, раздвинули желтоватые, податливые складки жира. Сестра поставила на шею Леи матерчатую ширму, как будто боялась, что та увидит своих мучителей и что они с ней делают, и Якову вдруг показалось, будто ее голова тоже отделена от туловища руками какого-то палача или чародея. Хирурги расчленили давно отчаявшиеся и увядшие мышцы живота, развернули и раскатали оболочки, вскрыли пленки, копнули — и обнажили матку. Яков застонал. Самое тайное из желаний, то, что томит всех до единого мужчин, хотя признаются в нем только выходцы из Германии и России, — желание заглянуть внутрь любимой женщины, — исполнилось у него на глазах.

И вдруг глаза Леи открылись, и она уставилась на него, не отводя взгляда. «Потуши свет, Яков, я хочу спать», — сказала она удивленным, слабым голосом.

Пекарь опустил голову и задрожал. Блики крови и куски мяса так и прыгали перед его глазами. Отливала лиловым матка — могучий баклажан на ложе кишок. Ему хотелось упасть на колени, положить туда свою голову,

потрогать и поцеловать, но врач сделал надрез, просунул руку меж двумя кусками и с торжеством фокусника извлек оттуда светлого, нежного младенца.

Глаза Якова наполнились слезами. В отличие от тех, что обречены родиться обычным путем и появляются на свет Божий увенчанные короной крови и кала, уродливые, сердитые, готовые к бою, этот ребенок был ангелоподобен и весь светился. Зачатие, не знавшее удовольствия, беременность, прошедшая во сне и дреме, и роды, не потребовавшие усилий, даровали ему спокойный темперамент и чистое, гладкое лицо. Он не издал первого крика даже после того, как врач пошлепал его по попке, и при всем том его дыхание было таким мерным и глубоким, что по лицам хирургов разлилась довольная улыбка.

Слезы Якова были слезами счастья, смешанного с огорчением. Он с первого же взгляда понял, что это не тот мальчик, о котором он молился, но любовь растворила эту боль и придала ему силы. Едва лишь педиатр закончил свои проверки и передал ребенка отцу, Яков, прежде чем его успели остановить, торопливо повернулся, толкнул створки дверей и вышел из операционной в тамбур, а оттуда в коридор, не обращая внимания на крики врачей и тянувшиеся к нему руки медсестер. Дудуч, его старая тетка, способная расслышать тусклую струйку зачатия и неясное пение зародыша, уже расхаживала нетерпеливо по коридору, глухо ворча в ожидании.

— Возьми, тетя, — сказал Яков. — Я принес тебе еще одного ребенка.

На тутовом дереве, что росло во дворе пекарни, налились и потемнели созревшие плоды. Четыре дочки Идельмана пришли нарвать себе шелковицы для варенья. Хромоногий Шимон приковылял к дереву и стал под ним.

— Девочки, будьте очень-очень осторожны! — кричал он со страхом.

В поселке говорили, что вся его заботливость—просто предлог заглянуть девочкам под юбки, но истина состояла в том, что Шимон на самом деле ждал, чтобы хоть одна спелая и сверкающая ягодка выпала из их пальцев и обагрила его кожу. Идельман, который это понимал, не пенял ему, и в ту ночь они работали вдвоем, потому что Яков остался в больнице — заглядывать через большое окно в палату новорожденных и, подобно всем родителям, производить эксперименты. Так, он понял, что, когда закрывает глаза, у него не получается представить себе черты лица ребенка. Яков решил было, что это усталость играет с ним злые шутки, но потом, вздремнув на стуле в коридоре, убедился, что не видит своего сына даже во

сне. Так он понял, что его ребенок родился со странным дефектом — неспособностью запечатлеться в человеческой памяти.

Прошла неделя, Яков назвал сына Михаэлем, и открылась новая страшная тайна. Когда ребенок был введен обрезанием в завет праотца Авраама, он не заплакал. Яков испугался. Одно дело — стереться из закрытых глаз другого человека, и совсем иное — не ощущать боли: ведь те, кому неведомы муки и наказания, не способны понять, как устроен мир, и защититься от его ударов. А вместе со страхом пришло и огорчение. Ведь человек, который не чувствует боли, не сможет печь хлеб. Но сердце Якова было наполнено любовью и заботой, и поэтому в нем не оставалось места для сожаления и раскаяния.

Шли месяцы. Михаэль улыбался, переворачивался, пытался сесть. Иногда Яков видел, как он лежит на спине и поглаживает себе грудь и животик, старается подергать кожицу на губах или с силой щиплет один за другим кончики пальцев, как струны, но не мешал ему в этом, ибо знал, что ребенок хочет разбудить и оживить немоту своей плоти. Когда у Михаэля стали резаться зубы, Яков испугался было, что, не ощущая боли, он расщепит ими свой язык, но ничего такого не случилось. Михаэль сосал молоко тетки Дудуч и в должное время поднялся, встал и пошел, радуя сердца всех, кто его видел, но Яков знал, что все это счастье было попросту видимостью, притворством ребенка, который из любви к отцу хочет показать, что он такой же, как все прочие дети. И действительно, не раз случалось, что Михаэль падал и ушибался и, хотя не чувствовал при этом ни малейшей боли, все равно раздражался слезами и бежал к отцу с криком: «Мне больно, мне больно!» В таких случаях Яков спрашивал, где болит, обнимал, гладил, целовал и проделывал все прочие положенные действия, ни на минуту не позволяя себе утешиться этим обманом. Про себя он знал, что его сын подражает другим детям и делает то, что делают все они, когда падают и ушибаются, в точности как мужчины имитируют ритуал ухаживания и словарь влюбленных. И в самом деле, кто же из нас не хотел бы уподобиться жестокому Орфею, наивному Альбину, грешному Григорию — всем тем великим любовникам, что на голову превосходят своих читателей и уж наверняка — придумавших их писателей? И кто из нас не следует теми же путями, что давным-давно проложены этими выдающимися учителями любви? Ведь мы так же глухи, как женихи Пенелопы, повторяем те же ошибки, что царь Соломон, столь же радостно поддаемся соблазну, как Энкиду, и в минуту желания совокупаемся все тем же излюбленным способом Гектора и Андромахи. И сказал ведь уже поэт Рильке, что два изобретения сделали мужчин лодырями и привели к

вырождению рода человеческого, и первым было то, что какому-то лентяю-неандертальцу пришло в голову принести своей даме сердца букет цветов вместо убитого льва. Вторым же стало, разумеется, изобретение колеса, прародителя лени и всех прочих пороков, но это уже к нашему делу не относится.

Так мальчик рос и, когда достиг двух с половиною лет, оторвался от груди Дудуч и начал есть отцовский хлеб. По вечерам они ложились с отцом спать, а в полночь, когда Яков шел в пекарню, Михаэль просыпался тоже и шел гулять по комнатам. Он был наделен ненасытным любопытством и совершенным ночным зрением и с помощью этих двух поводырей свободно передвигался в темноте дома. Обычно он завершал свои ночные прогулки в пекарне, где снова засыпал в старом ящике для замеса, но иногда сонливость нападала на него из засады и сваливала в каком-нибудь углу. Его дремота была такой глубокой и обмен веществ таким слабым, что он постепенно замерзал, и Яков, который уже изучил привычки сына и страшился ангельских причуд его тела, тотчас спешил на поиски. Иногда он находил его свернувшимся за одной из дверей, однажды — в душе, с еще пенящейся зубной щеткой во рту, в другой раз — во дворе, где он опустился на землю, заснул под большой шелковицей и к тому времени, как его нашли, уже покрылся пятнами от упавших плодов и пылью с крыльев бабочек. Яков пришел в ужас, наклонился над маленьким, нежным, похолодевшим тельцем, стал растирать и разминать его своими руками, выдыхать теплый воздух из своих легких в ледышку его голого живота и в рыби к косточки тонких ребер, с силой дуть прямо в нездешнюю прелесть пробуждающегося, целующего, удивленного сыновьяго рта.

Как-то ночью, когда Михаэлю исполнилось ровно три года, он открыл дверь в комнату погибшего брата, вошел туда и наутро спросил отца, чья это комната и что за женщина там спит.

— Это комната женщины, и это она там спит, — ответил Яков.

Михаэль больше не расспрашивал, но с тех пор он навещал спящую женщину каждую ночь. Он порхал вокруг нее в своей беленькой рубашке, ласкал ее лицо крыльями своих пальцев и порой взбирался на ее кровать, прижимался к ее спине и прислушивался к знакомому, навевающему сон шуму ее тела.

Шимон Натан, сын Дудуч, был моложе Якова на пять лет, и в поселке его сравнивали с животным. Этот ярлык злобы и тупости на него навесили по причине низкого лба и роста, хромоты и бычьего разворота плеч и шеи.

Раньше в поселке жили земледельцы, которые способны были по достоинству оценить силу Шимона и его усердие и не раз звали его на помощь — управиться с разъярившимся бычком или отвернуть заевший винт, но с годами здешние земли перешли в собственность жителей близлежащего городка, повсюду выросли уродливые белые виллы, и теперь дети из зажиточных семей собирались за забором дома Леви, чтобы закидать Шимона, обычно спавшего во дворе, комьями земли и удрать со всех ног, когда он откроет глаза.

Яков, человек по природе нетерпеливый, любил и жалел своего двоюродного брата и знал, что его нужно беспрестанно занимать работой. Когда Шимон кончал работу в пекарне, он посылал его перетряхнуть и сложить мешки из-под муки, когда тот управлялся с мешками, отправлял сгрести опавшие листья с крыши, а по выполнении этого задания приказывал поменять местами колеса на грузовике или вытрясти те самые мешки, которые он сложил перед этим. Сострадательные души, которых в любой деревне не счесть, говорили, что Яков попросту эксплуатирует своего двоюродного брата, но Яков не обращал внимания на сплетников, потому что знал, что работа и ответственность — это столпы, на которых покоится жизнь Шимона, а верность и преданность — смысл его существования. Шимон особенно любил присматривать за Михаэлем, и, поскольку Яков никогда не переставал беспокоиться за сына, Шимон с годами постепенно превратился в телохранителя и «дядьку» при ребенке. Поначалу Шимон сопровождал его во дворе и в доме, потом отправился с ним в детский сад, а оттуда они оба перешли в первый класс. Каждое утро он вешал на плечо школьный ранец Михаэля и ковылял за мальчиком, бдительно поглядывая по сторонам и оставляя в рыжем песке цепочку вмятин и борозд от воткнувшейся палки и тянущейся за нею ноги и параллельно ей — цепочку глубоких ям, продавленных тяжестью и силой его здоровой конечности. В толчее у входа в школу он прикрывал Михаэля от грубой детворы, а потом отправлялся домой позавтракать. На переменках он снова приходил в школу, чтобы следить за Михаэлем, пока тот играл, и в полдень приводил его обратно домой. Яков, который уже расхаживал по веранде, нетерпеливо посматривая на улицу, обнимал сына, прислушивался к птичьему сердечку, колотящемуся в его груди, вел в спальню, раздевал, чтобы проверить, нет ли на нем раны, пореза или ожога, и все это время Шимон в страхе поджидал снаружи, пока он выйдет, похлопает его по плечу и произнесет: «Всё в порядке».

Могучим Нилом катилось время в своем русле и, когда встречало по

пути пустые углубления на обочине, тотчас торопилось их заполнить. Вот так же, писал в своем насмешливом трактате Демокрит, знание заполняет пустые мозги, любовь — пустые сердца, а слова — пустые свитки. Особенно явно эти свои знаки время оставило в телах четырех похожих друг на друга девочек рабочего Идельмана. Они начали взрослеть, и теперь, когда проходили мимо человека в надлежащем темпе, тому казалось, будто перед ним прокручивается короткий, ускоренно снятый фильм о набухании, цветении и созревании. Впрочем, тот, кто воспитывался не на фильмах, а на книгах, предпочел бы, наверно, иную метафору, вроде того, что маленькая казалась воспоминанием о большой, а большая — пророчеством о маленькой. Так или иначе, но каждый, кто их видел, сразу чувствовал, что тела их сдобны и душисты, а под кожей таится тончайшая и сладостная гнилка, вроде той, от которой плесневеют некоторые прославленные сорта винограда. Радость исследования и экспериментирования, которая пробуждается в каждом мужчине при виде пары абсолютно одинаковых близняшек, удваивалась, когда он видел сразу четырех, а сознание, что они к тому же и не близняшки, только увеличивало озабоченность его плоти и томление сердца.

К тому времени самой молодой исполнилось семнадцать, а самой старшей — двадцать, и они уже вызывали беспокойство и волнение всюду, где появлялись. Раздраженные женщины и слегка напуганные мужчины распускали по их поводу сплетни и слухи. Говорили, будто старшая, когда начала взрослеть, позвала своих сестер посмотреть и пощупать, какие изменения ожидают в будущем их самих. Говорили, будто каждая чувствует, что происходит с ее сестрами, будто они дышат и видят сны в одинаковом темпе и даже месячные у них тоже наступают одновременно. Говорили, будто они ходят в ванную все вместе и устраивают там безобразные оргии, потому что в то время, пока первая мылит вторую, третья справляет на унитазе свою нужду, а четвертая смазывает себе ляжки воском. И все это время восемь ртов одновременно смеются, кричат и стонут, когда все четыре сестры отражаются в большом, сконфуженном настенном зеркале.

Многие мужчины были бы не прочь составить компанию одной из них. Но вечером, когда очередной ухажер заявлялся в дом, он обнаруживал, что на веранде его ждут сразу все четыре, в одинаковых нарядах и с одной и той же улыбкой на одинаковых губах. Мы всё делаем вместе, говорили они, и некоторые кавалеры, в испуге выронив из рук принесенные букеты, мигом исчезали, ибо не нашелся еще мужчина, который был бы готов, закрыв глаза, поцеловать женщину, зная при этом, что она одновременно

находится также позади него, а еще два ее отражения смотрят на него с обеих сторон, чувствуют, сравнивают и хихикают.

Шимон не интересовался ни одной из девочек в отдельности. Даже если они приходили вдвоем или втроем, он не обращал на них внимания. Лишь появление всех четырех сразу, их восьми одинаковых темных глаз, сорока быстрых пальцев, полутора миллионов иссиня-темных волос, четырех ртов, издающих в точности одинаковые бессмыслицы, — вот что пленяло и томило его душу. Иногда они приходили засветло помочь отцу наклеить ярлыки на буханки, и, когда они входили в пекарню, похожие на улыбающихся козочек и с таким же веселым и громким блеянием, и восемь их копытцев окружали пекарскую яму, где стоял Шимон, он промахивался мимо нужной буханки, потел, как мул, и переворачивал поддоны на полу.

В комнате своего погибшего сына лежала женщина. Волны времени омывали края ее кровати, тело ее дышало и плакало, горело и роговело. По ночам маленький мальчик обнимал ее шею и прижимал ухо к ее спине. Не получая ответа на свои вопросы, он рисовал на ее коже мокрым пальцем новые слова, которые узнал в школе, события, которые с ним произошли, и названия звезд, которым учил его отец. Яков видел, что Михаэль любит смотреть в ночное небо, и поднимался с ним на крышу пекарни, считал с ним звезды и называл их по именам, а Шимон учил его свистеть через скрученные листья, ловить ящериц и заставлял их высовывать язык. Но даже эти замечательные и увлекательные истории не могли пробудить спящую женщину.

В школе Шимон стал уже постоянным гостем. На переменах маленькие дети играли с ним, пытались раскрыть его сжатый кулак. «У дяди Шимона очень большая и сильная рука, — писал Михаэль на спине спящей женщины, — но, когда звонят в конце перемены, она вдруг расслабляется и раскрывается, и в ней всегда есть несколько помятых, но очень сладких жвачек».

— Кто тяжело работает, тому полагается, — говорил Шимон. — А теперь идите все в класс, медленно-медленно, и не беги, Михаэль. — Затем спустился по улице, тыча палкой в песок и низко опустив тяжелую голову, и, завидев ямку, оставленную вчерашней палкой, улыбался и втыкал свою палку точно в то же самое место.

В поселке воцарилось лето. Незнакомые сверкающие машины подкатывали к соседским домам, из них торопливо выпрыгивали парни и девушки, и вскоре с лужаек уже доносились веселые отрывистые крики. Через просвечивающие дырочки в живой изгороди Шимон видел

блестящую молодую кожу, сверкающие купальные костюмы, капли воды, брызжащие всеми цветами радуги. Сталкиваемые в воду смуглые девушки кокетливо изображали испуг. По ночам к небу поднимался тонкий запах пива, бритвенного лосьона и мяса с вертелов. Из открытых окон неслась музыка, и кубики льда хрусталием постукивали в бокалах. Дочери Идельмана, равно талантливые в соблазне, кулинарии и коммерции, поставляли угощение для этих вечеринок. Теперь они уже не появлялись во дворе пекарни. Иногда Шимон встречал их на улице, и тогда они подходили и приветливо спрашивали, что у него слышно, и он смущенно улыбался им в ответ и с трудом выдавливал из себя «чё слышно... чё слышно...», а однажды даже удивил сам себя, сумев с поразительной легкостью произнести: «А я тоже к вам с приветом!» — и потом чувствовал себя на седьмом небе, пока не понял, почему они засмеялись.

«Осень наступает, я видел трясогузку», — написал Михаэль на спине спящей женщины.

Ночи стали туманные и холодные, и ему казалось, что ее лицо тоже помрачнело и сон стал еще глубже. Ему было почти семь лет, и он уже помогал Шимону менять ее простыни. Шимон был так силен, что мог поднять спящую женщину на руки, несмотря на мертвую дряблость ее тела. Тогда Михаэль вытаскивал из-под нее старую простыню и быстро расстилал новую. После обеда они играли в «полеты». Шимон поднимал его, ставил на одну из веток шелковицы и ждал внизу, широко расставив руки. Михаэль закрывал глаза и прыгал, и Шимон всегда ловил его в воздухе. Вечером они ели лакомства, приготовленные теткой Дудуч, и Михаэль отправлялся спать с отцом, а в середине ночи, когда в воздухе распространялся запах дрожжей и капли дождя начинали барабанить по баку с соляжкой, он писал на спине спящей женщины: «Теперь я иду к папе» — и бежал в темноте в пекарню спать в старом, теплом деревянном ящичке, в котором давным-давно, когда его отец сам был мальчиком, бабка, которую он не знал, месила тесто для деда.

Солнце поднималось все выше, поля становились все зеленее, зима таяла все заметней. Однажды ночью прошел последний зимний дождь, и с зарей налетел ликующий восточный ветер, разогнавший сплошную завесу туч. Весна вошла над поселком во всей красе своих соблазнов. Цветы раскрылись, и пчелы тяжело заворочались в них. Удивленные старики и благодарные ящерицы выползли погреться на солнышке. Голуби-самцы танцевали на крышах и, одурев от страсти, ворковали возбужденными утробными голосами.

Весна завела в людях часовую пружину света и тепла. Дети прыгали, как ягнята, женщины и мужчины стыдливо смотрели друг на друга и, проходя мимо зеркала или лужи, останавливались, чтобы изучить свое новое отражение. Всю зиму они были заперты внутри холодного тела, и вдруг оно превратилось в теплое обиталище из живой и радостной плоти, повинующейся чередованиям восходов и закатов. Лея тоже вдруг простонала из преисподней своей постели, улыбнулась, перевернулась во сне и потянулась всем телом, но так и не поднялась.

Шимона томило глухое, мучительное беспокойство. Отведя Михаэля в школу, он вернулся, расставил свою койку в тени шелковицы и лег на спину. К десятичасовой перемене он опять сходил в школу, пронаблюдал, снова вернулся домой, уложил мешки на складе пекарни, снял ботинки, пошел под шелковицу, улегся и устался в гущу ветвей. Могучее дерево расцветало, распевая счастливыми голосами дроздов, мягко потрескивая лопающимися почками, сверкая маленькими молодыми листками. Шимон вспомнил, как дочери Йошуа Идельмана взбирались на эти ветки, точно черно-белые котята, смеялись, болтали, роняли сверху листья и рвали плоды. Он уже давно их не видел, разве что по случаю или когда медленно ковырялся в глубинах своей памяти, которая от этого болела, словно он расковыривал струп.

В полдень он медленно шел вверх по улице, ведущей в школу, ступая по своей привычке обочиной, кивая прохожим и высматривая утренние ямки, оставленные в песке его палкой. И тут он увидел четырех девушек, которые шли посреди улицы, толкаясь, смеясь и болтая на ходу. Он смутился и уже готов был спрятаться за фикусовым деревом, но девушки заметили его, приветственно замахали руками и свернули в его сторону. Мать сшила им всем одежду из бело-голубой ткани в полоску, и, когда они шли так близко друг к другу, в совершенно одинаковых развевающихся хлопчатобумажных платьицах, казалось, будто навстречу плывет огромный и живописный воздушный змей.

— Шалом, Шимон! — Они переглянулись и засмеялись.

— Шалом! — с трудом выговорил Шимон.

— Куда ты идешь? — Они окружили его кольцом сплетенных рук и одинаковых улыбок.

— Привести Михаэля из школы, — ответил Шимон. Все его тело съезжилось и напряглось. Ему хотелось разорвать кольцо их рук и продолжить свой путь, но он не нашел в себе достаточных сил.

— Мы ездили заказать сыр, масло и маслины для угощений, — сообщила старшая, двадцатилетняя.

— А потом подумали, почему бы не посмотреть, что делается в нашем старом поселке, — улыбнулась вторая, девятнадцатилетняя.

А третья кокетливо добавила:

— И как дела у нашего старого приятеля Шимона, который когда-то подарил нам кукулок, а теперь, наверно, совсем нас забыл?

Бедняга Шимон, совсем неопытный и понятия не имевший, какая страшная опасность таится в женщинах, которые произносят слово «кукулки» с ударением на предпоследнем слоге, только улыбнулся на миг при сладостном воспоминании о тех далеких невинных временах.

И тогда четвертая, семнадцатилетняя, сказала:

— А Шимон тут как тут. — И подошла к нему так близко, что ее сладкое дыхание защекотало его ноздри, а когда он отпрянул, ему в спину тут же уперлись груди девятнадцатилетней, наполнив мягкой, упругой паникой все его естество.

— О-о-о... — закричали девушки. — Он упал... Наш Шимон упал... Давайте его поднимем.

Они наклонились к нему, ухватились, крикнули: «Раз... два... три... оп-ля!» — и, подняв на ноги, отряхнули с него пыль, и старшая, вытащив белый платочек, вытерла пот, пыль и кровь с его лица, а когда Шимон снова повернул на дорогу в школу, они пошли с ним вместе, по-прежнему окружая его безостановочным многоцветным и звонким кольцом.

— А что, Михаэль сам не найдет дорогу домой, Шимон?

— Я его привожу каждый день. Вы не знаете?

— Почему, Шимон?

— Яков меня попросил.

— А ты делаешь всё, что он тебя просит?

— Еще бы! — воодушевился Шимон. — Всё-всё! Вчера я даже чистил трубы изнутри.

— А если он попросит, чтобы ты полез в горячую печь?

— А если он попросит, чтобы ты разделся посреди улицы?

— А если он попросит, чтобы ты его поцеловал взапас?

Шимон до того растерялся от пулеметной скорости вопросов и своей неспособности ответить на них, что голова его пошла кругом, но пока он собирался с мыслями, кольцо вокруг него вдруг остановилось и смолкло, и, ухитрившись схватить семнадцатилетнюю за руку, он попытался сдвинуть ее со своего пути.

— Ты делаешь мне больно! — крикнула за его спиной двадцатилетняя, и Шимон в страхе отпустил руку, снова не понимая, что же делать, а четыре девушки, одновременно придвинувшись к нему со всех четырех сторон,

оказались вдруг так обессиливающе близко, что ему поневоле пришлось опереться на них, и он оперся и отпрянул, оперся и снова отпрянул, словно его окружал большой колючий венок.

— Может, перейдешь работать к нам, будешь печь нам сладкие булочки? — спросила младшая.

— Нет, — испугался Шимон. — Как это? Я же работаю у Якова...

— Ты нам как брат, Шимон, мы все сосали грудь твоей матери, — сказала девятнадцатилетняя, и они снова закружились вокруг него, извиваясь телами внутри своих платьев, и весеннее солнце просвечивало сквозь яркие колокола их юбок, поочередно вырисовывая очертания каждой из восьми ног и намекая на четыре места их скрещения. Боль вдруг отпустила его. Влажные слова — «сладкие», «сосали» и «брат» — оплели его тело, как веревки. Его плоть вспенилась пузырьками. Сила и тяжесть вдруг покинули его. Затянутый девичьим водоворотом, он споткнулся, упал, и его понесло, как пыль, которую крутит в поле осенний ветер.

В самом конце поселка мощеная улица кончается и переходит в грунтовую дорогу, ведущую к холмам, туда, где на островках зелени и маленьких лужайках совокупаются дикобразы, шакалы, человеческие существа и ихневмоны, оставляя после себя постели из примятой травы; туда, где покачиваются в воздухе опьяневшие бабочки-нимфалиды и муравьи сдвигают соломенные заслонки у входов в туннели муравейника. Здесь высилась в поле большая скала, видом напоминавшая череп мертвеца, у подножья которой лежала влажная и мягкая полянка, знакомая девушкам по их субботним вылазкам. К тому времени, когда они достигли этого места, Шимон так ослабел, что достаточно было восемнадцатилетней легонько дунуть в ямку у основания его шеи, чтобы он упал в ловушку, сложенную руками трех остальных, стоявших за его спиной, которые осторожно опустили его и распластали на земле.

Дети уже разошлись по домам, а Михаэль, оставшись в классе, все ждал, когда же Шимон придет забрать его из школы. Ему и в голову не приходило послушаться отцовского приказа не возвращаться домой одному. Он бродил, как в лесу, между ножками перевернутых стульев, рисовал звезды на доске и то и дело посматривал в окно, не пришел ли Шимон. Наконец он решил спуститься и подождать внизу.

Он дважды прошелся туда и назад, а когда повернул в третий раз, вдруг увидел трех возвышавшихся над ним людей. То были три старика со странными светлыми глазами, и Михаэль, задрал голову, с удивлением уставился на них, потому что они появились так неожиданно, будто

спрыгнули с неба.

— Мы получили письмо, — сказал один из них.

— И пришли, — сказал второй.

Третий же сказал:

— А теперь пошли домой, — присел перед Михаэлем, положил ему на плечи легкие, как перья, руки и посмотрел на него полными света глазами. Потом он выпрямился, и Михаэль положил им в руки свои ладони и пошел с ними по тропе, огражденной заборами с обеих сторон. Его ноги, как и их ноги, не оставляли следов в пыли. Его шаги, как и их шаги, были такими широкими и мягкими, что он понял, что уже парит в воздухе.

— Раз... два... три... оп-ля! — вскрикнули они и вдруг с силой приподняли его так, что он засмеялся от удовольствия, но тут же закричал, потому что связки на его плечах сильно напряглись, и это ощущение удивило его своей непривычностью.

— Как вас зовут? — спросил он.

Но странные люди только посмотрели на него ослепительно светящимися глазами и имен своих не назвали.

Под собой Михаэль видел незнакомые ему, по-весеннему распахнутые поля, над которыми поднимались к небу сладкие испарения резеды и таял отдаленный и неожиданный запах запоздавших со смертью цикламенов. Как хорошо было бы сейчас покувыркаться, поваляться на травянистых подушках, покричать во все горло, погладить себя по лицу ласковыми лепестками лютиков. Но шелковистая хватка людей-ангелов не давала ему упасть.

— Раз... два... три... оп-ля! — снова воскликнули они и подбросили его еще сильнее, еще больше, и опять поймали, и подбросили. — Раз... два... три... оп-ля!

Солнце спускалось. Тени хлынули в долину и накрыли маленькую полянку. Шимон проснулся от холода. Он блаженно улыбнулся и увидел, что высоко над ним скользят в воздухе десятки черных точек — грифы и коршуны, слетевшиеся с ближних гор и недалеких пустынь. Рядом, в смятой траве, валялись четыре одинаковых мокрых платочка в белую и голубую полоску. Лежа на спине, Шимон пересчитывал черные точки в небе, пока они не пошли спускаться кругами, уселись на нем и снова, в который уж раз, вернулись в его тело.

Его сердце замерло. Он вдруг вспомнил, что должен был забрать Михаэля из школы. Пустые глазницы в скале таращились на него. Тело полосовали кривые клювы. Черный ужас накрыл его беспросветным

мраком.

Далеко в вышине загребали шесть крыльев, и их хлопанье все удалялось и удалялось, пока на смену ему не пришло тончайшее посвистывание тишины, а за ним — резкий и отчетливый крик ребенка. Он был таким острым и пронзительным, что невозможно было ошибиться, потому что страдальческий крик ребенка — самый всепроникающий и пробуждающий звук в мире.

Крик чиркнул вспышкой и, крутясь в воздухе, падал, как летящий огонек, все ниже и ниже, пока не ударился о трубу пекарни, рассыпался на тысячи мельчайших осколков, сверкнувших так ослепительно и мгновенно, что не описать словами, но очень похожих на золотой дождь, который пролился на тело спящей матери и проник в него.

Итальянский археолог Эрметте Пьеротти, поэт, историк, архитектор и сирота, пишет в своей книге «Древние захоронения в Северном Иерусалиме», что однажды ночью, 27 февраля 1856 года, с востока, со стороны пустыни, на город обрушился неистовый суховей и покрыл все крыши тонкой смесью песка и соли. В Иерусалиме воцарилась паника. Ни старейшины города, ни его мертвецы не помнили такой странной и страшной бури. В ту ночь никто не мог заснуть, и наутро, на площадке между Гробницами Царей и Мозаикой Орфея, рабочие Пьеротти раскопали небольшую погребальную плиту с одним-единственным вырезанным на ней словом: «Мама».

Пьеротти весь дрожал. Им овладело странное желание: упасть на колени и положить голову на плиту, — но он был ученый и попытался взять себя в руки. Он никогда в жизни не слышал о таких надписях. Он привык к орнаментированным, величественным надгробным плитам, сплошь покрытым стихами и восхвалениями, а здесь перед ним была могила, на которой не было даже имени, его начала и его конца. Если б не слово «Мама», можно было бы подумать, что это могила ребенка, потому что в Иерусалиме люди не пишут имен на детских могилах. Он все еще продолжал дивиться загадке, как вдруг резкая боль, словно серпом, подкосила его и швырнула на землю. Его голова ударилась о камень, и он чуть не потерял сознание. Будто повинуюсь сторонней силе, он приблизил губы к надписи и сдул с нее слой земли — и в ту минуту, как он это сделал, глаза его наполнились соленой пылью и слезами, и в воздухе прошло тяжелое шевеление, звук которого напоминал звон канатов, напрягшихся перед бурей.

Прошло несколько минут. Пьеротти собрался с силами, поднялся и, осмотревшись, увидел, что к могиле со всех сторон тянутся люди. Несколько рабочих, два погонщика ослов, пятеро прохожих, с десятков продавцов, что опустили железные завесы своих лавок, а за ними три францисканских монаха в коричневых рясах и грубых сандалиях и семеро грузчиков с хлопкового рынка, продавец жареного гашиша с улицы Караимов, накрывший железным листом свою жаровню, кузнецы из кузницы Муграби, которые вытирали увлажнившиеся глаза потемневшими ладонями, суданские погонщики скота, бездельники из уличных кафе, учителя и ученики из иешив и медресе. Увидев их, Пьеротти понял, что все они, подобно ему самому, — сироты, потерявшие мать, и боль их «слышна в Раме, вопль и горькое рыдание»<sup>[108]</sup>.

Обнаженная, мучнисто-белая, с закрытыми глазами, спящая женщина приблизилась к телу, упавшему среди кустов, и опустилась перед ним на колени. Она сняла с сына рубашку, слизнула кровь с его кожи, разгладила его лицо. Ее языку и пальцам казалось, что он спит и видит счастливые сны. Она пыталась поднять его с земли и отнести домой, но к этому времени Михаэль стал необычайно мягким и тяжелым, и она легла рядом с ним, как громадная собака, согревая его своим телом и не обращая внимания на людей, которые вышли из домов и дворов и в замешательстве собрались вокруг и глядели на них. В конце концов появился шофер «скорой помощи», который семь лет назад вез ее в родильный дом, укрыл женщину большим одеялом и забрал ребенка в приемный покой.

Кто-то оторвался от толпы и подошел поближе, за ним еще один, и еще, и вскоре над матерью поднялась большая груда маленьких сиротских камней, и Пьеротти тоже положил свой камешек, отступил назад и никогда больше не возвращался к этой могиле, чтобы раскопать и исследовать ее, хотя некий воровской инстинкт так и толкал его прокопаться к телу этой женщины, прикоснуться к ее костям, свернуться и побарабанить пальцами по ее ребрам, сложиться зародышем и укрыть боль своих висков в спокойствии ее лона. Ибо кто из нас не любил свою мать и кто не оставил ее — вот так, позади, на обочине — тающую, покинутую, рухнувшую, умирающую? Кто из нас не грешен перед ней? Кто не изменил пейзажу своего детства? Своему назначению? Той единственной правде, что у него в сердце?

## ГЛАВА 71

Большие бетонные ромбы, точно клетчатая дорожка на спине гадюки, вели от задней двери приемного покоя в мертвецкую. Края ромбов тонули в траве, пробивавшейся в щелях между ними.

Служитель мертвецкой, высокий, худой и темноволосый человек с голубыми глазами, сопровождавший Якова, открыл перед ним дверь. Оттуда хлынул холодный воздух, коснулся его вечно разгоряченного лица, ударил в живот и вырвался наружу, словно торопился там огласить всем какое-то известие.

Тело лежало на высокой сверкающей металлической кровати и было покрыто полосатым одеялом, прижатым у горла и щиколоток. Яков развязал шнурки — показалась голова — и тут его пальцы скрючила судорога. Он рывком сорвал одеяло, обнажив тело целиком, и только тогда увидел, что служитель продолжал стоять рядом с ним. Он хотел было попросить оставить его одного, но тот вдруг заговорил:

— Твой мальчик?

— Да.

Мертвое тело было полностью обнажено и, как то всегда бывает, казалось меньше, чем при жизни. Кто-то уже очистил его от крошева засохшей крови, детские черты тоже стерлись с лица, и открытые глаза придавали ему серьезность и взрослость.

— Это неправильно, то, что ты делаешь, — сказал служитель. — Нельзя смотреть на него в таком виде.

— Не твое дело, — сказал Яков.

Но служитель не отошел и не опустил глаз. От него шел сильный запах табака.

— Ты не должен помнить его в таком виде, мертвым. Ребенка своего — его нужно помнить в том виде, как он стоял, играл, смеялся.

— Нет, — сказал Яков с поразившим его самого спокойствием. — Я хочу запомнить его таким. Чтобы знать, что он умер и больше не вернется.

Он схватил холодную, уже скованную смертью руку и слегка отодвинул ее от тела. Ниже подмышки обнажилась маленькая и четкая пулевая рана. Сантиметрах в двадцати под ней виднелось выходное отверстие — увядший мясистый лепесток, весь в желтых, синих и серых разводах, уродливый и пугающий своими размерами. В Биньямина попала одиночная пуля из автомата «узи» — мягкая и тяжелая, она пробила и

разорвала легкие, ударила в лопатку, отскочила, попала в брюшную полость, прошла насквозь и вышла наружу над тазовой костью.

— Солдат? — спросил служитель.

— Да, солдат, — ответил Яков. — А теперь оставь нас, пожалуйста. Я позову тебя потом запереть.

Служитель отступил к стене, но не вышел из комнаты. Смерть Биньямина проявлялась лишь в легкой судороге, которая свела углы его губ, в начавшей пробиваться щетине продолжавшей расти бороды, в синевато-сером цвете ногтей. Яков перевел взгляд на смуглый треугольник, образованный военным загаром в вырезе гимнастерки, на плоский, сильный, неожиданно белый живот. Кожа и волосы у Биньямина были светлые, но, подобно своей матери, он никогда не обгорал. Ему достаточно было побыть каких-нибудь пять минут на солнце, и его кожа уже покрывалась коричневым загаром, приобретая глубокий и приятный цвет.

Яков увидел, что, в отличие от светлых волос на голове, завитки на его лобке были угольно-черными.

«Я не видел его голым с детства, — сказал он мне. — Мы с ним не были отцом с сыном, которые вместе принимают душ, поиграв в футбол, или вместе моются в походе».

— Мой отец поступил точно так же, когда убили моего брата, — сказал за его спиной служитель. — Он хотел быть уверен, что это его сын лежит в гробу, и с тех пор он уже никогда не мог заснуть.

— Твой брат погиб в армии? — повернулся Яков к нему.

— Семь лет назад. Он был разведчик-следопыт, «гашаш». Одна федаинская пуля прямо в лоб. Вот здесь. — Он показал пальцем между глаз. — Отец сошел с ума, сбросил гроб на землю, когда проходили возле мечети, взломал доски руками, как яичную скорлупу, увидел его мертвым и потом уже никогда не мог заснуть. Семь лет прошло с тех пор, а отец не спит и в мечеть тоже с тех пор больше не ходит.

— Я пойду, — сказал он, помолчав. — Подожду снаружи, запереть за тобой.

— Погоди минуту, — сказал Яков. Он вытащил из сумки старую «кодак-ретину» и протянул ее служителю. — Сфотографируй нас, — попросил он.

— Нельзя! — простонал друг. — Не делай этого!

— Сфотографируй нас, — повторил Яков. Служитель взял у него из рук фотоаппарат, отступил на несколько шагов, подождал, пока Яков скрестит руки на груди и посмотрит на него, и нажал кнопку.

— Да поможет тебе Аллах, йа-ахи, брат мой, чтоб тебе не было больше

горя, — сказал он.

— Еще раз, — сказал Яков. — Для верности.

Друз торопливо зажмурился, вторично нажал на кнопку, положил фотоаппарат и вышел.

«И Иаков остался один».

## ГЛАВА 72

Я приближаюсь к концу. Так говорят мне дела, которые я уже не начну, так говорит мне стучащая в грудь печаль, так говорят мне истории, которые я не рассказал, незваные гости, толпящиеся в моем теле.

Я не рассказал о конце Шену Апару, не открыл, где находится мозаика сегодня, не признался во встрече с отцом Леи десять лет тому назад и не ответил на вопрос вопросов — куда девалась ее отрезанная коса.

У меня есть в запасе еще несколько историй, и, если ты захочешь их прочесть, я с удовольствием пошлю их тебе, а если ты задашь дополнительные вопросы, я отвечу и на них. У меня есть мой «паркер вакуматик», есть писчая бумага и есть время. У меня куча времени, так что я никуда не спешу, как сказал приговоренный к смерти, когда палач стал извиняться перед ним за опоздание. Я написал рассказ о старике, который искал своих родственников, я написал о человеке, который отрубил голову коту своей жены, о юноше, у которого воробьи свили гнездо в волосах. У меня есть также рассказ об образованном и утонченном человеке, который женился на вдове, потому что страстно хотел переспать с ее двенадцатилетней дочерью, но эту историю я тебе не пошлю, потому что она вся, от первого до последнего слова, — чистая правда. Это произошло в деревне по соседству с нашим поселком. Вначале была любовь, потом — скитания и измена, а в конце — убийство, и «Читатель» не найдет в этом рассказе ни логики, ни связности, ни благоразумия, присущих настоящей литературе. Но я пошлю тебе историю караима, который разводил канареек. Кстати, знаешь ли ты, что в тысяча девятьсот двадцать седьмом году численность караимов в Иерусалиме составляла ровно двадцать один и каждый раз, когда у них рождался ребенок, кто-нибудь из взрослых умирал в тот же день?

Вечерние сумерки, и я по-прежнему не перестаю удивляться тому, что солнце не садится в море, а встает из него. Податлив и легок я, несмотря на свой рост и силу. Время тащит, волочит меня по земле, подобно Парису. Моя кожа ободрана, мясо растерзано, кости разбросаны, но смотри — о чудо! — я не чувствую боли.

— И когда я увидела этот снимок отца с Биньямином в морге, я решила, что буду его фотографировать, — сказала мне Роми.

А ты думал, что он тебе все рассказывает, — сказала она, показав мне эту фотографию и увидев ужас на моем лице. — Хорошее фото, правда?

Интересно, кто это снимал. Повезло любителю. А теперь скажи сам, если он позволил сфотографировать себя, как здесь, почему его волнует, что я фотографирую его дома?

Сейчас она на лужайке моего дома. В моих рабочих брюках и свободной тенниске она ползает на четвереньках и выдирает сорняки. «Ты знаешь, что у тебя соленая трава?» — кричит она мне. Молодая и красивая женщина, уверенная в себе и в своей силе. Вечерний свет извлекает золото из руды ее волос. Под кожей движутся длинные, четко обрисованные мускулы. После смерти нашего отца она опять приехала ко мне в Америку и здесь преуспела. Две фотографии моего брата уже появились в нью-йоркском фотожурнале. Через несколько дней она должна вернуться в Тель-Авив, и я думаю, что не увижу ее еще несколько лет. Не то чтобы у нас была причина расстаться таким образом, но я уже научился угадывать очертания будущего. Мои дни похожи один на другой, мои истории похожи одна на другую. И мои женщины тоже, каюсь, похожи друг на друга. Кто знает, что для него хорошо, тот не нуждается в экспериментах.

Раз в месяц мне снится мать. Сон всегда одинаков, потому что тот, кто знает, что такое плохо, тоже не нуждается в экспериментах. В моем сне звонит телефон. Я поднимаю трубку, и она окликает меня дважды по имени, полувопросительно, с оттенком удивления, будто хочет убедиться, что ее проклятие все еще действует. Ну вот, обещал, что не буду больше говорить о смерти матери, и не получается.

Выставка «Мой отец» была представлена в тель-авивском кафе. Я помогал Роми развешивать снимки. Мой отец готовит завтрак. Мой отец вынимает хлеб из печи. Мой отец под душем. Мой отец сидит у могилы своего сына.

Яков очень фотогеничен. Фотография не делает его красивым, но очищает его скорбь и придает ему некую раздумчивость. Ночью, сидя на веранде и натягивая ботинки, он стиснул обеими руками грудь, как будто хотел соединить половинки своего сердца. Вот темная стена его спины, его сжатый кулак у постели Леи. «Мой отец и его жена». Вот тень его рук на стене пекарни. Вот и я, рядом с ним на веранде, «Мой отец и его брат-близнец беседуют друг с другом». Во время возвращения Якова из пекарни Роми поймала момент, когда он оперся на ствол шелковицы. Вечером она подкараулила его с Михаэлем в кухне. Одна соленая капля упала на плечо ребенка, поползла вниз по голой грудке, увлекая за собой глаза зрителя и оставляя липкий, блестящий след, словно улитка проползла по плиткам веранды. Не такие уж сенсационные откровения, но очень уж мучительные.

Только «Мой отец кричит», где брат стоит в яме пекаря — ладони в

глубине печи, голова внутри ее зева, — она не выставила. «Я заслужил у тебя одно одолжение, — сказал я ей. — Не вывешивай эту».

Ее ладонь на моей руке, ее плечо касается моего плеча, она ведет меня под руку и представляет своим друзьям, пришедшим на открытие:

— Это мой дядя. Правда, видно?

— У тебя симпатичный дядя, — сказала какая-то из подруг.

— Можешь договориться с ним, но не сегодня, — сказала Роми. — Сегодня вечером он занят.

После полуночи гости стали расходиться.

— Мы тоже можем идти, — сказала Роми.

— Отвезешь меня домой?

— Ко мне.

— Домой, — сказал я. — Я хочу спать.

— Поспишь у меня.

— Давай играть, что ты пьяная, а я глухой, Роми.

— Я просто посплю с тобой, дядя, ничего больше.

— Нет, — ответил я. — Я возьму такси.

Она отвезла меня в поселок. Старый пикап сильно скрипел, свет встречных фар сверкал в слезах на ее правой щеке.

— Шесть лет, с тех самых пор, как я вернулась из армии, я фотографирую его, ссорюсь с ним, режу его жизнь на прямоугольники, плачу, и учусь, и борюсь, и работаю, — и вот один вечер, и все кончилось, а ты только и можешь, что думать, будто я ищу, с кем бы трахнуть. Ты даже не понимаешь, о чем я говорю, не так ли?

— Я понимаю.

Потом, лежа в своей постели, я услышал шум горелки в пекарне, тонкий шелест дождя, удаляющуюся машину. Немного позже в воздухе распространился кисловатый запах. Я закрыл глаза, и Роми встала надо мной.

— Тесто уже поднимается, — сказала она.

Ее плечи белели в темноте, кровать застонала под тяжестью ее тела, пушок ее затылка коснулся моих губ. В четыре утра я проснулся, охваченный ужасом, и стал судорожно искать очки. Михаэль стоял возле кровати и смотрел на меня. Уже поняв, что я видел сон, и успокоившись, я заметил Роми, дрожащую у стены.

— Что тебе, Михаэль?

— Посмотреть, — сказал он. — Обнимитесь еще раз также.

Она схватила его за руку и повела к двери.

— Я отведу тебя к маме, — сказала она. — Ей холодно одной. Идем,

поспи с ней. Идем.

Но Михаэль вырвал у нее руку и выпорхнул из комнаты.

— Ты думаешь, он расскажет? — спросил я.

Она присела на кровать.

— Мне хотелось, чтобы это было как в Америке, — сказала она наконец. Потом энергично сунула ноги в брюки, поднялась, заправила блузку и застегнула молнию. — Я пошла, — сказала она. — Всё в порядке. И не волнуйся — даже если он расскажет, никто ему не поверит. Все знают, что он выдумщик. Он уже рассказывал, что видел отца, который взбирался ночью на трубу, и что люди-ангелы учат его летать, и что Шимон поймал Ицика, когда тот воровал со склада, и душил его, пока Ицик не потерял сознание. У моего маленького брата очень странные фантазии.

Она поцеловала меня в подбородок и вышла.

Михаэль не рассказал ничего. Десять дней спустя умер наш отец. Еще через тридцать один день я сбрил траурную щетину и вернулся домой.

## ГЛАВА 73

Я приближаюсь к концу. Так говорят мне клетки моего тела, панцири мертвых крабов на песке, воздух, темнеющий в приближении бури. Я кончаю, потому что я так или иначе ответил тебе на большинство твоих вопросов. Кстати, все эти истории куда проще, чем они выглядят. Тебе не нравится слишком большое (чересчур символическое, сказала ты) сходство между матерью и Роми. Боже правый, разве это я виноват, что они так похожи! Chez nous à Paris порой случается, что бабка передает свою внешность внучке. А связь, которую ты умудрилась найти между мной и князем Антоном? И эти твои «три ступени приближения к действительности»? Послать тебе снова Мунте и Филдинга?

В тот день, в четыре пополудни, Шимон примчался в Тель-Авив и велел мне вернуться с ним домой. Тия Дудуч схватила меня за руку и повела в комнату отца. Яков уже стоял там, закрывая рот рукой, с трясущимися плечами.

— Он с самого утра так, — сказал он. — Почему вы не отвечаете на телефон?

Отец тяжело дышал, тонкие, высохшие сухожилия его суставов напряглись, фиолетовые пятна больной печени и селезенки тускло проступали на теле.

Беспомощный, он лежал и смотрел на нас. Услышав слово «врач», он отрицательно покачал головой. Потом заговорил.

— Что, отец? — наклонился я к нему. — Что?

Швы его черепа выглядели, как подводные хребты.

— Эль ноно вино<sup>[109]</sup>... Эль ноно вино... — пробормотал он на языке своих предков, который давно забыл. — Вот идет дедушка. — Он снова и снова выплевывал эти мягкие слова, исторгал их из себя медленными толчками горла, пока они, с трудом протолкнувшись, не выстроились в ряд, набрали силу, прибавили в скорости и взлетели, как гуси над озером — грузно хлопая крыльями и роняя капли.

Больше он не говорил, и я стал на колени возле кровати и положил голову на его живот. Его рука трепетала в моих волосах. Воздух скрипел в легких. Я подумал об Ихиеле Абрамсоне, упустившем случай услышать последние слова, которые хоть и не принадлежали великому человеку, тем не менее были бесспорно последними словами и не имели других вариантов.

Потом Яков шумно разрыдался, снял очки и вышел из комнаты, и я остался там наедине с отцом. Но ведь именно для этого я и был вызван. Помочь, поухаживать, искупить.

Прошло несколько часов. На губах Авраама начали появляться и беззвучно лопаться пузыри. Их было мало, и они были невелики, потому что в нем уже оставалось немного времени, и каждый из них содержал всего одну-две минуты. Его руки посерели, дыхание становилось все слабее, и боли стали покидать его члены. Я знал их все до единой. Проклятого бандита из колена, дьяболо из спины и самого худшего из всех — долор де истомага, турецкого башибузука из желудка. Призрачные и огромные, они выскакивали из скорлупы его тела, прыгали вокруг, мотая длинными белыми шеями, и в слепой ярости цеплялись за мои ноги.

Страшный, глубокий хрип сотряс грудь Авраама. Впервые в жизни он закрыл глаза, и я, точно в детстве, высунув от усердия язык, попытался приоткрыть его пергаментные веки своими пальцами. Неуловим миг смерти, даже пунто де масапан не может сравниться с ним в его тончайшей вневременности. Поэтому люди покрывают умершему лицо и запоминают это свое последнее действие, а не мучаются, как я, силясь уловить и запомнить его последнее мгновение. Ибо оно неуловимо, как отблеск воспоминания, незримее, чем тень ряби на воде, и короче, чем мысль о мгновении ока.

Так я сидел. А потом моих ноздрей коснулся волшебный запах хлеба. Запах свежего хлеба, который пекли где-то очень близко. Я встал и вышел наружу. Дождь уже кончился, небо прояснилось, и запах доносился из пекарни брата моего Якова.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКОВ

Если первый свой роман Шалев назвал «русским», то следующий — опубликованный в 1991 году «Эсав» — по справедливости может быть назван «библейским». История братьев-близнецов Якова и Эсава (в русском переводе Библии — Иакова и Исава) — это классический библейский сюжет, и всякий, в чьей судьбе он повторяется, с его обманом отнятым первородством, — тоже Яков или Эсав, вне зависимости от деталей, вроде имени, времени и прочих обстоятельств. Но, как говорит сам автор устами своего героя, «детали всегда будут встречены с благодарностью». «Детали», или фабула жизни, — благодарная плоть любого романа, и это в высшей степени относится к «Эсаву». Его отличие от всех других в этом плане — лишь в том, что «Эсав» в этой фабуле, в этих «деталях» жизни, характеров и ситуаций — прежде всего глубоко еврейский, израильский роман. Еврейское прошлое и израильская современность пересекаются здесь и в увиденном эпическом и — одновременно — насмешливым взглядом Иерусалиме, и в овеянном ностальгической романтикой поселке первопоселенцев, где разворачивается действие. История любви и ревности, верности и смерти дышит библейской первожданностью и в то же время остро современна, перебита пунктиром еврейских погромов и арабо-израильских войн. Этот нерасторжимый сплав библейской эпичности и современного интеллектуализма — одна из самых оригинальных и привлекательных особенностей романа.

«Эсав» прежде всего — роман о любви. Почти все книги Шалева посвящены любви. Детству, семье, запутанным родственным отношениям, взрослению души, утратам и потерям, но прежде всего — любви. И одновременно все они — об обманутых ожиданиях. Поэтому все их следовало бы отнести к тому редкому и трудному жанру, который можно назвать «человеческой трагикомедией», к произведениям, где герои никогда не получают того, чего жаждут и к чему стремятся. Поэтому «Эсав» — книга не только о любви, но и о боли, о тоске, о горечи и печали. А значит, и о смерти — разве не она есть высшее разочарование жизни?

Выходит, «Эсав» — печальная книга? Да, но, как уже сказано, и насмешливая. И жестокая. И очень умная — в лучших традициях интеллектуального романа нашего времени, в традициях «Дара» и «Имени Розы». Она требует бескорыстного погружения в себя и ответного движения души. Она трудна и грустна, как сама жизнь, хотя, временами —

иронически улыбается. Вместе с жизнью.

Но ко всему прочему «Эсав» — это роман тотальной игры. Со временем, с пространством, с литературой и — с читателем. Шалев предлагает читателю эту игру, говоря, что его «Эсав», в отличие от «Русского романа», — плод чистого вымысла, не имеющий ничего общего с автобиографичностью: «Это книга, воспроизводящая процесс своего написания». Рассказчик отсылает Читательнице (этого высокого, с заглавной буквы титула, в духе любимого Филдинга, достоин лишь «человек внимательный и понятливый») некую «вымышленную историю о людях, которых не было» — о князе Антоне и служанке Зоге, и Читательница задает ему ряд вопросов. Кто эти «русские паломники», что поднимаются в Иерусалим, таща на телеге огромный колокол? Почему он так страшен, этот Иерусалим? Существовала ли на самом деле Луиза Лато, белошвейка со стигматами, и реальны ли «девушки племени навар»? «Паломники? — переспрашивает Рассказчик. — Их возглавлял мой дед, богатый русский крестьянин из-под Астрахани, который позже перешел в еврейство, привез в Палестину всю свою семью и поселился в Галилее, где мой будущий отец Авраам позже встретился с его дочерью, моей будущей матерью Сарой, когда пешком перешел Иорданскую пустыню, возвращаясь с войны, и откуда он затем переехал с ней в свой родной Иерусалим. Что до того, страшен ли Иерусалим, то я сейчас расскажу тебе о нем, о Иерусалиме начала века, городе моего отца и моего близорукого детства, о его тесных религиозных кварталах, о сефардских дворах Старого города, об этом святом и жестоком месте с подземельями, пещерами и заклетыми местами, с первым кинотеатром, движок которого вращали крылья мельницы, первым автомобилем и первым фотоателе, где одни и те же статисты позировали в качестве библейских персонажей и местных жителей, о древнем городе с завывающими пророками, запаздывающими мессиями и чванливыми благодетелями».

И все это — чистый вымысел. Рассказчик придумывает на ходу, он строит вымышленный автобиографический роман, первый вымысел тащит за собой все новые и новые свои кольца, втягивая в них все новых героев, все новые судьбы, обстоятельства и детали. Так он и рождается, «Эсав», со всеми своими сложными переплетениями фабульных взаимосвязей и сюжетных переключек. И, поставив последнюю точку, Рассказчик удовлетворенно разглядывает свое творение и иронически говорит вдохновившей его на этот труд Читательнице: этот роман сочинил себя сам, благодаря твоим усилиям, дорогая, его составили «события, между которыми нельзя было бы усмотреть никакой связи, когда бы не твои

настойчивые расспросы». Иными словами, это и наше творение тоже, и если бы мы, в отличие от Читательницы, задали другие вопросы, то, возможно, получили бы другие ответы и другой роман. Поэтому если мы будем продолжать допытывать эту книгу о чем-то еще, она будет «продолжать сотворяться», открывая нам все новые и новые смыслы. Роман, который рассказывает сам себя. Игра, в которую автор играет с Читателем. Полная коварных намеков, отсылок, которые порой реальны, а порою уводят от цели, цитат, часть которых подлинна, а часть придумана на ходу, загадок, которые нужно распутать и в которых можно запутаться, — как, например, в той, главной, над которой все время бьется Рассказчик: «Почему я уступил, отдал и ушел?» Текст полон таких вопросительных знаков, и Рассказчик далеко не всегда снисходит до ответа: «А что, на все остальные вопросы я уже ответил? Причину горькой судьбы тии Дудуч уже назвал? Что общего между Касторпом и Гумбертом, между Надей и Мартой, я уже сформулировал? А кто эти Черные Татары?» Он, конечно, лукавит, Рассказчик, но он также полон уважения к своему Читателю, которому «уже приходилось отвечать самому и на вопросы потруднее. Почему обернулся Орфей? Что замышлял Чичиков? Почему я не проводил в последний путь свою мать?»

Над входом в эту высокую игру нарисован жирный вопросительный знак великой загадки, спрятанной, как и положено, на самом видном месте — на обложке, в заглавии. В самом деле — как, собственно, зовут нашего Рассказчика, героя им же придуманной книги? Эсав? Но у евреев нет такого имени. Есть Авраам и Сара, Яков и Лея, Элиягу и Биньямин, Михаэль и даже, сегодня, Роми. Но Эсава нет.

Его и не может быть. Эсав — в Библии — злейший враг Иакова-Израиля. Эсав — в мидрашах, этих священных еврейских преданиях, — прародитель Амалека, народа, вековечно враждующего с евреями. Эсав — в Талмуде — прародитель христианских гонителей еврейского народа. Еврейского ребенка нельзя назвать Эсавом, потому что Эсав — первоначало всего злого в еврейской истории.

Библия все же несколько снисходительней к Эсаву, чем более поздние еврейские источники — мидраши и Талмуд. Она даже дает ему слово, притом дважды. Один раз, чтобы, вернувшись усталым с охоты, воскликнуть знаменитое и роковое: «Дай мне поесть красного, красного этого», указывая — нет, не на то, что налипло на арбузной корке князя Антона, а на чечевичную похлебку, расчетливо и соблазнительно выставленную на стол хитрым Иаковом. И второй раз, когда Эсав выплескивает в скудных словах горечь и обиду на брата, который обманом,

с помощью матери, отнял у него первородство («любимую женщину, отцовскую пекарню и родной дом»). Библия умалчивает о мотивах последующих злоумышления Эсава против Иакова, потому что они кажутся ей очевидными: обида за обиду, зло за зло, око за око. Библия вообще о многом умалчивает и многое пропускает, позволяя читателю самому заполнить лакуны. Так же она поступает и с Эсавом, и поэтому не стоит пытаться толковать то, что ей не угодно толковать самой.

Может быть, писатель Меир Шалев как раз и хочет возместить умолчания Библии и дать Эсаву возможность изложить свою версию событий? Может быть, он хочет повторить литературный подвиг автора «Иосифа и его братьев», прочитав которых машинистка Томаса Манна блаженно выдохнула: «Теперь я знаю, как это было на самом деле»?

Но «Эсав», как уже сказано выше, — не пересказ библейской истории. Это современный роман, и если он в чем-либо повторяет Библию, то лишь в сущностном — в линиях судеб и в стиле повествования, повествования с умолчаниями, главное из которых, конечно: почему герой «уступил, отдал и ушел».

В древности считалось, что имя человека задает его судьбу. В романе Шалева другие законы: судьба человека предопределяет его имя. Тот, кто приходит из Двуречья, перейдя страшную Иорданскую пустыню, женится на Саре и становится прародителем еврейской семьи, конечно, должен называться Авраамом. И праматерь этой семьи, конечно же, должна носить имя Сара (ведь и библейская Сара была дочерью неевреев, «гоев», до того, как Бог заключил с Авраамом свой Завет). И, как мы уже говорили в начале, брат, обманом отнявший у брата-близнеца первородство, женившийся на Лее и наследовавший отцу против его воли, — разумеется, Яков, кто же еще?!

А потому тот, кто уступил это первородство, ушел из Обетованной земли своей молодости в чужую страну Моав, был там счастлив в «женщинах не из наших» и несчастен в неизбывной горечи своих воспоминаний — это Эсав, другого имени для него в этой истории не остается. Даже если он на самом деле получил от рождения иное, вполне еврейское имя. Он Эсав по библейской парадигме, навеки сохраненной в коллективной памяти еврейской — и мировой — культуры.

Еврейская память — это память «схематическая», она пользуется парадигмами, т. е. изначально заданными и повторяющимися моделями истории, в том числе и семейной. Конкретное наполнение событий может меняться, но их внутренняя структура определена раз и навсегда. В разных поколениях разные люди с разными именами призываются на сцену жизни

разыгрывать одни и те же роли в одной и той же (не ими написанной) пьесе. Библейская парадигма содержит не конкретную фабулу, а извечный сюжет, потому она и умалчивает о многих деталях. Детали же, как снова и снова напоминает Шалев, — дело писателя и «будут встречены с благодарностью» не только машинистками, перепечатавающими книгу. Библейская парадигма как бы предшествует всему сущему — не только реальному романному бытию, но и самой жизни, существуя изначально, вроде Платоновой «идеи вещи», которая предшествует конкретной вещи (как сама Библия, которая для верующего предшествует самой Вселенной, будучи Господним «планом творения»). Поэтому у автора, воспитанного на Библии и пишущего под ее диктовку, модель семейной истории предваряет историю конкретной семьи, структура родственных отношений, дружбы и вражды, любви и ненависти, жизни и смерти заложена в судьбе еще до того, как складываются сами отношения. «Ваш роман прочитан». Пьеса уже лежит на столике у Режиссера, героям остается «только» ее разыграть — в своих декорациях, по своему нраву и вкусу, со своими деталями, на языке своего времени.

В такой ситуации — или в таком романе — все или почти все неизбежно должно быть узнаванием, припоминанием или тем, что автор упорно называет словом «вспоминание» — в понятном отличии от «воспоминания». Люди, ситуации и события должны повторять изначально заданные прообразы, отсылать вспять и напоминать о своих прототипах. Рассказчик упорно называет себя талантливый во вспоминании, и он совершенно прав: его рассказ — это сплошное вспоминание, всё в нем — отблеск и отклик, переключка и эхо уже сказанного раньше, где намеком, еле слышно, а где — звучно и внятно, как удар колокола. И поэтому совершенно естественно, что всему его рассказу предшествует модель того, из чего и по образцу чего этот рассказ и вырос, — та самая «вымышленная история о людях, которых не было». Отсюда протягиваются затем во всю «свободную даль» романа бесчисленные нити будущих ассоциаций и отголосков — как протянулись через поля и пустоши лучи от зеркала влюбленного Якова. Отныне, с момента обретения Рассказчиком этого всепроникающего зеркала, лучи которого способны освещать не только прошлое, но и будущее, вся дальнейшая изощренная игра, именуемая «романом», будет состоять в том, что Рассказчик станет расстилать перед читателем (как Иерусалим перед князем Антоном) свои отсылки, переключки, напоминания и отголоски, а читатель должен будет распутывать сию сложную сеть, потому что, как уже сказано, от его успеха в этом деле будет в немалой степени зависеть жизнь этого текста в его,

читателя, воображении. Не потому ли Рассказчик даже с некоторой горечью, а не только поддразнивая, упрекает свою Читательницу в том, что она «не поняла доброй трети намеков и взаимосвязей», рассеянных «в уже отосланных ей письмах». Читательница с заглавной буквы, читательница по Филдингу, должна была бы понять больше.

Таких переключек и скрытых намеков в «Эсаве» превеликое множество, и разгадывание этих изящных авторских загадок наверняка доставило его изощренному уму истинно интеллектуальное удовольствие. Ведь их как будто бы не было и впрямь, всех этих князей Гесслеров, принцессы Рудольфины и баронессы Фребом, и тут нас не обманет ссылка на то, что о кардинале Бодуэне из Авиньона якобы упоминают авторы такого-то исторического исследования, ибо автор сам, насмешливо подперев щеку языком, говорит, что показаниям хроникеров нельзя «доверять вслепую». А чего стоит квазинаучное упоминание о том, что князь-отец известен как «первый, описавший случай белошвейки Луизы Лато»: ведь стигматы Луизы Лато в действительности первым (в 1870 году) описал доктор Фердинанд Лефевр из Лувенского университета, а вторым и последним (в 1871 году) — английский психиатр Дэй. И ведь не скажешь, что это лишь для кокетства автор признался: «Сказать по правде — я иногда привираю». Нет, он действительно привирает — но, сказать по правде, далеко не всегда. Пусть «на самом деле» не было ни кардинала Бодуэна, ни всех прочих лиц, описанных в новелле, но они еще появятся в романе, и каждый из них задаст собою читателю очередную загадку: «Кто есть кто?» — чья судьба тут повторяет судьбу привередливого и несчастного князя Антона и чьи привычки унаследовал библиотекарь Ихиель? На некоторые из этих «кто есть кто?» ответить легко, ибо эти «образы» попросту копируют свои прообразы, вроде тех «дочерей наваря», что «выдоили» немецкого генерала и увенчали его жасминовым веночком, или первенец Якова Биньямин, которого нечаянно подстрелили в камышах и так же оставили истекать кровью, как княжича Вильгельма. И конечно, Роми, такая же «рано повзрослевшая и высокая», как баронесса Фребом, и тоже «только на один раз» возлюбленная своего дяди. Оpoznать других будет труднее, разве что памятливого читателя вдруг озарит: «Ба, да ведь Ихиель собирает свои последние слова, как старый князь Гесслер собирал свои пословицы и поговорки, и хотел бы умереть с тем смешком, с которым — будто бы — умерла баронесса Фребом; а белую липицанскую кобылу вместе с легкой коляской, которую украла у греческого патриарха Сара, патриарх сам, наверное, украл у князя Антона!»

Погружение в нескончаемое переплетение взаимосвязей, переключек,

скрытых отсылок и подобий постепенно порождает у изощренного Читателя ощущение, что само бытие насквозь пронизано незримыми нитями взаимозависимостей, и именно потому крик чайки около мыса Доброй Надежды может потопить корабль в проливе Ла-Манш. Стоит понять этот принцип всеобщей причинности и зависимости всего от всех и вся, и сразу становится понятным, почему разошлись пути двух близоруких братьев-близнецов после того, как они впервые надели «одни очки на двоих». Ибо один из них выбрал путь родовой истории и стал «Яковом», а значит, по справедливости (по библейской справедливости, разумеется) унаследовал родовую землю вместе с пекарней на Обетованной земле, и с девушкой этой земли, и с войнами этой земли, и с мукой жизни на ней. А второй выбрал «цитату и культуру» и по их велению ушел в конце концов на Запад, в обетованный Эдом покоя и комфорта, на скамейку у берега океана, откуда так удобно всматриваться в тоске в Обетованную землю своей молодости и своей любви.

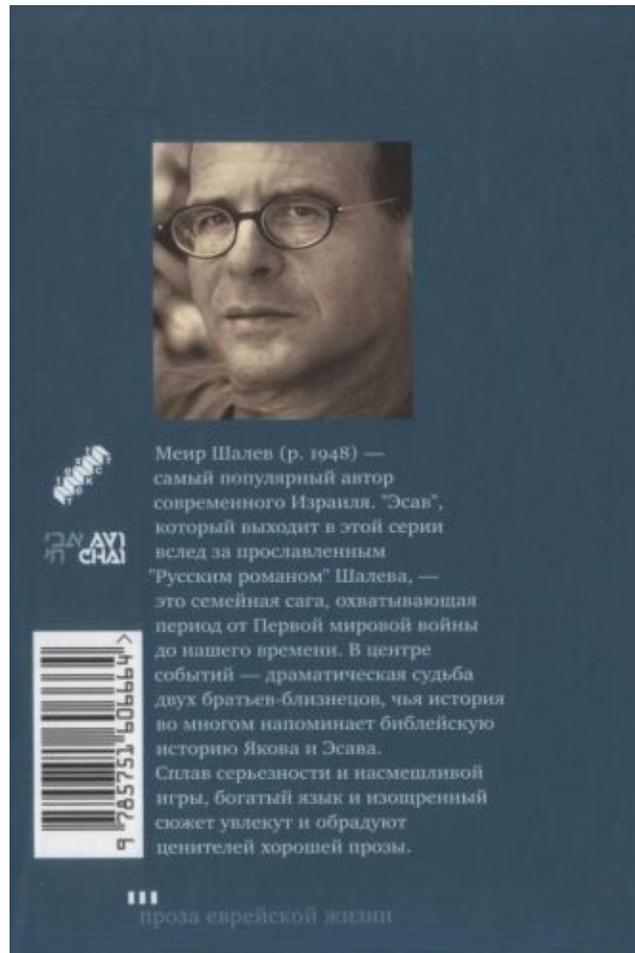
Но тут уж нам впору, вместе с Читательницей, задать самому автору наш самый главный вопрос: почему же все-таки он так страшен, этот Иерусалим? Почему она так жестока, эта Обетованная земля? Чем она так заклята, что князь Антон проваливается здесь в подземелье, из которого душе его уже не суждено вернуться никогда, и гениальный Лиягу Натан погружается здесь в безумие, и ангелочек Михаэль падает с неба и разбивается насмерть? Каждая вставная новелла — как очередной намек и предвосхищение будущих бед, словно эта земля — святая для всех и принадлежащая всем — не может принадлежать никому в отдельности, словно она и впрямь заклята на смерть и запустение, как заклята хевронским вали иерусалимская мельница, призванная было вдохнуть движением своих крыльев новую (пусть призрачную, невзаправдашнюю, киношную, но все-таки) жизнь в этот древний город. Вот ведь и в «Русском романе» эта земля в конечном итоге восстает болотом против пионеров-поселенцев, словно метафорически «исторгая» их из своего чрева.

Неужели и впрямь «время коснулось ее, засевая своими отравленными семенами»? Ведь именно так можно было бы, кажется, прочесть смысл «Эсава», поднимаясь к этому смыслу по трем вставным новеллам, как по «трем ступеням приближения к истине». Прочесть и, оборотясь к рассказчику, насмешливо сказать: «Ваша загадка разгадана, сударь, — вы просто уязвленный печалью и годами Екклесиаст...»

Да вот незадача — рассказ-то, оказывается, еще не закончен! Повинуясь правилам поэтической речи, этой «высокой болезни» и «высокой игры», автор все плетет и плетет свою «припутанную к правде

ложь» И впрямь: «Дождь уже кончился, небо прояснилось, и волшебный запах хлеба доносился из пекарни брата моего Якова...»

Меир Шалев ставит последнюю точку, поднимается—в широких рабочих брюках, в рубаше прямо на худое тело, — потирает руки и насмешливо улыбается, оборотясь к читателю. «Какой же я Екклесиаст?! — удивляется он. — Я оптимист! У меня все романы кончаются хорошо...»



notes

## **Примечания**

**1**

Милет — окружная единица в Османской империи (*тур.*).

Мутасареф — наместник города (*тур.*).

Моэль — специалист по обрезанию крайней плоти у младенцев мужского пола (*ивр.*).

Агуна (мн. ч. — агуно́т) — жена пропавшего без вести человека (ивр.); по еврейскому религиозному закону такая женщина не может вторично выйти замуж, пока не отыщется ее муж и не даст ей разводное письмо или пока не будут представлены надежные доказательства его смерти; горестной судьбе агуно́т посвятил одно из своих лучших произведений знаменитый еврейский писатель, лауреат Нобелевской премии Шмуэль Агнон.

Балабай — хозяин (искаж. *ивр.* «баал а-байт»).

Чапачула — неряха (*ладино*).

Арак — рисовая водка, широко употребляемая на Ближнем Востоке (тур.).

Булиса — госпожа, хозяйка; эквивалентно «мадам» в русской речи (*ладино*).

Наргила — курительный прибор, похожий на кальян (искаж. перс. «наргиле»).

Кади — судья, знаток исламского закона (шариата) (*араб.*).

Сахарот — ящики или корзины для перевозки фруктов и овощей (*ладино*).

Де лос караим — караимы, секта, не признавшая авторитет Талмуда и в VIII веке н. э. отколовшаяся от иудаизма; еврейский религиозный закон запрещает верующим евреям брак с караимами и их захоронение на еврейском кладбище (*ладино*).

Сарайя — дворец (*ладино*).

Вакф — в мусульманских странах орган управления имуществом, переданным во владение религиозным властям; сейчас в Иерусалиме Вакф владеет обеими мусульманскими мечетями на Храмовой горе в Старом городе (*араб.*).

Руби — учитель (*ладино*).

Лас йагас — обездоленные (ладино).

Мансаньика — яблочко (ладино).

Яваш — медленно (*тур.*).

Караванайа — еда (*тур.*).

Гарэ — ящик для расстойки теста в пекарне (*ивр.*).

Галата — галета (*тур.*).

Качкес — утки (*идиш*).

Гиюр — обращение нееврея в иудаизм, а также связанный с этим и проходящий под наблюдением раввинов обряд, включающий предварительное изучение основных законов иудаизма, а затем обрезание (брит-милу) (*ивр.*).

Гер — нееврей, принявший иудаизм посредством гиюра (*ивр.*).

Гой (ж. р. «гойя», искаж. рус. «гойка»; мн. ч. «гоим», искаж. рус. «гои») — всякий нееврей, т. е. не входящий в Завет Авраама; окружающие народы именуются в иудаизме «гойскими», т. е. «чужими», нееврейскими народами (*ивр.*).

Бар-мицва — букв, «сын заповеди», мальчик, достигший тринадцати лет и считающийся правомочным и обязанным блюсти все заповеди, предписанные взрослому мужчине еврейской религиозной традицией (*ивр.*).

Миква — резервуар с водой для очистительного ритуального омовения у женщин (*ивр.*).

Тойакас де Пурим — пуримские трещотки. Один из обычаев еврейского праздника Пурим, посвященного чудесному избавлению от преследований, предписывает греметь трещотками (*ладино*).

Вилайет — административная единица в Османской империи (*тур.*).

Комо кавайликос — как лошадыми (*ладино*).

Нада де нада ке дишо Кохелет — Суета сует, как говорил Кохелет (*ладино*). («Кохелет» — название 19-й книги еврейского канона Библии, которая получила греческое название «Екклесиаст»; традиция приписывает ее авторство царю Соломону).

Мухтар — сельский староста на мусульманском Востоке (*араб.*).

Хамса-мезуза — заклинание против сглаза (*араб.* — *ивр.*) («хамса» — талисман в виде руки с пятью пальцами; «мезуза», букв. «дверной косяк», — прикрепляемая к внешнему косяку двери в еврейском доме коробочка со свитком пергамента из кожи «чистого животного», на которой написана часть стихов молитвы «Шма», или «Слушай, Израиль»).

Тия — тетья (*ладино*).

Сир — горшок, кастрюля (*ивр.*).

Баньо де бетулим — религиозный обряд омовения в микве в первую брачную ночь (*ладино*).

Басинико — таз, в котором иерусалимские хозяйки стирали белье, а также любая другая круглая металлическая посуда с низкими краями, включая ночной горшок (*ладино*).

Сатаника — дъволенок (*ладино*).

Акеда (*ивр.* «связывание», точнее — «акедат Ицхак», по-русски — «связывание Ицхака») — приношение Авраамом своего сына Исаака в жертву Богу; в еврейской религиозной традиции является образцом преданности Богу, символом готовности к самым тяжелым жертвам во имя веры.

Йа-табан — лентяй, бездельник (*араб.*).

Талмуд-тора — начальная школа для мальчиков.

Разон — причина, резон (*ладино*).

Банкита—табуретка, небольшая скамейка (ладино).

Вади — сухая долина, которая временно наполняется водой после сильного дождя, превращаясь в бурный, стесненный узкими стенами поток, в котором легко можно утонуть (араб.).

Сукка — временная беседка, покрытая ветками, в которой верующие евреи живут семь дней праздника Суккот (или Кущей) в память о шатрах, в которых ночевали их предки и пустыне после исхода из Египта (*ивр.*).

Талит — еврейское молитвенное облачение, представляющее собой особым образом изготовленное прямоугольное покрывало белого цвета с цветными полосами (*ивр.*).

Тфилин — филактерии, две маленькие коробочки из черной кожи, содержащие написанные на пергаменте отрывки из Пятикнижия; с помощью кожаных ремешков одну из них во время молитвы укрепляют на левой руке («против сердца»), вторую — на лбу во исполнение соответствующих библейских предписаний (*ивр.*).

Орниро (мн. ч. — орнирос) — ученик, подмастерье (*ладино*).

Левадура — дрожжи (*ладино*).

«Lands' end» — известный американский магазин мужской и женской одежды, основанный в 1963 г. в Чикаго. Неверное размещение апострофа (результат типографской ошибки) стало популярным брендом фирмы.

Пустема — тупая, глупая (*ладино*).

Зиара — праздничное шествие; у отца героев это «зиара боли» (*ладино*).

Шофар — духовой музыкальный инструмент, сделанный из рога барана или козла, в который трубят преимущественно в праздник еврейского Нового года, а также во время некоторых других религиозных и (в наше время) светских церемоний (*ивр.*).

Пусть дни придут,  
Пусть схлынут снова,  
Но руки памяти все так же ткут  
Мечты блаженные былого (*англ.*).

Гверет (иногда, в просторечии, «гиверет») — госпожа, хозяйка, мадам (ивр.).

Френки — презрительное прозвище сефардов, евреев — выходцев из арабских стран (*изр. сленг*).

Полюбил Шарлотту Вертер  
Чувством, что сильнее смерти.  
Она впервой пред ним предстала,  
Когда кроила хлеб и сало (*англ.*).

Да, но твердят ведь, что предсмертные слова  
Приковывают слух, хоть слышатся едва:  
Где слов уж вперечет, их редко зря бросают,  
И правдой дышит то, что в муках выдыхают (*англ.*).

Пунто (мн. ч. — пунтикос) — точка (*ладино*).

Дунам — единица измерения площади, одна десятая гектара (*ивр.*).

Брит-мила — букв. «Завет обрезания», обряд удаления крайней плоти у младенцев мужского пола, символизирующий Завет между Богом и народом Израиля (*ивр.*).

Очень приятно (фр.).

Каймак — сливки (тур.).

Тукмак — тупица, глупец (*тур.*).

Кипазелик — отвращение, мерзость (*тур.*).

Йеке — насмешливое израильское прозвище евреев — выходцев из Германии, которые, по мнению представителей других еврейских общин, отличаются сухостью, пунктуальностью и дотошностью (*ивр.*).

Долор де кабеса — головная боль (*ладино*).

Перро — собака (*ладино*).

Пашарикос — птички (*ладино*).

Кафе италъки — итальянское кафе (*ивр.*).

Индехиниадос — равнодушный, усталый (*ладино*).

Углом — сын (*тур.*).

Уна гранда палабра — напыщенное слово (*ладино*).

Папель пар эль кулу эз пор лос Ашкинасис — бумага — это для ашкеназской задницы (*ладино*); иерусалимские сефарды, горделивые выходцы из Испании, насмешливо относились к ашкеназам, выходцам из Германии и Восточной Европы.

75

Приготовьте носовой платок (*фр.*).

Песгадо куршум — тяжелая как свинец рыба; на сленге — глупый человек, тупица (*ладино*).

Мезелик—закуска к араку, соленья (*ладино*).

Кабанос — острая сухая сырокопченая колбаска (*ладино*).

Трончо — букв. кочан капусты, в переносном смысле — дурак (*ладино*).

Вали — должностное лицо, представляющее центральное правительство в вилайете (*тур.*).

Сахлев, сахлав — безалкогольный напиток из орхидей (*ладино*).

Хамле-мелане — еда, каленые зерна хумуса (бобового растения, плоды которого широко применяются на Востоке в пищу в растертом виде в качестве закуски) (*ладино*).

Хамсин — пустынный ветер, сопровождающийся удушливой жарой; по поверьям, длится пять дней («хамса» — пять), а в действительности много дольше (*араб. — ивр.*).

Фалака — бамбуковые палки, которыми при пытках били по подошвам ног (*тур.*).

Миль — первая израильская монета, по образцу монет Бар-Кохбы, изготовлялась из алюминия.

Куло де ла мужер — женская задница (*ладино*).

Ифтахи эль-баб, сит Мириам — Открой ворота, госпожа Мириам  
(араб.).

Это нечто (*фр.*).

Боко де жора — отверстие сливной трубы для нечистот, в переносном смысле — грязный рот (*ладино*).

Пележон — оскорбительное наименование заядлого спорщика (*ладино*).

Аскадина — вечнозеленое дерево, растущее в Китае и Японии.

Кнаффе — сладкий арабский пирог из тяжелого теста, козьего сыра, розовой воды и масла (*араб.*).

Бово — бык (*ладино*).

«Плейерз»—сорт сигарет.

Мейделе — девочка (*идиш*).

Гильдас (мн. ч. от «гильда») — кожаные подошвы; существовал обычай на праздник Песах ставить на обувь новые гильдас (*ивр.*).

Кемзикас — мн. от «кемзика»: маленькая кофточка, рубашонка (ладино).

Тиспишти — турецкие печеные сладости из манной крупы и меда (тур.).

Долсурас — сладости (*ладино*).

«Мы все цитируем по необходимости, по склонности или для удовольствия» (англ.).

Фадо — португальский блюз.

Ср.: «И остался Иаков один. И боролся Некто с ним, до появления зари... И сказал: отпусти Меня; ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня». Быт. 33, 24–26.

Чурбайка — суп, подаваемый гостям в поминальную неделю (*ладино*).

Шеол — ад (*ивр.*).

Мануш — вагина (*ладино*).

Колокол свободы — главный символ американской истории борьбы за независимость. Звон колокола созвал жителей Филадельфии на оглашение Декларации независимости в 1776 году.

Не могла бы ты выразаться поточнее... (*англ.*)

Иер. 31, 15.

Эль ноно вино — вот идет дедушка (ладино).